

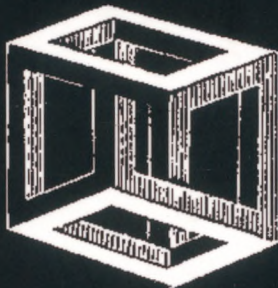
С. ЛУРЬЕ

ИЗЛОМАННЫЙ АРШИН

С. Лурье

Изломанный
аршин

Трактат с примечаниями



Пушкинский фонд,
Санкт-Петербург. ММХII.





Дорогой Геннадий Моисеевич
— сердечный привет
от автора!

С. Лурье

Изломанный аршин

Трактат с примечаниями

С. Лурье
июль
2012.



Пушкинский фонд,
Санкт-Петербург. ММХII.

**ББК 63.3(0)3
Л86**

**Автор и редакция
выражают глубокую благодарность
Михаилу Александровичу Раскину
за решающую помощь в издании этой книги.**

**Марка издательства работы
*С. Семёнова***

**Фотопортрет С. Лурье работы
*М. Лемхина***

ISBN 978-5-89803-228-9

**© С. Лурье, 2012
© Ю. Малецкий, Приложение, 2012
© М. Лемхин, фото, 1995, 2012**

Изломанный
аршин

§ 1. НЕЧТО О КАШАЛОТАХ

Сейчас уже не то, — а вот лет тридцать назад, когда светимость Сталина резко упала и видимые размеры его сократились, как если бы он покидал Галактику, — и советскому человеку для утоления религиозной потребности остались только два официальных культа: Ленина (Того-кто-объяснил-Всё) и Пушкина (Того-кто-жил-на-самом-деле и потому обладал тем, чего не было ни у кого: Биографией), — лет тридцать назад, говорю, практически любая (отдельно взятая) гражданка СССР, хотя бы вы разбудили её среди ночи, сразу и безошибочно сообщила бы вам, что следовало делать Пушкину в 1830 году:

— Весной и летом — по возможности ничего. Не дергаться. Спокойно бить баклуши, валять дурака: нагуливать вдохновение. На осень забронирована бесплатная путёвка в дом творчества «Болдино». (Лукояновский у. — или Сергачский, какая разница, — Нижегородской губ.) С 1 сентября по 30 ноября (день приезда — день отъезда — один день). Кровать, тетрадь, карандаш (и печной горшок в качестве ночного)*. Дописать «Онегина». Сочинить повести Белкина (5 шт.), маленькие трагедии (4 шт.), «Домик в Коломне» и сказку о Балде. Это не считая лирики и критики. «Русалку», так и быть, если не успеет, перебелять не обязательно.

Но сам-то Пушкин весной сказанного года понятия не имел, что всё уже решено и даже в школьных учебниках написано. Порою (и тогда, и даже после) воображал, будто не для того живет, чтобы писать (какие странные бывают

* См. *Примечания*.

грамматические обороты: союз, попав между двух глаголов, теряет значение), — а, скорее, напротив: пишет ради гоноров. Которые доставляют независимость. Т. е. право на т. н. праздность. Позволяющую (когда других соблазнов нет и погода благоприятствует) строить в уме различные восхитительные сооружения — ну да, из слов, но с отблесками лиц и вещей. Как бы облака, наполненные голосом, слушающим вас, — хотя, тоже подобно облакам, они беспрестанно шевелятся, беспрестанно же разрушаясь. Когда скорость этих превращений делается нестерпимой — вы почти что поневоле хватаетесь за письменные принадлежности, чуть ли не становитесь сами одной из них. Странное состояние — пожалуй, не уступающее счастью — по крайней мере, знакомым разновидностям его, — с той разницей, что когда оно проходит, остаётся рукопись. Которую можно (и нужно) продать, чтобы вырученными деньгами укрепить независимость, и т. д.

По-видимому, он не хотел верить, что смысл его жизни равняется совокупной ценности текстов, которые он успеет произвести.

(Определят же её через полвека. Валтасаровым взвешиванием. Поставят посреди Москвы большие такие качели: кто из экспертов перетянет — девятилетний в 1830-м Федя Д. с Божедомки или же двенадцатилетний Ванюша Т. из Гагаринского переулка?)

В Царскосельском Лицее не проходили зоологию. Единственным существом, повадки которого дают основание уподобить его человеку, пишущему очень сильные стихи, Пушкин считал орла (высота и дальность полёта, непредсказуемый маршрут). Что гении — тайные братья кашалотов и у них Общее Правило Судьбы, — он, по-видимому, не знал.

Самое нескладное из всех животных, — пишет про кашалота (*Physeter macrocephalus*) Брэм. Самый крупный (после гренландского кита и китов-полосатиков, — уточняет Брокгауз) зверь на земле. 20 метров, 70 тонн — впечатляет, хотя само по себе ничего не значит — подумашь, брэнная ворвань. Но треть длины тела приходится на голову. И, стало быть, значительная часть веса — на содержимое этой головы.

А в голове у кашалота (возри в моря на кашалота, — рыдает-пляшет Бармалей) имеется скроенный в два слоя — из сала и сухожилий — громадный как бы мешок, наподобие нашей гайморовой полости.

«Эта полость, разделённая отвесной пластиной с несколькими отверстиями, вся наполнена прозрачной маслянистой массой — спермацетом (который лежит, кроме того, внутри трубки, идущей от головы к хвосту)».

Удивит ли нас, что существо, наделённое столь необычной головой, всю дорогу страдает соматическими расстройствами? Результаты вскрытия свидетельствуют о неполадках в мочевом, если не ошибаемся, пузыре:

«Тёмная, оранжевая, маслянистая жидкость наполняет его; в ней плавают иногда круглые комки тёмного вещества 3–12 дюймов в поперечнике и от 12 до 20 фунтов веса, — вероятно, болезненные отложения, соответствующие мочевым камням других животных».

Брокгауз возражает: не мочевым камням, а желчным, — и осторожно предполагает, что их местонахождением может быть и кишечник. Как бы то ни было, запах вещества прекрасен и непобедим: это т. н. амбра.

Не очевидно ли: природой или кем другим кашалот нарочно устроен так, что смысл его жизни — отдать выработанные организмом волшебные субстанции благодарному человечеству. Прежде всего — на освещение: в темноте культура не цветёт. В частности, великие писатели английского Просвещения (скорей тавтология, чем каламбур, — но я тут ни при чём) недаром взялись за дело по-настоящему не прежде, чем в Мировом океане началась для кашалотов Варфоломеевская ночь. (Растянувшаяся на три столетия.) Для умственного труда нет ничего лучше спермацетовых ламп и свечей; без примеси спермацета и восковые не намного ярче сальных и слишком скоро сгорают.

А губная помада! Стойкость линии, матовый (не жирный, а кристаллический) блеск! Рано или поздно (в 1825 году) Гей-Люссак и Шеврель додумаются до стеарина, не за горами газовые фонари, а там рукой подать и до лампы накаливания, — но чем вы замените губную помаду высших сортов? а кольд-крем? Как бы то ни было, в XIX веке

английские китобои не снижали трудовых показателей: например, в 1830 году — 4600 тонн спермацета. Как с куста.

Амбра — т. н. серая, не путать с одноимённой смолой, — стоила (и стоит, полагаю) в тысячу раз дороже. Говорят, буквально нескольких молекул этого загадочного вещества достаточно, чтобы сделать привлекательным и стойким запах любого другого. Поступая в промышленных количествах, амбра произвела парфюмерную революцию: косметика глубоко проникла в состоятельные слои. Стало возможным — задолго до ввода в эксплуатацию первых напорных водопроводов — более или менее длительное совместное пребывание лиц обоего пола в закрытых помещениях. Увеличилась продолжительность разговоров наедине — и в них кое-кому открылось, что женщины (особенно — умеющие читать) внутри не одинаковые. Главное же — пахнуть они стали как бы прохладней. Содержимое семенников самца кабарги (пресловутый мускус) или заднепроходных желёз циветты (т. н. цибетин), — не говоря уже о бобровой струе, — придаёт духам, согласитесь, несколько излишне откровенную целеустремлённость. Тогда как серая амбра, будучи самым происхождением своим отдалена от эrogenных зон, переносит акцент на бескорыстную эстетику. Мягко понуждая действующих лиц жестиковать и высказываться так, как если бы имело смысл предположение, что большую часть времени все они, в том числе и дамы, думают о другом.

Так в конце концов и возникла Большая Иллюзия — все эти обманы Ричардсона-Руссо. (Не отменённые открытиями Прево-Мериме.) Вошёл в моду роман, спитый, как платье, на героиню загадочную, но моногамную, от которой веет туманами, гигиеной, камнями кашалотов. Разумеется, несправедливо было бы преуменьшать вклад и других китообразных. Не забудем, что ткань, вырванная у них после смерти из полости рта, сформировала (корсетами, поясами и проч.) эталонный дамский силуэт. Кое-чем пришлось пожертвовать и представителям других классов — скажем, страусам. Но что касается любви — любви настоящей, т. е., конечно же, основанной на избирательном средстве душ (прекрасных,

как лица, одежда и всё остальное) и равняющейся неизбежному взаимному счастью, — эта идея, эта центральная ось европейской литературы, раскрутилась исключительно благодаря кашалотам (и гениям).

Поставлявшим продукты личного метаболизма как вспомогательное сырьё для производства идеалов.

Увы, кашалоты, как правило, не понимают, что шанс войти в историю и сыграть в ней положительную роль даётся им не иначе, как после смерти. Т. е. что хороший кашалот — это мёртвый кашалот. Часто кашалоты оказывают бессмысленное сопротивление, всячески мешая убивать их, — что, естественно, пробуждает в убийцах недобрые чувства (см. «Моби Дик» Г. Мелвилла, 1851).

Брэм подтверждает:

«Кашалот не только защищается от нападений, но храбро бросается на неприятеля и при этом пускает в ход не только свой могучий хвост, но и страшные зубы. Летописи китовых охот говорят о многих несчастиях, причиной которых был кашалот».

С гениями безопасней, но сложнее. Гений, пока он жив, неузнаваем. Его принимают за кого-то другого. И убивают вроде как по ошибке. По какому-нибудь нелепому недоразумению, в котором как будто он же и виноват. (В действительности же — инстинктивно.) К тому же гений сам не дурак при случае умереть, и даже неоднократно.

Пушкин, например, впервые умер как раз в 1830 году, весной. Свидетельство о смерти подписано великим диагностом Белинским:

«Итак, тридцатым годом кончился или, лучше сказать, внезапно оборвался период *Пушкинский*, так как кончился и сам Пушкин, а вместе с ним и его влияние; с тех пор почти ни одного бывалого звука не сорвалось с его лиры».

Положим, Белинский был тогда не особенно еще велик: первокурсник-второгодник, — но и студенты успевающие, а также не студенты, как-то все вдруг почувствовали, что перестали ожидать новых текстов Пушкина как событий своей жизни. Хотя он и оставался, без всякого сомнения, первым поэтом, но для новых взрослых сделался не интересен, — а это ведь и есть, считайте, смерть. О, разумеется,

мнимая, раз барышни и, самое важное, мальчишки (те же Ванюша Т. и Федя Д.) читали его стихи всё так же, как надо: не видя букв.

И, разумеется же, никто ничего подобного в лицо ему не говорил — а что критика строила недовольные гримасы — это потому что дура, — думал он. И она ведь в самом деле была дура. А всё же он не мог не видеть, что смотрят на него как-то не так. Странно было бы сказать: в ссылке и то жилось — да нет, конечно, не веселей, всё это вздор.

Лишь были бы стихи. Когда их долго нет — страшно, что больше и не будет. Этот страх, он нестерпимо скучен, — на смертную скуку и похож. Последняя несомнительная строчка — *красою вечною сиять* — декабрь 29-го, давно — вам кажется, что за такую строчку не жаль и жизни? — большое спасибо. Между прочим, стишок напечатан — в «Литературной газете», под Рождество — и никем не замечен, ни единой литературной душой.

Тем временем, по совпадению, взгляд начальства изменился тоже: не потеплел, но опасливое беспокойство исчезло. Пушкин не знал — отчего, но мы-то с вами в курсе: должность управляющего Третьим отделением занимал М. Я. Фон-Фок — лучший пушкинист всех времён. И ещё год назад, когда Пушкин собрался на Кавказ, т. е. рассуждал в тесном дружеском кругу, между лафитом и клико: рвануть — не рвануть, дадут за самоволку по шапке — не дадут, — и тесный дружеский круг, допив клико, разъезжался стучать, — и Николай с Бенкендорфом не могли решить, какая мера эффективней с точки зрения педагогики: тормознуть и врезать с ходу или, действительно, посмотреть якобы сквозь пальцы, а по шапке дать потом? а вдруг он вздумает декламировать офицерам «Послание в Сибирь»? тогда уже строгим выговором не обойтись, придётся — с занесением; а если возобновит контакты с недоразоблачёнными заговорщиками? или сдуру свалит за море? кто будет отвечать? — ещё тогда, в 29-м, Максим Яковлевич заявил руководству категорически: бред это всё.

— Господин поэт столь же опасен для государства, как неочинённое перо. Ни он не затеет ничего в своей ветреной голове, ни его не возьмёт никто в свои затеи. Это верно!

Предоставьте ему слоняться по свету, искать девиц, поэтических вдохновений и игры. Можно сильно утверждать, что это путешествие устроено игроками, у коих он в тисках. Ему, верно, обещают золотые горы на Кавказе, а когда увидят деньги или поэму, то выиграют — и конец. Пушкин пробудет, как уверяют его здешние друзья, несколько времени в Москве, и, как он из тех людей, у которых семь пятниц на неделе, то, может быть, или вовсе останется в Москве, или прикатит сюда назад.

Жизнь — как и должно быть, если агентура не халтурит, — подтвердила его правоту. Пушкин тогда сколько-то ещё пробыл в Москве (и сильно проигрался) — уехал-таки на Кавказ (там проигрался в пух) — в конце сентября возвратился в Москву (продулся опять), в октябре отправился в Малинники и Павловское, к дамам Вульф, с ноября жил в Петербурге (играя ночи напролёт, и всё несчастливо) — и вот Великим постом прибыл снова в Москву, — а огромный карточный долг гнался за ним по пятам.

Судя по всему, Пушкина пасла шайка шулеров — профессионалов и любителей. Некто Лука Жемчужников. Некто Огонь-Догановский. Некто Великопольский. Известный граф Толстой. И другие. Одному только Луке Пушкин был должен тысяч 5, а всем вместе — как бы не 40. Впрочем, они охотно принимали его векселя, соглашались (разумеется, под солидный процент) на уплату по частям; иной раз давали отыграться (особенно если он ставил рукопись), а то и ссужали (опять же под процент) тысячей-другой.

Поскольку любили его; во-первых, за то, что он всегда проигрывал, «проигрывал даже таким людям, которых, кроме него, обыгрывали все», и, значит, с ним можно было себе позволить чувство чести; положившись, как на каменную стену, на неисчерпаемый ресурс его невезения. Терпила безупречный, т. е. безнадёжный — настоящее сокровище. Какой же шулер не жаждет fair play без риска и убытка? Плевать, что много не возьмёшь и не скоро получишь, барыш не уйдёт, но бесценен и кураж: вот же она, удача в чистом виде — и безотказна, как сама Аделаида Ивановна (см. у Гоголя в «Игроках»). А во-вторых, на него замечательно ловились провинциалы, особенно офицеры

и помещики; не каждый, знаете ли, приблизится к играющим незнакомцам, но попробуй удержишься, когда банкюёт — сам Пушкин: потомство не простит.

Имеется показание интуриста: 23 декабря 1829 года Пушкин сказал ему, мистеру Томасу Рэйксу, эсквайру (перевод топорный):

— Я бы предпочёл умереть, чем не играть.

К Страстной неделе 1830 года имущество Пушкина (не считая одежды) составляли: два перстня на пальцах (талисман Волшебницы и подарок Гения чистой красоты) и обруч — золотой, с яшмой — на правом предплечье, под рубашкой. Ну и крестик на шее.

Плюс надежда, что сумасшедший Смирдин купит, как обещал, оптом все нераспроданные книги (прошлогодние два тома «Стихотворений», отдельные главы «Онегина» и проч.) — и копирайт на четыре года. 30 тысяч — жаль, что в рассрочку, но всё-таки — постоянный доход: 600 р. каждый месяц — в сущности, совсем недурно — да только не для человека, у которого в номере (гостиница Коппа; Глинищенский пер., между Тверской и Большой Дмитровкой) на полу валяется черновик письма к неизвестному (к этому самому, небось, Огонь-Догановскому): *Я ни как не в состоянии, по причине дурных оборотов, заплатить вдруг 25 тыс.*

Был ещё договор с Погодиным: как только тираж «Московского вестника» дойдёт до 1200 экз. — сразу Пушкину, как ведущему сотруднику, — 10 тысяч р. Тираж доходил покамест (чёрт знает, почему) — хорошо если до 120. Больше пары тысяч не перехватить.

Положение — похуже, чем у Хлестакова в Действии первом.

Николай Павлович, Александр Христофорович и Максим Яковлевич наблюдали сверху, понимаяще переглядываясь. Как скоро он вззоет и запросится в службу (как Вяземский вот только что)? Вопрос времени. Хоть пари заключай.

— Главное — некрасиво. Перед иностранцами неудобно: мы все — разноцветные, в блёстках, а он чёрно-белый.

Вообще-то уже и попросился. Не далее как в январе. Но не как подобает. Подобает верноподданному как? Клянусь

оправдать доверие на любом порученном участке борьбы. И жди ответа, как соловей лета. А не суетись, проверяя длину поводка.

Туда: «Пока я не женат и не зачислен на службу, я бы желал совершить путешествие — либо во Францию, либо в Италию». (По умолчанию — на свой счёт, но явно подразумевая: бывали ведь примеры — Карамзину, Жуковскому давали на загрантур и деньги.)

Сюда: «В случае же, если бы это не было мне разрешено, просил бы милостивого дозволения посетить Китай вместе с посольством, которое туда вскоре отправляется».

Посетить! Вместе с! Как бы не догадываясь, что нет в штатном расписании такой графы, а занесут в другую — независимость-то драгоценная прощай.

И, как бы вдруг догадавшись, — *обратно:* ах, кстати, mon Général, чуть не забыл: там у вас Бог знает с какого времени маринуется моя рукопись, «Борис Годунов», — не подпишете ли наконец в печать? «Так как я не имею состояния (вот так раз! а с чем же разлетелся во Францию? в Италию на какие шиши?), то мне было бы стеснительно лишаться суммы тысяч в 15 рублей, которые может мне принести моя трагедия...» (Читай: да знаю, что не отпустите, — обойдусь — ничего мне от вас не надо, просто отдайте моё.)

Ну что ж, ему ответили отчётливо. Про Францию с Италией — государь не удостоил снизойти, полагая, что это слишком расстроит ваши денежные дела и в то же время отвлечёт вас от ваших занятий. Про Китай — ваше желание не может быть удовлетворено, поскольку состав миссии уже утверждён. Про трагедию — да хоть завтра в набор, просьба только «переменить ещё некоторые слишком тривиальные места» (ну и, само собой, доработанный вариант представить вновь: нельзя в погоне за мат. выгодой жертвовать худ. качеством).

Плакали, стало быть, эти 15 тысяч (не такие уж верные, между нами говоря). Плакали Франция с Италией. Плакал Китай.

Но всё равно: если существовала на земном шаре такая точка, в которую весной 1830 года не хотелось абсолютно, —

то как раз вот это самое Болдино, Лукояновского (или всё же Сергачского?) у. Нижегородской губ. Хотя бы потому, что там проживала Ольга К. — для того и отправленная из Михайловского, чтобы никогда, на верховой например прогулке, не попадалась навстречу, тем более — с младенцем.

Да и вообще — с какой бы стати? Имение принадлежало Сергею Львовичу. Явиться без спроса не то что на всю осень, а хоть на неделю — вышла бы очередная неприятность. Как давеча из-за Михайловского. В искусстве родительских благодеяний старик необъяснимым образом предвосхищал П. В. Головлёва, столь же безукоризненно пользуясь интонациями еще не изобретённой бормашины:

— Более всего в поведении Александра Сергеевича вызывает удивление то, что как он меня ни оскорбляет и ни разрывает наши сердечные отношения, он предполагает вернуться в нашу деревню и, естественно, пользоваться всем тем, чем он пользовался раньше, когда он не имел возможности оттуда уезжать. Как примирить это с его манерой говорить обо мне — ибо не может ведь он не знать, что это мне известно. Александр Тургенев и Жуковский, чтобы утешить меня, говорили, что я должен стать выше того, что он про меня говорил, что это он делал из подражания лорду Байрону, на которого он хочет походить. Байрон ненавидел свою жену и всюду скверно говорил об ней, а Александр Сергеевич выбрал меня своей жертвой. Но эти все рассуждения не утешительны для отца — если я могу ещё называть себя так. В конце концов: пусть он будет счастлив, но пусть оставит меня в покое.

Ровно до 6 апреля 1830 года дела обстояли так, — и ни о какой Болдинской осени не могло быть и речи.

Но ведь должен же был найтись какой-то способ заставить Пушкина и сочинить, и записать «Пир во время чумы», «Моцарта и Сальери», «Каменного гостя», «Скупого рыцаря», да и повести Белкина. Единственно за «Онегина» мы отчасти спокойны — ни в каком случае автор не остановил бы его на Главе седьмой. Но «Онегин» — «Онегиным», а без маленьких трагедий, да и без повестей Белкина, вся история литературы приняла бы совсем другой оборот. Вплоть до того, что Ванюше Т. и Феде Д. пришлось бы пол-

ностью переделать свои речи на празднике 1880 года, и сам праздник, вероятно, прошёл бы значительно скромней (даже не исключено, что без статуи), а кроме того, и сами они оба сделались бы не теми, кем стали, — а теми, кем стали бы на их месте люди, не читавшие «Станционного смотрителя» и далее по списку. Но чтобы этот список существовал, Пушкина надо было прочно и достаточно надолго изолировать. Болдино, действительно, годилось как обстоятельство места — при эпидемии Cholera morbus как обстоятельстве времени. Задача заключалась в том, чтобы обстоятельства совпали. Будь автором истории литературы какой-нибудь реалист, ему не оставалось бы ничего другого (лично я, по крайней мере, правдоподобной альтернативы не вижу), как немедленно отправить на тот свет Пушкина-рèгè'a: чтобы fils вынужден был заняться проблемами доставшихся по наследству сельхозпредприятий; по ходу дела заглянул бы в том числе ну хоть и в Болдино, да там бы — из-за карантинных — и застрял.

Ну да, это был бы типичный плагиат, причем на редкость бестактный (ср. главу первую «Евгения Онегина»), и не приходится удивляться, что подлинный (к сожалению, неизвестный) Автор на него не пошёл. Но ход, изобретённый им взамен, — простите, противоречит здравому смыслу. Приняв нашу идею деловой поездки с целью переоформления крепостных душ (феодализм — это учёт), он прицепил к ней абсолютно непредсказуемый — взятый буквально с потолка — мотив женитьбы.

Слишком неподходящий был момент. Финансовая катастрофа не особенно располагает порядочного человека к законному браку. Год назад было полегче, и хотелось нестерпимо, и Пушкин сватался: всерьёз — зимой в Петербурге к Олениной и почти всерьёз — весной к Гончаровой в Москве. Но и тогда одумался — в Петербурге опоздал к обеду, на котором Оленины предполагали объявить о помолвке, выдержал неприятный разговор с несостоявшимся тестем — и квит; а из Москвы стремглав укатил (на Кавказ!) в самый тот день, как через Фёдора Толстого (нечего сказать, респектабельный посредник) посватался и через него же получил от Гончаровой-тамап, от Натальи Ивановны,

прилично-неопределённый, но всё же благожелательный ответ: пригласили посещать, дабы поближе узнать друг друга, — он, не теряя ни минуты, подхватился — только его и видели. Осенью появился — ненадолго, проездом, — встречен был холодно и тему священного союза больше не поднимал. А уж теперь и подавно было не до того.

Но как раз в этот приезд Наталья Ивановна повела себя странно, — как кредитор, который даёт понять, что его деликатность безгранична, — и ничего не оставалось, кроме как объяснить с нею начистоту. Насчет неизменного постоянства чувств и благородства намерений, при некоторой необдуманности поведения. Повинившись, в общем, за прошедшее, рассмотреть сухой остаток — и тут уж отпраздновать трусу как следует, не жалея себя.

Год назад шулер и бретёр, весь в наколках, от моего имени просил у вас руки и сердца вашей дочери. Нет, не годится, это цитата из «Горя от ума». А если так: это была шутка! Клянусь вам, это была шутка! Нет, побережём интонацию для «Пиковой дамы».

«...Теперь, когда несколько милостивых слов, с которыми вы соблаговолили обратиться ко мне, должны были бы исполнить меня радостью, — я несчастнее, нежели когда-либо. Постараюсь объяснить. — Привычка и долгая близость одни могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери; я могу надеяться привязать её к себе с течением долгого времени, — но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться. Если она согласится отдать мне свою руку, — я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия её сердца. Но, будучи окружена восхищением, поклонением, соблазнами, надолго ли сохранит она это спокойствие? и станут говорить, что лишь несчастная судьба помешала ей заключить другой союз, более для неё равный, более блестящий, более достойный её, — может быть, такие разговоры будут и искренни, но ей-то они уж покажутся таковыми. Не станет ли она сожалеть? Не будет ли она смотреть на меня, как на помеху, как на коварного похитителя? Не почувствует ли она ко мне отвращения? Бог свидетель, что я готов умереть за неё, — но погибнуть для того только, чтобы оставить её блистательной вдовою, свободною

завтра же избрать себе нового мужа, — эта мысль для меня ад. — Поговорим о материальных средствах; я придаю им мало значения. Моего состояния мне было до сих пор достаточно. Будет ли достаточно для женатого? Я не потерплю ни за что на свете, чтобы жена моя испытывала лишения, чтобы она не бывала там, где ей должно блистать и развлекаться. Она вправе этого требовать. Чтобы сделать ей угодное, я готов пожертвовать всеми моими вкусами, всем, что я страстно люблю в жизни, самым существованием моим, совершенно свободным и богатым приключениями. Однако, не будет ли она роптать, если положение её в свете не будет столь блестяще, как она заслуживает и как я того хотел бы?»

Ну и заключить фразой неубиенной:

«— Таковы, отчасти, мои опасения. Трепещу при мысли, что вы найдёте их вполне благоразумными».

Гордиев такой бантик из колючей проволоки. Успокойте меня, попечительная мать. Возобновите в моей памяти хотя бы одну причину, по которой самая приятная для юной красавицы участь — выйти без любви за человека без денег.

В воскресенье, 6 апреля, примерно в два пополудни, он поехал на Большую Никитскую (угол Скарятинского, напротив лавки гробовщика) — сказать «Христос воскрес!», покончить с недоразумением и полететь праздновать к Ушаковым. В полчетвёртого вышел на улицу, имея на безымянном пальце обручальное кольцо: помолвку распубликовать немедленно, венчание — до Петровского поста, то есть самое позднее — в мае. Как только готово будет приданое — нет, не недвижимость, о недвижимости — не сейчас, — а, знаете, простыни, скатерти, конфекцион, кой-какие украшения — купить-то недолго, на Кузнецком всё есть, — деньги вот-вот пришлют, ожидаем со дня на день.

Признаюсь: дойдя до этого места, я тоже, как и вы, покачал удручённо головой. Даже чуть не присвистнул от разочарования. Эх, Автор вы Автор, — подумал я, — где ваше хвалёное мастерство? а ещё считаетесь — лучший стилист. Т. е. придумано-то, конечно, здорово: после такого абзаца головоломка-лабиринт «Доставь Пушкина в Болдино»

решается в три хода (потом покажу), — но это же просто ловкость рук. Это вульгарный водевильный прием — так и вижу эту мизансцену на Малом театре: комическая старуха в атласном чепце простирает издали объятия входящему в гостиную смущённому франту (публика отлично знает, отчего он смущён). — Я всю ночь не смежила глаз, — пискляво восклицает она, — я рыдала над вашим письмом! — и в левом щупальце у неё действительно оказывается конверт с приставшим к нему кровавым обломком сургуча; внутри, без сомнения, тот самый документ, над которым бедняга трудился (громко повторяя вслух каждую выводимую фразу) в предыдущем явлении; ух, и задаст же она ему — и поделом, — предвкушает зал, но не тут-то было — актриса продолжает: — Оно растопило лёд моего недоверия. Не сомневаюсь более — вы поистине любите мою Зизи. Знайте же — она ваша отныне! Вручаю вам её. Дочь моя, подойди, я вас двоих благословлю.

В кулисе, скрипя, отворяется дверь. В неё протискивается обшитая оборками огромная перина. Франт в отчаянии рвёт на себе бакенбарды. Зрители злорадно хохочут. Аплодисмент.

Ах, Автор, Автор, — укоризненно думал я, — так поступить с письмом Пушкина! и каким письмом! Он же там — от волнения, от искренности, от гениальности наконец — впадает в ясновидение. Там же всё предсказано буквально и подробно — что́ их обоих ожидает, если он женится на ней. На восемнадцатилетней бесприданнице. (Он ещё не знал, что она бесприданница.) Не читавшей не только его стихов, а вообще ничего.

§ 2. ПРИДАНОЕ. НЕЧТО О ДЕФолТЕ. ПОСАЖЁННЫЙ ОТЕЦ

Тот поразительный прогноз представлял собою цепочку уравнений с одним — с одним и тем же — неизвестным. И выглядел достоверным (и сбился ведь) при объявленном условии, что $x <$ или $= 0$. В таком виде он был даже неотразим, приобретая черты морального парадокса: какой-то абсурд, дорогая Madame, и некрасота — получается, как будто мы с вами пренебрегаем интересами вашей дочери только для того, чтобы удовлетворить мою страсть.

Однако стоило принять — или стоило дать Пушкину понять, — что не все жребии равны для бедной N., что заветный x , пусть не намного, но всё-таки определенно > 0 , — и письмо теряло (на время) смысл, а ситуация получала — совершенно новый.

В математике это действие называется — подстановка. С чего, собственно, взяли вы, учащийся Пушкин, будто искомое неизвестное не может быть выражено положительным числом? в домашнем задании про это — ни слова. Возьмите-ка тряпку и сотрите ваши измышления, смелей, смелей — courage! courage! Теперь берите мел и пересчитайте всё сначала на других условиях — как знать: вдруг новый итог нас порадует больше?

Без сомнения, что-то такое и произошло в то Светлое воскресенье 1830 года: подстановка по подсказке — не обязательно умышленно неверной. Не скрыть от человека, что ему непритворно рады, что им дорожат и боятся его потерять, — с иными, mesdames, этого бывает достаточно: растаяв, кипят и, если не убавить огонь, воспламеняются.

Н. И. Гончарову не умиляли т. н. страсти мужчин, но уж фантазии девиц — не занимали вовсе; и посоветоваться с петербургской тетушкой она не могла — ввиду отсутствия мобильной, междугородной, вообще телефонной связи. Времени не было, Пушкин уплывал из рук. Старинной фамилии; высшего общества; известен государю; почти наверное не злой; ах-ах, ниже ростом! какие нежности при нашей бедности; ах-ах, ногти красит и не стрижёт! говорят — игрок; говорят — волокита; а вокруг-то ангелы без вредных привычек так и выются, не правда ли?

Впоследствии Пушкин с Натальей этой Ивановной даже подружился ненадолго, вместе выпивали: пьющая была; когда его спрашивали: с чего это он забрал к себе её дочерей, он добродушно отвечал: а она всё пьет и с лакеями это самое.

Не совсем комическая старуха. Сорок пять лет. Незаконнорождённая иностранка (как Фет, как Герцен). Замужем за умалишённым наследником впавшего в слабоумие миллионера. Муж заперт на втором этаже; время от времени принимается выть; вырвавшись и стащив на кухне нож, бывает опасен. Три девицы под окном, и сыновей трое: чиновник, офицер и гимназист. Имение (всё ещё огромное: в разных местностях 3450 душ; отец свёкра, купец, устроитель парусинных фабрик, круто приподнялся при Екатерине на оборонном заказе) — словно отложилось: ни полушки ниоткуда; долг на нём — Пушкину столько не проиграть за всю оставшуюся жизнь: миллион (или полтора — кто же считал); реальная же наличность — из ломбарда, под заклад bijoux.

Выход-то был: ходатайствовать об учреждении опеки. Спасти остатки состояния. Но — и объявить на всю Россию: надворный советник Г. вследствие повреждения в уме разорился. Поторопитесь, господа женихи, поспешите! Конкурс на лучшее брачное предложение для его дочерей открыт!

А у Н. И. был такой же *idée fixe*, как у Золушкиной мачехи: чего бы это ни стоило, её дочери будут танцевать на балах во дворце. (Имелась и соответствующая *idée fixe* у травма в биографии: Автор учёл всё! — но сохраним тайну; надоедает, знаете, подкручивать мелкоскоп.)

И если ей приходило в голову, что Пушкина послал ей Бог, — не так уж это и смешно.

Как посмотреть. Всё зависит от ракурса. В моём — набор фигур иной, и расстановка их, и последовательность ходов: это её, Н. И. Гончарову, подвёл к Пушкину Автор истории литературы. Под предлогом — по-прежнему настаиваю — водевильным.

Но признаю шекспировский расчёт. Шекспир тоже не брезговал антуражем водевиля: мышеловками, оброненными платками. А чтобы построить трагедию — чтобы жизнь главного героя вошла в его гибель, как ключ в скважину замка, — тоже использовал специальных персонажей: предсказуемо самовольных эгоистов.

И, кстати, у Шекспира тоже бывают эпизоды, когда декорация вдруг рассеивается, впуская текст про то, что произойдёт, если эти действующие лица сделают то, что собираются сделать. А они не пытаются даже снизить скорость; собственно, для скорости они и нужны.

Решительная поневоле. Возможно, чёрствая, — но вполне допускаю, что в ту ночь, на Пасху 1830 года, в какое-то мгновение она и сказала себе: этот человек прав — добром не кончится — он погибнет. Мало ли какие мысли мелькают, пока стоишь за всеобщей. Когда у самой жизнь валится из рук. И он же не написал прямо, что тоже без гроша.

Ну и ему не сразу сообщили самое забавное. Что дедушка Гончаров, безусловно, с наслаждением подарит Таше деревеньку — да хоть две — в ближайший после дождика четверг (непреодолимые бюрократические препоны). А покамест — чтобы не так скучно было ждать — выкатит из подвалов Полотняного завода колоссальную фамильную драгоценность. Монумент. Бронза. Немецкая работа. Императрица Екатерина Великая во всей своей славе. Толкнуть, например, государству — вот и приданое. Или, наоборот, — опять же с дозволения государства (такому влиятельному человеку, как Пушкин, не откажут) — перелить. Т. е. реализовать по цене металлолома. Тысяч за сорок. Для любимой внучки не жалко. Как не больше семи рыночная цена? Вот что, ребята: заносите-ка царицу обратно в подвал, облакивайте опять соломой. — А чего вы хотите? Маразм.

(Ай да Автор. Упорный мастер мелочей. Не статую, а её движущуюся, разрисованную окислами XVIII века, — тень. Взамен капитала. На счастье. На память. Ради Каменного, и Медного, и Пиковой между ними.)

А нужно было позарез живыми деньгами тысяч пятнадцать, лучше двадцать. Из них десять — сию же минуту: чтобы невесте и остальным дамам Гончаровым было в чём красоваться в церкви и потом на танцах. Н. И. после бурного, но непродолжительного сопротивления согласилась принять от Пушкина эти десять тысяч — разумеется, с отдачей (разумеется — без). Оставалось их раздобыть.

Разморозить два слабых актива. Написать два письма и отослать в Петербург. Всего два монолога построить — а там будь что будет. Пушкин же не знал, что успех обеспечен. Внутренний голос не слушался, дрожал; выручал слух; и всё равно первое письмо чуть было не вышло правдивым, т. е. отчаянным.

«Дорогие родители, обращаюсь к вам в такой момент, который решит-определит остальную мою жизнь. — Я обращаюсь к вам в момент, который определит мою судьбу на всю остальную мою жизнь. ~~Уже год как Уже. Я намерен жениться на девушке, которую я люблю уже год — М. Г., о которой вы М-ль Натали Гонч. Это М-ль Гонч. Я получил её согласие и согласие её матери. Прошу вашего благословения не как пустой формальности, но с внутренним убеждением в том, что это благословение необходимо для моего нашего счастья, т. е. для счастья моего нашего благополучия — Надеюсь и да будет последняя половина моего существования более для вас более утешительна, чем моя печальная молодость. Я получил согласие. — Состояние г-жи Г. служит препятствием будучи есть очень расстроено и находится в зависимости моё собственное она должна была сделать мне. Я получил согласие м-ль Гончаровой. — У меня отчасти от состояния её свёкра. Эта статья — единственное возражение препятствие для моего счастья — Любя безнадежно. Я был бы Я был бы Я был бы очень несчастлив — но если, получив её согласие. У меня нет смелости силы даже помыслить от него отказаться. Для меня гораздо более подход. Легко надеяться на то, что вы~~

придёте мне на помощь. Заклинаю вас, напишите мне, что вы можете сделать для...»

Тут он опомнился. Сколько лишних слов. Сколько чувств. Сдавшемуся блудному сыну чувство полагается одно: почтительность (и в ней — два оттенка: сокрушение и ликование). Парной телятиной угощают не того, кто грузит своими проблемами владельца стад. Празднество «воскресения из непочтительных» — не омрачай, не омрачай. Переписать высокопарней.

Однако не тотчас. Вообще, не с этого надо было начинать. А вот с чего:

«Mon Général!

С крайним смущением обращаюсь я к Власти в обстоятельствах чисто личных, но положение моё и участие, которое вам угодно было выказывать ко мне до настоящего времени, обязывает меня к этому.

(Как мила эта искренность! эта доверчивость! эта серьёзность.)

— Мне предстоит женитьба на м-ль Гончаровой, которую вы, вероятно, видели в Москве: я получил её согласие и согласие её матери;

(Ух ты! Это же, можно сказать, жребий брошен, Рубикон перейдён, корабли сожжены. О таких событиях своей жизни совершеннолетний дворянин поистине обязан извещать госбезопасность, а через неё — национального лидера. Хотя бы и задним числом: вдруг они ещё не в курсе. А теперь — к делу: что нужно-то?)

...два возражения были мне при этом сделаны: моё имущественное состояние и положение моё по отношению к правительству. Что касается состояния, то я мог ответить, что оно достаточно, благодаря Его Величеству, который дал мне способы жить честно своим трудом.

(Эту фразу отчеркните на полях красным карандашом, будьте добры.)

Что же касается моего положения, то я не мог скрыть, что оно фальшиво и сомнительно. Я исключён из службы в 1824 году, — и это пятно остаётся на мне.

(Ай-я-яй. Чем же смыть пятно? Зачислить опять в ряды?)

Выйдя из Лицея в 1817 году с чином 10 класса, я так и не получил двух чинов, которые следовали мне по праву: начальники мои не представляли меня, а я сам не позаботился о том, чтобы им о сём напомнить. Ныне, несмотря на всё моё доброе желание, мне было бы тягостно вновь поступить на службу. Место совершенно подчинённое, какое позволяет мне занять мой чин, не может быть для меня подходящим. Оно отвлекло бы меня от моих литературных занятий, которые дают мне средства к жизни, и доставило бы мне лишь бесцельные и бесполезные хлопоты. Итак, мне не должно вовсе об этом и думать.

(Не должно, ах, не должно, — не обращайтесь внимания: поток сознания. Короче: в замы к г-ну Башмакину — понта нет, начальник; а департамент возглавить — разве я генерал? Разве есть на свете сила, способная превратить коллежского секретаря — хотя бы в статского советника? неужто есть? Но мне не должно об этом думать, ах, не должно! Первую песенку покрасневшись спеть.)

Г-жа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у Императора.

(Боится — как же отдаёт?)

Мое счастье зависит от одного благосклонного слова Того, к Кому привязанность и благодарность моя теперь чистосердечны и безграничны.

(Ну конечно. Справка для предъявления тётце. За подписью: Царь. По результатам прослушки и перлюстрации податель сего признан политически здоровым. С приложением большой государственной печати. Не замедлите выписать, Александр Христофорович.)

— Ещё об одной милости. В 1826 году я привез в Москву свою трагедию «Годунов»... *(Следует — ни с того ни сего — чуть не целая страница литературной теории: по каким своим — никого не интересующим! — резонам не вымарал, что велели, не переправил, — и, стало быть, лучший в мире редактор старался зря.)* — В настоящее же время обстоятельства заставляют меня спешить, и я умоляю Его Величество развязать мне руки и позволить напечатать мою трагедию в том виде, как я считаю нужным. —

Ещё раз — мне страшно совестно, что я так долго занимал вас собою. Но ваша снисходительность меня избаловала...»
И проч.

Разумеется, его потреплют презрительно по щеке — и больно ущипнут за ушко, как обращались в прошедшем веке с шутами, — раз сам запросился: государь император надеется, — передадут ему, — что Пушкин нашёл в себе необходимые качества сердца и характера, чтобы составить счастье женщины, в особенности столь любезной и столь интересной, как м-ль Гончарова.

Попробовал бы кто-нибудь — например, английский король — так поздравить Байрона. Разве это не тот самый сорт иронии, который употребляется на дипломы ордена рогоносцев? Пушкин — горячо благодарил. Что-то такое о благосклонности («смею сказать — совершенно отеческой...»)

А как же: морщась и кривясь, но ведь вытащили из-под сукна беднягу Годунова! И — словно глядя в ещё не написанного «Скупого рыцаря»:

Пускай отца заставят

Меня держать как сына, не как мышь,

Рождённую в подполье, —

как и было задумано, продиктовали негромко (тут без Жуковского не обошлось) Сергею Львовичу другие полтора стиха:

...назначьте сыну

Приличное по званию содержанье...

Или не диктовали. Жуковский, конечно, проговорился Сергею Львовичу, что инстанции в курсе последней инициативы его сына и в целом одобряют её как верный шаг на пути к исправлению. А Сергей Львович сам, без указаний, просто от родительского восторга, впал в самоотверженную щедрость. («Я мог не верить письмам твоим, слезам его, но не мог не поверить его Шампанскому», — написал Пушкину потрясённый Вяземский.)

«Да будет благословен тысячу и тысячу раз вчерашний день, мой дорогой Александр, за письмо, которое мы от тебя получили.

(Своевременно переработанное.)

Оно исполнило меня радостью и признательностью. Да, мой друг, именно так. Уж с давнего времени я позабыл сладость таких слёз, какие я проливал, читая его. Да изошьёт небо свои благословения на тебя и на любезную подругу, которая составит твоё счастье. Я хотел было ей писать, но не осмеливаюсь ещё это сделать, из опасения, что не имею на это права. [...] — Перейдём к тому, что ты мне говоришь по вопросу о том, что я могу тебе дать. Ты знаешь состояние моих дел. Правда, у меня тысяча душ, но две трети моего имения заложены в Воспитательном Доме. Олиньке я даю около 4000 р. в год. У меня остаётся из имения, доставшегося мне по разделу с моим покойным братом, 200 душ совершенно чистых, — и их я передаю тебе в твоё полное и совершенное распоряжение. Они могут дать 4000 р. ежегодного дохода, а со временем, быть может, дадут тебе и больше. — Мой добрый друг! — и проч.

Ну вот, почти и приплыли. Эти 200 совершенно чистых душ м. п. с жёнами и детьми населяли, как оказалось, село Кистенёво, Тимашево тож, Алатырского (потом Сергачского) у. Нижегородской губ. Располагавшееся — надо же! — близ самого села Болдина. Что и требовалось доказать. Души же надо, сверив со списком, принять на месте. (И Cholera morbus уже показала в низовьях Волги. Болдинская осень неизбежна.)

Заложить в Опекуном совете — 200 р. за штуку — и за вычетом срочных выплат останется как раз на приданое (11 тысяч) и на первый год счастья (17 000). Именно такой он представлял себе расходную часть семейного бюджета, — и надо признать, что это была реалистичная оценка. Даже в Петербурге, даже с большим семейством и квартирой на Мойке такой суммы хватило бы на вполне безбедную жизнь. Другое дело — доходы, но при любом раскладе (оскудеют вольные хлеба — поклонимся Хозяину) дефицит планировался сравнительно небольшой.

«Взять жену без состояния — я в состоянии, но входить в долги для её тряпок я не в состоянии».

Но не тут-то было: вошёл, и входил всё глубже, и через шесть лет стоял уже на отметке минус 130 000. Практически — в точке невозврата. На краю дефолта, по русски —

ямы. Из которой вызволить — его — не мог уже никто, а его семью — один человек в целой вселенной. Для которого надо же было что-то сделать. Например — написать книгу «Божией милостью Николай» (серия ЖЗЛ, издательство «Молодая гвардия»; Уваров подсуетится с французским переводом — вот и европейский бестселлер). Или — тоже например — умереть.

Или вам угодно полюбоваться на писателя в яме? Как он там извивается и копошится и стремительно мельчает, стремительно же ветшая. (Ничто так не способствует износу, как неоплатные долги. С этого времени Пушкин заметно для всех старел примерно на месяц за неделю. Так ведь старость и есть — осознанная неплатежеспособность.) Как безбоязненно оскорбляют его бессовестные. Как брезгливо сострадают ему порядочные. Как те и другие спешат великодушно его простить, едва лишь он протянет наконец ноги. Простить и забыть: ну не вовремя умер, опоздал, с каждым может случиться, но никому не пожелаешь. Смерть после смерти — небось, полегче смерти до. А как трудно в промежутке.

Ну конечно, это не про Пушкина. Допустить Пушкина до такой развязки Автор истории русской литературы не посмел бы. Хотя зачем-то всё подготовил, экономически обосновал. Наверное, на всякий случай. Просто чтобы Пушкин всё время помнил: спасенья нет. (Как говорится: на тот и этот случай неумолим закон — в холодный твёрдый мрамор ты будешь превращён.) Чтобы не тормозил. Не сопротивлялся. Дал себя погасить.

Сроки поджимали. При малейшем промедлении — скажем, если бы Дантес не попал, — вся эта хваленая история литературы поползла бы по швам, и лет через восемьдесят, того гляди, пришлось бы перелицовывать — вплоть до переименования Пушкинского Дома, а это, вы же помните, не пустой для сердца звук.

Стало быть, к чертям критический реализм, пусть всё будет, как в жизни — очень быстро и без мотивировок. Как в водевиле, как в мелодраме. На вопрос: «почему?» — мелодрама отвечает односложно: честь! или: страсть! — а вопроса: «зачем?» просто не слышит — занята — заряжает пистолеты. Вопрос и вообще-то — бессмысленный, а тем

более — в такой момент. Вопреки мнению Вен. Ерофеева, каждый советский школьник объяснит вам (не хуже, чем про политуру), что самое эффективное средство от сплетни — скандал со стрельбой. И — чью репутацию защищает, предположим, П., когда, получив глумливое извещение, что его супруга — фаворитка некоего Р., — объявляет своим соперником некоего Д. и затевает с ним кровавую ссору.

И что наперсниками разврата назывались в XIX веке сторонники самодержавия и крепостного права*.

То же самое и с водевилем: карте — место, тронул — ходи, судьба — индейка. Вот некоторые полагают, что тогда, рокового 6 апреля 1830 года, Пушкин, как Германн в «Пиковой даме», обдёрнулся: а если бы велел извозчику вместо Большой Никитской катить, как обычно, на Пресню, то (даже оставляя в скобках, что Екатерина Ушакова любила стихи Пушкина и даже вроде бы в него была влюблена), по крайней мере, не так скоро попал бы на счётчик.

И ведь она тоже была красивая: пепельная, говорят, блондинка с синими, говорят, глазами. Но, во-первых, нас не касается. Во-вторых — история литературы, вы сами видели, строго следит за тем, чтобы тексты основного канона были написаны все до одного. (Подозреваю, между прочим, что наш Автор — дама.) В-третьих — сравнили тоже: двадцать второй год — или осьмнадцатый**. «Ах! точно ль никогда ей в персях безмятежных желанье тайное не волновало кровь? Ещё не сведала тоски, томлений нежных? Ещё не знает про любовь?» (Грибоедов). «А знаете, у ней личико вроде Рафаэлевой Мадонны. Ведь у Сикстинской Мадонны лицо фантастическое, лицо скорбной юродивой, вам это не бросилось в глаза?» (Свидригайлов).

Но в-четвёртых — всё-таки никого не касается. И вообще — всё вышеизложенное рассказано только потому, что ни один сюжет не начинается с самого начала: всегда — значительно раньше.

Кстати. Всё забываю вас предупредить: это не о Пушкине будет трактат. Боже нас упаси. В печальной — а вероятно, и скучной — истории, которую я почему-то считаю долгом рассказать, роль Пушкина почти случайна. Как если бы он в горах Кавказа — предположим, путешествуя в Арзрум, —

запустил в пропасть огрызком яблока, а через минуту где-то далеко внизу тронулась каменная река и кого-нибудь задавила. Какого-нибудь незначительного (с Пушкиным-то по сравнению), несимпатичного (да хоть бы и симпатичного) несчастливца, который, конечно же, сам виноват, что свернул на заведомо опасную дорожку. Причём отнюдь не исключено, что оползень начался сам по себе, огрызок яблока ни при чём абсолютно. А всё-таки это Пушкин его швырнул. И с таким выражением лица, словно метил в змею. Поскольку пребывал в дурном расположении духа — по множеству причин. Первая из которых была как раз та, что он (пора наконец оборвать эту фигуру речи) не странствовал в горах Кавказа, а застрял в Москве. Устраняя затруднения, препятствовавшие бракосочетанию, — какая тоска.

В посажёные матери он пригласил княгиню Вяземскую — назло московскому бомонду, в котором ни у него не было друзей, ни Гончаровы не котиrowались; немного аристократического блеска не помешает. На место посажёного отца тоже намечалась кандидатура — и шикарная — князь Юсупов! — но как подступиться?

Николай Борисович Юсупов был последний из славной стаи екатерининских птеродактилей. Его доставали из клетки не чаще, чем раз в эпоху: на коронациях (Павла, потом Александра, а затем и Николая) олицетворять связь времен. Слышите пробирающий до мурашек электрический баритон (длина паузы возрастает пропорционально силе выдоха)?

— Верховный маршал комиссии о коронации — действительный тайный советник первого ранга — кавалер орденов: святого Владимира первой степени — святого Александра Невского — святого равноапостольного Андрея Первозванного — командор Большого креста ордена святого Иоанна Иерусалимского — его сиятельство — князь Юсупов-Княжево!

И по телеэкрану семенит на высоких красных каблуках маленький румяный черноглазый старичок в пудреном паричке с косичкой.

В остальное время он, резвясь, порхал. Клетка у него была огромная, роскошно украшенная, страшно дорогая, называлась: Архангельское под Москвой. На случай приступа

зимней скуки имелись и в самой Москве подходящие апартаменты и синекура: начальник Кремлёвской экспедиции (проще — Московской дворцовой конторы, как она и была после его смерти переименована) — штат и бюджет необъятны, обязанность же: время от времени удостоверяться, что в учреждениях, расположенных на вверенной территории, всё идёт, как идёт.

Вообще-то, если в предыдущем воплощении вы были человеком советским начитанным, то помните Николая Борисовича: мы с вами застали его как раз на рабочем месте: в VII главе «Былого и дум».

Возглавляемая им Экспедиция была, так сказать, свободной административной зоной: бюрократические порядки XIX века на неё не распространялись (точнее, Н. Б. плевать на них хотел), — сюда и в 1820 году всё ещё можно было записать канцеляристом восьмилетнего ребёнка. Понятно, не с улицы, а ежели, к примеру, малыш приходится, так сказать, воспитанником гвардии капитану и кавалеру Ивану Алексеевичу Яковлеву, с которым в своё время, ещё в Петербурге, доводилось и жжёнку пить, — и вообще тогда Яковлев и Юсупов вращались в одном кругу. Классовая солидарность плюс общечеловеческие ценности: капитанский воспитанник — статус, прямо скажем, ниже плинтуса, Иван же Алексеевич прихварывал; случись что, незаконному наследнику, начав с нуля, карабкаться в дворянство полжизни. А «Колокол» кто будет издавать?

Так что Герцен, не проведя на службе ни часа, был уже губернским секретарём, когда (в 1829 году) решил поступить в МГУ на дневное, хотя для таких, как он, мелких, но перспективных (т. е. со связями или с деньгами) служащих предусмотрены были краткосрочные вечерние курсы: отсидите положенное число лекций, сдайте экзамены (своим же репетиторам: 20 р. профессору за урок) — и карьера открыта до самого горизонта; спешите, как говорится, делать добро. На что ему, Герцену, и указали в университетском Совете: дескать, вам, юноша, в другую дверь — и вам же лучше, там лестница не такая крутая, быстрее взберётесь, куда стремитесь; а в студенты чиновников не принимают; не положено. Но юноша желал во что бы то ни стало овла-

деть правильной методой мышления. Даже ценой потери трудового стажа. Тут-то князь Юсупов и оказал услугу освободительному движению.

«Он позвал секретаря и велел ему написать отпуск на три года. Секретарь помялся-помялся и доложил со страхом пополам, что отпуск более нежели на четыре месяца нельзя давать без высочайшего разрешения.

— Какой вздор, братец, — сказал ему князь, — что тут затрудняться; ну — в отпуск нельзя, пиши, что я командирую его для усовершенствования в науках — слушать университетский курс.

Секретарь написал, и на другой день я уже сидел в амфитеатре физико-математической аудитории».

Вот каков был князь Юсупов. Своих не сдавал и отказа не терпел. Дядюшку Пушкина (не родного, не Василья Львовича, а супруга Елизаветы Львовны — Сонцова), — тот тоже служил в Экспедиции — он лет пять тому представил к пожалованию в камергеры. А Сонцов был всего лишь статский, что ли, советник, — выше камер-юнкера ему не полагалось — камер-юнкера и дали. Юсупов — неслыханное дело — направил протест: Сонцов будет в камер-юнкерском мундире выглядеть комично — слишком толст! Император Александр — тоже небывалая вещь — уступил.

Потому что Николай Борисович имел его бабушку. То есть наоборот. (В Архангельском, в одной из зал, висела, пока император Павел не отобрал, картина, на которой Юсупов и Екатерина II были запечатлены в прикиде Аполлона и Афродиты. Интересы к делу Н. Б. не утратил и на девятом десятке: для большого чувства содержал балерину, для обмена веществ — крепостной мюзик-холл со стриптизом, не чурался и случайных связей; одной барышне, какой-то Вере Тюриной, не далее как в позапрошлом году, предлагал, по слухам, 50 тысяч.)

Также считалось, что он образован: объездил всю Европу и повидал вблизи самых умных людей XVIII века. Но, по правде сказать, Пушкин знал цену его уму — вряд ли цена была высока. Бывают такие говоруны: плетут гирлянды из имен собственных, закрепляя только слюной. Попросишь их рассказать что-нибудь про, например, Фонвизина: как же,

как же, Фонвизин! когда-то мы с ним жили в одном доме — блестящая личность! в разговоре это был второй Бомарше! в Лондоне мы с Бомарше были не разлей вода, плялись по тавернам, и т. д. без конца. Ни суждений, ни даже воспоминаний, — в лучшем случае выдаст такой мемуар:

«Майков, трагик, встретя Фонвизина, спросил у него, заикаясь по своему обыкновению: Видел ли ты мою Агриппу? — Видел. — Что ж ты скажешь об этой трагедии? — Скажу: Агриппа, зас...ая жопа».

(— Остро и неожиданно? Не правда ли? — усмехается Пушкин. И Вяземский откликается: — Хорош Юсупов, только у него и осталось в голове, что ж..а.)

Года два назад, когда Пушкин был в большой моде, Юсупов как-то задал ему и Соболевскому обед. (Ехали в Архангельское верхами, разбрызгивая сверкающую грязь: дело было весной.) С тех пор, встречаясь иногда в гостиных, раскланивались очень приветливо. Но заполучить его в друзья — чтобы просить о дружеской услуге, — способ у Пушкина был один. Тщеславный старик, почитая себя первым вельможей империи, страстно желал, чтобы первый поэт его воспел. (Остаться призраком дяди Фамусова было бы грустно; а про Герцена кто же знал, что у него будет такой талант.)

И 23 апреля 1830 года Пушкин, покончив с письмом к Вяземской (там славный каламбур: поймите меня правильно, дорогая княгиня — j'angage в ломбард не вас, а 200 pausans, — а вас j'angage à être ma Посаженная Мать), в один присест сочинил большое стихотворение под заглавием «Послание к К. Н. Б. Ю***».

§ 3. ОДА. ПАСКВИЛЬ. НЕЧТО О ПУРГЕ

От северных оков освобождая мир,

Лишь только на поля, струясь, дохнёт зефир,

т. е. когда под воздействием поступающих масс тёплого воздуха начнётся таяние льда и снега: метафоры общего пользования — вроде статуй в петербургском Летнем саду — того же качества и в таком же состоянии; а синтаксис симулирует симптомы полиомиелита; но сию же секунду исполнит сальто вперед:

Лишь только первая позеленеет липа,

— вот видите: опустил рупор, сказал строку обыкновенным голосом — всё стихотворение осветилось улыбкой: а вы что подумали? абзац, подумали, отстой? (Обратите внимание, г-н переводчик: растительность не зазеленеет, а *по*-; как будто цвет проступит на белом мгновенно; кстати, целое время года пролетело — вся весна, —

К тебе, приветливый потомок Аристиппа,

К тебе явлюся я; увижу сей дворец,

Где циркуль зодчего, палитра и резец

Учёной прихоти твоей повиновались

И вдохновенные в волшебстве состязались.

Пробел. Отступ. Пауза. Переход от буклета к портрету:

Ты понял жизни цель: счастливый человек,

Для жизни ты живёшь.

И лёгкий какой переход. Как четыре действия арифметики. Не купишь Рембрандта, Ван-Дейка, Тьеполо, не позволишь себе заказывать настенные панно Роберу (а декорации домашнего театра — Гонзаго), не имея годового дохода этак под миллион р. Каковую сумму в дровах не найдёшь: на неё

должны скинуться 40 тысяч крестьянских семейств, или 200 тысяч человек. Которых нельзя же завоевать — а только получить по наследству либо (это как раз наш случай) как гонорар или презент. А потом за долгую-предолгую жизнь, целиком посвящённую исполнению собственных желаний, — не промотать. Тут одного везения мало, а нужна особая за-слонка в организме, или клапан, — чтобы расход никогда не превышал дохода, как в правильно устроенном бассейне. Резвись, погодок Радищева, не знай печали — раз от младых ногтей сообразил, что к чему. Толковым счастьем.

Вот приказал бы его сиятельство своему библиотекарю (необозримая, говорят, была в Архангельском библиотека; на самокрутки, должно быть, пошла): а принеси-ка сюда, голубчик, Диогена Лаэртского — «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», издательство «Мысль», 1979 год, — поглядим, кого тут нам в почётные предки назначают, — убедился бы (удивился бы): Аристипп-то при-плетён не для красного словца.

«Он умел применяться ко всякому месту, времени или человеку, играя свою роль в соответствии со всею обстановкой. Поэтому и при дворе Дионисия он имел больше успеха, чем все остальные, всегда отлично осваиваясь с обстоятельствами. Дело в том, что он извлекал наслаждение из того, что было в этот миг доступно, и не трудился разыскивать наслаждение в том, что было недоступно. За это Диоген называл его царским псом.»

Вот, видите. А Грибоедов почти так же отзывался о Ю***: старый придворный подлец.

«...Когда Дионисий плюнул в него, он стерпел, а когда кто-то начал его за это бранить, он сказал: “Рыбаки подставляют себя брызгам моря, чтобы поймать мелкую рыбёшку; я ли не вынесу брызг слюны, желая поймать большую рыбу?”»

Исключительно взвешенная концепция морских брызг. Не думаю, впрочем, что Ю*** осмелился бы изложить её с такой же безбоязненной прямоотой. Тут Аристипп напоминает нам, скорей, С. В. Михалкова.

«...Кто-то осуждал его за то, что он живёт с гетерой. “Но разве не всё равно, — сказал Аристипп, — занять ли та-

кой дом, в котором жили многие, или такой, в котором никто не жил?” — “Всё равно”, — отвечал тот. “И не всё ли равно, плыть ли на корабле, где уж плавали тысячи людей или где ещё никто не плавал?” — “Конечно, всё равно”. — “Вот так же, — сказал Аристипп, — всё равно, жить ли с женщиной, которую уже знавали, или с такой, которую никто не трогал”».

Пластично изъяснялся, шельма. Хотя по широте кругозора — сущее дитя. Это же мораль русской революционной демократии. Пафос Добролюбова, Некрасова, романа «Что делать». Мелкие плователи, до Ю*** им было страшно далеко: тот располагал мощным флотом. В Архангельском имелась галерея наподобие Военной в Зимнем дворце: 300 завоёванных дам, холст, масло, золочёный багет. Это не считая вспомогательной эскадры — крепостного т. н. гарема. Наличие которого так раздражало московскую интеллигенцию.

«...Человека, который порицал роскошь его стола, он спросил: “А разве ты отказался бы купить всё это за три обола?” — “Конечно нет”, — ответил тот. “Значит, просто тебе дороже деньги, чем мне наслаждение”».

Сходство-то намечается. И впрямь как бы фамильное. Аристиппический такой образ.

А ведь Пушкин навряд ли читал Диогена Лаэртского. Советское издание — только по благу, древнегреческий же в России знали как следует человека три: Дашков, Гнедич, Надеждин (и то не факт). В каком-то романе Виланда как будто фигурировал этот Аристипп, основоположник или предтеча т. н. гедонизма, — но у Пушкина не хватило бы терпения на немецкую беллетристику.

Ум человека умного ходит по вертикали: вверх или вниз (и соответственно бывает высоким либо глубоким), выводя, извлекая, доставая новое знание из толщи имеющегося. Отчего не допустить, что ум гения работает, отражаясь от поверхностей: как солнечный зайчик или теннисный мяч. Пересекая параллельные линии наискосок. (То-то у советской школы и цензуры ключевая была забота — отучить сопоставлять.)

Свой долгий ясный век
Ещё ты смолоду умно разнообразил,

Искал возможного, умеренно проказил;
(Вошёл в фавор и вышел из него как мог незаметней.)

Чредою шли к тебе забавы и чины.

Точка. О доблести, о подвигах, о славе, о принесённой отечеству пользе — ни звука. Ничего себе — воспел.

«Пушкин говорил Максимовичу, что князю Юсупову хотелось от него стихов, и затем только он угощал его в своём Архангельском. — “Но ведь вы его изобразили пустым человеком!” — “Ничего! Не догадается!”»

А догадался бы, прочитай он в «Онегине»: блажен, кто смолоду был молод, и т. д. О ком твердили целый век: NN — прекрасный человек. Но раз трудовой путь очерчен, пора переходить на жизненный:

Посланник молодой увенчанной жены,
— тоже удивительно, тоже бывает чаще с гениями: как только скучно и неточно, слог тускнеет сразу; как шкура кашалота, вытащенного на мель; вот даже падежные окончания теряют чувствительность: кто тут, собственно, молод — он или она? Всё равно, потому что всё неправда. Пока императрица была молода, Ю*** ходил под стол пешком. А посланником (между прочим, в Турин) был назначен в тридцать три года (ей стукнуло пятьдесят четыре). До тех пор он колесил по Европе как частное лицо. Богатым дикарём.

Явился ты в Ферней — и циник поседелый,
Умов и моды вождь пронырливый и смелый,
Своё владычество на Севере любя,
Могильным голосом приветствовал тебя.
С тобой весёлости он расточал избыток,
Ты лезть его вкусил, земных богов напитков.

И понравилось! До сих пор приятно вспомнить, как лебезил Вольтер, даром что мировое светило, перед интуристом, предъявившим рекомендательное письмо императрицы; как поддакивал, улыбался и кивал.

С Фернеем распротясь, увидел ты Версаль.
Пророческих очей не простирая вдаль,
Там ликовало всё. Армида молодая,
К веселью, к роскоши знак первый подавая,
Не ведая, чему судьбой обречена,
Резвилась, ветренным двором окружена.

Ну да, ну да, все историки осуждают несчастную Марию-Антуанетту за расточительность и легкомыслие. Любила дурочка подать знак к роскоши. Но это *всё*, простирающее, не простирающее вдаль пророческие (с какой стати у *всего* они пророческие?) очи, — это же чистый Гоголь, выбранные места. Не завидую вам, г-н переводчик. Тем более что меня-то вознаградит следующая строка — а вас?

Ты помнишь Трианон и шумные забавы?

Всю жизнь задаю себе этот вопрос. Какой-то в этой строке ход — глубже человеческого голоса.

Но ты не изнемог от сладкой их отравы;

Ученье делалось на время твой кумир:

Уединялся ты. За твой суровый пир

То читатель промысла, то скептик, то безбожник,

Садился Дидерот на шаткий свой треножник,

Бросал парик, глаза в восторге закрывал

И проповедовал.

Ничего не понимаю. Как это — садился за пир на треножник? Что вообще тут рассказано? Как Ю*** читал сочинения Дидро — или как слушал его лекции — или как, судя по следующей строке, — пьянствовал с ним и его друзьями?

И скромно ты внимал

За чашей медленной афею иль деисту,

Как любопытный скиф афинскому софисту.

Как хорошо. Как красиво. Как, в самом деле, — медленно. Как из-за этого *ф* гаснет звук, подобно свету. Говорю же: поэзия есть речь, похожая на свой предмет.

Но Лондон звал твоё внимание.

Лондон звал внимание. Как будто, не знаю, какой-нибудь князь Шаликов сочинял. Подавленный зевок. По плану-то дальше значился Амстердам — но попробуйте выдумать российскому петиметру приличное занятие в Амстердаме. Экскурсия на верфь? Морские ванны? Ужин на мельнице? В Лондоне можно хотя бы сводить его в парламент.

Твой взор

Прилежно разобрал сей двойственный собор:

Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый,

Пружины смелые гражданственности новой.

Вот-вот: система сдержек и противовесов.

Скучая, может быть, над Темзою скупой, —
— пустое «может быть» портит строку (и разрубает пополам
следующую), зато вносит оттенок документальной достоверности:
чужая душа — потёмки, мы просто пересказываем маршрут.

Ты думал дале плыть. Услужливый, живой,
Подобный своему чудесному герою,
Весёлый Бомарше блеснул перед тобою.
Он угадал тебя: в пленительных словах
Он стал рассказывать о ножках, о глазах,
О неге той страны, где небо вечно ясно,
Где жизнь ленивая проходит сладострастно,
Как пылкий отрока восторгов полный сон,
Где жёны вечером выходят на балкон,
Глядят и, не страшась ревнивого испанца,
С улыбкой слушают и манят иностранца.

Сам-то Бомарше остался в Англии, поскольку находил-
ся в командировке, в качестве спецагента — имея задание
кого-то там отравить. *Угадал тебя* — нельзя, кажется, по-
нять иначе, как: оценил масштаб личности. В терминах
более зрелого социализма — прокнокал, что фраер не при-
делах, политика ему до лампочки, а не терпится попро-
бовать заграничной клубнички. Ну и сплавил его в Испа-
нию: типа там европейки нежные доступней.

И ты, встревоженный, в Севиллу полетел.

Но тут Пушкину стало совсем скучно. И лень. И не-
когда.

Благословенный край, пленительный предел!
Там лавры зыблются, там апельсины зреют...
О, расскажи ж ты мне, как жёны там умеют
С любовью набожность умильно сочетать,
Из-под мантильи знак условный подавать;
Скажи, как падает письмо из-за решётки,
Как златом усыплён надзор угрюмой тётки;
Скажи, как в двадцать лет любовник под окном
Трепещет и кипит, окутанный плащом.

Семь строк беспримесной халтуры, две последние просто
смешны; а до чего фальшив риторический ход — *о, расска-
жи ж*; но будем считать, что это проба пера для «Каменно-
го гостя».

Вообще надоело. Пора обедать. Что там дальше случилось на Ю*** веку? Великая Французская революция? Пять строк.

Все изменилось. Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом сменённые забавы.

Наполеоновские войны? Одной строки хватит за глаза:
Преобразился мир при громах новой славы.

И пора подводить положительный итог. Типа: всё прошло, все умерли, а Ю*** как ни в чём не бывало. Как огурчик. И поэтому молодец.

Давно Ферней умолк. Приятель твой Вольтер,
Превратности судеб разительный пример,
Не успокоившись и в гробовом жилище,
Доныне странствует с кладбища на кладбище.
Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот,
Энциклопедии скептический причет, —

— чудесная строчка — цикада и сверчок! — и чудесная шутка: вот только что показали издалека группу западных умников (цветные камзолы, яркие жилеты, кружевные жабо), — но не успели мы мигнуть — одним-единственным словом Пушкин перенёс их на грязную деревенскую улицу в какой-нибудь Кистенёвке: бредут гуськом, подбирая подрысники, — должно быть, по вызову: старуху какую-нибудь отпеть; жаль, Даламбер не поместился в строку; а вот Морле, который практически тут ни при чём, пришелся в самый раз: ямбическая фамилия.

И колкий Бомарше, и твой безносый Касти,
— см. Википедию, хотя вообще-то незачем, смысл не переменится: *тот сатирик-сифилитик, про которого ты мне рассказывал*; а хотелось бы думать: итальянский Барков, и как он был бы кстати; кто же и Ю***, если не Лука Му.ищев на персональной пенсии? —

Все, все уже прошли. Их мнения, толки, страсти
Забыты для других. Смотри: вокруг тебя
Всё новое кипит, бывшее истребя.

Немножко заунывно, — ничего, сейчас же исправим; про нынешних: кто там кипит-то? Чёрствы́е новые взрослые. Скучные ребята. Bourgeoisie.

Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколения.
Жестоких опытов собирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры,
Иль спорить о стихах. Звук новой, чудной лиры,
Звук лиры Байрона развлечь едва их мог.
Один всё тот же ты.

В смысле — один ты всё тот же (но так даже торжественней). Хлебосол. Гурман. Ценитель изящного. Что ещё? Ах да: хранитель традиций.

Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.

Приближаемся к финальному комплименту. Жизнь прожита не зря и продолжается с толком:

Книгохранилище, кумиры и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне,
Что благосклонствуешь ты музам в тишине,
Что ими в праздности ты дышишь благородной.

Дышишь ими; заодно и благосклонствуешь им. Круто, правда?

Я слушаю тебя: твой разговор свободный
Исполнен юности. Влиянье красоты
Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты
И блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой.

Вот это необходимая строчка, козырная. И рифма наготове:
Беспечно окружась Корреджем, Кановой,
Ты, не участвуя в волнениях мирских,
Порой насмешливо в окно глядишь на них
И видишь оборот во всём кругообразный.

Наконец-то. Возвращаемся к философии, через неё — к античности. Закругляем.

Так, вихорь дел забыв для муз и неги праздной,
В тени порфирных бань и мраморных палат,
Вельможи римские встречали свой закат.
И к ним издалека то воин, то оратор,
То консул молодой, то сумрачный диктатор
Являлись день-другой роскошно отдохнуть,
Вздохнуть о пристани и вновь пуститься в путь.

До чего хорошо. Какой вздох на последней цезуре. Весь текст сразу становится вдвое глубже. Это как в том стихе

про Трианон: предложение идеально исполняет свою интонацию. А как искусно брошен в заключительные строки — блик от начальных. Вообще — мастерство не пропьёшь.

Немножко небрежно, а все-таки прекрасно. Мысли не кипят, но задумчивость — налицо. Адресат вроде бы почтён (и должен быть польщён) — но и гордость отправителя не страдает: ничего не солгано; напитка земных богов — разве что самая капелька, ровно сколько требует светская вежливость.

Мы непременно увидим князя Ю*** посажёным отцом у Пушкина на свадьбе, непременно. И на домашнем балу, дня через три, он будет самым весёлым из гостей:

— Танцуйте, господа, танцуйте! Были бы у меня силы, я бы и сам сегодня танцевал!

Короче говоря, симпатичное стихотворение. С историей. Будь оно зданием в городе вроде Петербурга — считалось бы эталоном т. н. фоновой застройки. На фасаде — табличка: *Охраняется государством*. Классика обыкновенная. Бросил одобрителный взгляд — и мимо.

А не тут-то было. Дорогу преграждает появившийся как из-под мостовой человек в синих очках. Не то чрезмерно сутулый, не то слегка горбатый. Неопрятно одетый, а впрочем, трезвый. Молодое, бледное, в испарине, в прозрачных вялых волосках, лицо. Задыхающимся, торжествующим голосом — как будто преследовал нарушителя и наконец поймал — торопливо произносит:

— Это полная, дивными красками написанная картина русского восемнадцатого века. Некоторые крикливые глупцы, — гримаса ненависти пробегает по лицу незнакомца, — некоторые крикливые глупцы, не поняв этого стихотворения, осмеливались в своих полемических выходках бросать тень на характер великого поэта, думая видеть лезть там, где должно видеть только в высшей степени художественное постижение и изображение целой эпохи в лице одного из замечательнейших её представителей. Стихи этой пьесы — само совершенство, и вообще вся пьеса — одно из лучших созданий Пушкина...

Пронзительный голос ввинчивается в голову, как бурав, и на сердце падает — неизвестно откуда — камень. Меня,

во всяком случае, такие люди (какие? не умею определить; скажем: чья речь похожа на окружность, возомнившую себя бесконечной прямой) — меня они словно выключают из электросети. Зато с этого момента им меня не достать.

Ничего не слышу, никого не замечаю, любуюсь игрой света на фасадах. Минуту или две человек идёт рядом — странной походкой: на каждом шагу как бы приседая, — наставительно частит:

— Все сочинения Державина, вместе взятые, далеко не выражают в такой полноте и так рельефно русского восемнадцатого века, — однако же понемногу отстаёт, — как выражен он в превосходном стихотворении Пушкина «К вельможе»!..

Отвязался наконец. Русский-то там восемнадцатый где? И *расскажи ж ты мне*, по какому это счету Юсупов — такой замечательнейший представитель? Некоторые крикливые глупцы, ишь ты. Про Державина — бред. И, кстати, я знаю — чей.

В 1834-м человек пишет на всю Россию: Пушкину пришёл творческий капут четыре года как. В 1842-м он же, и тоже непререкаемо: стихи 1830-го года — само совершенство!

Годы летят, мужает интеллект, авторитет приподнимается. Давно ли одноклассники дразнили козлом брынским. А вот уже — Неистовый Виссарион, источник мнений. При Николае I, Сталине, Хрущёве, Брежнев — Главный теоретик литературы. С 1991-го — формально в отпуске за свой счёт, но оставлен в действующем резерве. И самый эффектный отрезок карьеры (вот уж нечаянный амфибрахий), быть может, ещё впереди.

Надо же, как полюбилось ему стихотворение про князя Ю***. Советская Наука о Пушкине (СНОП) тоже держит эту шутивную оду под небьющимся стеклом; примерно раз в пять лет вынимает из витрины, обмазывает взвесью мела в нашатырном спирте, тщательно моет водой и протирает насухо. После процедуры текст всегда становится ещё драгоценней, чем был. На сегодняшний день уже твёрдо установлено, что он содержит: а) историю философии; б) философию истории; в) теорию революций; г) общественный,

не то личный, идеал; д) художественный синтез; е) моральный пафос; ж) политическую программу; з) забыл, какую чего-то модель; и) чёрта в ступе.

Прежде полагалось — отпирая витрину и запирая, бормотать, с выражением ироническим либо гневным, специальный отворотный заговор. От тех самых некоторых крикливых глупцов:

— ...в силу присущей им буржуазной ограниченности недопонимали, что до Белинского передовое дворянство во главе с Пушкиным играло прогрессивную роль... (Ничего не чушь, а одобрено Главлитом. Списываю с печатного.)

— ...в силу эстетической глухоты не сумели преодолеть историческую слепоту...

Или наоборот. Нужно подчеркнуть.

Нынче СНОП расслабилась и соблюдает ритуал не строго. Ведь опасность миновала. Никто посторонний уже не войдёт и не спросит, наглец:

— А скажите, правда ли, что публике — тогдашней, 1830 года — не очень-то понравились эти удивительные стихи? Ходят слухи про каких-то крикливых глупцов. Никак случился афронт, или облом?

Ну случился. А твоё какое дело. Да, современники Пушкина проявили себя как законченные ханжи. Видите ли, их не устраивал моральный облик реального князя Ю***. Пресловутый гарем у Красных ворот. И как старик во всеуслышание одобрял Ржевского — того самого, который в «Горе от ума», чтобы удовлетворить кредиторов, оторвал от сердца и обналичил свой творческий коллектив: «Амуры и Зефиры все распроданы поодиночке!!!» — три гуманных восклицательных, — а вы, мсье Чацкий, что предлагаете? дуэтами их продавать? квартетами? оптового-то покупателя по нынешнему времени ищи-свищи. Ах-ах, крепостник, — а сами-то кто? И, кстати, если по совести, — гарем тоже нельзя огульно охуждать; всё зависит от условий содержания.

Припомнили ещё эту девицу Тюрину, вот что не согласилась за 50 тысяч: будто бы в прошедшем году, когда какие-то трое братьев Критских — её, что ли, двоюродные — по пьяной лавочке не то разбили августейший бюст, не то изрезали портрет — в общем, были арестованы как враги

народа, — князь Ю*** опять к ней подкатился. Поднял ставку (притом сведя к минимуму финансовые риски — что я говорил про правильно устроенный бассейн!) — есть на свете вещь, которая стоит дороже денег, а даётся как благодать: административный ресурс, — и сформулировал дилемму, прямо как в пьесе Шекспира, которую Пушкин ещё не перевёл, — «Мера за меру», — но, прикиньте, не одна жизнь на кону, а целых три:

Положим: тот, кто б мог один спасти его
(Наперсник судии иль сам по сану властный
Законы толковать, смягчить их смысл ужасный),
К тебе желаньем был преступным воспалён
И требовал, чтоб ты казнь брата искупила
Своим падением; не то — решит закон.

Что скажешь? как бы ты в уме своём решила?

Неизвестно, как она решила, а только молодые люди сгинули.

Такого рода информация мешала болванам-современникам спокойно наслаждаться пушкинскими стихами. СНОП ещё только зарождалась, не в силах ещё была разъяснить: при чём тут конкретный князь Ю***, он скоро умрёт, и никто не вспомнит, а в послании дан просвещённый образ обобщённого (то есть наоборот: обобщённый — просвещённого) деятеля/мыслителя.

Не желали взять в толк. Даже Вяземский на минуту взбурлил:

«Пушкин <...> пишет послание к Юсупову. Ах! он проклятый! Неужели после того будет он тою же рукою трепать и невесту свою?»

«Литературная газета» с «Посланием» вышла 26 мая, до Москвы добралась вряд ли раньше 30-го.

А дня ещё через три здесь пошёл по рукам (и в набор очередного, но, как обычно, запаздывающего номера журнала «Московский телеграф») альтернативный словесный портрет человека, похожего на князя Ю***.

По-моему, не самое слабое произведение русской литературы. Но забытое наглухо. Источник мнений сказал: дать по рукам некоторым крикливым глупцам, осмелившимся бросить тень, — СНОП ответила: есть! — и текст изъела из

обращения. Как реакционный. Как злой, глупый, грубый пасквиль — подумать только — на Пушкина!

Прошло 170 лет, ровно, — и ни для кого не имеет ни малейшего значения, что не на Пушкина и не пасквиль. А всё-таки приятно дать обруганному автору оболганного текста (оболганному — обруганного) — как литератору литератору — ещё один шанс, хотя бы и бесполезный.

Вот и воспроизведём. Прямо по журналу. Верней, по тетрадке с приложением к нему — «Новый живописец общества и литературы». (Время было такое, — некогда пошутил В. Ш., — что литература писалась через три т. Ещё и пару ятей — для колорита — сохраним.)

№ 10. Май 1830. Печатать позволяется. Москва, Июня 2 дня 1830 года. *Цензор Сергей Глинка.*

УТРО В КАБИНЕТЪ ЗНАТНОГО БАРИНА.

Подлецов, секретарь князя Беззубова (*входит в комнату с портфелем*). Двенадцатый! А его сиятельство ещё изволит почивать! Заспался что-то сегодня... видно, где-нибудь зашалиться изволил (*улыбается*) — а пора бы перестать, кажется, и не под лета... (*Испугавшись, осматривается во все стороны.*) Экой я дурачина! говорю так громко и не подумаю, что здесь стены слышат! (*Громко.*) Слава Богу! Его сиятельство так свеж, бодр и при высоких душевных качествах отличён от Бога и телесною крепостью...

Без разминки. Мячик в игре, правила как на ладони: род — драматический, жанр — под старину: сатира. Фамилии-то — вопиют! и первый же персонаж чистосердечен, как на открытом процессе. Скетч. С вежливым поклоном в сторону автора «Горя от ума». С оригинальной формообразующей догадкой: утро в России — долгое, до самого обеда, фабулы же, как правило, одноактны. Другие потом попользуются: кто напишет «Утро помещика», кто — «Утро делового человека». Итак, монолог секретаря.

(Вынимает бумаги из портфеля, рассматривает и раскладывает.)

Прошение подрядчика Тугосумова — сюда, под правую ручку его сиятельства! Дело о сиротах Жалостиных —

прескучное и *пресухое!* Но — за них ходатайствует этот всеобщий стряпчий, граф Любимов... Хм! Старшей-то сиротке, говорят, шестнадцатый год... Прощение купца Плутовского о перетраченных им деньгах — перетраченных! Трату к трате надобно бы, а без того... Правда, я уже имею от него... Да, что он разбойник! За десятитысячную претензию отподчивал меня только завтраком... Можно бы и обед, да ещё и порядочный, сделать! Нет, любезный! стара штука: нынче знают расчёт очень хорошо! Честный секретарь берёт ныне, по крайней мере, 10 процентов на сто, а побессовестнее — так в старых претензиях только 10 процентов оставляют просителю. И не справедливо ли требование? Ведь дела приказные составляют именные секретарей и судей; что ж за именование, если оно и десяти процентов не даёт?

Про взятки мы читали — правда, давно — у Капниста, вскоре прочитаем у Гоголя, далее везде. Но вот эту-то идею — буквально эту: что государство есть частная собственность бюрократии — приписывают, если не ошибаюсь, Карлу Марксу и ещё восторгаются: какой мыслитель пронзительный! как рентгеновским лучом по загнивающему капитализму полоснул! Однако на дворе лето 1830 года, Маркс осенью пойдёт в первый класс гимназии Фридриха-Вильгельма в городе Трире. Ау, Карлуша! Привет из Белокаменной! Успехов в учёбе!

Впрочем, доходы ныне становятся плохи у всех — и у нас тоже... (*Тихо.*) Ещё таки у таких начальников, каков наш, — дай ему Бог здоровья, — можно потрудиться...

Камердинер князя (*идя через кабинет*). Здравствуйте, Сидор Карпович!

Подлецов (*дружески жмёт ему руку*). Иван Иванович! здоровы ли вы?

Камердинер. Только не выспался —

Подлецов. А вот понюхайте табачку. (*Нюхают.*) Ну! что князь, встал?

Камердинер. Да, уж раза три зевнул и погладил свою моську.

Подлецов. Скоро ли изволит выйти?

Камердинер. Да как рассудится — может быть, сию минуту, а может быть, ещё с часок понежится.

Подлецов. Хорошо барам!

Камердинер. Бог знает! Секретарям их, думаю, лучше —

Подлецов. А камердинерам ещё лучше секретарей —

И т. д. Тире, завершая реплику, обозначает, надо думать, интонацию, передаваемую обычно многоточием. Дальнейший разговор пропустим. Тут всё ясно: эти двое работают в контакте и вынуждены делиться своим влиянием на патрона, хотя и без особой охоты, поскольку клиентура у каждого своя. Но вот камердинер уходит, появляется третий персонаж.

(Дверь потихоньку открывается.)

Подлецов. Кто там?

Честнов (чиновник). Вы приказали приготовить бумаги, и я привёс их.

Подлецов (гордо). Да, сударь, пора вам принести; Князь уже спрашивал их, и я удивляюсь вашей беспечности...

Честнов. Я просидел за ними всю ночь и едва успел; вы изволили так поздно отдать их: письма было множество —

Подлецов. Вы хотите служить и осмеливаетесь умничать? Знаете ли, сударь, что вы не должны сметь говорить против вашего начальника, ничего говорить!

Славная, между прочим, фраза. Опять прокрутим немного вперед. Резюме первой половины диалога: Подлецов своими обязанностями манкирует; вся бумажная работа взвалена на Честнова; Князь, их принципал, дошёл до того, что подпись на документах ставит вверх ногами: старческая сонливость. Вот с этого места продолжим.

Подлецов. Да, это, верно, ошибкою; хорошо, извольте иди... Что ж вы мешкаете? что ещё вам угодно?

Честнов. Я... осмеливался...

Подлецов. Да долго ли ещё вы будете осмеливаться?

Честнов. Я осмеливался просить вас сказать его сиятельству о моём недостаточном жалованье...

Подлецов. Какая жадность, какая дерзость! Вы ещё недовольны выданною вам наградю?

Честнов. Войдите в моё положение! Вся награда состояла в ста рублях, и уже этому скоро год будет... большая жена, пятеро детей...

Подлецов. Вся награда сто рублей — скоро год — больная жена — пятеро детей! Да как вы смеете всё это говорить? Кто вас просил жениться, а жену вашу быть больною? И на что у вас такая куча детей, когда есть нечего?

Вот как бывает. Какое занятие — литература. Напишешь — и доволен, потираешь руки: всего двумя репликами вывернул отрицательного наизнанку; реализму, конечно, в ущерб: в жизни отрицательные вслух такого не говорят — на то и гротеск: ради лёгкого комического эффекта. А пройдёт время — наступит минута — услышишь эти самые слова, тебе же сказанные в лицо. Что ни сочини — всё сбудется, стоит только притормозить.

Честнов. Если бы вы позволили уравниаться мне хоть с вашим племянником в жалованье. Я охотно бы взял и его должность на себя, с прибавкою жалованья...

Подлецов. Вы хотите интригами вытеснить ваших товарищей?

Честнов. Нет, я думал, что вы позволите мне снять его должность, оставив его при ней числящимся.

Ага! Та самая практика, благодаря которой расцвёл, мы же помним, интеллект автора «Былого и дум». Пока, значит, подросток в саду под кустом сирени, разостлав шотландский плед, читает Шиллера — и представляет себе, как он голосом маркиза Позы высказывает царю Николаю всю правду о положении страны, — и как Николай, разъярившись, приказывает его заковать в кандалы и сослать в рудники, — а он идёт на казнь, и ни один мускул на лице не шевельнётся, — трудовой стаж тем временем идёт тоже. Начисляется. И нарастают помаленьку чины. А зарплату в Кремлёвской экспедиции получает кто-нибудь другой. Откатывая, разумеется, Подлецову.

Подлецов. Да какая у него должность? Он ставит только номера на бумагах по 1-му отделению, а и по всему-то отделению десять бумаг в год! И вы, сударь, так бесстыдны, что выживаете товарища, и за пустую должность хотите брать даром жалованье? *(Слышен шум.)* Ну хорошо, хорошо, я подумаю — после, после... *(Почти выталкивает Честнова.)*

Камердинер (*несёт коробочки, стекляночки, блюдечки и разные мелочи*).

Подлецов (*торопливо*). Его сиятельство изволит идти?

Камердинер (*грубо*). Идёт, несёт его нелёгкая!

Подлецов (*поспешно оправляется*). Так он сегодня не в духе?

Камердинер (*расставляя коробочки по столу*). Не в уме, как всегда.

Подлецов. Но что с ним сделалось?

Камердинер. Спрашивайте сами. Пресердитый! Записку от Любви Ивановны принесли; он нахмурился, тотчас вскочил...

Подлецов. Вскочил? Ах, боже мой!

Камердинер. Ну! то есть не вскочил, а стащился с своего дивана, давай одеваться, давай браниться...

Подлецов (*нюхает табак*). Близ большого барина, что близ огня...

Камердинер. Мышьего, который ни жжёт, ни палит... (*Уходит.*)

Тут опять небольшой монолог Подлецова — и вот наконец появляется главный герой.

Князь (*в утреннем сюртучке*). Сюда, сюда, Ами, Жужу! Ах! разбойница, она его искушает. (*Увидя Подлецова, который униженно кланяется.*) Поди, братец, отыми моего Ами от Жужу: она его загрызла! (*Подлецов бежит разнимать двух болонок, которые теребят друг друга.*) Право, онъ злее людей! (*Слышен крик попугая: Глуп, глуп, кто пришёл, глуп!*) Видно, его ещё не кормили! Где Ванюшка? Поди, братец, Подлецов, вели какаду дать сахару. (*Подлецов бежит; Князь садится к столику.*) Двадцать тысяч! Какую шутку вздумалось ей сыграть со мною! Да стоит ли она вся 20 000, а я сколько на неё положил... (*Кашляет и ест лепёшки.*) Фу! проклятый кашель! (*Гладит ногу.*) О! Mon Dieu! quelle douleur! (*Подлецов входит и старается узнать, весел или сердит Князь.*)

Князь. Что, братец! плохо дело: подагра измучила!

Подлецов. Это ужаснейшая боль!

Князь. Куплена, правда, не дорого, она продана мне за годы наслаждений...

Подлецов. Которые и донныне продолжаютя, ваше сиятельство? *(Князь усмехнулся.)* И если бы вам угодно было хоть сколько-нибудь остерегаться, то, конечно, подагра не посмела бы к вам приблизиться...

Князь. То-то и беда, что мы неосторожны в шалостях; но — пока ещё жизнь качает нас в люльке, почему не наслаждаться ею... *(Кашляет и роняет платок.)*

Подлецов *(бросается, поднимает и подает Князю)*. Истина неоспоримая, но...

Князь *(кашляя)*. Тьфу пропасть! задушило! *(Берёт пилюли и глотает.)* Разумеется, что для меня, для такого человека, от которого дряхлость ещё далеко, жизнь не важна, только бы весело было... Ведь только и нашего, что поживём да проживём... *(Подлецов одобрительно улыбается.)* Да, как же, братец? Неужели ты думаешь, что ещё что-нибудь будет? Вздор, братец! ничего не будет; довольно и того, что здесь наживёшься; куда нам чересполосною землёю за гробом владеть!

Подлецов. Я почёл бы за нелепость не соглашаться в сём случае с убедительными доводами ума и предполагать бессмертие души.

Князь. Ну! что у тебя нового? Говори.

Начинается канцелярская рутина пополам с городскими сплетнями — должно быть, свежими, прямо с натуры, — а для нас с вами это просто кучка истлевшей трухи. Обойдём её стороной: где тут след бикфордова-то шнура?

...Где же бумага по делу графа Любимова?

Подлецов. Не по его, ваше сиятельство, а он просит о вдове Жалостиной и сиротах ея...

Князь. Как! опять об этой потаскушке, ябеднице! Она мне надоела... в сторону, прочь...

Подлецов. Но ваш управитель сказывал мне, что Граф купил большую партию вина с вашего завода...

Князь. Купил? точно купил?... Ну а о чем эта безжалостная Жалостина хнычет?

Подлецов. Да о пенсии...

Князь. За кого опять? Ведь ей за мужа дали пенсию?

Подлецов. Дали, также и за сына; теперь она требует за дядю... Не угодно ли вам самому взглянуть на неё: она с раннего утра с детьми в передней и горько плачет...

Князь. Она здесь! Ну её к чёрту — давай скорее (*подписывает*) — но более ничего не подавай мне... (*Подлецов хладнокровно складывает бумаги.*) Скажи, что у тебя смешного?

А вот и мина. СНОП только один этот кусочек и цитирует. И вся оцетинивается*.

Подлецов. Вот листок какой-то печатный; кажется, стихи вашему сиятельству...

Князь (взглянув). Как! стихи мне? А! это того стихотворца... Что он врёт там?

Подлецов. Да что-то много. Стихотворец хвалит вас; говорит, что вы мудрец: умеете наслаждаться жизнью, покровительствуете искусствам, ездили в какую-то землю только затем, чтобы взглянуть на хорошеньких женщин; что вы пили кофе с Вольтером и играли в шашки с каким-то Бомарше...

Как по-вашему: это пасквиль? По-моему — конспект**.

Князь. Нет? Так он недаром у меня обедал. (*Берёт листок.*) Как жаль, что по-русски! (*Читает.*) Недурно, но что-то много, скучно читать. Вели перевести это по-французски и переписать экземпляров пять; я пошлю кое к кому, а стихотворцу скажи, что по четвергам я приглашаю его всегда обедать у себя. Только не слишком вежливо обходись с ним; ведь эти люди забывчивы; их надобно держать в чёрном теле. — Послушай-ка, братец! притвори дверь и подойди поближе. Скажи, что ты узнал о моей ветренице?

Подлецов. О Любви Ивановне?

Князь. Ну да.

Подлецов. Мне весьма прискорбно, ваше сиятельство, донести вам...

Князь (*задыхаясь от досады*). Ну, ну! без обиняков.

Подлецов. Князь Петр Сидорович точно у неё бывает и подарил ей эсклаваж покойной княгини...

Князь. Как! Князь Петр? Этот урод... он... (*Закашлялся и ест лепёшки.*) Ну, ну!

Подлецов. Кирасирский полковник точно встретил её за городом и привёз в своей карете...

Князь. Этот мот, шалун, — бездельница! (*Забывшись, топает ногою с досады.*) Ой! ой! какая боль! проклятая подагра...

Ну и т. д. Фарс опять бежит по бытовой колее. По поручению начальника секретарь организовал слежку за его содержанкой и выкрал её письма. И представил: вот.

Князь (*рассматривает*). Так! Нет сомнения: её рука... а! проклятая, негодная... (*Несколько успокоившись*.) Ну, любезный Подлецов, благодарю тебя; довольно! Я тебя не забуду. Ты, кажется, просил представить тебя. (*Подлецов кланяется*.) Поди, кликни ко мне Ванюшку. (*Подлецов уходит*.) Вот, что́ слава? И стихи мне пишут, да ещё кто? Какой поэт! А тут... Говорят: счастье знатным; они всё за золото купят! *Vanité des vanities!* Я ли ей не давал, не дарил, а она... Спасибо Подлецову: он раскрыл мне глаза; теперь, сударыня, вы узнаете... (*Входят Камердинер и Подлецов*.) Ванюшка! Если от нея придут ещё с запискою, вытолкай вон — понимаешь?

Камердинер. Слушаю-с. (*Уходит*.)

Князь. Ещё, любезный Подлецов, у меня есть дело к тебе. Узнай-ка ты повернее, с кем теперь интрига у... (*Близ внутренних дверей кабинета слышен шум и голос Камердинера*.) Что́ там? дерутся, что ли? (*Дверь с шумом растворяется; виден Камердинер, который не пускает щегольски одетую молодую даму*.)

Подлецов. Ваше сиятельство! это Любовь Ивановна сама!

Князь. Как, сама?

Любовь Ивановна (*даёт пощечину Камердинеру и вбегает в кабинет*). Меня не пускать к нему?! (*Насмешливо приседает перед Князем*.) Что это значит, ваше сиятельство? Бездельник Ванюшка смеет запира́ть мне дверь?

Князь (*с досадою и с восторгом*). Ах! как она мила!

Любовь Ивановна (*Камердинеру*). Пошёл вон! (*Глядя на Подлецова*.) Извольте выйти!

(*Подлецов смотрит на Князя; тот даёт ему знак; Подлецов и Камердинер уходят*.)

Следует сцена ревности. За ней — сцена негодования оскорбленной невинности. Наконец — сцена примирения. Всё это — весьма сомнительного качества. Сократим, сократим.

Любовь Ивановна (*плачет*). Ах, боже мой! преодолею ли я когда-нибудь мою привязанность к тебе, мою любовь... Отелло мой! скажи: чем ты умел пленить меня, твою бедную, обманутую Эдельмону?

Князь. Милый друг! Ты любишь меня после моей несправедливой ревности, подозрений! Прости меня! У меня в жилах восточная кровь! Вот тебе ломбардный билет... Ох! возьми его...

Любовь Ивановна. Нет! мне тяжелы такие сцены! Знаешь ли, что я могла умереть с тоски и досады... ах!..

Князь. Она лишается чувств! Боже мой! скажи, что я должен ещё сделать, говори, требуй.

Коварная нахалка требует, разумеется, чтобы Князь немедленно уволил секретаря, — после недолгого препирательства добывается своего — с хохотом убегает.

Финал. На воображаемой авансцене — трое.

Князь (*Подлецову*). Извольте подать в отставку; вы мне не нужны...

Подлецов. Ваше сиятельство! пощадите, помилуйте!

Князь. Извольте, сударь, требовать отставки, или я вас выгоню. — Уф! Ванюшка! веди меня... мне надобно отдохнуть...

(*Уходит, поддерживаемый Камердинером.*)

Подлецов (*стоит долго в задумчивости*). Итак — десять лет ползанья, поклонов, грехов, и что наградою! (*В отчаянии бежит вон.*)

Камердинер (*входит с другой стороны*). Ушёл? По делам бездельнику! Любовь Ивановна согнала секретаря, а я, Иван Иванович, поставлю на его место другого! Барин прибит девчонкою, дела отложены до завтра, а просителям я пойду сказать, что его сиятельство занят и не может никого допустить к себе. Неужели у многих бар так проходит утро в кабинете? (*Смеётся.*) Не знаю! мы люди тёмные...

Воображаемый занавес.

Имени автора в журнале нет, но почему-то все и так знали, что автор — Николай Полевой. Гадали, прогуливаясь по бульварам и вдоль прудов: не подошёл ли князь Юсупов

к Полевому своих лакеев — побить его палками. А что? Это было бы так в духе XVIII столетия: самого Вольтера подобным образом проучил шевалье — как его — де Роган. Личность русского второй гильдии купца вполне прикосновенна: ну подаст он жалобу мировому судье; тот в лучшем случае постановит взыскать за бесчестье штраф — и авторствуй потом, и проповедуй романтизм — с битой-то рожей.

— Нет, господа, ничего этого не будет, не прежнее время. Оттепель. Диктатура закона. Кстати, *entre nous*: государь, как слышно, не совсем доволен стихами Пушкина к его сиятельству, даже отчасти удивлён. Князь и там, в сферах, немножко надоел — всех утомил — достал; думает, раз спал с бабушкой, так ему всё можно. Ан не всё.

Юсупов никаких противоправных действий себе не позволил, а накатал телегу в инстанции. Те отреагировали моментально: турнули Сергея Глинку из цензоров, лишив даже пенсионера. (Глинка знал, что это рано или поздно случится, — был, говорят, лучшим цензором в мире: якобы подписывал всё не читая. Но тут не так: Полевого-то фельетон в «Телеграфе» он, безусловно, прочёл, а Пушкина стихи в «Литгазете» — сам признавался после — не успел. Вот и пропустил *личность* — чуть ли не ФИО Знатного Барина. А перескажи Подлецов пушкинское послание не так близко к тексту — фиг бы Юсупов доказал, что Беззубов — карикатура на него. Прочие аргументы — вроде того, что имена собачек идентичны, — всерьёз не работали, а тут не отопрёшься: в сатире выведен тот самый человек, которому посвящено послание, — а оно слишком известно кому посвящено.)

А Полевого только вызвали куда следует — к Волкову, жандармскому генералу в Москве — и предупредили. Ограничились профилактикой. Что вы хотите — диктатура закона. Без пяти минут правовое государство. Жить стало лучше, жить стало веселей. Чугунный цензурный устав 1826 года заменён алюминиевым 1828-го. Нельзя наказывать автора за текст, опубликованный с дозволения цензуры. Если текст или какое-то место в нём вызывает сомнение — оно должно быть истолковано в пользу автора. И, кстати, сын за отца тоже не отвечает, но это к слову.

Наступает не календарный — настоящий девятнадцатый век, сословные перегородки осыпаются. (Кто был купцом, тот станет — не нынче завтра — потомственный почётный гражданин.) И сатира нужна. Невзирая на лица. Гоголи нужны, Щедрины. Вот уже из «Горя от ума» опубликована и даже на театре разыграна чуть не треть. Идите спокойно работайте, Николай Алексеевич, ваши статьи читаются с огромным интересом, — только, мы вас умоляем, за межи правового поля ни-ни. Шаг вправо, шаг влево — сами знаете: в России журналист ошибается один раз.

Самое смешное, что Полевой, похоже, повёлся на всю эту пургу про XIX век. Потому что верил в рыночную экономику, как всё равно Гайдар, — что она выведет в люди множество новых читателей, благодаря чему разбогатеет и поумнеет страна — которой тогда станет наконец в тягость крепостное право и, наоборот, понадобится как воздух — конституция.

§ 4. ПРИНЦИП ТОРМОЖЕНИЯ. ЧЕРНИЛЬНАЯ ВОЙНА. НЕЧТО О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ

Кстати, мечтать о конституции (например, на сон грядущий), да хоть об отмирании государства, до середины 1830 года считалось — не вредно. Считалось — генеральная линия текущим своим отрезком всё ещё тянется к этой точке. Поскольку решений последнего съезда — ну или сейма (Варшава, 1818 год) — никто не отменял. А там, если помните, в докладе (правда, закрытом) Александра I было французским языком сказано:

— Дорогие польские товарищи! Торжественно заверяю: нынешнее поколение россиян будет жить при монархии конституционной! Давайте, воспользовавшись накопленным вами конструктивным опытом, немедленно опробуем эту модель. Ваш великий почин будет подхвачен во всех уголках страны, как только, так сразу.

(Синхронный перевод: «Образование, существовавшее в вашем краю, позволяло мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законно-свободных учреждений, бывших непрестанно предметом моих помышлений и которых спасительное влияние надеюсь я, при помощи Божьей, распространить и на все страны, Провидением попечению моему вверенные. Таким образом вы мне подали средство явить моему отечеству то, что я уже с давних лет ему приурочиваю и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости», и проч.)

Официально Благословенный оставался живее всех живых, и его политическое завещание сохраняло силу как руководство к действию. Однако же, с другой стороны, ни-

кто в политбюро не понимал, на черта России, например, парламент, — о чём, скажите на милость, повелеть в нём рассуждать — какие такие резолюции, блин, приказывать вотировать?

Но не мог же великий усопший допустить ошибку или просчёт. (Ревизионизму — бой!) Разве что поддался случайному филантропическому порыву.

Вот именно, — убеждал К. П. Романов — Романова Н. П.: чего только не наобещаешь в иную минуту, а потом жалеешь, да ложный стыд мешает взять данное слово назад. Как в стихах у этого — который табакерку стащил и был исключён из пажей: даём поспешные обеты, смешные, может быть, всевидящей судьбе. — Вы, как всегда, правы, дорогой Константин, — отвечал Николай, — но обет, некоторая преждевременность коего обусловлена, несомненно, безграничной верой в интеллектуальные возможности нашего доброго народа, — сам по себе обет, повторяю, — не беда. А вот чего история нам бы не простила — это если бы мы поспешили его исполнить. Обещанного ждут 87 лет, не рыпаясь, и пусть горячие головы зарубят у себя на носу:

«Между тем, чтобы желать чего-либо *почти обещанного*, и тем, чтобы *предупредить* правительство в его мероприятиях тайными и, следовательно, преступными способами, — разница громадная».

Так был открыт и сразу же начал работать принцип торможения: никаких перемен, пока все не успокоятся. Вот установится такая тишина, чтобы слышно было пролетающую муху, — тогда (но не раньше!) вас и спросят: о чём, граждане, мечтаете долгими зимними ночами? И, не исключено, кое-что исполнят, если будете достойны — если, то есть, докажете, что в целом счастливы и так, без перемен.

А покамест пусть каждый на своём месте занимается своим делом, а мы — литературоведением. Станем посвящать ему ежедневно часок-другой.

Довольно интересно, хотя и противно. Кто бы мог предположить, что в империи столько писателей и литературная жизнь так и клокочет. Из 60 миллионов подданных (это, правда, считая с Польшей, в которой всё другое) активных любителей чтения набиралось тысяч никак 12.

Соответственно авторов около 120 человек, из них с дарованием — предположим, один на дюжину. Итого золотой век русской литературы в принципе следовало бы разместить в домике вроде Царскосельского лицея, но стеклянном и желательнее без крыши — чтобы изучать спокойно. Собственно говоря, так и было сделано — новейшие-то технологии на что? Оперативно-розыскные мероприятия по-своему не хуже стеклянных стен, даже гораздо надежней.

В высшей степени странными оказались эти господа. Исключая верного Жуковского — и благовоспитанного старика Дмитриева — ну и невозможного старика Крылова (какой со старика Крылова спрос), остальные семеро или сколько их там — суета сует в лицах. Ярмарка тщеславия. Биржа самолюбий. Растрёпанные, неопрятные. Кто игрок, кто повеса, кто пьяница. Впрочем, пьют, кажется, все. И болтают, болтают — у агентов голова идёт кругом, не успевают запоминать. (Надо, кстати, запросить наших атташе в Лондоне и Париже — не изобретена ли наконец звукозапись.) А и запоминать-то нечего, кроме сплетен да эпиграмм. Даже оставшись в одиночестве и принудив себя присесть к письменному столу, — что, вы думаете: создают художественные произведения? Не тут-то было: играют в войну.

Точно в такую же сражались мы с Мишелем, когда были оба высочествами, лет, не знаю, до одиннадцати: строили крепости из стульев или вырезывали из картона — и стреляли по ним из пистолетов, и посылали в атаку оловянных и фарфоровых солдат. Бывало, и ночью вскакивали с постелей, чтобы хоть немножко постоять на часах с игрушечной алебардой или ружьём у плеча.

Вот и тут: три бумажные крепости. Самая большая называется «Северная пчела», с высоким таким бастионом «Сын отечества». Другая — «Московский телеграф». Ну и «Литературная газета» — уединённая башня; тут вам и ров с водой, и подъёмный мост.

(«Вестник Европы», «Московский вестник», «Русский инвалид» — не в счёт: это просто караульни.)

Все беспрестанно друг по дружке палят. И такие ожесточённые лица проступают время от времени над тучами букв, словно всё это происходит не на бумаге, а в жизни.

Этой зимой Булгарин выдал в свет «Димитрия Самозванца», свой исторический роман. В «Северной пчеле», как полагается, по этому случаю — праздничный фейерверк. А в «Литературной газете» — наоборот, общая тревога: Пушкин подозревает — и кое-кому, конечно, проговаривается, что подозревает, — будто роман списан с его ненапечатанного «Бориса Годунова»: якобы Булгарин ознакомился с манускриптом как внутренний рецензент либо выпросил у Фон-Фока просто по-приятельски, на один вечер, почитать.

И 7 марта «Литературная газета» по «Димитрию Самозванцу» как ахнет. В самое чувствительное место и совершенно *sans façon*: до чего же больно патриоту читать этот роман; сочинитель — явный русофоб, что и неудивительно: ведь по национальности-то он у нас кто? ась? не слышу! повторите громче.

Буквально так:

«Будем снисходительны к роману “Димитрий Самозванец”»: мы извиним в нём повсюду выказывающееся пристрастное предпочтение народа Польского перед Русским. Нам ли, гордящимся веротерпимостью, открыть гонение противу не наших чувств и мыслей? Нам приятно видеть в г. Булгарине Поляка, ставящего выше всего свою нацию; но чувство патриотизма заразительно, и мы бы ещё с большим удовольствием прочли повесть о тех временах, сочинённую Писателем Русским».

Булгарин взбурлил от бешенства и ликования: с ним поступил неблагородно сам Пушкин, его любимый поэт! (Роковая слепота: рецензия-то — Дельвига! — но и в голову не пришло.) Нельзя же упустить такой подарок судьбы. Ответный текст — «Анекдот» — «Северная пчела» выдала во вторник, 11-го. Два таланта из булгаринских трёх проявились тут во всей красе. Первый, наиболее полезный — беззастенчивость пафоса. Ф. В. ну буквально ничего не стоило в любой момент, по желанию или по заказу, возвысить голос для изъявления похвальных чувств и подпустить в него по мере надобности то скупую слезу (никогда не переходя, однако же, на визг), то звонкую трель площадного сарказма. Другой талант Ф. В. — не медля ни секунды, вцепляться в волосы любому, кто толкнёт. Очень некрасиво, но

эффективно. Ах так? вы попрекаете меня происхождением? шьёте буржуазный национализм? чего доброго, и сепаратизм? Получайте же громоздкую, в три обёртки упакованную историю — будто бы из английского журнала — про славного писателя, гражданина Франции, но родом немца, по фамилии Гофман (только не Э. Т. А.): как однажды его новое сочинение разобрал «самым бесстыдным образом» один французский стихотворец. (Следует, само собой, стихотворца портрет — ногтями по воображаемому ненавистному лицу, ногтями, крест-накрест.)

«Чтобы уронить Гофмана во мнении Французов, злой человек упрекнул Автора тем, что он не природный Француз и представляет в Комедиях своих странности Французов с умыслом для возвышения своих земляков, Немцев».

А небывалый славный Гофман употребил, дескать, такое средство самозащиты: письменно задал другому, куда более авторитетному французскому писателю следующий вопрос:

«Дорожа вашим мнением, спрашиваю у вас, кто достоин более уважения из двух Писателей: перед вами предстают на суд, во-первых: природный Француз, служащий усерднее Бахусу и Плутусу, нежели Музам, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины...»

Пять лет кряду, заметьте, этот самый Булгарин этого самого Пушкина превозносил.

«У которого сердце холодное и немое существо, как устрица, а голова — род побрякушки, набитой гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея...»

Ну и так далее по полной. Бросает рифмами во всё священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан; марают белые листы на продажу, чтобы спустить деньги на краплёных листах. Компромат, как говорится, точка ру. Фельетон «Окололитературный трутень». А теперь — внимание! — переключение регистра:

«Во-вторых — иноземец, который во всю жизнь не изменял ни правилам своим, ни характеру, был и есть верен долгу и чести...»

Эту интонацию — военной искренности — особенно ценил и за неё Булгарина хвалил Марлинский, в смысле — осуждённый Бестужев. Который сейчас искупает вину на Северном Кавказе. В своё время, говорят, закадычными были.

«Любил своё отечество до присоединения оною к Франции и после присоединения любит вместе с Францией...»

Какая же ты зануда.

«За гостеприимство заплатил Франции собственную кровью на поле битв, а ныне платит ей дань жертвою своего ума, чувствований и пламенных желаний видеть её...»

Русскую грамматику, брат, не надуешь: заврался!

«...славною, великою, очищенною от всех моральных недугов, который пишет...»

Хорош. Только бросим взгляд: что же ответит славному Немцу славный Француз. Как на воображаемое поверженное тело цыкают воображаемой слюной.

«На сие Французский Литератор отвечал следующее: «В семье не без урода. Трудитесь на поле нашей Словесности и не обращайтесь внимания на пасущихся животных, потребных для удобрения почвы...»»

Слабо! Непростительно слабо! Этот высокомерный нервический хохот смешон сам. Право же, читая Булгарина, невольно как бы переменяешь ему мысленно, pardon, пол. И сразу видишь его на коммунальной кухне: типичная истеричная стерва из бывших, с таким, знаете, агрессивным самомнением, какое бывает только у людей, имевших случай удостовериться, что никто не даст за них и копейки, да что и не стоят они её.

Нет, в самом деле. Ему говорят — дерзко, не спорю, грубо, согласен — хотя только по смыслу грубо, а печатными знаками самыми нежными: куда лезешь, польское отродье, какой ты русский писатель, ишь чего возомнил; посмотришь в зеркало — увидишь сам: ты же не любишь нашу великую родину, ну нет у тебя таких эритроцитов — её любить.

Надобно знать, кто не в курсе: у русских писателей это самое любимое, самое едкое оскорбление. Русского писателя хлебом не корми, только дай ему сказать о другом русском

писателе: он не русский писатель. И с ходу, без паузы, — статью УК: измена родине путём неискреннего чувства.

Однако это не значит, что надо завопить в ответ: а ты зато шампанское хлещешь, в бога не веруешь, в карты режешься. Никого не проймёт. Публика и внимания не обратит. Сама далеко не дура *сушить стекло* — неужто же она Пушкину не простит эту пагубную, но милую привычку? Гению-то! Ведь он же гений? Или уже стал не гений? А докажи! Только без шуток. Без острог насчёт пасущихся животных. Читателям не нравится, когда то, что им нравится, кому-то не нравится. Из наслаждений жизни, как известно, разочарование не уступает, быть может, самой любви — но когда является как бы само, как бы из воздуха, в котором рассеян ненавязчивый шёпот подсказки. Не иди в суфлёры — твой голос нехорош — ты не уверен, что разочарован окончательно, дотла. А раз не разочарован — не нападай.

Но вы же знаете эту породу: сомкнул челюсти — не отпустит, пока изо всей силы не ударить по голове. И через две недели, 22 марта, — пришлось. Запиской к Бенкендорфу:

Я забыл вам сказать, любезный друг, что в сегодняшнем номере Пчелы находится опять несправедливейшая и пошлейшая статья, направленная против Пушкина; к этой статье наверно будет продолжение: поэтому предлагаю вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни было критики на литературные произведения: и, если возможно, запретите его журнал.

Стереть, стереть, а лучше сжечь все эти нарисованные цитадели и над ними облака. Кому сказано, скользкий тип: сию же секунду прекратить балаган!

К «Онегина» Седьмой главе теперь прицепился. Не находит в ней общественно полезного содержания, шут. Переописывает сюжет самодельными стихами:

Ну как рассеять горе Тани?
Вот как: посадят деву в сани
И повезут из милых мест
В Москву, на ярманку невест!
Мать плачется, скучает дочка:
Конец седьмой главе — и точка!

Что за тон! Что за остроты: как, мол, прекрасны римские цифры — уж наверное, мол, не хуже заменённых ими пропущенных строк. А про этого несчастного жука: «может быть, хоть он обнаружит какой-нибудь характер»!

Поймите, дело не в Пушкине. Этот человек и впрямь напрасно предаётся с таким самозабвением жанру легкомысленному, хотя и забавному, вместо того чтобы сочинять действительно достойные вещи, какова его «Полтава». Но сколько же можно дразнить его, и так плоско? Если так будет продолжаться, вообще всю эту критику запрещаю, оставляю лишь *les belles lettres*. Кстати, недурно получается у некоторых: могут, стало быть, когда захотят. Я сегодня приступил к третьему уже тому «Самозванца»: омерзительная ведь фабула, а не оторваться.

Ах да: про третий талант Булгарина. Нет, не в повествовательном роде. Нет, и не в осведомительном, — и знать ничего про это не хочу. Потомство все равно его простит, будь он хоть трижды каналья, и будет его читать. Пока стоит Петербург. И особенно — когда (или если) упадёт. Этот город мы строим с ним вдвоём — русский император и ничтожный писака-апатрид. Я извлекаю из ничего — пространство каменных громад, а он — он просто умеет почувствовать и сказать: как тут хорошо. Как уютна эта якобы помпезная, якобы официозная архитектура. Он первый вник, что Северная Пальмира (копирайт, опять же, его) — существо одушевлённое. Чей характер, поверьте, не понять, не читая «Северной пчелы».

А всё-таки, если ещё хотя бы раз этот скверный Булгарин посмеет... Пусть пеняет тогда на себя.

Маска, я тебя знаю — тем более, ты абсолютно прозрачна — ты бесполезный оксюморон — маску долой! Приём не канает: император упрямо смотрит литератором. А поскольку литератор — явно не Лев Толстой, у него нет способа заставить императора выговорить хоть в уме, что вызвало эту страшную вспышку гнева, записку к Бенкендорфу, угрозы. «Несправедливейшая» «пошлейшая» рецензия Булгарина на Седьмую главу пересказана выше почти вся: насмешки нахальные, но банальные, а уж по сравнению с анекдотом про стихотворца, у которого вместо сердца — устрица, этот

булгаринский текст — просто образец литературного приличия, хоть в хрестоматию вставляй. В чём криминал?

СНОП на помощь профану не спешит, держится индифферентно, типа: психологические выкрутасы — самодержцу моча ударила в голову — а вам-то что? рассосалась, и ладушки — не видите, я занята, закройте дверь с той стороны.

Ну что ж, попробуем сами. Пробежите-ка вот какой абзац из этой же рецензии — я нарочно его придержал:

«После двух пропущенных строф, в строфе X, вас уведомляют, что Олинька, за которую убит Ленский, вышла замуж за Улана. Об нём никто не грустит (*получается, что об улане, вопреки смыслу; и этот человек чуть ли не гордился своим слогом!*), и очень хорошо. Сам Поэт говорит:

На что грустить?

Ныне грустят так, из ничего, а о смерти друзей не беспокоятся. И дельно».

А? Подлый какой намёк! И какой опасный.

Николай ни на минуту не забывал, что он убил тех пятерых, — и мучительно жалел себя за то, что никогда не забудет. Но если бы ему явился ангел и сказал: ты так страдаешь; хочешь, я сделаю так, что ты всё-таки забудешь? или даже так, чтобы оказалось, что тебя ослушались и повешенные не повешены? — император ответил бы: нет, не хочу; сделай лучше так, чтобы кроме меня никто, ни один человек в мире, не помнил дату — 13.07.1826.

Он ненавидел эпитаф к «Бахчисарайскому фонтану». Ненавидел князя Вяземского, который года три назад в «Московском телеграфе» осмелился этот эпитаф процитировать.

«Я не могу поверить, — написал тогда Вяземскому Блудов, отнюдь не скрывая, что пишет *по приказанию*, — не могу поверить, чтобы вы, приводя эту цитату и говоря о друзьях, умерших или отсутствующих, думали о людях, справедливо поражённых законом; но другие сочли именно так, и я предоставляю вам самому догадываться, какое действие способна произвести эта мысль».

Вяземский — догадался. На всякий случай даже и вовсе с «Телеграфом», похоже, порвал.

А Булгарин у нас, стало быть, не боится ничего и никого? Бенкендорф проявляет близорукость, ему потакая. Нет чтобы хоть для разнообразия заступиться разок за Пушкина — вот кого эта свара, кажется, сводит понемногу с ума.

«Несмотря на четыре года поведения безупречного, я не смог приобрести доверия власти! С огорчением вижу я, что всякий шаг мой возбуждает подозрение и недоброжелательство. Простите мне, генерал, свободу, с которой я высказываю свои сетования, но ради неба, удостоьте хоть на минуту войти в моё положение и посмотрите, как оно затруднительно. Оно так непрочное, что каждую минуту я чувствую себя накануне несчастья, которого я не могу ни предвидеть, ни избежать. Если до сего времени я ещё не претерпел какой-либо немилости, то я обязан этим не сознанию своих прав, но единственно вашей личной благосклонности ко мне. Однако перестань вы завтра быть министром — я послезавтра же буду упрятан. Г-н Булгарин, который, по его словам, пользуется у вас влиянием, сделался одним из наиболее жестоких моих врагов — из-за критической статьи, которую он приписал мне. После гнусной статьи, которую он напечатал обо мне, я считаю его способным на всё. Я считаю невозможным не предупредить вас о моих отношениях к этому человеку, так как он в состоянии причинить мне чрезвычайное зло...»

Ознакомились? Ну и зря. Это я виноват — не проставил гриф: СНОП предупреждает, что данное письмо от 24 марта надлежит читать как можно аккуратней, а перед чтением протереть очки. Дабы не впасть в ложное толкование. Не представить себе автора каким-то детсадовским малышом, который льнёт к воспитательнице и всхлипывает: Альдла Хлистофолна, а Фаддей какашками кидается. Это полностью исключено, сами вы малыши, причём недоразвитые. Пушкин всегда осуждал подобное поведение: как он негодовал, когда Каченовский стал умолять цензуру спасти его от статей Полевого. А человек так устроен, что считает себя неспособным на поступки, за которые презирает других людей, — каковая иллюзия называется: честь, не правда ли? Значит, тут перед нами — самая обыкновенная военная хитрость в целях самозащиты, больше ничего.

Кто я такой, чтобы спорить с наукой. Но только мне мерещится в этой военной хитрости — какое-то исступление. Как если бы Пушкин весной 1830 года не находился в себе, жил в бреду.

О господи, только этого не хватало: кажется, я нечаянно отпустил нить повествования, и она убежала. Опять на странице — Москва и март. А давно уже должны были наступить Петербург и август. Какой-то заколдованный круг.

Вообще 1830 — несчастливое число. Вот был один, вроде меня, безответственный: некто Губер (П. К., 1886–1941). То есть поначалу-то, и довольно долго, считался солидным, даже внёс, как говорится, вклад: раскопал в священной макулатуре т. н. донжуанский список Пушкина. Хоть и неполный, увы: по состоянию всего лишь на 1830 (опять же) год и без случайных связей, — а всё-таки раздвинул пределы, наметил вехи, почти что проложил пути. Но потом попутал этого Губера бес — написать роман, и прямо с таким названием: «1830», и практически без вранья, — и в тридцатом же году напечатать, тысяча, понятно, девятьсот. Ну и всё: больше ни строки, а там — глядь, и расстрел, а книжка конфискована, и переиздать — дураков нет.

Помню, что переплёт был очень твёрдый, чрезвычайно приличного цвета зернистой стали, — хорошие переплёты тогда делали, — а содержание забыл*. Вот будет забавно — и обидно, — если когда-нибудь потом вдруг окажется: сочиняя то, что вы сейчас читаете, я только воображал, что сочиняю, а на самом деле выводил на экран бессознательно припоминаемое. Как О. Бендер — потративший, впрочем, всего лишь одну ночь на то, чтобы написать: *Я помню чудное мгновенье* и т. д. до последнего восклицательного. Надеюсь, даже уверен: не тот случай; но как бы то ни было — сам проверять не стану, пока не допишу.

Поскольку дело совершенно не в том, молодец ли я. А в том, чтобы успеть составить несколько фраз. Которые должны же быть кем-то сказаны, по возможности громко. Всё равно кем. Вместе эти несколько фраз образуют нечто, представляющееся мне т. н. правдой. О, нет, не какой-то

там Истиной, а всего лишь одной из бесчисленных мелких правд сугубо местного значения, никому, в общем-то, не нужных. Не про Пушкина и уж подавно не про меня, совсем чужая правда. Таких сколько угодно, на каждом шагу: попадая под каблук, становятся пылью, издавая неслышимый скрип. Так вышло, что одну я случайно поднял. Причём не я первый. Но человек, шедший передо мной, отшвырнул её, как бы обжѣвшись.

Я с ним переговорил. Под лестницей ленинградского т. н. Дома писателей (теперь, по слухам, — фешенебельного публичного, как и следует быть). Он подошёл (мы были немножко знакомы), чтобы сказать, как не понравился ему один мой текст. В котором я защищал антинаучный взгляд на Прекрасную Даму: что якобы не наше собачье дело — хорошая она была женщина или, как утверждают многие, — так себе. В. О., как ведущий специалист, имел причины полагать, что он знает точно — была нимфоманка: — Приставала даже ко мне!

Тема иссякла, и я возьми и спроси. Типа — кстати (хотя и не совсем): в вашей такой-то книге 1934 года написано, что уже почти готова другая работа, под названием таким-то. Что с ней случилось*? насколько я понимаю, она не вышла; по крайней мере, нет в библиотеках. А мне страшно интересен обозначенный в названии сюжет.

Не поклянусь, что он побледнел. Клянусь — что заборотал или даже залепетал, — словом, растерялся:

— Её нет. Её нигде нет. Её вообще нет. Её никогда не было.

Отвернулся и поспешно отошел.

Он давно умер. Я им не восхищался. Как бы то ни было, и этот вариант — что я рассказываю историю, которая, возможно, уже существовала — да что там — возможно: точно! — жила какое-то время в голове у другого, причём именно у В. О., — тоже, знаете, не особенно льстит.

У него это была бы серьёзная книга. Дельная. Обстоятельная. Сплошь из подлинных и не известных ещё документов. Упади такая на тщательно лелеемую СНОП (в творительном, чёрт, падеже!) мозоль, — считайте, прощай, педикюр.

А тут — подумаешь: кузнечик из травы вспрыгнул на кирзовый ботфорт. СНОП (в дательном) это — тьфу. Авось прорвёмся. Хотя бы вырвемся из распостылого 1830-го. Только надо двигаться быстрее.

Что если прибегнуть к пунктиру? И смазать резкость изображения при помощи какого-нибудь условного, туманного оборота, типа: «тем временем»? Допустим, вот так: тем временем батареи не умолкали.

«Телеграф» написал, что зря «Литературная газета» корчит аристократку.

«Литературная газета» написала: она не виновата, что «Телеграф» и «Северная пчела» издаются самонадеянными, дурно воспитанными невеждами и читаются главным образом в закусочных.

Пушкин напечатал статью про Видока Фиглярина и пустил по рукам эпиграмму «Не то беда, что ты поляк...»

Баратынский тиснул эпиграмму на Полевого (в «Литературной газете», 5 июня, через два дня после фельетона про Юсупова, — не иначе как по факсу передал):

«Он вам знаком. Скажите, кстати,

Зачем он так не терпит знати?»

— «Затем, что он не дворянин».

— «Ага! нет действий без причин.

Но почему чужая слава

Его так бесит?» — «Потому,

Что славы хочется ему,

А на неё Бог не дал права,

Что не хвалил его никто,

Что плоский автор он». — «Вот что!»

А Дельвиг (или Сомов) — там же, и против Полевого же — статью (25 июня):

«С некоторых пор Журналисты наши упрекают Писателей, которым неблагосклонствуют, их дворянским достоинством и литературною известностию. Французская чернь кричала когда-то: les aristocrates à la lanterne! Замечательно, что и у Французской черни крик этот был двусмыслен и означал в одно время аристократию политическую и ли-

тературную. Подражание наше не дельно. У нас в России Государственные звания находятся в таком равновесии, которое предупреждает всякую ревнивость между ними. <...> Если негодующий на преимущества дворянские неспособен ни к какой службе, ежели он не довольно знающ, чтобы выдержать университетские экзамены, жаловаться ему не на что. Враждебное чувство его, конечно, извинительно, ибо необходимо соединено с сознанием собственной ничтожности. Что касается до литературной известности, упрёки в оной отменно простодушны. Известный Баснописец, желая объяснить одно из самых жалких чувств человеческого сердца, обыкновенно скрывающееся под какою-либо личиною, написал следующую басню:

Со светлым червячком встречается змея
И ядом вмиг его смертельным обливает.
“Убийца!” — он вскричал: “За что погибну я?”
— “Ты светишь!” — отвечает...»

Тем временем Пушкин съездил из Москвы в Петербург — за документами на пресловутое Болдино.

Тем временем началась и через неделю кончилась (победой) французская революция. Что не удалось в СПб сотне поручиков, удалось в Париже сотне журналистов: короля, посягнувшего на конституционную хартию, парламент заменил королем, поклявшимся не посягать. Какое возбуждение в обеих российских столицах, какие стычки в гостиных, сколько Поприциных на Невском — ну просто какая-то Пражская весна; есть о чём подумать человеку, который разлюбил политическую свободу совсем недавно.

Тем временем (во второй половине июля) Полевой: какую радость, какое счастливое событие возвещает нам «Литературная газета»! В свет выходит книга, исполненная пером самого князя Вяземского, — биография Фонвизина! Как видно, мы и вправду живем в золотом веке; или, во всяком случае, он наступит вот-вот:

«...Только тогда, как писатели светские, люди высшего света станут писать, заставят читать дам и светских людей; когда в промежутках мазурок и котильонов Литература будет составлять предмет разговора; когда Русская книга будет лежать и в диванной красавицы, и на туалете

щёголя, не пугая их ни Скифскою наружностью, ни грубым, не светским языком, — тогда только можно обещать успех Литтературе...

...Лети, мчись, медленное время; пиши, смелое перо Князя Вяземского; двигайтесь скорее, станки в типографии Селивановского; являйся, дорогое дитя — плод семилетнего труда и двадцатидвухлетнего занятия литературного! Мы ждём тебя, мы лелеем тебя надеждами, готовимся к твоему явлению, достопамятному не менее Идиллий нашего Феокрита-Дельвига, песен нашего Беранже-Языкова и Послания Пушкина к К. Н. Б. Ю.»

Видимо, вот этого выпада Пушкин не вынес. Этой интонации. Оттого и невыносимой, что не наглая, а безмятежно-развязная, весёлая слегка и свысока.

Напомню в последний раз: лето 1830 года выдалось для него самым беспокойным в жизни. Свадьба то ли состоится, то ли нет, — наречённая тёща закатывает истерики, деньги тают, карта не идёт, читатель охладел, критик нарывается.

7 августа — очередная идиотская гнусность «Северной пчелы» — последнее известие из испанской Америки! Тамошний один поэт, «тоже подражатель Байрону», любил рассказывать, что будто бы его прадед или прапрадед был чёрный принц, а в архиве доискались по старинным бумагам, что он был — чёрный раб, дикарь! Какой урок тщеславному: а не кичись, не кичись, не чванься — знай, Сверчок, свой генофонд!

Вот «Литературная газета» 9-го августа и поместила текст такой:

«Новые выходки противу так называемой литературной нашей аристократии столь же недобросовестны, как и прежние. Ни один из известных писателей, принадлежащих будто бы этой партии, не думал величаться своим дворянским званием. Напротив, «Северная пчела» помнит, кто упрекал поминутно г-на Полевого тем, что он купец, кто заступился за него, кто осмелился посмеяться над феодальной нетерпимостью некоторых чиновных журналистов. При сём случае заметим, что если большая часть наших писателей дворяне, то сие доказывает только, что дворянство

наше (не в пример прочим) грамотное: этому смеяться нечего. Если же бы звание дворянина ничего у нас не значило, то и это было бы вовсе не смешно. Но пренебрегать своими предками из опасения шуток гг. Полевого, Греча и Булгарина не похвально, а не дорожить своими правами и преимуществами глупо. Не-дворяне (особливо не русские), позволяющие себе насмешки насчет русского дворянства, более извинительны. Но и тут шуточки их достойны порицания».

Что бы остановиться на этой фразе? Чёрт дёрнул написать ещё две.

§ 5. НЕЧТО О БЕСАХ. ПОПРИЩИН И ПОЛИНЬЯК. ТЕОРИЯ СИГНАЛА

Этот чёрт — который дёрнул — был, разумеется, не тот, который тридцать один год назад догадал. Разве что дальний потомок. Седьмая вода на киселе.

Бесы ведь, как известно, — *разны*. Притом (и оттого) что все на одно лицо, не имея лиц. Будто листья в ноябре, — свидетельствует гений. Сравнение поразительное — непременно, потому что невозможно: в таком виде они явились ему среди равнины, покрытой снегом, — какие листья? откуда там взяться листьям? в воздухе — одни осадки: выпадают и выпадают, ветер носит (а датированы стихи — сентябрём).

Как и вирусы (чье телосложение — молекула дезы в оболочке из прозрачного белка — для них, по-видимому, наиболее удобно), духи плохо поддаются классификации.

Этому — ну который дёрнул — возьмём кодовое имя прямо с потолка: 07/1830. Он был из группы демонов политического момента.

Обликом, естественно, не обладал. Вселялся (на неделю, на месяц, а то и на год) в мозговую кору и дезориентировал человека оттуда, изнутри. Не отражаясь в зеркалах.

Но те, кем он овладел, — отражались. У них горели щёки и блестели глаза, они говорили быстрее, чем обычно (иногда — сами с собой); то взмахивали, то всплёскивали руками.

Амальгама тогдашних зеркал, полагаю, разложилась, — однако, кроме них, за людьми следила ещё и литература. А из текста, знаете ли, так просто не уйдёшь.

И демон попался. В некоторых литературных произведениях можно если не увидеть его, то хотя бы услышать, как он воет и смеётся.

Вот хотя бы упомянутое стихотворение Пушкина. Роман Стендаля «Красное и чёрное». Повесть Гоголя «Записки сумасшедшего». Сказка Андерсена «Новый наряд короля».

И многие другие, — но мне дай бог с этими-то разобратся, не отходя от сюжета непоправимо далеко.

Например, Андерсен тут — почти что сбоку припёка: отголосок, необязательный эпилог. Оптимистический: вот видите — всего за какие-то семь лет (сказка — 1837-го) во всех языках Западной Европы словосочетание *глупый король* превратилось из смертельно рискованного оксюморона — в добродушный трюизм. *Quod erat*, как говорится, *demonstrandum*. С девятнадцатым веком вас, друзья! Восемнадцатый-то совсем развалился. В скобках, или по умолчанию: семь лет тому, семь лет.

Поприщин госпитализирован в Обуховскую больницу* (к пушкинскому Германну, на соседнюю койку) в 1834-м — сделавшись Фердинандом VIII Испанским после смерти Фердинанда VII Испанского, всё правильно, — но при чём алжирский дей? как связан, поясните, окончательный провал А. И. в окончательную тьму с вопросом про какой-то кожный нарост на физиономии алжирского дея?

А — так. Для верного анамнеза. Чтобы читатель вместе с Великим Инквизитором отметил в скорбном листе: больной подсел на большую политику четыре года назад, в июне (по н. с.) 1830 года, когда глупый французский король Карл X и его глупый первый министр князь Полиньяк попытались — тщетно! — заглушить оппозицию патриотическим подъёмом — затеяли маленькую победоносную войну — карательную экспедицию в Алжир — достойный отпор зарвавшемуся исламскому террористу: года за три до того на переговорах о каком-то очередном откате этот самый дей хлестнул посла Франции веером по лицу.

Инкубационный, значит, период затянулся на четыре года (интересный случай!), а подхватил пациент Поприщин этот дух 07/1830 — предчувствие роковых перемен и грандиозных вакансий — аккурат в 1830-м, действительно.

Но дальнейшее течение — болезни и событий — стёрто. Словно он тогда внезапно заснул или упал в обморок, несколько лет проспал, а очнулся — через несколько лет — уже в острой фазе. В геополитическом бреде. От мании величия — к поискам врага, — и кто же враг? Князь Полиньяк!

— Только я всё не могу понять, как же мог король подвергнуться инквизиции. Оно, правда, могло со стороны Франции, и особенно Полиньяк. О, это бестия Полиньяк! Поклялся вредить мне по смерть. И вот гонит да и гонит...

А ведь Полиньяк давно не гонит. Полиньяк мотает пожизненный тюремный срок с конфискацией имущества. Чудом избежав — в декабре 1830-го — смертного приговора палаты пэров.

Пушкин на этом проспорил Вяземскому (в августе) бутылку шампанского: уверял — и сам не сомневался, — что Полиньяка казнят, и поделом: не умеешь устроить переворот — не берись! — и горячо желал, чтобы казнили. В ноябре (уже из Болдина! в антракте маленьких трагедий!) любопытствовал: как поживает мой друг Полиньяк?

«Кто плотит за шампанское, ты или я? Жаль, если я».

Лишь под новый 1831-й, начитавшись заграничных газет, одобрил неприменение высшей меры:

«На днях у тебя буду, с удовольствием привезу и шампанское — радуясь, что бутылка за мною. С П. я помирился. Его вторичное заключение в Венсене, меридиан, начертанный на полу его темницы, чтение Вальтер Скотта, всё это романически трогательно — а всё-таки палата права».

Часы Поприщина, как видно, ещё в середине того лета остановились — и вот через четыре года взорвались.

Собственно, это и есть синдром 07/1830: ощущение, что время, развив сумасшедшую скорость, стоит на месте — стоя как вкопанное, летит. Пристальной всех изобразил его Стендаль. В «Красном и чёрном» календарь вообще отключён, даже нет смены времён года. Суммарная продолжительность происшествий, составляющих фабулу, требует от житейского здравого смысла как минимум лет двух, а то и трёх. Но действие идёт в другом измерении, где всё

случается практически одновременно: начинаясь за минуту до революции — кончаясь прежде, чем эта минута истекла. Жюльену Сорелю не успеть стать старше. Не успеть стать великим человеком. Ничего не успеть. Потому что история отстаёт от него на ничтожную долю мгновения.

26 июля, когда глупый король, глупый премьер и ещё несколько глупых министров образовали ГКЧП и опубликовали в официозе «Монитор» шесть т. н. ордонансов: свобода печати упраздняется, палата депутатов — на выход (и т. д., остальное уже всё равно), — в России было ещё только 14-е, и Пушкин садился в дилижанс Москва — Петербург.

Который прибыл к месту своего назначения 19-го — по новому стилю 31-го; в Париже революция почти отпылала. (А вспыхнула — когда проезжали Торжок.)

Уже Лафайет слез с танка; уже, подойдя к раскрытому окну ратуши, разыграл с Луи-Филиппом Орлеанским пантомиму: генерал подал герцогу триколор, герцог обнял генерала и стал триколором размахивать. И народ на Гревской площади понял это так, что монархия с республикой будут теперь жить душа в душу, как две сестры. Уже Карл X катил из Версаля в Трианон (ты помнишь Трианон?), оттуда в Рамбуйе, затем в Шербур, чтобы на американском корабле отплыть в Англию.

Ничего этого и в Петербурге ещё не знали. А знали — и то лишь во дворце и в посольствах, — что:

вечером 14/26 некоторые депутаты парламента и главные редакторы газет призвали народ не подчиняться ордонансам;

15/27 в Париже начались беспорядки; появились баррикады;

16/28 — завязались уличные бои;

17/29 часть правительственных войск перешла на сторону народа, остальные отступили; толпа ворвалась в Лувр и Тюильри; убитых около тысячи с обеих сторон и тысяч пять раненых.

Таковы были — когда Пушкин приехал в столицу — последние известия. Причём сугубо д. с. п.

«Северная пчела» про обнародование ордонансов сообщила и вовсе 29 июля, то есть 10 европейского августа. А как же:

двое суток (самое малое) на прохождение информации через границу, двенадцать (самое малое) — через Контору и цензуру, накиньте сколько-то на типографские работы — получается, Российская империя отстояла от Гринвичского меридиана на 300 часовых поясов, причём к западу.

В иные минуты это должно быть невыносимо. Чувствовать, что вы не современник самому себе. Что сегодня — на самом деле позавчера. И что шарик как будто не туда крутится. Как в Белых столбах. Как в Обуховской, для бедных, больнице.

Но выручает привычка. Данная свыше как замена счастью. К тому же дефицитный продукт сладок.

— Французская июльская революция тогда всех занимала, а так как о ней ничего не печатали, то единственным средством узнать что-либо было посещение знати. Пушкин, большой охотник до этих посещений, но постоянно от них удерживаемый Дельвигом, которого он во многом слушался, получил по вышеозначенной причине дозволение посещать знать хотя ежедневно и привозить вести о ходе дел в Париже. Нечего и говорить, что Пушкин пользовался этим дозволением и был постоянно весел, как говорят, в своей тарелке. Посетивши те дома, где могли знать о ходе означенных дел, он почти каждый день бывал у Дельвигов, у которых проводил по несколько часов...

А сколько ты стоишь, спроси свою знать. В смысле — Е. М. Хитрово, Лизу голенькую. Будучи тётшей австрийского посла, Елизавета Михайловна регулярно получала «Le Temps» и «Le Globe». Как дочь Голенищева-Кутузова (героя «Войны и мира»), и владея старинным, почти позабытым (но для нас важнейшим из всех) искусством придворного остроумия (это когда бесстыдно льстят с таким выражением лица и с такими интонациями, как будто проявляют независимый характер), бывала достаиваема частных диалогов с его величеством.

(Ах, вот бы Пушкину у неё поучиться! Вот кто был льстец совершенно бездарный — и блестяще доказал это стихотворением, в котором так искренне и так неудачно уверяет каких-то друзей, что он вообще не льстец, потому что льстецы — лжецы, а он практикует хотя и приятную —

быть может, и полезную, — но правду. Что же это за правда? Верней — что же в ней такого приятного? Ты, значит, эффективный менеджер, продолжай бодро и честно руководить, а я, певец, — между прочим, избранный небом, — прислонюсь к престолу и предамся творческим мечтам, боковым зрением контролируя помаленьку распределение прав и милостей, — ничего, придумано славно!

А проблема стояла, как Александрийский столп — ещё, впрочем, не воздвигнутый, — абсолютно прямо, на месте пустом и ровном, занимавшем шестую часть земной суши. Она стояла так: кто гений этой страны? Очевидный ответ — идеально сформулированный Евгением Шварцем, — разрешалось произносить разными способами, лишь бы от всего сердца и часто. «Северная пчела» наострилась буквально за пару лет, дочь героя «Войны и мира» умела ещё с тех пор, как ходила в длинных панталончиках с кружавчиками, автору «Доктора Живаго» своевременно подсказала интуиция, — один лишь Пушкин так и умер, не сдав ЕГЭ.

И ведь не то чтобы он совсем не умел или гнушался сказать «вы — гений». Какому-нибудь ничтожеству — легко! Но вот добавить «ваше величество» язык не повернулся ни разу. Потому что Пушкин — смешно сказать — уважал Николая I. До такой степени не понимал.)

Император беседовал с г-жой Хитрово охотно: она подавала реплики, от которых его ум разворачивался во весь диапазон. Она же, наслаждаясь его мнениями об иностранных и внутренних делах, не упускала ни единого повода вставить словцо и о Пушкине, в которого была, как кошка, влюблена.

Насчёт Пушкина Хозяин (le Maître) ее успокаивал: всё будет ОК, перспективы просто блестящие, любое место хоть при дворе, хоть в администрации, на выбор.

Что же касается до революции в Париже, то Николай Павлович такое волеизъявление французских народных масс одобрял.

Теперь уже незачем хранить секрет: еще месяца два назад, едва заподозрив, что глупый Карл X готовит путч, он отправил дип. почтой специальную депешу: не делайте этого, брат мой! народ встанет на защиту конституции; переворот не пройдет; а вы рискуете лишиться трона.

Короля, конечно, можно понять, ещё бы: попробуйте твёрдой рукой вести в бурном море корабль, когда из всех люков выглядывают хохочущие рожи и на реях расселись зеваки, освистывающие каждый ваш приказ. Вообще, монархия ограниченная, представительная — самый скверный режим.

Но что же делать, господа: если слово дано, его надо держать. Людовик XVIII подписал хартию — кстати, по настоянию Благословенного, так что она гарантирована русским штыком. Карл X поле смерти Людовика подписал тоже — и хартию, и отдельно 14-ю статью: клянусь данную хартию соблюдать и защищать. Ну и соблюдай. Разорвал — свергли — так тебе и надо.

Другое дело, что раз король и дофин 2 августа (по нашему — 21 июля) отреклись, законный властитель с этого дня — внук короля, а не какой-то кузен. Луи-Филипп — несомненно, узурпатор. Прикинувшись республиканцем, он соблазнил эту простуху революцию, а потом обокрал.

— Искренний, убеждённый республиканец в Европе один: он перед вами. Монарх я только по призванию. Будь я частный человек, имей я возможность выбирать, при каком правлении жить, — для себя и своей семьи я выбрал бы республику: свобода и безопасность — чего ещё надо, так удобно. Однако Господь доверил мне страну, которой этот общественный строй не подходит, — и вот я монарх, причем абсолютный, то есть обязанный осуществлять абсолютную справедливость, — поверьте, это тяжкий труд.

Так — мягким баритоном — говорил император за вечерним чаем — и улыбался задумчиво. Как будто революция разразилась на Луне: если посмотреть в подзорную трубу — занятное зрелище, и даже красиво.

Как будто час назад в кабинете — в другом крыле Елагина дворца — не он кричал пронзительным тенором Бургоэну, французскому посланнику:

— Никогда, никогда я не признаю нынешнего порядка вещей во Франции! Никогда — вы слышите? — никогда я не откажусь от своих принципов, потому что с честью торговаться нельзя! А те принципы, которые вводят вас в заблуждение, я ненавижу!

Он был глубоко оскорблён и жестоко страдал. И вся номенклатура, в первую очередь работники агитпропа и многие члены творческих союзов, тоже чувствовали себя так, как будто Франция плюнула им прямо в душу.

Это ведь легко сказать: доктринёры выиграли, а роялисты проиграли. Или: французское дворянство утратило политическое влияние, приобретённое им во время реставрации. Так напишут потом в учебниках. А сейчас смысл события был хотя и невероятен, но очень прост: умные из якобы образованных подговорили остальных якобы образованных, а те — грамотных — выставить знатных негодными глупцами и под этим предлогом захватить власть; и захватили, поскольку грамотных оказалось так много, что большинство неграмотных тоже примкнуло к ним.

Ещё короче, совсем коротко: дворянство как правящий класс уничтожено в три дня — и кем же? — образованщиной! Мещанской литературой! Журналистикой!

Гнусные гусиные (если только на Западе ещё не придумали стальных) перья! Гнусные скоропечатные типографские станки!

Налетела туча ловко, резко написанных текстов — и благомыслящим людям благородного происхождения нечего стало ждать от государства, нечего ловить. О, да, покамест только во Франции. (Скажем, в Зульце некто Жорж Дантес, исключённый кадет, уже пакует чемоданы.)

Но недаром маркиз де ла Моль в «Красном и чёрном» на закрытом собрании ультрароялистов пророчествовал:

«— Между свободой печати и нашим существованием как дворян идет борьба не на жизнь, а на смерть. Становитесь заводчиками, мужиками либо беритесь за ружьё. Можете робеть, коли вам угодно, но не будьте дураками, откройте глаза. ... Или вам угодно заниматься разговорами и сидеть сложа руки? Пройдёт пятьдесят лет, и в Европе будут только одни президенты республик и ни одного короля... Исчезнут с лица земли и служители церкви и дворяне. Вот мы тогда и посмотрим, как останутся одни кандидаты, заискивающие перед мерзким большинством».

И Поприщину инстинкт исторического самосохранения (или же чёрт — все тот же пресловутый 07/1830) диктует:

— Правильно писать может только дворянин. Оно, конечно, некоторые и купчики-конторщики и даже крепостной народ пописывает иногда; но их писание большей частью механическое: ни запятых, ни точек, ни слога.

Вот-вот. Это же самое «Литературка» летом тридцатого года твердила в каждом номере: нечего делать в изящной словесности тому, кто не умеет себя вести. Тому, кто сам пишет, как Бог пошлёт, а смеет распатывать авторитеты. Подавая дурной пример. Создавая прецедент опасный.

В России реально наличествовал всего лишь один такой человек. Зато весьма популярный, слишком. Самонадеянный автор отвратительных произведений «История русского народа» и «Утро в кабинете знатного барина». На него и намекали.

А демон политического момента нашёптывал гневно: довольно намёков! хорош церемониться! в Париже вон доцеремонились уже!

И толкал под руку, и норовил дёрнуть. И дёрнул наконец.

Когда та злосчастная заметка для раздела «Смесь» почти вся была уже написана. Ну вы помните:

«...Пренебрегать своими предками из опасения шуток гг. Полевого, Греча и Булгарина не похвально, а не дорожить своими правами и преимуществами глупо».

Текст оставалось только присыпать песочком, чтобы чернила скорей просохли.

Чёрт, по-видимому, подменил песок молотым чёрным перцем — и дальше пошло так:

«Не-дворяне (особливо не русские), позволяющие себе насмешки насчёт русского дворянства, более извинительны. Но и тут шутки их достойны порицания. Эпиграммы демократических писателей XVIII столетия (которых, впрочем, ни в каком отношении сравнивать с нашими невозможно) приуготовили крики: *Аристократов к фонарю* — и ничуть не забавные куплеты с припевом: *Повесим их, повесим. Avis au lecteur*».

Это был уже никакой не намёк. Это был самый настоящий сигнал. Презентация одного из ведущих жанров соц-реализма.

«Avis au lecteur» (в трактовке старухи СНОП — «имеющий уши да слышит») переводится с французского однозначно: mon Général, разуйте же глаза! ваша снисходительность граничит с халатностью. Под самым носом у вас творится преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ: *действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые публично или с использованием средств массовой информации.* Каковые действия — разве мы с вами только что в этом не убедились лишний раз? — могут рано или поздно привести к подрыву или даже свержению государственного строя. Установочные данные на экстремиста — впрочем, отлично вам известного — см. ниже. (Действительно, на той же странице ЛГ есть и такая заметка: «В газете Le Furet напечатано известие из Пекина, что некоторый Мандарин приказал побить палками некоторого Журналиста. Издатель замечает, что Мандарину это стыдно, а Журналисту здорово». Явно Вяземского слог, его самодовольный юмор. Наверное, он-то этот слух — будто лакеи князя Ю*** отколотили Полевого, — и пустил.) Mon Général, я любил вас. Будьте бдительны. Выведенный из терпения *Доброжелатель*.

Виноват! зарпортовался: подписи-то и нет.

Подписи нет, автограф не сохранился, презумпция невиновности — царица доказательств. Трогательная старуха СНОП имела полное моральное право (и не преминула им воспользоваться) вывести: *Приписываемое Пушкину* — на дверях склепа, в котором она погребла этот текст. Оставьте надежду, входящие сюда. Редколлегия «Литгазеты» — по алфавиту: Вяземский, Дельвиг, Пушкин, Сомов. Кто из них писал лучше всех: тяжёленькими гранёными фразами без пауз, — кого сильнее волновало международное положение — у кого имелся личный мотив для неотложной литературной мести — в чьём воображении постоянно мелькали сцены из французской истории прошедшего века — в конце концов: чей голос вы слышите — тот и автор. Спорим — не угадаете. А угадаете — нипочём не докажете*.

Но сама-то с собой бедняжка СНОП в шарады не играла. Она знала. Была уверена. Ни одной минуты не сомневалась. Страшно расстраивалась из-за этого текста. Если бы она только могла, она сделала бы его как бы небывшим. Технология позволяла. Но не позволяла — вы не поверите — профессиональная честь.

Утешало, что редкая птица доберётся до этого тома, тем более — до последних страниц. А и доберётся — ничего не разберёт. И полезет в примечания. Где её ждут, и всё готово к встрече.

Привет, редкая птица! Ты вроде бы чем-то огорчена? Знай же, что данная заметка представляет собой ответ на нападки реакционной прессы, прежде всего — на инсинуации Булгарина, Булгарина, Булгарина (припев повторяется несколько раз). Смысл её заключался в том, что Булгарин, стоявший на официозных охранительных позициях, противоречил сам себе, нападая на дворянское происхождение сотрудников «Литературной газеты», — ей-богу, так.

Понятно тебе? Не донос, а отпор. Булгарину, Булгарину, Булгарину. Проклятому Видоку Фиглярину. Стукнуть на сексота, что он антисоветчик, — какой же это донос? Это светлые силы срывают планы тёмных.

Учись читать наоборот. Написано: не дворяне — подразумеваются как раз дворяне Булгарин и Греч. Написано: наши демократические писатели — опять же про них, про издателей «Северной пчелы». Логично: тебя же предупредили, что на Булгарина находила иногда блажь — попротиворечить самому себе. Стало быть, вполне мог иногда, нечаянно, по недоразумению, попасть на сторону людей доброй воли. Диалектика борьбы. И вообще — тут стоят невидимые миру кавычки.

Что — а Полевой? Ах да — тоже фигурирует. Но комментария не сто́ит. Ну был такой. Издавал передовой, по меркам того времени, журнал — «Московский телеграф». Но раз упомянут между Гречем и Булгариным — значит, пособник реакции. О нём известно, что как-то плохо кончил, — а больше ничего. Ещё вопросы есть? Приятного полёта, мягкой посадки.

Не любила, не любила СНОП говорить о Полевом. И другим не давала. Сопротивлялась всеми фибрами*. Поскольку отдавала себе отчёт, что её кумир поступил с Полевым не прекрасно. Был, в некотором роде, не прав. Но сказать такое вслух? Лучше смерть.

Пушкин в Болдине долго обсуждал со своей литературной совестью этот эпизод. Отнюдь не сознаваясь, что автор заметки — он.

И совесть говорила:

— Воля твоя, замечание «Литературной газеты» есть тайный донос. Зачем поставили они *avis au lecteur*?

Он огрызался:

— Напечатанный тайный донос! Это что-то ново.

— Если не тайный, так явный донос. Это не легче, — усмехалась совесть.

Он написал две больших статьи (обе не дописал), чтобы её переубедить. Теми же аргументами, что и СНОП: против Булгарина все средства хороши, а Полевому ничего не будет. Она не слушала. Он заменил её простодушным приятелем А. — и разговор зазвучал так:

«А. Воля твоя, замечание “Литературной газеты” могло повредить невинным.

Б. Что ты, шутишь, или сам невинный — кто же сии невинные?

А. Как кто? Издатели “Северной пчелы”.

Б. Так успокойся же. Образ мнения издателей “Северной пчелы” слишком хорошо известен, и “Литературная газета” повредить им не может, а г. Полевой в их компании под их покровительством может быть безопасен».

Насчёт покровительства — это был опять ложный (конечно, не заведомо) навет, — но, так или иначе, первой, действительно, пострадала «Литгазета»: Бенкендорф вызвал Дельвига и распёк. (Ясно за что: за *повесим их, повесим*. В советское время и если бы песенка была о большевиках — тоже по головке не погладили бы.)

А Полевому — ничего, я же говорил. Разве что когда через год он вздумал издавать ещё и «Прибавление к Московскому телеграфу» (фактически ещё один журнал), император на его программе начертал собственноручно:

Не позволять, ибо и ныне ничуть не благонадёжнее преждего.

И вообще, от литературного доноса никто в России до 1917 года не умирал. Тем более — от доноса иронического, саркастического, едва ли не пародийного. (С пафосом Загорецкого: против насмешек над львами, над орлами. Кто что ни говори.)

Чтобы такой текст сделался хотя бы самой отдалённой причиной чьей-нибудь гибели, должен был первым делом найтись читатель, который понял бы его буквально.

Принял бы совершенно всерьёз все эти слова: про аристократию, демократию и про фонарь. И дошёл бы до оргвыводов.

То есть круглый идиот. (Причем круглый математически: такой, в идиотизме которого все точки равно удалены от центра.) Причём безжалостный и могучий.

Вероятность личного столкновения с одним из таких существ невелика. Это как встретиться с акулой (никогда не спят, не знают страха; главное — поперечноротые, пасть — как автомобильная мойка, вот кошмар) или с кубической медузой (24 глаза, ни капли мозга, трёхметровые щупальца, смертельный яд).

Но, к несчастью для Н. А. Полевого, в первой половине девятнадцатого века один деятель такого типа в России был.

(Вы думаете — царь? Совсем не царь. В нашей — с Эзопом и Ламарком — таблице Николаю I соответствует обыкновенная треска. *Gadus morhua*. В мундире — любимом — Измайловского полка внешнее сходство полное. Спинных плавников — 3, анальных — 2, на подбородке небольшой мясистый усик. Окраска спины от зеленовато-оливковой до бурой с мелкими коричневыми крапинками, брюхо белое. А выражение глаз!)

У литератора — это все знают, а первый написал, если не ошибаюсь, Петрарка, — жизнь одна, а смертей — три. Что может с ним сделать враг, хоть самый лютой? Да только то же самое, что с любым другим человеком. Добиться, чтобы до самого наступления первой смерти — до остановки сердца — небо казалось нам с овчинку (спец. термин).

Это нетрудно, методик до фига, самая примитивная (и эффективная) отработана (например, госбезопасностью) до блеска. Человека фиксируют на несколько часов, недель или десятилетий в положении «бараний рог» или «ласточка» (спец. термины), предварительно обработав т. н. ежовыми рукавицами (годится и пластиковый мешок), — и всё, цель врага достигнута. Но дальше он бессилён.

О второй смерти — чтобы погибла слава имени — позаботятся друзья. Конечно, тоже литераторы. Если начнут вовремя, т. е. заранее, лучше всего — ещё на стадии «бараний рог» — скажем, если бывший ученик и почитатель, предав, проникнется вдруг презрением и вложит в ненависть весь свой талант, — она не замедлит, вторая смерть. Автор истории литературы, признав свой творческий просчёт, легко избавится от неудачного, неубедительного, бледного персонажа: просто-напросто возьмёт и вычеркнет абзац-другой.

А тут и третья смерть набегит — смерть сочинений.

§ 6. НЕЧТО О ДУНДУКЕ. МИЛЫЙ ФИФИ. СКАЧУЩЕЕ ТЕЛО

Идиот блестяще владел французским языком, свободно — разговорным немецким (писал — с ошибками). Якобы читал (кто проверит?) по-английски, по-итальянски. Древнегреческий со словарем. Латынь, само собой. Чтоб эпиграфы разбирать.

И выглядел прилично. По крайней мере — в молодости. С точки зрения, например, госпожи де Сталь, а также под кистью Кипренского, вполоборота. Лоб под тёмной шевелюрой высокий, нос крупный, прямой, брови густые, круглые, губы полные, взгляд как будто осмысленный, как бы даже задумчивый. Одет стильно. Поза уверенно-небрежная. Тросточка в расслабленной руке. Короче, по внешности ничего не заподозришь. Чувствуется (или мерещится задним числом) некоторая фальшь, как бы попытка выдать какую-то пустоту за какую-то глубину, — но не более того.

Мало кто догадывался. (И всегда — поздно.) И сам он, ясное дело, на ум не жаловался, только на нервы. Ну и (в стихах; баловался стихами в начале пути, в основном по-французски и по-немецки) на судьбу — а уж она ли ему не потакала. Со стороны посмотреть — мальчик объелся конфетами. Но ведь страдал — и полагал, что этими резами даёт о себе знать душа.

Страдалец я теперь — и помощи не вижу;
Надежды никакой нет в жизни для меня.
И целый свет не мил, и жизнь я ненавижу;
Влачу цепь дней моих, рыдая и стена.

Семнадцать лет, с пылу с жару камер-юнкер. А впрочем, не факт, что это его стихи — «Мой жребий» в «Северном

вестнике» 1804 года. Подпись: С..й У..е, — но мало ли. В письмах он обычно расчёркивался: Serge d'Ouvaroff. И, как правило, пользоваться т. н. родным языком избегал. (Вяземский говорил: боится.)

На протяжении четырёх десятилетий, даже дольше, идиот руководил (по совместительству, по совместительству: меньше двух должностей никогда не занимал, каждую — с персональным окладом) петербургской АН.

Про которую какой же русский не знает — только это и знает, — что в ней заседает князь Дундук.

Существо из мифологии, как царь Горох или царь Кашей. Но по интеллекту ближе к царю Дадону. Поскольку имя образовано из эпитета хотя и диалектного, но в высшей степени доступного общенациональному инстинкту, и (как и в языках монгольской группы) с очевидностью означает: не Спиноза. Пушкин искренне думал, что это реальная фамилия, — нет, официально князь М. А. Дондуков-Корсаков писался через о, — но как бы там ни было, рифма к Академии найдена навеки.

Однако дундук был там всего лишь замом идиота. Вице-президентом. Назначен 7 марта 1835 года.

Говорят, не подобает

Дундуку такая честь;

(вообще-то верно: попечитель учебного округа, председатель Цензурного комитета — это в лучшем случае уровень рядового члена ЦК; академик начинался с зав. сектором.)

Почему ж он заседает?

Потому что — — —

Но тут СНОП с необыкновенным проворством (тогда она была еще комсомолка, проходила, отбывала, или каким глаголом это называлось, кандидатский стаж), выхватывает из-под руки Пушкина эту последнюю строчку, комкает её, глотает, а на её место — шлёп свою! Получается прекрасная, истинно народная частушка. Хоть сейчас исполняй на первомайском капустнике силами самодеятельного ансамбля аспирантов:

Почему ж он заседает?

Потому что есть чем сесть!

Побуждения прекрасной ханжи похвальны. С одной стороны, перекрыть глупому слову на букву Ж путь

в коммунистическое завтра. С другой — всё-таки оставить в личном деле Пушкина этот острый выпад против столпов царизма. Ну да: и невинность соблюсти, и авторитет не растерять, — а чему смеётесь? над собой смеётесь! Другая бы вычеркнула, а деликатная, но храбрая СНОП — спасла. Да ещё с каким художественным тактом: траектория эпиграммы изменилась градусов на 90, но главные-то элементы — юмор и сатира — сохранены. В конце концов, разве сода содержит не тот же самый натрий, что и соль?

Оказалось — допущен прокол: единственным адресатом эпиграммы остается шестёрка, а устранён (и тем самым выведен из-под удара) не просто какой-то там главный герой, а крупнейший мракобес. Неосмотрительная СНОП, поддавшись порыву стыдливости, поставила педагогическую целесообразность выше политической. Такой подход граничил с антипартийным. И ей пришлось вернуться к данному тексту, когда ПСС дошло до последней записи в пушкинском дневнике (февраль 1835 года):

— В публике очень бранят моего Пугачёва, а что хуже — не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении. Его клевет Дундуков (дурак и бардаш) преследует меня своим ценсурным комитетом. Он не соглашается, чтоб я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит. Кстати об Уварове: это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкринна был на посылках. Об нём сказали, что он начал тем, что был б..., потом нянькой и попал в президенты Академии наук, как княгиня Дашкова в президенты Российской академии. Он крал казённые дрова, и до сих пор на нём есть счёты (у него 11 000 душ), казённых слесарей употреблял в собственную работу etc. etc. Дашков (министр), который прежде был с ним приятель, встретив Жуковского под руку с Уваровым, отвёл его в сторону, говоря: «Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком!»

Пряча зардевшееся лицо в накрахмаленных кружевах фартука, бедняжка СНОП вынуждена была признать со всей прямоотой, что — да, действительно, неприличное слово на

букву Ж использовано в эпиграмме парадоксальным образом: как эвфемизм; окружность, им обозначаемая, замещает здесь свой центр (это можно рассматривать как метонимию из разряда «перенос с вместилища на содержимое» или даже как анти-синекдоху: целое в значении части); тут намёк не на бездарную усидчивость, а скорее наоборот — на, предположим, креативную вертлявость; поскольку идейный заряд пресловутой эпиграммы адекватней всего был бы передан утверждением типа:

— Голубые-то наши (*никому не в обиду будь сказано*) до чего оборзели! Вот уже и АН превратили в какой-то гей- (*никому не в обиду*) цирк!

— То-то и оно! — сказали ей. — Такое заявление великого поэта может и должно послужить делу пролетариата. Ведь президент этой самой АН — лишь один из титулов Уварова, секретаря по идеологии, курировавшего в николаевском ЦК идеологический соответственно отдел, а также агитпроп и Главлит. Теперь нам понятно, в кого метит и кого клеймит вольнолюбивый классик. Эзоповым языком он бичует нравы правящей верхушки: ведь, формально именуясь министром просвещения, Уваров входил в ближайшее окружение императора.

Так в лексиконе Фимы Собак (кто запомнил — это подруга Эллы Щукиной, «людоедки»: см. Ильфа и Петрова) появилось 180-е слово, богатое слово: гомосексуализм. И все гуманитарные науки, затрагивая личность Уварова, еле слышно, закрыв рот ладошкой, хихикают: особые вкусы — сексуальные пристрастия — противоестественные склонности — нетрадиционная ориентация. Как известно.

Откуда известно — незачем и спрашивать. Сами выкатят, нимало не медля: как свидетельствует Пушкин, и т. д.

А на самом-то деле, если разобраться — известно им со слов кузины СНОП. А уж ей — со слов Пушкина. А Пушкину — с чьих-то ещё: явно не он держал свечку. Те же, кто держал, — если кто-то держал, — тью-тью без мемуаров (неграмотные дворовые какие-нибудь), и взятки гладки.

Показания свидетеля Пушкина основаны на нескольких сплетнях и одном факте.

Сплетни — это серьёзно. А вот что касается факта — продвижение начальника столичного Горлита в вице-президенты АН если и может быть Уварову вменено, то лишь как злоупотребление служебным положением. В самой лёгкой форме. Без превышения полномочий. Коррупционный же мотив просматривается с трудом.

Даже странно: в 1836 году (дата под эпиграммой) Пушкин, выходит, уже не помнил, что всего-то пару лет назад точно так же, по блату, — и как раз через Уварова! — пристроил Гоголя в СПб. университет, на кафедру истории? Кузине СНОП порасспросить бы про это кузину СНОГ¹, та сообщила бы ей много интересного: какой, например, у Гоголя был научный багаж. (Малой скоростью из Нежина.) Или как Уваров под руку с Пушкиным явился на первую лекцию. Неужели вся эта афера удалась благодаря тому, что фигура Гоголя показалась Уварову соблазнительно милостивой? Попробовал бы кто-нибудь смастерить эпиграмму с подобной гипотезой. Кузина СНОГ, не раздумывая, сдала бы вредителя в ГПУ.

Где у нас бритва Оккама? Давайте допустим, что идиот просто-напросто был отличный администратор и умел оказывать услуги нужным людям (а за Гоголя просил, кроме Пушкина, Жуковский и даже — по их обоим наущению — Дашков) и поощрять ценных работников. Ну да, не иначе как за казённый счет, и возможно, что иногда — в ущерб престижу учреждений. Подумаешь. Да и какой там престиж. Во всяком случае, за мою альму имени Жданова матер я спокоен.

А идиот, кстати, университетов не кончал. Ни гимназий. Вроде бы провёл около года в Геттингене — но в тамошних списках не значится. Доставшейся ему долей всех тех богатств, которые выработало человечество, обязан аббату Mangin, своему гувернёру. И, разумеется, «Арзамасу» — им же, идиотом, учреждённому литобъединению пародистов.

Ах, какие неутомимые остряки съезжались к нему на Малую Морскую, ну и к Блудову на Невский — поестъ гусятины! Общество арзамасских безвестных литераторов.

¹ СНОГ — советская наука о Гоголе.

Жуковский, Дашков, братья Тургеневы, Вяземский, Вигель, Давыдов, Пушкин (под конец и с племянничком)... Ах, какие гуси продавались на Сенном рынке: одного хватало на семерых, а двух — на всех!

Это ведь он, Уваров Сергей (так почтительней) Семёнович, тут кое-кем трактуемый как идиот (при его жизни тоже иные фыркали: фанфарон! или шипели: шарлатан! — и кто теперь помнит, как их звали?), — это он всё придумал, и насчёт гуся, и до ужина заседать за настоящим канцелярским столом. Это он зазвал всех к себе (в 1815-м, 14 октября) и прочитал самую первую — так сказать, основополагающую — арзамасскую речь. А они приняли как должное. Как мысль, носящуюся в воздухе и оттого принадлежащую всем. Даже отказались выбрать его президентом! Хотя к тому времени из них из всех только он вышел в настоящие начальники, не говоря уже, что только он новейшую французскую словесность читал от и до, и он же снабжал их тамиздатом прямо из цензуры.

С ним обходились, как с шекспировским Мальволио: как будто он сам смешней, чем его шутки. И как будто его высокое положение ничего не значит, раз все в курсе, как оно ему досталось.

Ну по благу, — а что такого? это норма жизни. Единственный надёжный метод подбора кадров и последующей селекции. Что успел бы совершить для России Сергей Семёнович, не позаботясь о нём Провидение? При такой нервной системе — несовместимой с армейским бытом? Имея столь безалаберную (это ещё мягко сказано) мать. Исхитрившуюся разорить имение дотла.

Бедный Евгений — читали «Медного всадника»? — вот какая ему светила историческая роль, а по-нынешнему это называется Поприцин: писцом в департаменте, с почётной обязанностью — по утрам перья какому-нибудь его превосходительству точить. Перья, быть может, того самого гуся, которого либертены клуба «12 стульев» съедят вечером без него.

А впрочем — предполагать так предполагать (хотя так можно и в параисторию впасть) — навряд ли и вы, весельчаки минувших дней, все добрались бы до этого гуся, если бы над каждой пашкой не нависала огромная рука, готовая

переставить её либо отдать за фук. А также если бы сообразительные пашки: умеющие считать ходы, — не уступали время от времени друг дружке дорогу.

К примеру, ежели бы в свое время Сергей Семёнович за чаем у императрицы не прочитал вслух с выражением «Певца во стане русских воинов» — никогда, никаким другим случаем не попал бы Жуковский в любимцы Семьи, — но и у Сергея Семёновича не было бы в русской литературе ни одного, скажем так, почти приятеля.

Ну да, считается, что камер-юнкерский мундир получен по протекции Алексея Борисовича Куракина, тёткиного супруга, генерал-прокурора. А в Коллегию иностранных дел приняли ещё раньше, с пятнадцати лет — потому что Куракин Александр Борисович, брат предыдущего, был этой Коллегии вице-канцлер. А манеры отшлифованы в высшем свете Вены исключительно благодаря тому, что вице-канцлер отправился туда послом — а послам, как считается, бывают нужны атташе.

Но дальше-то карьера пошла сама — а лучше сказать: фортуна сама привязалась к Сергию Семёновичу, причём в очень тяжёлый момент — когда дорогая мамаша сделала его буквально нищим, — именно тогда фортуна и побежала за ним, как собака. Оказалось, что она давно его высматривала, — и кто на его месте отказался бы от предложения дочери самого Разумовского? Да, не красotka. Да, немножко старее годами, проклятые сплетники. Да, став (десятого года осенью) зятем министра просвещения, Сергей Семёнович сделался (31 декабря) попечителем Санкт-Петербургского учебного округа (с подобающим — генеральским — чином). Двадцати четырёх лет. Не имея — вы правы, *sargisti*, это очень забавно — даже справки о неоконченном среднем.

Что ж, он умел нравиться — и нравился. Дамам — практически всем, за исключением молодых. Излюбленный контингент — на первом рубеже шестого десятка. Жанр — задумчивая такая, многозначительная нежная дружба, меланхолическая *amitié amoureuse*. Скажем, угадать — а лучше узнать от лакея: в платье какого оттенка выйдет завтра в сад вдовствующая императрица-мать, — и преподнести сообразный настроению цветочек. С фразой и жестом фран-

цузского маркиза прежних времен (ancien régime). О, да, примитив — но почему-то с большим КПД. Только в выражение глаз обязательно добавлять затаённую печаль: как-никак, уже написан Вертер.

Старики тоже поддавались. И с ними не надо тратить на цветы: просто разделяй мысли.

Независимо от всех этих мелких половых различий, рано или поздно всплывала альтовая тема усыновления. С вариациями: от шутливой до трагичной.

В 1806-м австрийская графиня Ромбек (значившая в Вене не меньше, чем Хлёстова в Москве) писала ему:

— Вы перл моего потомства! Дверь заперта; я больше не рожу.

Обращалась к нему: дорогое дитя любви и случая; обожаемое дитя; милый Фифи.

Госпоже де Сталь, ввиду недостаточной, всего лишь двенадцатилетней разницы лет, оставалась функция сестры:

— Благодарю вас за ваше восхищение и за вашу признательность, но мне хотелось бы, в качестве сестры значительно вас старшей, быть вам полезной в вашей литературной карьере, — полезной в единственно нужной для этого форме, т. е. внушая вам в течение некоторого времени сознание собственных сил, которые должны развиваться с годами и с увлечением.

В 1813-м, сам уже отец семейства, он признавался прусскому министру, 56-летнему барону Штейну:

«Когда я думаю обо всех неудачах своей жизни, у меня возникает идея, что я никогда не пушу здесь корней и навсегда останусь *экзотическим* растением; против своей воли я прихожу к мысли, что должен был родиться Вашим *соотечественником* или, может быть, Вашим *сыном*, — но это мечта, я отказываюсь от неё и хочу от неё отказаться».

(Ещё бы! Я и то удивляюсь: куда смотрела контрразведка? Положим, Пруссия входила в союзную коалицию, но переменись положение на фронтах — такие нежности потянули бы на гос. измену.)

Тут был ещё особенно дорогой, глубоко интимный мотив: врождённый аристократизм. По документам Сергей Семёнович был обыкновенный четырёхсотлетний дворянин:

законный (давно покойный) муж его мамыши происходил от некоего Минчака Косаева (татаро-монгольский полевой командир, своевременно перешедший на сторону федералов). Но, весьма вероятно, недаром восприемницей Сергея Семёновича от святой купели соизволила стать сама великая Екатерина; для простого (и простоватого, говорят) флигель-адъютанта — который, правда, умел плясать, сам себе подыгрывая на бандуре (чем украшал попойки Потёмкина и заслужил прозвище Сеня-бандурист), — милость всё-таки чрезмерная. (Страшно вымолвить, но сам Николай Павлович — родной внук! — не был удостоен.) Другое дело, если настоящим отцом пригожего младенца был красивый (нота bene!) сын одного из друзей её молодости, знатного вельможи, состоявшего, между прочим, с Романовыми в свойстве: некоторые упоминают графа А., — но *silentium! silentium!* *Nomina*, знаете ли, *odiosa sunt*.

Обладатель такой амбиции мог себе позволить (считал, что может) украдкой вздохнуть о том, что и Провидение, увы, не вполне застраховано от кадровых ошибок — на самом верху доминируют династический принцип и человеческий фактор:

— Мы живём в столетии обманутых надежд. Трудно родиться на троне и быть оного достойным.

Опять-таки: где было Третье отделение? Ах, его ещё не было! А чем, интересно, занимался господин Жак де-Санглен, Яков Иванович, всеведущий шпион его величества? Работал над своим трактатом «О величии человека»? Нет, определённо Бенкендорф был прав: при Александре I органы буквально не ловили мышей. Это письмо — от 17 года — обращено, между прочим, к Николаю Тургеневу, арзамасская кличка — Варвик (а сам Уваров проходил как Старушка), — впоследствии, через восемь лет, заочно осуждённому и объявленному в международный розыск идейному вдохновителю провокации на Сенатской площади.

Кстати, это ведь он, идиот, летом 30 года в гостиной у Олениных обронил, всех рассмешив, что мысленно аплодирует г-ну Пушкину: хвалиться происхождением от негра, купленного Петром Великим в Кронштадте за бутылку рома, — так современно, так оригинально. Присутство-

вавший Булгарин, только что униженный и оскорблённый «Литгазетой» — разоблачённый ею как инородец-космополит, — взыграл от радости, и понеслось.

Всё это хорошо, но тем не менее материалы дела не подкрепляют пушкинскую версию. Ни из чего не видно, что идиот, питая к дундуку страсть, занимался с ним в рабочее или свободное время неблаговидной гимнастикой. Разве что мог, скрашивая личную жизнь, при случае (склонившись вдвоём над рукописью «Анджело»: а давайте уберём вот и эти четыре стиха!) ущипнуть, погладить. Тот в свои 39 действительно был, судя по портрету, чиновником довольно плавных очертаний. (После-то раздался в эполетах, отрастил до самых орденов жёсткую раздвоенную бороду — у-у-у, не подходил!) Но Уварову тогда стукнул уже полтинник, и его многогранным организмом давно овладела другая, несравненно сильнейшая склонность. Роковая. От которой все прежние только отвлекали. Развлекали.

Хотя впервые этот сон приснился ему в юности. В Вене. Ещё когда он был милым Фифи.

Приснилось, что он (вы, небось, не поверите, а между тем это не беллетристика, это зафиксировано в источниках: он сам рассказал кому-то) — так вот, он увидел во сне, будто он — Министр Просвещения. (Именно так: с прописных и — Просвещения! а ведь он числился тогда за МИДом; вот и не веруйте после этого в судьбу.) Почему-то эти два слова обозначали — или давали — невероятно огромную власть. Невозможную высоту. Как если бы над ним не было в мире никого. Каждое, самое осторожное его движение (а он двигался очень, очень осторожно) необратимо изменяло находившийся внизу многоярусный ландшафт: в частности, прямо на глазах улучшался климат.

Там, внизу, тоже никого не было видно — ни женщин, ни мужчин; и удивительно, что — как бы это сказать — на поверку сон оказался (точно — беллетристика!) заурядно сладострастным. Он больше не повторялся.

Но через три года, когда идиот приехал на назначенное Екатериной Алексеевной свидание и она предложила ему себя и столь необходимую ему тогда сумму, — он вспомнил тот сон и понял: с людьми обыкновенными такого не

случается; у них не бывает таких сновидений, таких свиданий; теперь ещё один только шаг — и начнётся то, ради чего он отмечен и избран.

Но тогда он ещё не знал — что. Не разгадал, простите невольный каламбур, замысел Промысла. Вместо того чтобы, дождавшись урочного часа, сделать этот один большой шаг, — засеменял. И, как вскоре выяснилось, не в ту сторону. Побежал за императором Александром и впопыхах, нечаянно, чуть-чуть обогнал. А тот возьми и сверни.

Без метафор говоря — в 18 году, через неделю после того, как император произнёс в польском сейме знаменитую речь про конституцию, — идиот собрал петербургских профессоров и студентов и тоже прочитал речь — свою собственную — да ещё и напечатал.

Она имела оглушительный успех — и тотчас была забыта, поскольку никто ничего не понял, — осталось только впечатление, что объявлена перестройка. Одна фраза чуть не вошла в поговорку — как её? свобода лучше, чем несвобода? Нет, ещё круче. Это была цитата из лорда Эрскина: «Политическая свобода есть последний и прекраснейший дар Божий».

Безусловно прав язва Греч: при Николае за такое неосмотрительное выступление Уваров сам засадил бы себя в Петропавловскую крепость. Но такая странная была эпоха, что тогда-то, в том же 18-м, он и получил, в придачу к учебному округу, Академию наук. Стал её президентом, и это назначение общественность приняла за доказательство, что подул ветер перемен. Что на горизонте — заря просвещённой свободы. (См. «Деревню» Пушкина.)

А в следующем году непредсказуемый император передумал. Верней — задумался, о чём — осталось тайной, — но уж точно не о свободе. Что за ирония Провидения: от свободы Россию спасла в тот раз немецкая психопатка — баронесса Крюденер (ну и Меттерних, естественно, не дремал).

Царь задумался, зато взбодрились попы. (Эта каста, — говаривал Уваров, — всё равно как брошенный оземь лист бумаги: как бы его ни топтали, а раздавить нельзя.) Пересмотр политического курса начался, как водится, с ин-

спекции университетов. Из Казанского уволили всех мало-мальски квалифицированных профессоров, переключились на Петербургский, только-только Уваровым созданный, — тут он округ и оставил. Ушёл по собственному желанию. Затаился в Минфине. Ждал своего часа. Который всё не наступал, хотя в 26-м, по случаю коронации Николая Павловича, Анной 1-й степени наградили, сделали сенатором, в Минпрос вернули.

Но даже не замом, а так — вроде советника. Замом очень немолодого Ливена стал Блудов. (А Дашков — статсекретарём: арзамасские гуси набирали высоту!)

Оттепель тянулась вплоть до жаркого лета 30 года. Ещё в конце июня Николай Павлович совсем было собрался подписать закон о монетизации помещичьих льгот — и, говорят, подписал бы, если бы не отчаянное послание Константина Павловича, типа: не желаю быть свидетелем всех этих ужасов, которые неизбежно и мгновенно наступят; дайте мне спокойно умереть, а потом делайте что хотите.

А буквально через месяц — парижская революция, а за ней — бельгийская. Брауншвейгская. Гессенская. Саксонская. Осенью, когда император совсем было решил двинуть войска и оказать европейским монархиям братскую помощь, — восстала Варшава. Операция по наведению порядка не оставляла времени для праздных разговоров. Тут ещё Геттинген взбунтовался: даёшь конституцию! — то есть и в Ганноверском королевстве что-то прогнило. Ко всему, волею Божией от холеры цесаревич Константин помере. 15 июня 1831 года. Невосполнимая утрата. Надёжный оплот реакции. Тот, о ком Николай с виноватой улыбкой, но твёрдо говорил своей команде реформаторов (Киселёву и другим):

— Ничего не поделаешь. Я, конечно, самодержавный и так далее, но — для вас. А мой император — он.

И вот непреодолимое препятствие отпало. Путь открыт. Преобразуй не хочу. Но до преобразований ли, когда отечество в опасности. Территориальная целостность под угрозой. К концу июня 31 года всем стало окончательно ясно, куда ж нам плыть: а никуда; бросить якорь.

В 20-х числах июля Пушкин написал Бенкендорфу:

«Заботливость истинно-отеческая Государя Императора глубоко меня трогает. Осыпанному уже благодеяниями Его Величества, мне давно было тягостно моё бездействие. <...> Если Государю Императору угодно будет употребить перо моё, то буду стараться с точностию и усердием исполнить волю Его Величества и готов служить Ему по мере моих способностей...»

Напомнив тактично (в который раз), что по сущей справедливости давно следует ему чин коллежского асессора (не убедил: дали всего лишь титулярного), изъявил готовность создать и возглавить проправительственный печатный орган:

«В России периодические издания не суть представители различных политических партий (которых у нас не существует), и Правительству нет надобности иметь свой официальный журнал; но тем не менее общее мнение имеет нужду быть управляемо...»

А покамест суд да дело, в августе сочинил «Клеветникам России», в сентябре напечатал.

Идиот же — перевёл. И в октябре через дундука переслал перевод Пушкину, сопроводив запиской:

«Инвалид, давно забывший путь к Парнаассу, но восхищённый прекрасными, истинно народными стихами вашими, попробовал на деле сделать им подражание на французском языке. Он не скрывал от себя всю опасность борьбы с вами, но вами вдохновенный, хотел ещё раз, вероятно в последний, завинтить свой Европейский штык. Примите благосклонно сей опыт и сообщите оной В. А. Жуковскому».

Одновременно он представил свой текст и Бенкендорфу, но тот (само собой, с ведома царя) отозвался кисло. Попросил воздержаться от публикации. Не оценили. По видимому, их больше устроил бы компьютерный перевод. Безличный, дословный. Что-нибудь в таком духе:

К чему весь этот шум, парламентарии? На каком основании вы угрожаете России международной изоляцией? Вас возмущают нарушения прав человека в бывшей так называемой Польше? Но это внутреннее дело нашей страны; затяжному межнациональному конфликту, о котором идёт речь, не пойдёт на пользу вмешательство некомпетентной

третьей силы. Он имеет давнюю, драматичную историю, а причины его коренятся в несовместимости польского и русского менталитетов.

(С двустижием: «Кто устоит в неравном споре: Кичливый лях иль верный росс?» — пришлось повозиться. Попробуйте-ка определить смысловую плоскость, в которой пересекаются *кичливый* и *верный*, — вычислить общий знаменатель; это нелегко. Но результат оправдал все усилия: с изумлением и невыразимым облегчением идиот внезапно осознал, что он! — не Пушкин, никто другой, а именно он — отыскал наконец петушиное слово! Выработал для своей эпохи пароль и отзыв! Но это мы разберём отдельно. А следующие два стиха: «*Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет? вот вопрос*» — идиот усилил по своему вкусу: для торжества одного из народов нужно, чтобы погиб другой. Император, должно быть, счёл такую прямоту излишней.)

Этот конфликт вскоре будет разрешён (практически — уже): полностью и окончательно подавив сепаратизм, российская армия восстановит единство и территориальную целостность государства.

Так что, господа, лучше прекратите истерику, пока не поздно. Перестаньте превозносить бессмысленное упорство горстки непримиримых боевиков. Ни для кого не секрет, что стоит за этой лицемерной шумихой: махровая русофобия.

Вы стремитесь принизить и предать забвению подвиг русского народа, в кровопролитной борьбе спасшего Европу от наполеоновской чумы.

Что ж: ежели вам угодно сыграть роль поджигателей новой войны — извольте! Россия обладает непобедимой армией, испытанной в бесчисленных сражениях (синекдоха: ветеран ВС, полулежа в постели, *завинчивает* штык, — правда, смысл этого действия немного темноват); она отлично организована и беспрекословно предана своему главнокомандующему; сверх того, у неё практически неисчерпаемый мобилизационный ресурс. (Каскад топографических метонимий — от холодных скал Финляндии до раскалённых — Грузии; картина необозримой поверхности, сплошь покрытой торчащими из неё сверкающими стальными остриями.)

Милости просим, безответственные говоруны! Если не слабо, направляйте к нам войска вашего агрессивного альянса. Места в России много, найдётся и для них: горе-завоеватели нового поколения будут захоронены неподалёку от своих отцов и дядей.

Пушкин отвечал идиоту (с раздражением и злой иронией! — поясняет СНОП):

«Милостивый Государь,
Сергей Семёнович,

Князь Дундуков доставил мне прекрасные, истинно вдохновенные стихи, которые угодно было Вашей скромности назвать подражанием. Стихи мои послужили Вам простою темою для развития гениальной фантазии. Мне остаётся от сердца Вас благодарить за внимание, мне оказанное, и за силу и полноту мыслей, великодушно мне присвоенных Вами...»

Идиот, поверите ли, не обиделся.

— А что это вы его всё идиотом да идиотом? Сами же говорите: пять языков, университеты открывал. И вообще — надоело.

Ну извините. Это просто для разнообразия. Словарный запас на нуле. Но позвольте напомнить. Когда Пушкин умер, дундук вызвал редактора газеты, напечатавшей некролог, и от имени министра объявил строгий выговор. В частности, дундук сказал:

— Писать стишки не значит ещё, как выразился Сергей Семёнович, проходить великое поприще!

В задаче спрашивается: как называть субъекта, которому на язык — а значит, и в голову — наввернулась эта фраза? Милым Фифи? Подскажите, буду благодарен, — а сейчас надо придумать, чем кончить параграф.

Кстати. Вот я всё придираюсь к Автору (-рше) истории литературы. (И как бы мне об этом не пришлось пожалеть; ведь мы в его / её руках: разозлится — и как поступит со мной сообразно удельному весу! Впрочем, ну и пусть.) А нет-нет, и позавидуешь. Какие сильные ходы изобретает.

Вот смотрите. 3 февраля 1837 года в подвале Конюшенной церкви отпели по Пушкину предпоследнюю панихиду. Потом гроб, заколов, опустили в ящик. Ящик поставили,

подостлав соломы, на сани, накрыли рогожей, обвязали верёвками. Составился погребальный, так сказать, кортеж из трёх троек: возок жандармского капитана, сани с ящиком, кибитка А. И. Тургенева (спец. командировка, но за свой счёт: старый друг, в последний путь, и всё такое). Тронулись в первом часу ночи. Во Псков прибыли в 9 вечера. Тургенев пересел к капитану (Ракееву; фамилия известная; впоследствии дослужился до полковника; см. роман Набокова «Дар») — полетели к тамошнему губернатору на дом (попали на бал); сани с гробом и кибитка остались на почтовой станции.

«5 февраля отправились сперва в Остров, за 56 верст, от туда за 50 верст к Осиповой — в Тригорское, где уже был в три часа пополудни. *За нами прискакал и гроб в 7-м часу вечера...*»

Всплакнули, перекусили, дело житейское. Прямиком, на голодный желудок, в Святые горы — бр-р-р! было бы неумно.

«Осипова послала, по моей просьбе, мужиков рыть могилу (*ага! вот они, положительные стороны крепостного права: она пошлёт, они как миленькие пойдут; на ночь глядя и в темноте абсолютной, про холод не говорю. — С. Л.*); вскоре и мы туда поехали с жандармом; зашли к архимандриту; он дал мне описание монастыря; рыли могилу; между тем я осмотрел, хотя и ночью, церковь, ограду, здания».

Интересный же памятник старины.

«Условились приехать на другой день и возвратились в Тригорское. **ПОВСТРЕЧАЛИ ТЕЛО НА ДОРОГЕ, КОТОРОЕ СКАКАЛО В МОНАСТЫРЬ.** Напились чаю; я уложил жандарма спать и сам остался мыслить вслух о Пушкине с милыми хозяйками» и т. д., душевно провели время.

Это я, я лично выделил две фразы — одну полужирным шрифтом, другую прописными литерами. Обе, по-моему, страшной самого Гоголя, — но то, что за ними... Не умею сказать. Как будто Пушкина напоследок заставили промчаться через его же стихотворение. Превращённое обратно в снег и чёрный воздух. Написал — невидимкою луна? Не увидишь больше. Спрашивал — что так жалобно поют? Теперь знаешь. Скачи, тело, скачи.

§ 7. ИДИОТ КАК СВЕРХНОВАЯ. РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СВОБОДЫ. НЕЧТО О МУХАХ

— Паки возвратимся на ту же повесть.

Или лучше так:

— Возвратимся паки на первую беседу, отнюду же изыдохом.

Да, формула не моя, пришлось украсть. Да, у А. Петрова — того самого: кремирован заживо за стилистические разногласия с РПЦ, усугублённые силой слога. Как видим, даже ему и то случалось отклониться от воображаемой прямой, соединяющей первое предложение пространного текста — с последним. (Которого автору ведь не видно. Только типографскую точку в конце: как же она хороша!) И впопыхах обогнуть два-три достаточно толстых обстоятельства.

Заметив это, он останавливался, произносил волшебное:

— Паки на первое возвратимся, —
и бесстрашно прыгал обратно. Спинай вперед.

Текст при этом никуда не возвращался, а только взлетал ещё выше, как воздушный змей.

Пушкин тоже знал секрет этой техники. А, скажем, Майн-Рид — не знал; и навязывал читателю алгоритм: шаг вперед — два шага назад, совершенно мучительный. («Морской волчонок» — исключение и поэтому лучшая вещь.) Такие просчёты резко сокращают период посмертной славы (текст сохраняет признаки жизни только пока он быстр), — что ж, обойдусь. Поскольку должен исправить непреднамеренную ошибку — зашить оставленный в предыдущем параграфе хроно- и чисто логический разрыв.

Так вот: идиота ничуть не покорило, что гений назвал его гением. Творческие натуры вообще ни на кого не обижаются

за это слово. (См. хотя бы «Моцарт и Сальери».) Уваров же, по определению, был особенно доверчивое существо. В 31 году он Пушкина любил — и, естественно, рассчитывал на взаимность. Своё чувство впервые изъяснил он в конце июля — способом игривым, топорно-причудливым: через конфиден-та. Поручив эту роль директору Департамента духовных дел иностранных вероисповеданий, д. с. с. Вигелю.

Как будто, знаете, вернулись старые добрые времена, и не имеет ни малейшего значения, кто из нас тайный, кто действительный статский, кто коллежский секретарь: все мы по-прежнему — просто наши превосходительства гении Арзамаса, — и вот Старушка при посредстве Ивикова Журавля предлагает Сверчку, так сказать, руку и сердце.

Тщательно, даже с каким-то язвительным нажимом (поэзию Пушкина он обожал, а Уварова презирал, несмотря на некоторую общность взглядов: «Но, Вигель, пощади мой зад!» — помните такие стихи? — так что, возможно, при-мешалась и ревность) копируя тональность исходного со-общения, Ивиков Журавль Вигель писал Пушкину:

«С того момента, как он уверился в ваших благих наме-рениях, он готов преклоняться перед вашим талантом, ко-торым он до сих пор только восхищался. Ему не терпится увидеть вас почётным членом своей Академии наук; первое свободное академическое кресло у Шишкова должно быть предназначено вам, оставлено за вами; вы — поэт, и не обязаны служить, но почему бы вам не быть при дворе?.. Словом, одно только счастье и слава ждёт того, кто не до-вольствуется тем, чтобы быть украшением своего отечества, но и хочет послужить ему своим пером...»

Был такой оборот, вышел из употребления: дать знать стороной. Или — под рукой. Настал момент — смотрите не упустите! — переменить куратора — злого на доброго, — рады? тогда смелей ко мне! ко мне!

Если припомнить, *кто* был за Пушкиным закреп-лён как злой, — отвага идиота беззаветна. Своевольная, с бухты-баракты, перевербовка — корпоративной эти-кой такие фокусы не приветствуются. Только с санкции руководства: если, предположим, принято решение за-действовать объект в какой-то новой игре. А похоже,

что Уваров комбинировал на свой страх и риск, — потому похоже, что не совсем на свой:

«Он очень хочет, чтобы вы пришли к нему, но желал бы, для большей верности, чтобы вы написали ему и попросили принять вас и назначить час и день, вы получите быстрый и удовлетворительный ответ...»

Но если так — если без санкции — то и с точки зрения объекта это была наглость, не объяснимая иначе как зарница вступающего в острую фазу психического расстройства. Так обращаются с нижестоящими (зачисляя, например, в штат), а для независимых людей существуют правила хорошего тона. Сено к лошади не ходит; ты дворянин, и я дворянин; и если тебе запахло сделать визит, то и я не девочка по вызову.

Тем более — знакомы. Раз-другой вместе обеживали — не у Лениных ли? («Арзамас» вообще ни при чём, не смейте: Пушкин участвовал в одном-единственном заседании, четырнадцать лет назад; вы бы ещё вспомнили масонскую ложу — а что, ровно так же уместно: кто из нас не был до 22 года масон? — или Лицей: идиот, кажется, присутствовал на всех экзаменах.) Ты литератор, и я литератор, и даже не важно, кто — настоящий, а кто — дилетант прежней волны, из свиты Батюшкова.

Ах да: вы сенатор, тайный советник — очень приятно; номенклатурный вес — полусредний: таких вельмож — от Царского Села до Павловска домиком не переставить. (Кстати, жаль: это зрелище развлекало бы юного Гоголя по дороге оттуда или туда.) Новопреставленный Юсупов, царство небесное, — в тяжёлом весе чемпион, хотя и экс-, — не позволял себе таких вещей: передайте Пушкину — мне охота с ним пообщаться, пусть запишется на приём.

Вообще неадекватен. Раздает кресла обеих академий — ну да, мы в курсе: и в АН король, и в Российской — ферзь. Ну а к императорскому-то двору приглашает — как кто? Гарантировать от имени отечества славу и счастье — уполномочен кем? Торжественно возвещать через доверенное лицо: вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, наконец-то ты, грязнуля, Мойдодыру угодил, — опомнитесь, господин Старушка! разве Мойдодыр у нас — вы?

Тем более что, да будет вам известно, все перетёрто, и недоразумениям конец. С неделю назад в шестом часу вечера, как обычно, вышли с *Natalié* в парк — вдруг в аллее навстречу императорская чета; остановились, разговорились. Про жару, про карантин. К счастью, эпидемия заметно слабей, чем в прошлом году. Слава Богу.

Государыня, с обычной своей любезностью, кстати упомянула о стихотворении «Герой»: как она была им тронута. Сказала комплимент *Madame Puchkine*, похвалила платье и шаль. (Шаль алая, свернутая в плоский жгут, складками по плечам, пышным и свободным узлом над грудью.) Вам следовало бы почаще украшать собой наше общество, дорогая *Madame*. На здешнем театрике затевается спектакль; вам пришлют приглашение. Мы, бедные ссыльнопоселенцы, не должны позволять скуке нас — как это на кораблях говорят? — укачать.

И царь был в духе. Как известно, *Madame Puchkine* особенно к лицу *une tunique antique*. Это ведь была сестра Дидоны, не правда ли, в той живой картине, на балу у московского Голицына? Отличное было шоу, жаль, что ты, Пушкин, его пропустил; сорвался в Москву, когда мы оттуда уже возвратились. Кстати: ты и теперь всё ещё *free lance*? отчего?

Отвечая, приходилось выворачивать голову и артикулировать твердыми губами (разница в росте — десять вершков, точнее — 45 см); это портит улыбку. Не имею никаких способностей, ваше величество, кроме литературных. Вы слышали, *Mesdames*? Хотите, я сию же минуту поймаю господина поэта на слове? В моём государстве найдется ответственная, высокооплачиваемая работа для человека со стилем. Ты ведь любишь историю? Пиши мне историю Петра Великого, Пушкин. Источники налицо, архивы к твоим услугам, возможна доставка документов на дом. Спешки нет. Замучаешься пыль глотать — бессрочный творческий отпуск. Для вдохновения, говорят, необходимо сердечное спокойствие. Помешают ли сердечному спокойствию тысяча пять серебром в год? Карамзин, между прочим, получал две. Итак, решено. Обратись к Бенкендорфу, пускай оформит: допуск в спецхран, заодно и чин. Приравняет, так сказать, твоё перо к палашу и сабле.

На следующий день (уф! одна хронодырка заделана) Пушкин и подал то самое заявление о приеме на работу: «Если Государю Императору угодно будет употребить перо моё, то буду стараться с точностию и усердием» и проч. Вероятно, он воображал, что эта формула ни к чему конкретно не обязывает — нечто вроде ответной любезности на данную ему *carte blanche*: твори, выдумывай, пробуй; историю так историю, журнал так журнал. (Отчасти так и было: в дальнейшем царь исполнял все его пожелания, разве что никуда не отпускал с семьёй.)

— Царь взял меня в службу — но не в канцелярскую, или придворную, или военную — нет, он дал мне жалованье, открыл мне архивы, с тем, чтобы я рылся там и ничего не делал! Это очень мило с Его стороны, не правда ли? Он сказал: *Puisqu'il est marié et qu'il n'est pas riche, il faut faire aller sa marmite*. Ей-богу, он очень со мною мил...

Поняли? Шутка такая. Раз он женат, не будучи богат, надо обеспечить его горячим питанием. Тут идиома, а если буквально — приглядывать за его чугуном.

А вы, значит, вздумали покровительствовать человеку, с которым царь — повторяю по буквам: *цы, аз, рцы, ерь* — на дружеской ноге? Не много ли на себя берёте, Старушка? Так и грыжу нажать недолго, не говоря — радикулит. Что такое вам примерецилось? По вашему рескрипту судя — ни более ни менее как дворцовый переворот, и Вигель при вас Бенкендорфом, а вы, стало быть, — — —? Господи помилуй. Это всё от жары. Расстегните ему золочёный воротник, развяжите шёлковые банты на икрах. Пиявок! пиявок!

Жара, действительно, стояла небывалая. Пушкин «Сказку о Балде», например, сочинял нагишом. И вполне вероятно, что в головном мозгу Уварова кондрашка уже отыскал слабую точку и колебался: давануть сейчас или дать ещё побухтеть?

Идиот же чувствовал себя на седьмом небе, причём — звездой, причём — сверхновой. Или такое небесное тело называется пульсар? В общем, это когда выпускаешь, выпускаешь лучи в видимом спектре, потом перестаёшь

светиться, а лет через миллион вдруг — раз! — и опять воссиял, ещё и ярче¹.

В точно рассчитанный, в наиболее удобный — потому что критический — момент: неделю назад. Как только пришло из Витебска известие, что его высочество великий князь цесаревич волею божией — того. Если уж теперь не воссиять — когда отечество опять в опасности, — то и никогда.

Все — то есть все аккредитованные иностранцы и двор — знали, что Николай Павлович — непримиримый противник крепостничества, и только авторитет старшего брата не давал ему претворить свою вольнолюбивую мечту в жизнь.

Младший брат не в счёт. Михаил Павлович способен только на контр-аргументы тривиальные: время тревожное, нельзя раскачивать лодку, главное — стабильность; и куда девать помещиков: какую компенсацию ни выдай — всё промотают и в литераторы пойдут, — других невоенных профессий для дворян у нас нет, да и не умеют они ни черта; кроме шуток — если хотя бы каждый десятый займётся литературой, это уже двадцать пять тысяч перьев, полноценный союз писателей, — значит, и литфонд с домами творчества, — а в Третьем отделении, смешно произнести, всего тридцать восемь штатных сотрудников, Максим Яковлевич и так переутомлён до предела, и т. д., и т. п.

Решив: пора! — Уваров устроил так, что однажды утром государь нашел на своем рабочем столе документ, озаглавленный: «De la servitude personnelle en Russie» — «О личном рабстве в России».

Само заглавие означало идейный прорыв. Рабство считалось термином из обихода диссидентов. Взвешенные мыслители говорили (не на публике и не в печати, понятно, а в своём кругу): крепостное право. Родимые пятна которого, — прибавляли взвешенные, — сама Европа-то у себя окончательно ещё не свела — а уже заметно подурнела; день ото дня дряхлеет, только что песок не сыплется, — вот что значит довериться неквалифицированным операторам. Тогда как Россия — вы же не станете этого отрицать, — свежа, как поцелуй ребенка. В нашей системе

¹ Вообще-то так не бывает.

много хорошего. Она только что продемонстрировала всему миру свои преимущества (да что там! превосходство), наголову разгромив корсиканское чудовище с его двенадцатью языками. Демонтаж её чреват крупнейшей геополитической катастрофой XIX века — развалом РИ. Будем наконец историческими материалистами: наши производственные отношения просто удивительно как соответствуют нашим производительным силам.

Взвешенные не понимали (не желали понимать — или делали вид), что правительство не только не покушается на основы существующего строя, а, наоборот, стремится его укрепить: осушив базис и проветрив надстройку.

Крепостной строй в чистом виде (например, в хозяйствах министерства уделов) был обыкновенный колхозный, по некоторым параметрам (размер приусадебного участка, поголовье личного скота) даже предпочтительней. Правда, в чём-то и тяжелей: два, кое-где и три дня в неделю крестьянин работал на собственной запашке, то есть абсолютно не жалея себя. А в остальном — колхоз как колхоз: где родился, там и пригодился; за пределы района — не вздумай; впрочем, для особо пассионарных — два аварийных люка: казарма и тюрьма.

Но, извините, крепостное право как таковое не предполагает ни торговли людьми, ни сексуальной эксплуатации, ни даже телесных наказаний.

Сугубо между нами: в России крепостное право вообще ничего не предполагает, поскольку фактически не имеет законодательной базы. Пресловутый указ (якобы — Фёдора Иоанновича; якобы — от 1592 года) об упразднении Юрьева дня — до сих пор не отыскан. Да и найдись он — судя по всему, он отменял свободу передвижения наёмной рабочей силы, — и только. А когда и каким образом, на основании чьих и каких законных постановлений русский крестьянин получил юридический статус домашнего животного — неразгаданная гостайна.

То ли предки нынешних крепостных сами себя, с жёнами и детьми, заложили тогдашним землевладельцам, а возвратить кредит помешал неурожай. То ли коррумпированные дьяки, составляя списки избирателей, за взятки от

землевладельцев писали всех подряд крестьян, *сидевших* на чужой земле, *крепкими ей*; а что ты и при этом всё равно не холоп, а вольный — иди доказывай через шемякин суд.

Тем печальней, что в здоровом теле здешнего суверенного феодализма, как огромный солилётер или канцер, обитает, наливаясь грязной кровью, самое настоящее, как в Древнем Риме, — рабовладение. (В дальнейшем взвешенные зашифруют его эвфемизмом — *это зло*, а наука «История СССР» — марксистской *крепостничеством*.)

Ни по какому не по закону, а как национальная особенность. Или обычай. Скажем — уклад. Причем образовавшийся совсем недавно. В основном — за последние лет двести с небольшим. Расцветенный, следовало бы добавить, коллективной фантазией паразитического класса: всех этих деревенских Калигул, де Садов, Мессалин, Салтычих.

Тезис идиота пылал, как факел в ночи:

«Нужно сказать откровенно: личное рабство не может быть, в принципе, оправдано никаким точным и разумным аргументом. Излишне выдвигать против него обвинения, которые никто не станет оспаривать, или высказывать набившие оскомину язвительные насмешки. Из этой очевидной истины вытекает принцип не менее определённый: личное рабство может и должно быть уничтожено».

Исключительно тонкий ход; но где тонко, там и рвётся; Николай Павлович вполне мог, прочитав этот абзац, отодвинуть рукопись в сторону или даже уронить на ковёр — и тем же утром сказать Бенкендорфу, угрюмо подделывая восточный акцент:

— Если мне не изменяет память, товарищ Уваров занят у нас по линии Наркомпроса. Было бы очень, очень хорошо, если бы он сосредоточился на выполнении своих непосредственных обязанностей, а решения ЦК о политике партии в деревне изучал по вечерам, в кружке политграмоты для спецов.

Не взял бы милого Фифи на роль в истории.

Риск был — но была и обоснованная надежда, что государь вовремя вспомнит: Уваров — человек не чужой, не хрен с бугра, а старый, верный, можно так выразиться — интимный — друг царствующего дома; покойная матушка

его ценила, порфиросная вдова, и он ей посвятил чудный некролог; и Марии Павловне; и Елизавете Алексеевне; шедевры французской лирической прозы, каждый — отдельным изящным изданием, тиражом мизерным, для самых близких. Умел выразить соболезнование так задушевно и с такой самостоятельностью чувств, — что твой Пастернак или даже твой Михалков. Если подумать, Уваров и либералом-то был — когда был — из личной преданности непостижимо-му Благословенному. Поддался обаянию новой риторики — а кто мог устоять? Разве можно забыть, как великий брат в 14 году в салоне г-жи де Сталь при всех пообещал ей: на Парижском конгрессе он потребует, чтобы все цивилизованные государства запретили невольничество раз и навсегда!

— За главою страны, в которой существует крепостничество¹, — сказал тогда император, — не признают права явиться посредником в деле освобождения невольников; но каждый день я получаю хорошие вести о внутреннем состоянии моей империи, и, с Божьей помощью, крепостное право будет уничтожено ещё в моё царствование.

У этой де Сталь, если верить слухам, Уваров на туманной заре своей юности отбил любовника, какого-то ирландского, что ли, капитана... Замнём. Стал взвешенный. Взял за женой мало не двенадцать тысяч душ; самозабвенно экспериментирует с крупным рогатым скотом, улучшая породу; печатает брошюры о тайнах животноводства, — невозможно, чтобы он подал на самый верх записку без конструктива.

На эту-то презумпцию и ставил Уваров — и выиграл. Император стал читать дальше — а дальше, в затылок тезису, шёл, как и требует диалектика, антитезис: ...может и должно быть уничтожено — но ни в коем случае не сразу, и уж по-давно не теперь! Через два поколения, лучше — через три.

«К такому многосложному вопросу должно приступать с величайшей осторожностью. Это дерево далеко пустило корень: оно осеняет и церковь и престол. Вырвать его с корнем невозможно».

Экономику оставим экономам; впрочем, очевидно, что и тут всё не дважды два. Ещё Екатерина Великая задала

¹ Перевод 1905 г.

(1 ноября 1766 года) петербургскому Вольному экономическому обществу задачу: «Что полезнее для общества, — чтобы крестьянин имел в собственности землю или токмо движимое имение, и сколь далеко его права на то или другое имение простираются должны», — и что же? сто шестьдесят четыре специалиста корпели два года: лучших ответов — пятнадцать, и все разные; однозначное решение найдут только Троицкий и Сталин.

Политику оставим полиции; нет сомнения, что все трудности и опасности приняты в расчёт и средства для их преодоления предусмотрены, — и можно лишь благоговейно восхищаться непреклонностью державной воли, положившей, невзирая ни на что, даровать миллионам верноподданных общечеловеческую ценность — свободу.

Но. То есть не то чтобы но (это было бы бестактно), а — тем не менее — в то же время — при всем при том. Одним словом — *toutefois*.

Toutefois почтительно дерзаю активировать стратегический Неразменный Запас пошлостей, созданных взвешенной мыслью. (Как известно, выкладывать их полагается таким тоном, словно сам выстрадал; или как будто горький опыт подсказывает, парадоксов друг.) Наши люди к свободе не готовы. Понятия не имеют, с чем её едят. Им, нашим людям, не известно, что т. н. политическую, т. е. внешнюю, свободу едят не иначе как отварив её в меду свободы внутренней, духовной. Пока не покроется ответственностью. Сырая же — нестерпимо горчит и неминуемо вызывает несварение ума. Эти десять миллионов помещичьих крестьян (считая без семей, только д. м. п.), которым правительство собирается дать какие-то права, — темны, как валенки. Если в настоящее время иные из них, предположим, и страдают (кое-где; порой; от произвола отдельных аморальных личностей; зато лучше судьбы наших крестьян у хорошего помещика, — заметила та же Великая Екатерина, — нет во всей вселенной), — свобода делает их несчастными поголовно, спровоцировав сильнейший стресс.

Вот и пригодилась последняя новинка самиздата: записки княгини Дашковой. Там покойница повествует, среди прочего вздора, о том, как дискутировала на интересующую

нас тему с небезызвестным правозащитником Дени Дидро — и вынудила его заткнуться. Для чего, не жалея самой сочной гуаши, набросала аллегорическую картину (первый опыт отечественной антиутопии): подвергнутый освобождению русский крепостной погибает от когнитивного диссонанса (а стокгольмский синдром? но старуху уже несло):

— Мне представляется слепорождённый, которого поместили на вершину крутой скалы, окружённой со всех сторон пропастью; лишённый зрения, он не знал опасностей своего положения и беспечно ел, спал спокойно, слушал пение птиц и иногда сам пел вместе с ними. Приходит незадачливый глазной врач и возвращает ему зрение, не имея, однако, возможности вывести его из его ужасного положения. И вот — наш бедняк прозрел, но он страшно несчастен; не спит, не ест и не поёт больше; его пугают окружающая его пропасть и доселе неведомые ему волны; в конце концов он умирает во цвете лет от страха и отчаяния.

Дидро был настолько потрясён, — продолжает княгиня, — что вскочил со стула, будто подброшенный невидимой пружиной. Он заходил по комнате большими шагами. Серdito плюнув на пол, воскликнул:

— Какая вы удивительная женщина! Вы переворачиваете вверх дном идеи, которые я питал и которыми дорожил целых двадцать лет!

Возможно, он этого не восклицал. (Говорят, он даже не был правозащитник.) Дело вообще не в нём. А в том, что старухина аллегория иллюстрировала её же тезис — из которого уваровский анти- получался как бы сам собой, легким ударом пальца по клавише:

— Просвещение ведёт к свободе; свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, так как они только тогда сумеют воспользоваться ею без ущерба для своих сограждан и не разрушая порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления.

(— Вы отлично доказываете, дорогая княгиня, но вы меня ещё не убедили, — вякнул было Дидро, однако вскоре, как мы видели, все-таки плюнул на пол.)

Отсюда напрашивается и синтез: учить, учить и ещё раз учить! Выдавливает раба из раба ежедневно по капле. Покрыть страну системой наробраза — и вдавливать, вдавливать в приходских школах и уездных училищах детям крепостных: лишь тот достоин свободы (а если разобраться — то и жизни), кому она, собственно, не больно-то и нужна.

А детям помещиков, наоборот, рассказывать в гимназиях и университетах, что крестьянин в принципе тоже человек и рано или поздно может быть *по манию царя* переведён на беспривязное содержание.

«Довольно теперь пустить мысль эту в оборот, чтоб поколения приготовились постепенно к её восприятию. Одно образование, просвещение может приготовить её исполнение наилучшим образом».

И тогда в один прекрасный день дети этих детей спустятся с господского крыльца к детям тех детей — и обнимутся с ними, как верные друзья.

Только не спешить. Отладить работу учебных заведений — и ждать. Взять под контроль СМИ (журналы в первую голову!) — и ждать. Да, морально это тяжело: распорядиться людьми, как движимым имуществом, и в расчётах использовать как у. е. (официальный средневзвешенный курс — 200 р.) — д. м. п.: душу мужеского пола, — но кому же в наше время легко?

Меня уже немного тошнит, — а вас? Исходный текст¹ ещё скучней, но императору понравился. Не как проект реформы (по такому проекту не обустроить и курятник), а как заявка на концепцию. Николай царствовал без концепции уже шестой год.

Что же до русских крепостных, то они, как известно, пошли другим путём. Взяли дело освобождения в собственные руки. Развернув подпольное производство контрафактных презервативов и широчайшую сеть распространения — офени, коробейники, пожалей, душа-зазнобушка, молодецкого плеча.

Положим, насчёт контрафакта — это всего лишь академическая гипотеза. Якобы дворовые подсмотрели у бар

¹ Опубликовано М. М. Шевченко.

и разболтали односельчанам. (Где-то я читал, что Дантес и его приятели швырнули такую вещицу — парижскую, конечно, — на сцену Александринки, к ногам одной неговорчивой актрисы; та, не будь дура, притворилась, что приняла за дохлую мышь, и — в обморок.) Нельзя недооценивать смекалку народных умельцев, типа Левши Косого. Тем более технология-то — не нано-. Отрезок промытой и высушенной овечьей кишки перевязать суровой нитью — изделие № 2 готово (№ 1, согласно ГОСТу, утверждённому т. Берия, — противопогаз). Для щёголей — чехлы из тончайшего льна, пропитанного настоем заповедных трав, — как бы кисеты, с фольклорным орнаментом (ярославское мастерство): красиво, но без гарантии. На северо-востоке, в Приуралье, налегали на женскую контрацепцию, применяя дорогой, но зато многоразовый мочевого пузыря козы (ср. крылат. выраж. «заделать К.», — а впрочем, сомн.).

Идея овладела массами.

До 1811 года (6-я ревизия) — крепостное население России прирастало ежегодно на 70 000 д. м. п. в год. А если считать реально, по головам, то есть приплюсовать прекрасную половину, — как минимум, тысяч на полтора. Правда, не весь прирост был естественный: Екатерина раздаривала своим орлам (переводила из госсобственности) до 12 тысяч душ в год. Павел, правда недолго, — пока не получил табакеркой в висок, — аж до 60 тысяч.

7-я ревизия (1815 год): прирост — 0. Военные потери, то да сё. К тому же Александр прекратил раздачу премиальных.

8-я (1837): прирост — 0.

Прописью: ноль целых, хрен десятых.

«С тех пор до самой 10-й ревизии (1857), — сообщают Брокгауз и Ефрон, — число крепостных или стояло на той же цифре, или даже несколько падало».

Как было в 1811-м 10,5 млн крепостных д. м. п. — так и осталось до самого конца крепостного права.

По понятным причинам этот освободительный подвиг народа никем не воспет. При т. н. советской власти — ни единой скульптуры (типа: народный мститель берётся за суровую нить). Царская же, уваровская цензура по невинности одно отражение допустила — и какое!

«...Скрягу Плюшкина не знаешь — того, что плохо кормит людей?» — «А! заплатанной, заплатанной!» — вскрикнул мужик. Было им прибавлено и существительное к слову заплатанной, очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно догадываться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно пропал из виду и много уехали вперед, всё ещё усмехался, сидя в бричке. Выражается сильно российский народ!..»

Ну-ка, дети, назовите это существительное — которое, будучи обтянуто эпитетом «заплатанный», превращается в образец народного искусства. Не вижу поднятых рук. Давайте подойдем с другой стороны: Н. В. Гоголь творил в условиях цензурного гнёта; что, если он ради конспирации подменил прилагательное? каким-нибудь, знаете, синонимом — близким-преблизким... Совершенно верно: подставив на место *заплатанного* — *штопаный*, мы действительно получаем идиому, дожившую в языке до наших дней, — она обозначает крайнюю степень общественной бесполезности человека.

Следовательно, искомое существительное — вдохновившее классика на незабываемый гимн в честь русского языка, — прочитаем-ка его ещё раз все вместе, хором:

— ...Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово...

Оно, значит, образовано от имени одного английского придворного доктора и является названием изобретённого им (для короля Карла II, 1630–1685) специального колпачка*.

Так русский крестьянин, дети, увековечил своего заступника.

Образованный же класс, подстрекаемый любовной лирикой и вообще литературой, продолжал размножаться как ни в чём не бывало. (См. медкарты выдающихся жён самых передовых представителей — Герцена, Тютчева, Пушкина, того же Николая Полевого, Толстого Льва, — что же говорить об остальных. Толстой-то впоследствии опомнился: перешёл на позиции патриархального крестьянства, написал «Крейцерову сонату», — но уже было поздно.) За время

Николая численность дворян удвоилась. У большинства из них (у 60 %) и в начале-то царствования имелось в наличии по 20 д. м. п., не более того. Еще у 24 % — самое большее по 100 д. м. п. на брата. Крестьянский демографический бунт резко накренил соотношение рук и ртов, — и капитализм дворяне встретили по уши в долгах.

Вот что значит неправильная концепция.

Но летом 31 года она казалась вполне жизне- и конкурентноспособной. Если довести до ума: добавить философской глубины, а главное — придать наступательный характер. Согласитесь: не может же концепция царствования сводиться к ожиданию следующего. Николай Павлович и Сергей Семёнович долго разговаривали про это, гуляя по парку (во дворце было душно невыносимо). Уваров углублялся в частности: подтянуть Московский университет, заглушить «Московский телеграф» — ликвидировать его и заменить умным, сильным, искренним официозом.

Государь слушал внимательно — и думал: вакансия идеолога пустует. Этот рвётся и вроде бы годится. Перебросить, что ли, Блудова на укрепление МВД? а этот пусть реорганизует нам Минпрос. Николай Просветитель — не так уж плохо. Только доработать концепцию. И лозунг. Непременно должен быть лозунг. Или девиз. Насчёт официозного журнала заметил вслух: возможно, необходимость назрела; вот и Пушкин на днях выступил с аналогичной инициативой, но Александр Христофорович что-то сомневается, говорит: давайте сперва посмотрим, как пойдёт у него история Петра.

Тут Уваров и сделал на коре мозга пометку: поручить Вигелю безотлагательно навести, так сказать, мост. Вигель — так сказать, навёл.

Пушкин словно упустил из виду, что он уже несколько дней как не free lance. Уваров — почерком Вигеля — доброжелательно напомнил, в сущности — поздравил: полезное дело задумали — политический журнал; я, со своей стороны, — всецело за.

«Он с жаром, я сказал бы даже — с детской непосредственностью ухватился за идею вашего проекта. Он обещает, клянётся помочь его осуществлению...»

И далее — по тексту, см. выше.

Нет, положительно пора мне зачехлить клавиатуру! (Опять, откуда ни возьмись, — проклятый ямб! и опять!) Тридцать тысяч букв — только для того, чтобы восстановить последовательность ходов! Собирался в двух словах растолковать самому себе про Уварова: как эта кубическая медуза набралась такой злобы и такой мощи, что обездвижила беднягу Н. А. П. одним укусом, а вторым — лишила дыхания.

И всё ещё не растолковал.

Тридцать тысяч букв — а сюжет всё там же. Лето 1831 года. (16 августа, собственно говоря.) Царское Село, домик камер-фурьера Китаева, нижний этаж. Жара. Духота. На липких лентах, разложенных по подоконникам, *muscae domesticae*, как русские литераторы, из последних сил напрягают колбовидные придатки 3-го грудного кольца (в сущности — недоразвитые задние крылья). Одна почему-то особенно явственно: но скажи мне — пауза — на смертную муку — понижение, пауза — ты другую — повышение, звук делается неразборчивым и уходит по дуге к потолку.

У Пушкиных — фрейлина Россет. Забежала на минутку. За стихотворением «Клеветникам России»: государь ждёт. Фельдмаршалу Паскевичу поставлена задача — овладеть Варшавой к 26-му, к Бородинской годовщине, Жуковскому и Пушкину — за десять дней до — сдать тексты. (А кто просил: «Пускай дозволят нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападения иностранных газет»? Вперёд!) Стихи готовы; переписаны набело. Прочитать вслух? Ну что ж. О чём шумите вы, народные витии? Зачем — — —

Но тут, — якобы со слов бывшей фрейлины (через полгода она оставила двор, выйдя замуж) рассказывает её дочь, — «жена Пушкина воскликнула: “Господи, до чего ты мне надоел со своими стихами, Пушкин!” Он сделал вид, что не понял, и отвечал: “Извини, этих ты не знаешь: я не читал их при тебе”. — “Эти ли, другие ли, всё равно. Ты вообще надоел мне своими стихами”. Несколько смущённый, поэт сказал моей матери, которая кусала себе губы

от замешательства: “Натали ещё совсем ребёнок. У неё невозможная откровенность малых ребят”. Он передал стихи моей матери, не дочитав их, и переменял разговор».

Старуха СНОП машет руками и кричит: не верьте ни единому слову! эта самая фрейлины дочь — патологическая лгунья!

Очень может быть. Ничто в литературе не даётся так легко — и так редко, — как подлинность интонаций.

**§ 8. НЕЧТО О ЖАЛОСТИ К МЁРТВЫМ.
О ПРЕДРАССУДКАХ. О СОЗВЕЗДИИ ГОНЧИХ
ПСОВ**

Видите ли, в чём дело. Николай Полевой, кончаясь (в 1846 году, в Петербурге, на Канаве, у Аларчина моста, в доме Крамера, февраля 22-го дня), произнёс такие слова: — В халате и с небритой бородой...

Остальное неразборчиво. Но Наталья Полевая, должно быть, поняла. И сделала, как он сказал.

Из «Старой записной книжки» Вяземского:

«Отпевали Полевого в церкви Николы Морского, а похоронили на Волковом кладбище. Множество было народа; по-видимому, он пользовался популярностью. Я не подходил ко гробу, но мне сказывали, что он лежал в халате и с небритую бородою. Такова была его последняя воля».

Стало быть, такова. Набожный человек, многолетний отец, известный писатель — пожелал, чтобы на последнюю встречу с публикой — в церковь! — его доставили в таком виде. Зелёная байка. Голая жёлтая шея. Прозрачная щетина, как сыпь, на запавших щеках.

Необъяснимый предсмертный каприз. Или отчасти объяснимый — крайней бедностью плюс обидой — разумеется, на судьбу, на кого же ещё.

Кто ещё виноват, что он не умер хотя бы десятью годами ранее, когда он был корифей и властитель дум.

Или убрался бы из литературы как-нибудь по-тихому. Сломали — значит: лежи. А не ползай, воображая, будто куда-то идёшь. Не превращайся в презрительное нарицательное.

Это он, тот самый. Не поверите, а были и у него душа и талант.

И некоторое даже право на знаменитую фразу, которая в 32-м году далеко не всем казалась такой уж смешной:

— Кто читал, что писано мною доньне, тот, конечно, скажет вам, что квасного патриотизма я точно не терплю, но Русь знаю, Русь люблю, и — ещё более позвольте прибавить к этому — Русь меня знает и любит*.

Но теперь осталось только простить его и немедленно забыть. И русская литература явилась в Никольский собор почти вся. Что покойник выглядел слишком ненарядным — ей издали даже понравилось: так жальче.

Мемуары Панаева:

«Хотя он совершенно потерял в последние годы своё литературное значение и популярность, но смерть его всех на мгновение примирила с ним. Полевой, восхвалявший романы частного пристава Штевена, писавший “Парашей-Сибирячек” и другие тому подобные произведения, был забыт.

В простом деревянном гробе, выкрашенном жёлтой краскою (он завещал похоронить себя как можно проще), перед нами лежал прежний Полевой, тот энергический редактор “Московского телеграфа”, которому мы были так много обязаны нашим развитием», и т. д.

Прошло — так чтобы не соврать — лет 130. Однажды вечером я, перечитывая неизвестно зачем одну из тех книг, которые никто потому и не перечитывает, что незачем, внезапно попал взглядом на эти самые слова:

...в халате и с небритой бородой.

Ключ к шараде. Выпавший из анекдота кристаллик соли. Обрывок чужой ядовитой фразы, который — вот оно что! — крутился в гаснущей голове Н. А. П., как последняя мысль.

Не давал ему закрыть глаза и отвернуться к стене.

Так беззаветно, так героично мелок бывает только литератор, наш брат, человек суеты. Время (сорок девять с половиной лет, всего-то) вышло, буквально через секунду-другую связь отключат навсегда, — только-только успеть отослать СМС. Ближайшему из врагов, копия — всем. Вместо текста — смайлик — кривая улыбка Мышкина после оплеухи: О, как вы будете стыдиться своего поступка!

О чём беспокоился. Чьим суждением интересовался. Как будто не чувствуя ни ужаса, ни боли — одну обиду.

Ну да, есть основания предполагать, что больно и не было; это, вероятно, бывает при большой кровопотере: тело как бы растворялось в пустоте, теряя себя.

Также и что касается ужаса; не формально же верующий был человек; и страшно скучал по сыну Алексею, который лежал на Волковом. И страшно жалел сына Никтополеона, который сидел в каземате Петропавловской крепости. Смерть давала какие-то шансы (Бог милостив; люди не бессердечны), а жизнь давно уже была не нужна, представляя собой просто неизвестное количество оставшегося рабочего времени, конвертируемого в денежную компенсацию (частичную: понесите-ка воду решетом) материального вреда, причинённого семье в середине 30-х — ошибочным решением остаться в словесности. Теперь, когда решето закрипело ободом по песку, умереть — по-прежнему значило оставить семью в нищете, но умереть не как можно скорей — значило потянуть её за собой в такую унижительную будущность, которую помыслить было куда тяжелей, чем умирать.

Но всё равно — умирать, наверное, бесконечно грустно. Жалеешь, наверное, о чём-нибудь непоправимом. Боюсь, что обо всём.

«Мне надлежало замолчать в 1834 году. Вместо писанья для насущного хлеба и платежа долгов лучше тогда заняться бы чем-нибудь, хоть торговать в мелочной лавочке. Но кто, борец с своею судьбою, похвалится, что не все выигранные им битвы были более подарки случая, а не расчёта. А проигранные — принадлежат ему лично?»

Обида отвлекает, развлекает. Устроить раз в жизни скандал. Раз в смерти. Как только подвяжут челюсть, но до того как закопают. Молча крикнуть как можно громче: спросите вашу совесть: разве справедливо поступали со мной?

Но по какой-то причине — из-за атмосферных помех или села батарейка — получили сообщение только три человека: первый адресат, Наталья Францевна и я.

Первый адресат сразу же удалил его из памяти. Стёр.

Наталья Францевна Полевая сделала всё, что могла, то есть самое главное: уговорила причт Никольского собора поступиться приличием.

Не совсем понятно, как ей удалось*. Ритуал же не терпит отсебятины. Член КПСС — возьми руки по швам, камерюнкер — ляг в мундире с бранденбурами, и т. д. Любому мертвецу мужского пола, кроме крестьян и з/к, полагалась верхняя одежда с воротником. Что уж говорить о т. н. личном. Военный — в усах, купец — в бороде, крестьянин — само собой, прочим — по вкусу — бакенбарды, но общее правило — аккуратность. Чтобы хоть сейчас на Невский проспект, в панораму живописца Садовникова.

Полевой в гробу (хоронили на шестой день) выглядел невозможно. Не каждая, согласитесь, вдова допустила бы, не говоря — настояла.

(Не знаю о ней практически ничего; урождённая Терренберг: немка? шведка? дочь главврача ораниенбаумского морского госпиталя, то есть вообще-то дворянка: того же разлива, что Достоевский и Белинский; в Рамбове и умерла — через пятьдесят лет после мужа; никому не сказав о нём ни единого слова; похоже, никто и не спрашивал.)

А литература, пока гроб не заколотили, близко — не подходила.

Толпились театральные: труппа и публика Александринки. Чиновники ранга Голядкин-Девушкин. Студенты ЛГУ.

Видать, тогдашнее студенчество любило драматургию и отличалось физической силой: гроб донесли на руках до самой ямы на Волковом.

Для сравнения: чтобы через 120 лет (минус 2 дня) из того же Никольского собора доставить гроб с Ахматовой в Дом писателя, то есть гораздо ближе, — понадобился автобус; а Литфонд отказался оплачивать несогласованный маршрут; а в похоронном тресте не было свободного мотора; короче, возникли трудности; но будь они даже непреодолимы — на руках никто бы не посмел; никто бы и не позволил.

Дубельт же пустил похороны на самотёк; даже насчёт скрытой съёмки не распорядился; личным присутствием, правда, — ввиду некоторых особых обстоятельств — почтил.

Не мог не заметить, что мертвец чересчур, прямо-таки вызывающе неблагообразен.

Подумал — вернее, почувствовал — то же, что и литераторы вокруг: как давно умер этот несчастный; должно быть, он рад, что наконец замолчал — и что через час будет забыт навеки.

Плетнёв — Гоголю:

«Слышал ли ты, что умер Полевой? Это бы ничего — да осталось девятеро детей нищих».

Опять Вяземский:

«Он оставил по себе жену, девять человек детей, около 60 000 р. долга и ни гроша в доме. По докладу графа Орлова пожалована семейству его пенсия в 1000 рублей серебром. В литературском кругу — Одоевский, Соллогуб и многие другие — затевают также что-нибудь, чтобы притти на помощь семейству его. Я объявил, что охотно берусь содействовать всему, что будет служить свидетельством участия, вспомоществованием, а не торжественным изъявлением народной благодарности, которая должна быть разборчива в своих выборах. Полевой заслуживает участия и уважения как человек, который трудился, имел способности, — но как он писал и что он писал — это другой вопрос. Вообще Полевой имел вредное влияние на литературу: из творений его, вероятно, ни одно не переживёт его, а пагубный пример его переживёт и, вероятно, надолго. Библиотека для Чтения, Отечественные Записки издаются по образу и подобию его. Полевой у нас родоначальник литературных наездников, каких-то кондотьери, низвергателей законных литературных властей. Он из первых приучил публику смотреть равнодушно, а иногда и с удовольствием, как кидают грязью в имена, освящённые славою и общим уважением, как, например, в имена Карамзина, Жуковского, Дмитриева, Пушкина».

Опять Панаев:

«Полевой, впрочем, скоро после похорон был забыт, как забываются все люди, имеющие несчастье умереть ещё заживо».

Ну и от Герцена — последний, так сказать, на могилу цветок:

«Какое счастье вовремя умереть для человека, не умеющего в свой час ни сойти со сцены, ни идти вперед. Это я думал, глядя на Полевого, глядя на Пия IX и на многих других!»

А дальше, как сказано у Шекспира, — тишина.

Так в переводе Лозинского. По Пастернаку, дальнейшее — молчанье. По Кронебергу: конец — молчанье. А Полевой это предложение вообще опустил — зато присочинил несколько других: насчёт того, что должен же кто-то — а именно Горацио — оправдать Гамлета перед людьми, спасти его имя от поношения*.

Судите сами: в каком положении оказался вышеупомянутый я. Ни один человек не обратил внимания на нелепую предсмертную выходку Полевого. Никто не понял смысла его т. н. последней воли. Нечаянно я стал единственным носителем секрета, никому не нужного и (как вы сможете убедиться впоследствии) не слишком интересного.

Который к тому же не рассказать в двух словах. По крайней мере, я не умею. Правда длинна. Волей-неволей разводишь целую оперу исписанных бумажек.

Я был довольно молод. Жалел мёртвых. Любил справедливость. Отчего, думаю, в самом деле, не попробовать разобраться — что там случилось с этим Николаем Полевым; как он дошёл до отчаяния; за что довели. Даже если он действительно предал сам себя, и к чёрту сантименты, — всё равно нельзя же так оставить: человек, умирая, пытался что-то сказать — допустим, вздор; допустим, в бреду, — а если нет?

Дай, думаю, предложу этот сюжет литературе — советской так советской: какая есть, другую взять негде. Отношения у нас были неважные, но Полевой-то при чём? он жил так давно.

Предложил (сколько-то лет поворотив исписанные бумажки). Получил ответ. Машинописный, на официальном бланке. От 23.03.1984:

«...печатать книги о писателях “второго ряда”, каким является Н. А. Полевой». Точка. Над ней — как бы вместо неё — написано от руки: «нецелесообразно», — и точка опять.

Неискренне, зато деликатно. По всей-то правде говоря, если построить колонну по четыре в ряд (а при существующей ширине дорог и не забывая про конвой с собаками, больше нельзя), Полевой — писатель хорошо если шестнадцатого ряда*.

Ну а я, значит, в каком-нибудь шестьсот шестнадцатом плетусь.

Перебирая в уме исписанные бумажки.

Как будто это реальные поступки реальных людей.

Вот, попался стихок:

Пробуждай, вражда, измену!
Подымай знамёна, бунт!
Не прорвать вам нашу стену,
Наш железный русский фронт!

И ещё строфа, даже побессмертней:

Чу! как пламенные тромбы,
Поднялися и летят
Наши мстительные бомбы
На кипящий бунтом град.

Не так-то легко поверить, что это действительно рука Жуковского.

А с другой стороны, чья же ещё? Пушкину такой свирепый тон не давался. Пушкин, наоборот, написал:

Мы не сожжём Варшавы их, —

ни в коем случае! что вы! разве мы воспеваем карательную экспедицию? мы с Жуковским мобилизованы и призваны на войну — справедливую, слышите? оборонительную! освободительную! считайте, Отечественную! в которой нравственное превосходство — залог победы.

Однако же и тогда были такие люди, на которых пропаганда наводила нестерпимую тоску. Вот ещё одна исписанная бумажка:

«Как ни говори, а стихи Жуковского — une question de vie et de mort, между нами. Для меня они такая пакость, что я предпочёл бы им смерть... Будь у нас гласность печати, никогда Ж. не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича: во-первых, потому, что этот род восторга анахронизм, что ничего нет поэтического в моём кучере, которого я за пьянство и воровство отдал

в солдаты и который, попав в железный фрунт, попал в махину, которая стоит или подаётся вперед без воли, без мысли и без отчёта, а что города берутся именно этими махинами, а не полководцем, которому стоит только расчесть, сколько он пожертвует этих махин, чтобы навязать на жену свою Екатерининскую ленту; во-вторых, потому, что курам на смех быть вне себя от изумления, видя, что льву удалось, наконец, наложить лапу на мышшь. В поляках было геройство отбиваться от нас так долго, но мы должны были окончательно перемочь их: следовательно, нравственная победа всё на их стороне».

Вот негибемый, вот независимый ум. Предпочёл бы смерть, шутка ли. 15 сентября 1831-го. Князь Вяземский. Ровно сорок дней как камергер двора Е. И. В.

Недели через две позвонил Бенкендорфу по вертушке: так и так, Вяземский беспокоит; случайно попал в руки полезнейший материал; когда удобно подскочить?

Материал был — заметка из парижской газеты «La Mode» про штурм Варшавы: какую образцовую дисциплину выказали русские войска, какую проявили гуманность. Ни одной тарелки не разбито, ни одного окна. Западные СМИ, не брезгуя самой бесстыдной ложью, вопят о массовых арестах, но надо знать рыцарский характер императора Николая: он не мстит. Освобождённый город ликует, женщины бросают солдатам букеты цветов. «О гг. Лафайет с товарищами! Чего не дали бы вы за младенца, заживо проглоченного казаками, сими северными вампирами. Но вы увидите, что нам скоро придётся учиться у башкиров законам народного права и общежитья; что ни говори, а это хоть кого так взбесит!»

Бенкендорф был вообще-то в курсе (заметку сочинял его сексот), но виду, конечно, не подал. Горячо благодарил за ценную информацию, обещал тотчас представить её государю — и тотчас представил. После чего уже сам вызвал Вяземского и опять — по высочайшему повелению — благодарил. Поручил перевести текст (лучше вас, князь, никто не справится) для «Северной пчелы».

№ 253, по нему и цитирую; имени переводчика нет — а надо думать, что Булгарин обозначил бы с удовольствием.

Термина *порядочность* не существовало. Совершенно как в наши дни. Его и у Даля нет, а в словаре Ожегова он изъяснён как неспособность к поступкам низким, аморальным, антиобщественным. Это не совсем корректно, хотя, действительно, речь идёт о качестве сугубо относительном, определяемом через сравнение с каким-то другим, а то и через отрицание. Грубо говоря, порядочность представляла собой не что иное, как дефицит рвения.

Отчего и восторгалась бедная образованщина этой репликой Ланцелота:

— Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?

По умолчанию — второй ученик порядочней первого, третий — еще порядочней второго, и т. д. Вы просто не поверите, сколько в прежние времена было порядочных: куда ни взглянешь — повсюду они.

До социалистической революции (опять же как и в наши дни) некоторые любили говорить — *честь*, но не на каждом шагу и не в смысле: отличительное свойство сотрудника органов; лексема применялась главным образом при разборках в двух секторах: игорный бизнес и несанкционированный секс.

А если, допустим, адъюнкт Московского университета — молодой учёный, журналист, литератор (между прочим, автор драмы, за которую Пушкин не далее как в прошедшем 1830 году целовал его и плакал: «Мои сцены народные — ничто перед вашими», и сравнивал с Шекспиром), будущий друг Гоголя и прототип Собакевича, — если этот, значит, Погодин М. П., правильно оценив международное положение, спешит дать буржуазной лженауке отпор и пишет «*Исторические размышления об отношении Польши к России (по поводу разных статей о том же предмете, помещаемых в иностранных журналах)*», а плод своего труда отправляет заказной бандеролью в III Отделение, — никакой *чести* это не касалось нисколько и называлось просто: русское сердце. Такого добровольного помощника приглашали в первый отдел, поздравляли и показывали (не выпуская, впрочем, из рук) письмо, в котором Бенкендорф спрашивал: «чего желает автор за статью, которая читана

и понравилась?» Обрадованный автор загадывал желание, золотая рыбка исполняла.

После восстановления территориальной целостности пред-
рассудки сходили с людей, как всё равно загар.

А. Х. Бенкендорф знал про это больше, чем кто бы то ни было, и огорчался, как никто. Если когда-нибудь историки откроют, что в каком-нибудь документе он обмолвился этим анахронизмом: *rojadochnost'*, лично я не удивлюсь. Он вообще вёл себя неосторожно, несколько раз был на грани провала, да и в обстоятельствах его смерти много неясного.

В 37-м просто повезло — некому было его разоблачить: братьев Стругацких ещё не читали. Но как же император на него разозлился. Такой кайф обломать. Интереснейшие же намечались варианты: скажем, помиловать в самую последнюю минуту, когда на головах уже мешки. И *в солдаты без выслуги* — тоже заманчивое продолжение. А какие стихи поступали бы из рavelина, какие письма! Бенкендорф не выдержал — и в день дуэли наружка потеряла Пушкина.

А ещё считается, что прогрессоров закаляют, как сталь, — там, в разведшколах родных планет.

Допускал и другие проколы. Вплоть до того, что чуть ли не выходил из исторического образа. В частности, совершенно неубедительно обращался с Николаем Полевым. Правда, никогда не забывая удостовериться, что прослушки нет; перлюстрировать же переписку генерала Бенкендорфа — руки коротки, граждане современники. Но кое-кто всё равно чувствовал: что-то не так. Да и сам Полевой иной раз трепетал не во всю мочь — забывался.

Диспут Бенкендорфа с Полевым про «Горе от ума». Где-нибудь в созвездии, предположим, Гончих Псов до сих пор, я думаю, изучают этот эпизод. Вопиющий случай. Поведение резидента не соответствует легенде категорически.

Это была не комедия Грибоедова, а бездарная политическая брошюра. 24 страницы. Типа — в помощь лекторам общества «Знание». *«Горе от ума, производящего всеобщий революционный дух. Философически-умозрительное рассуждение. Сочинение S.»*

Пересказывать лень, переписывать скучно. Включите телевизор — он вам сейчас же воспроизведёт все идеи этого S. Летом 1831-го они были ещё актуальней. Еще похвальней.

Чистое безумие было бы — опровергать этот тяжкий, уверенный бред.

Полевой — не опровергал. Высказал, вцепившись в удобный предлог, несколько мыслей. Посмотрите: вот за что его так любили те, кто его любил.

«Автор этой брошюрки говорит, что он надеется оценки его сочинению от *Русских учёных*, по достоинству. Хотя мы не смеем причислять сами себя к Русским учёным, но по *достоинству* оценить книжечку Г-на S. не откажемся.

Каждое великое событие, каждый великий переворот в мире необходимо сопровождаются насильственными, тяжёлыми для современников следствиями. Весьма часто, и почти всегда, благо остается для потомства, зло терпят современники. Таковы неисповедимые судьбы Бога — и кто, дерзкий! осмелится изъяснить их? Без Веры и без Ума сии судьбы могли бы даже показаться нам страшными, губительными, а мир ужасною загадкой! Человек содрогается, видя гибель тысячи жертв в политических переворотах, — но землетрясения, поглощающие целые области, но огонь молнии, сжигающий целые города, но свирепость водной стихии, даже смерть, поражающая доброе, милое, цветущее создание и забывающая дряхлого злодея? Не такие ли это задачи, пред которыми также содрогается человек?

Вера, святая утешительница, указывает ему на благодать Бога и другой мир. Ум даёт ему средства отвращать беды и в самой гибели показывает начала добра. Таково должно быть наше мнение, таковы наши надежды, оправдываемые святою Верою и Философиею, великою и мудрою!

Но Г-на S. эта Философия не касается. Что ему за нужда до Истории, до причин великих волнений, на которые глядит он из своего окошечка, какая ему надобность до следствий, предполагаемых умом!

Ему *кажется*, что всё ныне происходит от излишнего умничанья; что это умничанье сводит всех с истинного ума; что оно производит желание нелепой свободы, которую стараются добыть революциями, а революции ведут

к бесчеловечию и оканчиваются *варварством*. Этому пример видит Г-н S. в нынешней Франции и заключает сочинение своё стихами, вероятно, списанными с какой-нибудь Суздальской картинки, или им самим скропанными по сему образцу:

Обумитесь, сумасшедшие *умники!*

Или вам будет *горе от ума!*

Станем ли доказывать Г-ну S., что и по его рассказам, не ум, а злоупотребление ума всему причиною, следовательно, заглавие его книжечки есть нелепость? Станем ли говорить ему, что зло всегда и во всём существует, и насильственные явления его ничего не доказывают в пользу или не в пользу дела? Раскроем ли перед ним закон Веры, который указывает во всём неизменную волю Бога, вследствие чего были, есть и будут ужасы и волнения для добра и блага? Подтвердим ли всё это выводами Ума и Философиею Истории? Нет! книжечка Г-на S. этого не стоит. Мы и упоминаем об ней только для тех людей, которые всему печатному готовы верить.

Г-да S. являлись и бывали всегда. При каждом необыкновенном явлении историческом они подымали вопли, и очень походят они на того драгунского Капитана, который отрёкся от Бога, когда умерла у него жена. Бедный ум! Бедное просвещение! всегда и всё на него сваливали г-да S.! Двигались ли народы для сокрушения Рима; лились ли кровавые реки от фанатизма; Реформация ли колебала Европу; овладевали ль Турки Цареградом — одни действовали, другие думали, а г-да S. затыгивали свою песню: «Вот дожили! Вот ваш ум, вот ваше просвещение! Настало преставление света! Смотри-ка: у меня сожгли овин, у меня убили корову, меня прибили, ограбили!» Простительно человеку в горести так стенать и плакать, винить всё, во всём и за всё; но почитать подобные клики стоящими внимания просвещённого мыслителя — значило бы отвергать законы Провидения, не знать основания науки мудрости и наводить себе горе — только *не от ума.*»

Без комментариев. А. X. Бенкендорф разобрал этот текст лучше всякого Герцена. С восхищением и тревогой*.

«Милостивый Государь Николай Алексеевич!

Я не решился бы писать к вам и делать мои замечания на ваши сочинения, если бы неоднократные опыты вашего ко мне доброго расположения не давали мне права полагать, что рассуждения мои вы примете доказательством моего к вам уважения и доброжелательства.

Сожалея чрезвычайно, что многосложные занятия мои отымают у меня возможность беспрерывно вникать в журнал, вами издаваемый, и что по сей причине только теперь обращено моё внимание на № 16 “Московского Телеграфа” 1831 года, я твёрдо уверен, что ежели вы рассмотрите с беспристрастием мои рассуждения, то оные принесут очевидную пользу как вам, так и публике, для коей вы пишете.

В разборе брошюры г. S: “Горе от ума”, на стр. 519, 520 и 521 вы утверждаете, что революции необходимы, и что кровопролития и ужасы, сопровождающие насильственные перевороты в правлении, не так губельны, как воображают такие простаки, каков г. S; что даже польза революций очевидна для потомства и что только непросвещённые мыслители могут жаловаться на бедствия, происходящие от оных!

Позвольте, милостивый государь, вам заметить, что это не литература, а совершенное рассуждение о высшей политике! Я не столько удивляюсь, что цензура пропустила такие вредные суждения, как удивляюсь тому, что столь умный человек, как вы, пишет такие нелепости! Желал бы иметь ваше объяснение, с какою целию, с каким намерением вы позволяете себе печатать столь вредные мнения для общего блага!

Для совершенного опровержения вашей системы не нужно входить в обширные рассуждения; я ограничу себя только тем замечанием, что подобный образ мыслей весьма вреден в России, особливо если он встречается в человеке умном, образованном, который имеет дар писать остро и замысловато; в сочинителе, коего публика читает охотно, и коего мнения могут посеять такие семена, могут дать такое направление умам молодых людей, которое вовлечет государство в бездну несчастий. Не думайте, что<бы> в то время ваше раскаяние, сила ваших сочинений могла прекратить

те бедствия, коих вы будете виновником. И по сей причине, как человек, желающий вам добра, советую не печатать подобных статей в вашем журнале, которые сколько вредны, столько же и нелепы. Вникните, милостивый государь, какие мысли вы внушаете людям неопытным! Я не могу не скорбеть душою, что во времена, в кои и без ваших вольнодумных рассуждений юные умы стремятся к общему беспорядку, вы ещё более их воспаляете и не хотите предвидеть, что сочинения ваши могут и должны быть одною из непосредственных причин разрушения общего спокойствия. Писатель с вашими дарованиями принесёт много пользы государству, если он даст перу своему направление благомыслящее, успокаивающее страсти, а не возжигающее оные. Я надеюсь, что вы с благоразумием примете моё предостережение и что впредь не поставите меня в неприятную обязанность делать невыгодные замечания насчёт сочинений ваших и говорить вам столь горькую истину.

Не менее того примите уверение в моём к вам отличном уважении и преданности, с коею пребыть честь имею вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою

А. Бенкендорф».

Если бы кто-нибудь рискнул сделать ксерокопию — как поразил бы императора тон этого письма.

Между прочим, с сентября 31 года такая опасность для Бенкендорфа существовала. Фон-Фок, умный, верный Фон-Фок умер, и на его место поступил некто Мордвинов А. Н. Племянник адмирала, то есть из очень хорошей семьи. Адмирал единственный не подписал смертный приговор людям декабря. И вроде бы у племянника тоже имелись предрассудки, всего несколько лет назад. Кузену Дубельту решительно так советовал: не будь жандармом, не будь! И вдруг сам перешёл в органы — офицер, помещик, придворный, — какое чувство ветра! интуиция новой метлы.

Потому что император рванул стоп-кран. История остановилась. Последние печатные экземпляры русской конституции, отобранные на обысках, — все 1578 — привезены из Варшавы и сожжены. Уваров дописывает концепцию. Опустите железный занавес. Приготовиться к холодной войне. Кто не спрятался — сами знаете, что́ будет.

§ 9. ИНТЕРМЕДИЯ I

Тут, в самую последнюю минуту, когда до начала Застоя оставалось уже всего ничего, в историю литературы (опять поплодируем её Автору) вдруг вбежал внештатный положительный герой.

Чтобы успеть вне очереди получить по голове.

По большому, серьёзному, задумчивому лицу в пронзительных очках и окладистых бакенбардах.

Молод, строен, родовит, обеспечен, бережно воспитан, умён, учён, религиозен, невинен.

А Наталья Петровна Арбенина ни в какую не соглашалась замуж.

Из-за чего, естественно, жизнь этого Ивана Киреевского потеряла значительную часть смысла. Однако не весь: потому что кроме Натальи Петровны — и маменьки, и папеньки (вообще-то — отчима), и сестры Маши, и брата Петра, и Василия Андреевича Жуковского — он любил ещё и Россию.

На неё и переключился. Спросил сам у себя: вот что я, такой грустный, могу сделать для родины прямо сейчас? (На дворе была осень 31 года.) И сам себе ответил: а сделай для неё другой «Телеграф», усовершенствованную модель!

Ну ещё бы: ведь он уже тиснул две или три рецензии — то есть был человек литературы. А из людей литературы только ленивый не хотел издавать журнал типа «Телеграф», но в сто раз лучше. И практически у каждого даже был свой бизнес-план, причём всего из двух пунктов: 1) ответредактор — я; 2) бюджет гарантирован золотом партии.

Согласно теории и практике советской печати.

Жуковскому, например, снилось, что он Максим Горький и организует «Красную новь»:

«Хороший журнал литературный и политический есть для нас необходимость. Я не могу взять на себя издание такого журнала: не имею для того времени, но я мог бы быть наблюдателем за изданием согласно с видами правительства. Около меня могли бы собраться и наши лучшие, уже известные писатели, и все те, кои еще неизвестны, но имеют талант и, начиная писать, желают выйти на сцену, им приличную. В такой журнал могло бы войти и всё европейское, полезное России, и всё русское, достойное её внимания: с деятельной помощью правительства и с его покровительством журнал сей мог бы иметь влияние обширное и решительно полезное. Журнал, издаваемый под моим влиянием, обратил бы общее внимание публики, которая имеет ко мне доверенность; и наши надёжнейшие писатели, по той же доверенности, согласились бы все в нём участвовать. Таким образом, их умственная деятельность была бы употреблена с пользою, и они, без всякого принуждения и опасения, действовали бы в смысле правительства...»

Вяземский воображал себя скорее Эренбургом и предлагал руководству раскошелиться на «Проблемы мира и социализма». С филиалами за границей. Для решительной и последовательной контр-пропаганды на главных европейских языках.

«Для блага государства недостаточно, чтобы действия русского правительства носили характер прямотушия и бескорыстия, проистекающий от высоких чувств и властной руки Того, Кто правит Россией. Недостаточно, чтобы имя Русского занимало почётное место в истории нашего времени и сверкало в нём отблеском Того, Кто представляет это имя на вершине власти и нации».

Привлекать, активно привлекать на свою сторону трудящихся, прогрессивные круги, всех людей доброй воли! Мы слишком застенчивы. Из-за чего и профукали информационную войну:

«Вся европейская пресса встала на защиту Польши, в то время как нашу победу поддерживало лишь безмолвие

нашей печати, сознание справедливости и реальность совершившихся фактов».

Между тем при помощи расторопных и преданных СМИ мы могли бы доказать Европе: «...что сотни тысяч наших штыков не являются единственной основой нашего могущества, но что наша мощь покоится на принципах более высокого порядка и что мы сильны лишь потому, что мы достойны быть сильными».

Да и внутри страны подобный печатный орган был бы весьма не лишним. Глядишь, патриотическая общественность сплотилась бы вокруг руководства ещё тесней.

«Публика по своей природе тщеславна: польщённая тем, что с ней заговорили, и знаками внимания, которые проявили по отношению к ней, она бывает удовлетворена и признательна, даже если хотят её обмануть. Насколько же она будет более восприимчива к действиям правительства, если эти действия будут откровенными и прямыми, если она увидит, что власть желает быть понятой и оценённой. Все талантливые люди присоединились бы к этому предприятию: оно собрало бы и поглотило бы в своей деятельности все индивидуальные деятельности, которые теперь проявляют себя изолированно, разобщённо, не сознавая своего призвания; видя, что правительство обходится без них, они иногда противостоят ему и критикуют его. Подобный журнал сразу парализовал бы все фрондирующие и противоречащие элементы среди молодых литераторов, так как открытое правительством поприще для талантов удовлетворило бы честолюбие всех и дало бы возможность развивать способности на законном основании».

Профессор МГУ Шевырев переплюнул и Жуковского, и Вяземского, и вообще проник в будущее глубже всех.

А — рассовать всю лит. продукцию по двум гос. карманам. Учредить сразу два совершенно одинаковых органа: по одному на каждую из столиц; печатать исключительно произведения членов СП и научных работников не ниже доцента; установить твёрдый тариф. И всё. Самая передовая в мире литература готова. Вредные наросты засохнут и отвалятся сами собой.

«Журналы сии представляли бы собою полное выражение успехов русского просвещения в словесности, и ход сей последней совершался бы на глазах бдительного нашего правительства, под его августейшим и беспристрастным покровом, для всех равно милостивым и доступным».

Прекрасный проект. Бенкендорф любил такие: человек прямо и просто высказывает свою мечту. Или две — о пожизненном постоянном доходе и чтобы «Телеграф» не существовал.

А периодические, значит, издания «предлагали бы читающей публике здравые и основательные сведения о ходе наук и словесности у нас в Отечестве и в других странах Европы, в противоположность действиям частных издателей, которых журналы не могут всегда быть, по личным их отношениям, общими средоточиями отечественной словесности. К тому же торговые их виды берут иногда совершенный верх над видами нравственного образования соотечественников, и в сём последнем случае все мнения читающей публики приходят в зависимость от личности журналистов так, что часто непризванный может давать своё направление отечественному просвещению».

Во как. Вот до чего дошло. До нестерпимого чувства идеологической опасности. Пушкин, получается, был прав.

Приличные люди требовали уже в один голос: если не сразу вырвать с корнем хищный сорняк, то хотя бы посадить в губительной для него близости полезный корнеплод с мощной ботвой. Но Бенкендорф так и не удосужился пробежать статью «Партийная организация и партийная литература». А издавать толстый журнал на свои кровные — кто же рискнёт из приличных людей?

Киреевский затеял — тоненький. Расход сравнительно небольшой (15 тысяч), как на непобедимую прихоть. Два номера в месяц, тираж — начнём с пятисот, а там посмотрим. (Набралось 50 подписчиков.) Авторы — все друзья, но какие: Жуковский! Баратынский! Языков! Хомяков! Маменька повесть перевела с немецкого. Брат Пётр — статью из английского журнала. (Раздел «Смесь» составила, полагаю, сестра Маша.)

То есть по составу никак не хуже «Телеграфа». По качеству текстов — как небо и земля. Переводы какие опрятные. И нет этих вульгарных модных картинок.

Приятно взять в руки. Словно игрушку с окуляром: приставил к глазу — внутри культура как живая. Отчего и название издания — «Европеец». А программной статьи — «Деятнадцатый век».

Вот она, невинность. Вот она, учёность. Вот они — чаепития в Берлине с Гегелем, в Мюнхене с Шеллингом. Письма оттуда к маменьке: я окружён первоклассными умами Европы!

Казалось бы: вышел из окружения — осмотришься. А ещё лучше — прислушайся. В январе 1832-го слово европеец произносилось на пространстве будущего СНГ примерно как в 1949-м: губная фонема с трудом удерживает слюну. Деятнадцатый же век звучал в злорадном миноре: доигрались, так им и надо.

Киреевский писал эти слова политически неграмотно: без отвращения. В 1949-м с такими тугоухими тоже не церемонились. Но в 1832-м был шанс: а вдруг сначала статью кто-нибудь прочтает. Какой-нибудь не кретин.

А также был шанс ещё более благоприятный: что не прочтает её никто.

Поскольку скучная. Ещё занудней вот этого моего параграфа. Ну как обычно пишут аспиранты философии. Бильярдным кием. А понятия круглыми боками бьются друг о дружку, как шары.

«Некоторые полагают, что эта быстрота изменений духа времени зависит от самой сущности сих изменений; другие, напротив того, думают, что она происходит от обстоятельств посторонних, от случайных характеров действующих лиц и т. п., третьи видят причину её в духе настоящего просвещения вообще». Всё в таком роде.

Кроме Авдотьи Петровны — маменьки автора, папеньки Алексея Андреевича и брата Петра — кто бы это выдержал?

Хотя после пятой-шестой попытки общая мысль понемногу сжимается и выглядит, скажем, так: дух нашего времени — терпимость; прогресс и религия больше не враги;

это замечательно, потому что только вместе они способны пересоздать наш взгляд на жизнь, а значит, и самую жизнь.

Примерно так. По-тогдашнему и особенно по-здешнему — не банально, но атеизма ни тени, политики ни грамма; явно виден славный, сугубо православный молодой человек.

Оцените же наглость доноса.

«О журнале “Европеец”,
издаваемом Иваном Киреевским
с 1-го января сего года.

Журнал “Европеец” издается с целью распространения духа свободомыслия. Само по себе разумеется, что свобода проповедуется здесь в виде философии, по примеру германских демагогов Яна, Окена, Шеллинга и других, и точно в том виде, как сие делалось до 1813 года в Германии, когда о свободе не смели говорить явно. Цель сей философии есть та, чтоб доказать, что род человеческий должен стремиться к совершенству и подчиняться одному разуму, и как действие разума есть закон, то и должно стремиться к усовершенствованию *правлений*. Но поелику разум не дан в одной пропорции всем людям, то совершенство состоит в соединении многих умов в едино, а в следствие сего разумнейшие должны управлять миром. Это основание республик. В сей философии всё говорится под *условными знаками*, которые понимают адепты и толкуют профанам. Стоит только знать, что *просвещение* есть синоним *свободы*, а *деятельность разума* означает *революцию*, чтоб иметь ключ к тайнам сей философии. Ныне в Германии это уже не тайна. Прочтя со вниманием первую книжку журнала “Европеец”, можно легко постигнуть, в каком духе он издаётся...»

Это далеко не всё, но с меня, например, хватит.

Нет, ещё один абзац необходим:

«В 1-й статье “XIX век” указывается, к чему должны стремиться люди. На странице 10-й разрешается, что из двух разрушительных начал должно родиться успокаивающее правило, и правило сие ясно обнаружено. Автор называет его *искусно отысканною серединою*, т. е. конституциею, серединою между демократией и монархией неограниченной.

Стоит обратить внимание на хитрость автора статьи. На 1-й странице он объявляет, что не будет говорить о политике, а вся статья есть политическая...»

Какую отчаянность надо было иметь, чтобы сунуться с этим клиническим бредом в Третье Отделение, к самому Мордвинову! Которому ведь стоило только раскрыть журнал и перелистнуть несколько страниц. Элементарно проверить: а где тут про деятельность разума. Есть такое место, всего одно, вот оно.

Про т. н. натуральную философию, про систему Шеллинга: «Казалось, судьба философии решена, цель её отыскана и границы раздвинуты до невозможного. Ибо, постигнув сущность разума и законы его необходимой деятельности, определив ответственность сих законов с законами безусловного бытия, открыв в целом объёме мироздания повторение того же вечного разума по тем же началам вечной необходимости, куда ещё могла стремиться любознательная мысль человека?»

Ну! воспользуйтесь шифром — подставьте революцию — что выйдет?

Теперь просвещение. Заменяем его свободой. Отчего не заменить. Пару раз даже мелькнёт подобие смысла, — но где же криминал?

«Теперь, благодаря сим успехам просвещения, уважение к религии сделалось почти повсеместным...»

Подставьте, подставьте *свободу* — и вам сделается совершенно ясно: анонимный стукач был безбоязненно уверен, что вы, ваше превосходительство, — синоним дундука. На букву м. Причём безответственный и профнепригодный.

И приходится признать, что негодяй не ошибся. Возможно, имел какой-то случай лично оценить ваш интеллектуальный ресурс. Для этого не обязательно самому быть умным: достаточно быть безумным.

Продолжаем трагифарс.

Мордвинов прошёлся по доносу карандашиком, отдал в канцелярию переписать. После чего отвёз — вместе с экземпляром «Европейца» — императору! Лично! В собственные руки! Как будто он — Бенкендорф. Или как будто

никакого Бенкендорфа нет на свете и он не явится послезавтра к Е. В. с обычным докладом.

Но Бенкендорф послезавтра явился. Застал государя в пароксизме какой-то чрезвычайной ярости. Выслушал всё, что было ему сказано. Взял «Европейца» и донос. Вернулся в Отделение. Не отрывая глаз от доноса, продиктовал дежурному секретарю письмо к министру просвещения князю Ливену:

«Государь Император, прочитав в № 1 издаваемого в Москве Иваном *Киреевским* журнала под названием “Европеец” статью *Девятнадцатый век*, изволил обратить на оную особое Своё внимание. Его Величество изволил найти, что все статьи сии есть не что иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. — Но стоит обратить только некоторое внимание, чтобы видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, понимает совсем иное; что под словом *просвещение* он понимает *свободу*, что *деятельность разума* означает у него *революцию*, а *искусно отысканная середина* не что иное, как *конституция*. Посему Его Величество изволит находить, что статья сия не долженствовала быть дозволена в журнале литературном, в каковом воспрещено помещать что-либо о политике, и как, сверх того, оная статья, невзирая на её наивность, писана в духе самом неблагонамеренном, то и не следовало цензуре оной пропускать.

Его Величество о сих замечаниях Своих повелел мне сообщить Вашей Светлости, с тем, чтобы Вы изволили обратиться законное взыскание на цензора, пропустившего означенную книжку “Европейца”, и дабы издание одного журнала было на будущее время воспрещено, так как издатель, г. Киреевский, обнаружил себя человеком не благомыслящим и неблагонадёжным...»

Ну и т. д.

Ливен велел этот текст скопировать и отослать — уже от его имени — попечителю Московского учебного округа.

Тот точно таким же способом превратил его в т. н. отношение и направил в Московский цензурный комитет.

Комитет на своём очередном заседании оформил его как единогласно принятую резолюцию.

Каковая и была Киреевскому под расписку вручена. А взамен отобраны все отпечатанные экземпляры его журнала.

Вот и весь эпизод. Впечатляет? Что-то в нём неизъяснимо жуткое. Веет абсурдом. Многие тогда были потрясены. Не радовался никто, за исключением разве что Мордвинова и Анонима.

(Странно, кстати, что Аноним больше ничем себя не проявил, скрылся бесследно. Как и публицист S — автор брошюры «Горе от ума». Не одно ли и то же лицо? А впрочем, какая разница.)

Дело было не в том, что с Киреевским обошлись несправедливо. Такое случается. Но тут несправедливость выглядела — как бы это выразиться осторожней — выглядела так, словно Николай I — не солнце ума. Может быть, даже вообще не гений. Думать это было страшно.

Советская наука вынуждена была разъяснить, что на самом-то деле император выказал незаурядное чутьё: у Киреевского имелись-таки политические взгляды, — надо только вчитаться в его письма к друзьям. Да и — положи руку на сердце — разве не политическая категория — эта самая «искусно (так и пишут, по орфографии доноса) отысканная середина»?

Что правда, то правда: собака зарыта здесь. Вот в этом абзаце. Николай впился в него и дальше, я думаю, не читал.

«Вообще в целом быте просвещённой части Европы образовался второй, *сложный* порядок вещей, в состав которого вошли не только результаты новых стремлений, но и остатки старого века, частью еще уцелевшие, частью возобновлённые, но в обоих случаях неизменные новыми отношениями. (*Изменённые? Не изменённые? Явная опечатка двести лет остается незамеченной, затерявшись в груди стилистических ошибок. И этот-то слог похваливали Вяземский и Пушкин?*) Господствовавшее направление умов, соответствовавшее этому новому порядку вещей, заключалось в стремлении к успокоительному уравниванию нового духа с развалинами старых времен и к сведению противоположных крайностей в одну общую, *искусственно отысканную* середину».

Хладнокровно разобравшись — как бы ни было дурно написано, — Николай, мне кажется, мог бы сообразить: нет, это не про конституцию. Скорее про философский компромисс. В крайнем случае — про общественный консенсус. Во Франции, в далёкой Франции. На иделогическую диверсию не тянет.

Но он взбесился — должно быть, оттого что этот абзац описывал какую-то невероятную реальность: в которой его, Николая Первого, императора, — нет, и звать его никак. И ничья жизнь от него не зависит.

А это ещё что такое?

Письмо. От Жуковского. С приложением письма Киреевского (написанного вместо него Чаадаевым) к Бенкендорфу. Жидомасоны не дремлют.

«Киреевский есть самый близкий мне человек; я знаю его совершенно; отвечаю за его жизнь и правила; а запрещение журнала его падает некоторым образом и на меня, ибо я принял довольно живое участие в его издании. Всемилостивейший государь, сие запрещение конечно бы не последовало, когда бы от издателя потребовали ответа: не было никакого основания так истолковать его статьи, как они были истолкованы; это значило: сперва произвольно предположить преступление, а потом уже наказать за оное. Если Ваше Величество благоволите обратить на это Ваше особенное внимание, то конечно увидите сами, что издатель потерпел без вины: его доброе имя пострадало в общем мнении, и едва было большее бедствие с ним не случилось; несчастье сына так поразило мать, что она занемогла опасно горячкою, и теперь ещё опасность не миновалась. Государь, будьте милостивы к молодому человеку, едва начинающему жить и ничем не заслужившему Вашего гнева; позвольте ему продолжать своё издание: ему это нужно не как автору, а как человеку, который, конечно, упадёт духом при самом начале дороги своей, если будет думать, что навлѣк на себя Ваше неблаговоление. Если буду так счастлив, что Вы мне поверите, то готов взять на свою ответственность всё, что ни напишет Киреевский, а Ваша милость исполнит душу его пламенною благодарностию: он оживѣт; теперь же он истинно несчастлив».

А вот интересно: кто вообще разрешил этому — едва начинающему жить (в двадцать шесть-то лет) издавать журнал, да ещё с таким названием? Ах, Блудов? Лично подписал лицензию? Этого следовало ожидать. Одна компания. А Чаадаев состоял в той же ложе, что и Бенкендорф.

Несколько дней император, встречая во дворце Жуковского, не видел его в упор. Наконец однажды машинально кивнул. «Ваше величество, — торопливо сказал Жуковский, — я отвечаю за Киреевского, как за самого себя». — «А за тебя кто поручится?» — угрюмо спросил Николай.

Ну что ж. Человек, которому не доверяют, должен быть удалён.

Жуковский отменил свои занятия с наследником престола. Забастовал. (Подстраховался, однако: сходил в дворцовую санчасть, взял бюллетень.)

В общем, если бы не императрица, последствия эпизода могли быть печальней. Благодаря её вмешательству победила эта самая — как там? — искусно отысканная середина. Через две недели царь приобнял Жуковского и произнёс: давай, что ли, помиримся. Киреевского не забрали в армию, даже не сослали в деревню: постоянный полицейский надзор да запрет на лит. профессию — и только. (Незаменимых нет: Белинский уже опубликовал первый стихок и первую рецензию, даже сочинил драму.) Блудова переставили вбок и несколько вверх, — и место для Уварова освободилось. Его час пробил. В марте 1832 года он подал государю новый меморандум — с искомой формулой грядущих пятилеток:

Religion nationale — Autocratie — Nationalité!

§ 10. ИНТЕРМЕДИЯ II

На практике, в повседневной идеологической работе, трёхчленка Уварова сводилась, конечно, к «ура». Но не боевому, а профилактическому: дьявольская разница.

Глубокое такое «ура», непременно со слезой и насыщенное разными обертонами: обиды, угрозы, презрительного гнева. И обязательно упакованное в *couleur locale*.

После жгучей какой-нибудь половецкой пляски, после потешно-кичливой мазурки, после приветственного выступления представителя братских народов Скандинавии на сцену выбегают кафтаны и кокошники: поступило сообщение информбюро: враг разбит. На краю рампы воздвигается детина под два метра, по фамилии, предположим, Каратыгин 1-й, наполняет свой орган воздухом так, чтобы диафрагма, подавшись вниз, натянулась до отказа, — и гремит:

Да знает ли ваш пресловутый Запад,
Что если Русь восстанет на войну,
То вам почудится седое море,
Что буря гонит на берег противный!..

Плавно повышая силу звука: истовый вопль — пауза — вопль неистовый:

Мы можем затопить, как наводнение!
Мы можем, как пожар, весь Запад сжечь!
У нас есть Крест, святейший из Крестов!
У нас есть меч, сильнейший из мечей!

Публика единодушно издаёт продолжительный ответный крик счастья. Аплодирует Жуковский в партере, топают ногами Девушкин в райке, машут батистовыми платочками М-ме Керн и М-ме Фикельмон в ложах. Густой запах

пота — испарения мускуса — чад сальных свечей. (Кашалоты там, в своих морях, всё ещё не сдаются без боя.)

Занавес. Сойдя из ложи, царь говорит окаменевшему исполнителю:

— Спасибо, братец. Ты так хорошо изобразил патриотическое чувство, что у меня накладка приподнялась на голове.

То есть на этом уровне вполне можно было довериться простейшим инстинктам творческой образованщины. Слегка поощрив: скажем, рассыпать вдоль перспективных тем что-нибудь вкусенькое.

— Кстати: автору пьесы — перстень. Как его? Эйзенштейн?

— Кукольник, ваше императорское...

— Кукольнику. Тысячи в две.

Лет пятьдесят такой культуры укрепят иммунитет — и тогда хоть загранпаспорта всем подряд выдавайте, хоть открывайте спецхран: опасность заражения исчезнет. Образуется спасительная привычка (так сказать, собственная гордость): взгляд на Запад исключительно свысока.

Как на живой труп.

В основополагающем и судьбоносном документе¹ Уваров именно и обещал — развернуть долгоиграющую систему карантинных мероприятий.

Раз в Европе с июля 1830-го бушует морально-политический СПИД.

«Это нравственная зараза — une contagion morale, — действие которой ощущается всеми. Самый характерный симптом — всеобщее брожение умов. Все гарантии существующего положения вещей обнаружили свою несостоятельность».

И т. д. Устои, они же Основы, они же Авторитеты, ходят ходуном, привилегии не действуют, общество рассыпается на атомы — грамотные такие нахальные атомы, в пиджаках.

Думали — прогресс, оказалось — распад. Хвалёная цивилизация содержит в себе вирус всеобщего разрушения.

«И общественный порядок ежедневно стоит перед вопросом жизни и смерти!»

¹ Неизвестный автограф этого меморандума нашёл и опубликовал Андрей Зорин.

Запад обречён. Европа гибнет. Рушится в тартарары, истлевая на лету.

Насчет Востока и Юга — ничего не известно и никого не колышет.

Но Россию вполне ещё можно спасти. Ещё не поздно.

«Она ещё хранит в своей груди убеждения религиозные, убеждения политические, убеждения нравственные — единственный залог её блаженства (*а если переводить буквально — то и спасения: de son salut*). Дело Правительства — собрать их в одно целое, составить из них тот якорь, который позволит России выдержать бурю».

Вообще-то, Застой — это вам не лобио кушать. И если вы претендуете в упомянутом Правительстве на первое место (и на второе — в государстве), — неплохо бы этот якорь нового типа тут же и нарисовать. Составной.

Но идиот знал, с кем имеет дело, и просто запутал Николая. Легко. Вот смотрите. Берём якорь обыкновенный морской. Двухлопастный, на каждой лапе — зубец. Это два неразрушимых Авторитета. Неразрушимость первого доказывается тем, что за Февральской революцией неизбежно последует октябрьский переворот:

«Приняв химеры ограничения власти монарха, равенства прав всех сословий, национального представительства на европейский манер, мнимо-конституционной формы правления, колосс не протянет и двух недель. Более того — он рухнет прежде, чем эти ложные преобразования будут завершены».

Ну а второй зубец — он столь же прочен, как и первый: из того же материала! Тут мы опять располагаем аргументом неотразимым:

«Человек, преданный своему отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из догматов господствующей церкви, сколько и на похищение одного перла из венца Мономаха».

Без сомнения. Спросите у первого встречного Антона Горемыки — он подтвердит.

Но если так, то всё тип-топ. Какая же необходимость именно теперь заменять именно князя Ливена, причем именно вами? Что Самодержавие + Православие = Стабильность, —

известно всем, и Ливену тоже. Это, Сергей Семёнович, даже напечатано в «Блокноте агитатора». Хотя говорят, что и во Франции, в мерзкой Франции король и церковь тоже были не совсем пустые слова, и сравнительно недавно, — а что теперь? Вы упомянули про эпидемию — может быть, открыли антивирус? Хватит темнить.

Тут идиот и выдал заветный, роковой абзац. Как выпал из мешка труху.

«Рядом с этим (*православным? монархическим?*) консервативным началом (в оригинале — *principe*) находится другое, столь же важное и тесно связанное с первым (*монархическим? православным?*), — *c'est la Nationalité*. Чтобы одно могло удержать всю свою мощь, другое должно сохранить всю свою целостность; каковы бы ни были столкновения, которые им довелось пережить (*будь это написано по-русски, император, нахмурившись, подчеркнул бы столкновения и поставил вопросительный знак; а тут не решился*), оба они живут общей жизнью и могут ещё вступить в союз и победить вместе. Вопрос о народности более сложен, чем о самодержавной власти, но он покоится на столь же надёжных основаниях (*вопрос — покоится — на основаниях, — понятно?*), главное затруднение, которое он заключает, состоит в соглашении древних и новых понятий, но Народность не состоит в движении назад (*état retrograde*), ни даже в неподвижности (*état stationnaire*); государственный состав может и должен развиваться подобно человеческому телу: по мере возраста лицо человека меняется, сохраняя лишь главные черты. Речь не идет о том, чтобы противиться естественному ходу вещей, но лишь о том, чтобы не наклеивать на своё лицо чужую и искусственную личину, о том, чтобы сохранить неприкосновенным *le foyer de nos idées nationales* (святилище наших народных идей, или понятий: *убейте, не разбираю, о чём гундос; а вы разбираете? а Николай I, как по-вашему, — разобрал?*), черпать из него, поставить эти понятия на высшую ступень среди начал нашего государства и, в особенности, нашего народного образования (*instruction publique*). Между старыми предрассудками, не признающими ничего, что не существовало, по крайней мере, полвека назад, и новыми предрассудками,

без жалости изничтожающими всё, чему они идут на смену, и яростно нападающими на останки прошедшего, лежит обширное поле — там и находится твёрдая почва, надёжная опора, основание, которое не может нас подвести».

Уф. Вам-то что: обогнули препятствие — заскользили дальше, — а каково было корректору? А — императору?

Главное — всё так запуталось: только решили составить из убеждений якорь — и вот уже убеждения слежались в твёрдый грунт.

В котором, стало быть, зарыто третье государствообразующее начало. Оно там, в почве, сожительствоует с началом монархическим (любят некоторые взять в такой оборот пару однополых подлежащих), но не прочь вступить с ним и в союз. При условии: не наклеивать un masque (личину, значит), а черпать идеи из святилища (le feyer) и ставить их на небывалую высоту. Черпать и ставить! Ориентируясь на них в геополитике, парт-гос.строительстве и особенно в instruction publique.

Итак, содержимое нового термина — кучка дырявых метафор.

В советском-то энциклопедическом и, понятно, в КЛЭ — однозначно: *Народность* — принцип искусства соц. реализма. Подчёркивается единство Н. и коммунистич. идейности; отсюда вытекает требование рассматривать Н. неотрывно от *партийности в литературе* (см.), — это уже теплей, почти горячо, — но не распространять же на империю обычаи микромира?

Хотя сам по себе — на слух — слоган хоть куда. К нему — многообразное прилагательное. Николай Национальный, предположим: незабываемо. Или лучше — Народный? Общепародный?

И ведь не спросишь — как спросил бы, нахмурясь, любого другого: а что ты, Уваров, имеешь в виду, собственно говоря?

Или немножко так искоса: а представь, Уваров, что ты не мне докладываешь, а проводишь беседу с низовым парт-активом, — как бы ты растолковал товарищам из глубинки: что есть твоя Nationalité — хорошо, пускай народность — как политический принцип?

И неудобно, и бесполезно. Во-первых, идиот не умел ни отвечать, ни спрашивать: только декламировать. Интеллект ему заменял, работая, как вязальная машина, — французский синтаксис.

Во-вторых же, обоим — идиоту и царю — была отлично известна реальная формула блаженства. Все три источника, или, если угодно, — три составные части. И каков на самом деле третий член.

В прошлогоднем уваровском тексте метафора для него была — дерево, с могучими, глубоко ушедшими в почву корнями — дерево, пышные, хотя и не особенно красивые ветви которого осеняют (укрывая, стало быть, от непогоды) и престол, и алтарь.

Нет, не анчар. *Servitude. Servitude vulgaris.* Обычное, как берёза, рабство.

И все клеветники России тоже были в курсе дела.

Ну вот если за бугром гимназисту на уроке географии скажут: мсье Бодлер! Опишите-ка РИ тремя словами, — какие три слова припомнит находчивый отличник? Думаете — Мир, Труд, Коммунизм? Как бы не так; он выведет мелом на чёрной доске: *Autocratie, Orthodoxye, Servitude.* (Браво, Шарль, всегда бы так; можете сесть на место. Действительно: Россия, как и Турция, — страна с отсталой, рабовладельческой экономикой. Других таких в Европе нет.)

И когда в нынешнем докладе — судьбоносном — Уваров завёл: для того чтобы обнаружить начала, подерживающие порядок и составляющие особенное достояние нашей державы, достаточно поместить на фасаде государственного здания России следующие три максимы, — спятил он, что ли, подумал император, цинизм какой, — а идиот в чём мать родила карабкался по пожарной лестнице на карниз империи:

— следующие три максимы,
подсказанные самой природой вещей
и с которыми напрасно стали бы спорить
умы, помрачённые ложными идеями
и достойными сожаления предрассудками:
чтобы Россия усиливалась,

чтобы она благоденствовала,
чтобы она жила —
нам осталось три
великих государственных начала,
а именно — — —

Император мысленно зажмурился. Потом, тоже мысленно, открыл глаза. Лестница кончилась. Совершенно одетый, в камергерском мундире, Уваров позировал прессе, разгуливая между огромных позолоченных слов. Два слова были прежние, только в другом порядке, а на месте третьего сверкала эта самая Nationalité!

И это было решение всех проблем.

Не так-то удобно вести борьбу за мир и подвергать беспощадной критике реакционные режимы, когда любой буржуазный демагог норовит квакнуть: а зато у вас людей продают, покупают и спаривают, да ещё и секут.

И в собственном мировоззрении остаётся какой-то, что ли, пробел; какой-то, что ли, зазор: с одной стороны, очевидно, что твой общественный строй — самый передовой и воплощает на земле победу добра и света. С другой стороны, столь же несомненно, что его краеугольным институтом является — как бы это сказать? — ну в общем, то, про что мы же сами подчас, подшофе, желая показать, что мы не болваны, говорим: *это зло*.

Какой-нибудь инакомыслящий из молодых да ранних сдуру подхватит и, как ненормальный, выведет выводы — как давеча Киреевский Иван, — а крыть-то нечем — так, без возражений, его и заложись, и как-то кисло становится внутри, какая-то подступает умственная отрыжка. Главное — был бы он безродный космополит, преклонялся бы перед Западом, — так ведь нет: поначалу даже похоже, что Уваров с него и списывал, только бездарно.

«Каково бы ни было действительное достоинство различных европейских законодательств, — как все социальные формы, они представляют необходимые следствия целого ряда предыдущих условий, которым мы остались чужды, и поэтому они не могут подходить нам никоим образом. (*Не важно, что слишком умно, — главное: в целом верно.*) Больше того: будучи много позади Европы

в нашей цивилизации (*вот идеологическая ошибка! но пока что всего одна; мог рассчитывать на твёрдую четвёрку*) и имея ещё в наших собственных учреждениях множество того, что, очевидно, окончательно несовместимо с подражанием европейским учреждениям, мы должны думать лишь о том, чтобы извлечь из самих себя те блага, которыми мы призваны пользоваться со временем. (*Именно, именно: из самих себя и, главное, не торопясь!*) Прежде всего мы должны позаботиться о распространении серьёзного и здорового (*forte*) классического образования. Оно будет заимствовано не с вершук современной европейской цивилизации, но из эпохи предшествующей, произведшей всё то, что есть действительно доброго в современной цивилизации. Вот первое, чего я желаю для моей родины».

В светлое будущее через Древнюю Грецию? Да ради бога. Хоть через Египет фараонов. Лишь бы не спеша.

Такой безобидный, благонамеренный прожектёр. И вдруг — словно с цепи сорвался:

«Затем я желаю освобождения крестьян, так как считаю, что это необходимое условие всякого последующего развития для нас, и особенно — развития нравственного. Считаю, что в настоящее время всякие изменения в законах, какие бы правительство ни предпринимало, останутся бесплодными до тех пор, пока мы будем находиться под влиянием впечатлений, оставляемых в наших умах зрелищем рабства, нас с детства окружающего; лишь его постепенное уничтожение может сделать нас способными воспользоваться другими преобразованиями, которые наши государи в своей мудрости найдут удобными сделать. Полагаю, что исполнение законов, как бы мудры они ни были, не может никогда быть соответственным намерению законодателя, если оно будет поручено людям, с молоком кормилицы впитавшим всевозможные мысли неравенства, если все ветви администрации будут вручены подданным, с колыбели своей освоенным со всякого рода несправедливостью».

Счастье его, что никто не успел заложить, а он сам сознался. И не сам, а Чаадаев от его имени. (Сам-то в депрессию впал.) И не во всеуслышание, а лично Бенкендорфу.

Который, кстати, тоже бывает странен: например, позволил себе заявить, будто крепостное право — это пороховой погреб под государством.

Пугает? А нам не страшно! Особенно теперь, когда интеллектуальный дискомфорт ликвидирован.

Благодаря Сергию Семёновичу, который немедленно займёт кресло товарища министра просвещения (с перспективой дальнейшего роста — раз доказал, что достоин), мы знаем теперь, что наша сила — в Nationalité. В том, что нация и престол едины.

Приезжай теперь к нам, французик из Бордо, маркизик де Кюстин, проливай свои крокодиловы слезы. Ужо Сергей Семёнович тебе разъяснит на пальцах, как дважды два:

— Существующий в России порядок — единственный, который ей подобает, и этот порядок дорог стране, твёрдо сознающей свою выгоду.

Потому что таков здешний закон взаимосохранения: император находит опору в национальном чувстве, а национальное чувство, в свой черёд, находит воплощение в императоре.

И это называется — народность.

Не понимает. Принанять, что ли, Бальзака, чтобы изложил всё это как бы от себя? Или написать самому, а у Бальзака купить только имя?

А впрочем, чёрт с ним. И когда ещё этот Кюстин придет. Прежде надо покончить с местной пятой колонной.

«Вы повелеваете мне, Государь, закрыть собою брешь. В этом слове нет никакого преувеличения, ибо никогда ещё консервативные идеи не подвергались столь жестокому нападению и не защищались так слабо. Ваше Величество можете быть уверены, что я буду стоять там до последнего».

В апреле 32 года он стал наконец товарищем министра просвещения. Первое, что поручил ему министр, — просмотреть книгу, присланную Бенкендорфом, — «Новый Живописец». Бенкендорф запрашивал: не согласится ли Минпрос представить эту книгу государю?

Это было собрание фельетонов Николая Полевого. С отзывом Уваров тянуть не стал. 6 мая написал Ливену:

«Во исполнение желания Вашей Светлости, в отношении вашем ко мне от 2-го сего мая изъясненного, рассматривал я книгу под заглавием: “Новый Живописец”, при сём к Вам обращаемую. Я нахожу, что она составлена преимущественно из статей, помещаемых в журнале *Московский Телеграф*. Я не знаю, будет ли сие перепечатанное издание иметь благотворное влияние на нравы общие, но полагаю, что оно никакой пользы ни языку, ни словесности принести не может. Вообще сию книгу нельзя почитать за сочинение новое, а более за спекуляцию книгопродавца; а так как, по моему мнению, представление книги Его Императорскому Величеству должно уважено быть наравне с высшей наградой для каждого писателя, а к сему должно служить поводом или важность предмета, или особенное достоинство сочинения, или имя сочинителя, то я, с моей стороны, думаю, что книга “Новый Живописец” не имеет никакого права на Высочайшее воззрение».

Бенкендорф обозлится? Так ему и надо. Попустительствует. А ведь его ещё два года назад предупреждали: *avis au lecteur!*

Ливен переслал Бенкендорфу эту рецензию, приписав: «Вследствие такого отзыва я не могу представить сию книгу Государю Императору, и потому препровождаю оную к вам, милостивый государь, обратно».

Трюк не удался. И стало окончательно ясно, что Полевому несдобровать. О «Телеграфе» уже говорили — кто с удовольствием, кто с грустью — как о мёртвом. Киреевский писал княгине Вяземской:

— Мне жаль даже и «Телеграфа», который тем только и был полезен, что говорил очертя голову.

А Полевой как будто не унывал. Напечатал, между прочим, то ли пародию, то ли эпиграмму «Поэт», которую СНОП сразу же позабыла навсегда.

С твоим божественным искусством,
Зачем, презренной славы льстец,
Зачем предательским ты чувством
Мрачишь лавровый свой венец? —
Так говорила чернь слепая,
Поэту дивному внимаая;

Он горделиво посмотрел
На вопль и клики черни дикой;

Согласен, так себе стишки; эта строчка и две следующие — просто дрянь; а концовка — ничего:

Не дорожа её уликой,
Как юный, бодрственный орёл,
Ударил в струны золотые,
С земли далёко улетел,
В передней у вельможи сел
И песни дивные, живые
В восторге радости запел.

В июле попытался проверить оборонительную комбинацию: записать младшего брата соредактором. На всякий случай.

Московский цензурный комитет сообщил главному управлению цензуры:

«Издатель *Московского Телеграфа*, купец Николай Алексеев Полевой, подал в комитет прошение, в коем прописывает, что, предполагая продолжать издание *Московского Телеграфа* и в будущем 1833 году, без всякой в плане оного перемены, имеет он, г. Полевой, желание с начала будущего 1833 года принять в участие по редакции брата своего родного Ксенофонта Алексея Полевого, московского 2-й гильдии купеческого брата, с полною во всех отношениях обязанностию наравне с ним, Николаем Полевым, так, чтобы в объявлениях публике и в заглавии *Телеграф* мог уже означаться: «издаваемый Николаем и Ксенофонтом Полевыми»; а в случае смерти его, Николая Полевого, переходил бы вполне в управление и собственность означенного брата Ксенофонта».

Но не тут-то было. Главное управление первым делом затребовало обстоятельную объективку: грамотен ли Ксенофонт политически, устойчив ли морально и проч. Помощник попечителя Московского учебного округа сообщил Главному управлению, что, по сведениям полиции, упомянутый Полевой ни в каких предосудительных для нравственности поступках не замечен, а замечен, наоборот, «в весьма хорошем поведении, кротости и трезвости».

Это хорошо, сказали в Управлении, но этого, знаете ли, недостаточно: «сверх удостоверений в отношении образа жизни и нравственной благонадёжности ищущих позволения

издавать журнал, потребны доказательства способности их издавать повременное сочинение».

Ну что ж. Выправили ещё одну бумагу. «Московский цензурный комитет имеет честь донести, что оный, по рассмотрении представленных г. цензором Цветаевым документов, свидетельствующих о занимательности многих статей, помещаемых Кс. Полевым в журнале *Телеграф*, издаваемым братом (так написано: братом — и всё; не написано — чьим.) Николаем Полевым, нашёл, что статьи сии доказывают способность его, Ксенофонта Полевого, к изданию повременного сочинения».

Справка ушла в Петербург, и дело заглохло.

А Уваров осенью прибыл в Москву — инспектировать университет. Посещал (в компании с Пушкиным) лекции, знакомился с профессорами и журналистами, на прощание выступил с программной речью. О задачах советской высшей школы.

— Отвлекать умы от таких путей, по коим шествовать им не следует. Усмирять бурные порывы к чужеземному, к неизвестному, к отвлечённому в туманной области политики и философии. Умножать, где только можно, число *умственных плотин*.

Только так можно сформировать нового человека — человека в футляре:

— Не подлежит сомнению, что таковое направление к трудам постоянным, основательным, безвредным служило бы некоторою опорой против влияния так называемых *европейских идей*, грозящих нам опасностью...

Тут он впервые трёхчленку и огласил. Произведя фурор. Сорвав овацию.

Хотя поняли, конечно, кое-как. Не во всю глубину. Не как путь к блаженству, озарённый образом действующего титана. А только в разрезе военно-патриотического воспитания с упором на местно-исторический колорит. Дескать, самодержавие с православием уже содержатся в атмосфере империи, как, допустим, кислород и азот, а народность надо нагнетать дополнительно. Производить в промышленных количествах из отечественного сырья и ежедневно распылять. Как средство от европейских идей.

Зато когда идиот заговорил о журналах — все поняли всё. И аплодисмент был вял.

— С давнего времени разделял я с многими благомыслящими неприятное впечатление, производимое дерзкими, хотя отдельными усилиями журналистов, особенно московских, выступать за пределы благопристойности, вкуса, языка и даже простирать свои покушения к важнейшим предметам государственного управления и к политическим понятиям, поколебавшим едва ли не все государства в Европе. При вступлении в должность думал я, что, укротив в журналистах порыв заниматься предметами, до государственного управления или вообще до правительства относящимися, можно было бы предоставить им полную свободу рассуждать о предметах литературных, невзирая на площадные их брани, на небрежный слог, на совершенный недостаток вкуса и пристойности; но, вникнув ближе в сей предмет, усмотрел я, что влияние журналов на публику, особенно университетскую молодежь, небезвредно и с литературной стороны. Разврат нравов приуготовляется развратом вкуса...

Студенты вообще не хлопали. Как и следовало ожидать. За что, собственно, Уваров и ненавидел Полевого. Его развязный тенорок. Который растлевают, растлевают, растлевают невинный ум России. Рассказывает ей разные гадости из жизни падших взрослых. О чём они пустословят в своих лжепарламентах. Чего добились в своих лженауках. Про что сочиняют лжероманы.

Он даже осмеливается их пересказывать! Такие грязные произведения, как «Notre Dame de Paris»!

Уварову приказал запретить эту книгу, как только дочитал. Она понравилась ему необычайно.

Россия вырастет и когда-нибудь скажет ему спасибо за своё счастливое детство. Ни за что на свете он не хотел бы дожить до этого дня. Станет такой же, как все. И, скорей всего, пойдёт по известной дорожке. За каким-нибудь наглым шутком вроде этого. Но, по крайней мере, уж этому-то мы рот заткнем.

— Мы, то есть люди девятнадцатого века, в затруднительном положении: мы живем среди бурь и волнений по-

литических. Но Россия ещё юна, девственна и не должна вкусить, по крайней мере теперь ещё, сих кровавых тревог. Надобно продлить её юность и тем временем воспитать её. Вот моя политическая система. Я знаю, что хотят наши либералы, наши журналисты и их клеветы: Греч, Полевой, Сенковский и проч. Но им не удастся бросить своих семян на ниву, на которой я сею и которой я состою стражем, — нет, не удастся. Моё дело не только блюсти за просвещением, но и блюсти за духом поколения. Если мне удастся отодвинуть Россию на пятьдесят лет от того, что готовят ей теории, то я исполню мой долг и умру спокойно. Вот моя теория; я надеюсь, что это исполню. Я имею на то добрую волю и политические средства. Я знаю, что против меня кричат: я не слушаю этих криков. Пусть называют меня обскурантом: государственный человек должен стоять выше толпы.

Так говорил идиот.

§ 11. ЕЩЁ НЕЧТО О ЗАСТОЕ. О «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ». О КРОКУСАХ

Ему вконец обрыдла его побочная, т. н. научная карьера (удобная и внешне блестящая, но возможностей причинять живым людям настоящее зло — фактически никаких), и нестерпимо захотелось осуществить своё подлинное призвание — спасти Россию.

Он победил в закрытом правительственном конкурсе на самую изящную национальную идею (рабство есть осознанная необходимость), вдобавок зашифровав её наиболее благовидным девизом; хотя сам Уваров, не умея думать на русском языке и не любя на нём говорить, иной раз озадачивал своих клерков таинственным восточным словом *чучхэ* — вычитанным, должно быть, из какой-нибудь книги В. Гумбольдта.

Впрочем, глагол «думать» в данном случае слишком глгуч. Головной мозг Уварова представлял собою как бы мичуринскую делянку: никаких сеянцев, только саженцы; на коже идеи-подвоя делается Т-образный надрез, в него вставляется черенок идеи-привоя; туго обвязать — и рано или поздно околотись гибрид; это значительно надёжней, чем ждать милостей от природы. Оба раздела программы Застоя — внутри- и геополитический — опирались на последние достижения взвешенной отечественной мысли.

Первый — на тезис А. Х. Бенкендорфа: дабы избежать великих, как во Франции, потрясений, следите за IQ: в среднем по стране он должен быть всегда ниже, чем у самого бездарного руководства. Дословно:

«С самой смерти Людовика XIV французская нация, более испорченная, чем образованная, опередила своих королей

в намерениях и потребности улучшений и перемен; не слабые Бурбоны шли во главе народа, а он сам влачил их за собой; Россию наиболее ограждает от бедствий революции то обстоятельство, что у нас со времён Петра Великого всегда впереди нации стояли её монархи; но по этому самому (а? каковы цинизм и дерзость: располагая лишь теми способностями, какие есть, — и это в аналитической записке на имя нац. лидера!) не должно слишком торопиться с просвещением, чтобы народ не стал по кругу своих понятий в уровень с монархами и не посягнул бы тогда на ослабление их власти».

Отсюда теория и практика сдерживающего образования. Худшее, что можно сказать про любого нежелательного: хочет быть (или: думает, что он) умнее всех. Это — волчий билет. (А комсомольский — на стол! И совету пионерского отряда поставить на вид: просмотрели, упустили товарища.)

Соответственно, геополитическую концепцию (решающий этап, железный занавес, всемирно-историческая роль, светлое будущее на руинах побеждённого Запада) Уваров, по-видимому, извлёк из коллективного бессознательного образованщины; или просто украл из статьи Николая Надеждина в журнале «Телескоп» (1832, № 1):

«Род человеческий, уже дважды живший и отживший полную жизнь мужества, по всем приметам вступает ныне в третий период существования. И никак невозможно подавить в себе тайной приятной уверенности, что святая мать Русь, дочь и представительница великого славянского племени, назначается манием неисповедимого Промысла разыгрывать первую роль в новом действии великой драмы судеб человеческих; и что, может быть, она будет для времён грядущих тем же, чем некогда были пелазги для классического мира и тевтоны для мира романтического... Если Россия обратится к сокровищам обоих миров, кои суждено пережить ей, и, набогатившись их неистощимым богатством, воспрянет к живой и бодрой самодеятельности: тогда на что дерзнуть, чего достигнуть не возможет?»

(Скучно? А я предупреждал: это трактат. То есть действуют не фигуры, а тексты.)

Положим, сам Уваров ни во что такое — ни в какое светлое будущее — не верил. Как и Надеждин, полагаю. Как вообще никто. (Кроме миллионов русских крепостных. Которые, уяснив новую генеральную линию — и что она — навсегда, пошли на крайние — противозачаточные — меры.)

Уваровым владело — о горечь! о кислота! — роковое предчувствие, что всё бесполезно: когда-нибудь и Россия неизбежно превратится в цивилизованную европейскую страну — даже нельзя исключить, что в демократию.

Но так же непреложно он знал — о кислота! о горечь! — что избран Провидением, чтобы исполнить неисполнимое: погасить скорость. Как тот голландский мальчик с пальчиком против цунами — заткнуть отверстие в дамбе. Утешаясь этой параллелью. Не трепеща. И — патронов не жалеть; в смысле — виновных не щадить.

Так вот. Получив соответствующий административный ресурс, Уваров сразу же, первым делом и всею мощью обрушил его на Николая Полевого. Поскольку, вслед за Пушкиным, считал его участником самой опасной экстремистской группировки. Точнее — главарём.

Запись А. В. Никитенко:

«— Это проводник революции, — говорил Уваров, — он уже несколько лет систематически распространяет разрушительные правила. Он не любит России. Я давно уже наблюдаю за ним; но мне не хотелось вдруг принять решительных мер. Я лично советовал ему в Москве укротиться и доказывал ему, что наши аристократы не так глупы, как он думает. После был сделан ему официальный выговор: это не помогло. Я сначала думал предать его суду: это погубило бы его. Надо было отнять у него право говорить с публикою — это правительство всегда властно сделать, и притом на основаниях вполне юридических, ибо в правах русского гражданина нет права обращаться письменно к публике. Это привилегия, которую правительство может дать и отнять когда хочет. Впрочем, — продолжал он, — известно, что у нас есть партия, жаждущая революции. Декабристы не истреблены: Полевой хотел быть органом их. Но да зна-

ют они, что найдут всегда против себя твёрдые меры в кабинете государя и его министров. С Гречем или Сенковским я поступил бы иначе; они трусы; им стоит погрозить гауптвахтою, и они смирятся. Но Полевой — я знаю его: это фанатик. Он готов претерпеть всё за идею. Для него нужны решительные меры». И проч.

Не мешает заметить, что всё это — полная чушь. По ироническому капризу Автора истории литературы, как раз Николай Полевой буквально олицетворял официальный, Уваровым же сконструированный идеал (ПСН) — как человек из народа и патриот и верующий даже до слёз.

Ну вот разве что насчёт самодержавия он, похоже, позволял себе и после 1830 года думать (и то не вслух) то же самое, что дозволялось думать сколько-то лет до: что если бы монархия дала себя слегка ограничить разумной конституцией (которая, кстати уж, освободила бы крестьян), то, пожалуй, это пошло бы стране на пользу. Плюс из прав человека легализовать два-три, в том числе — обращаться письменно к публике, why not?

Фанатиком революции Полевой казался Уварову исключительно оттого, что Уваров был идиот. Видел вещи превратно. Хотя по жизни и педераст, как государственный России он чувствовал себя скорее педофилом, превыше всего дорожа её невинностью. Программа Застоя, сочинённая (ну скомпилированная, всё равно) им, была сказка о спящей нимфетке. Николай Полевой был для Уварова персонаж воображения, столь же отвратительный, как для Гумберта Гумберта — Чарли Хольмс, если помните такого.

В ЦК КПСС, я уже говорил, разобрались моментально — и вычеркнули Николая Полевого из пламенных революционеров раз и навсегда. Переместили (по совету т. СНОП) в список литераторов второго ряда, про которых — нецелесообразно.

Однако это не помешало Уварову упорно и без усталости добиваться постановления о журнале «Телеграф».

Став и. о. министра в марте 1833-го (а в апреле назначив заведовать столичным губнаробразом и Горлитом известного нам дундука), он уже в майском номере «Московского телеграфа» обнаружил подходящий материал. Антисоветскую

публикацию. За которую, действительно, при Сталине автор (кажется, не Николай Полевой, а в данном случае Ксенофонт) отправился бы в такие места, где ворон не собрал бы его костей. Да и при Хрущёве, Брежнев и др. — с ним тоже не случилось бы ничего особенно хорошего.

Это была статья про книгу Вальтера Скотта «Жизнь Наполеона Бонапарте». Книгу автор статьи хвалил, однако же упрекал англичанина за недооценку России:

«...Не сказал почти ничего о состоянии духа народного в России 1812 года. А какой важный предмет для рассмотрения представлялся ему!»

Зачин прекрасный! Проблематика, можно сказать, «Войны и мира». Отчего же дундуку сразу послышался в этом восклицании какой-то дьявольский смешок?

«Он увидел бы необычайное явление совершенного спокойствия, уверенности, можно сказать, неподвижности нашей при великих событиях».

Вроде всё правильно. Цензору только следовало вымарать неподвижность.

«Никогда и ни в каком государстве, при чужеземном нашествии, народ не оказывал такой доверенности к властям».

Это — да. Тут всё нормально.

«Французы были уже в сердце России, а мы даже не знали, что делается в наших армиях».

Ведь был же — для таких именно случаев — специальный секретный циркуляр: это же типичная неконтролируемая аллюзия. На 1941-й. Кто цензировал? Двигубский?

«Французы были уже в Москве, а мы и не беспокоились об этом».

Если понимать по-прежнему в том смысле, что народ безоговорочно доверял политическому руководству, — возражений нет; а всё же фраза излишне хлёткая.

«Конечно, расстройство вещественное было велико; многие дела и сношения прекратились, но никто не почитал потери столицы губительною для государства; все, напротив, были в какой-то уверенности, что нашествие Наполеона есть мимоидущая буря, после которой всё примет прежний вид».

Вот что хорошо, то хорошо. И Льву Толстому пригодится.

«Говорят об ожесточении крестьян, о народной войне, но — — —»

Что такое? что ещё за но? какое тут может быть но?

«— — — но ничего этого не было».

Снять Двигубского, немедленно, телефонограммой, уволить. Без пенсионера.

«Может быть, на всём пространстве пути французов, и с окрестностями Москвы, где прожили они довольно долго, несколько *десяток*, и едва ли *сотен* мужиков оказали сопротивление фуражерам и мародёрам, но разве это значит народная война?»

Вот на что замахнулся. Ну берегись.

«Русские дворяне и купцы сделали великие жертвоприношения; но не прежде, как при воззвании своего монарха. Из Москвы бежали, в Петербурге готовились к бегству, но сопротивления народного не было нигде. Как же было не заметить такого необычайного явления...»

Довольно. В следующем предложении автор осмелится похвалить императора Александра за то, что не уступил Наполеону: а, дескать, прикажи он капитуляцию — никто бы не пикнул.

И с невинной улыбкой безродного космополита обронит про сожжение Москвы:

«Как русский, любящий славу своего отечества, я готов согласиться, что подвиг был изумителен своим величием, но, признаюсь, не вижу никакой определённой цели для него».

Началось по Толстому, а кончилось, стало быть, Щедриным. И это сойдёт «Телеграфу» с рук? Ну уж нет. Министра просвещения теперь зовут Уваров, невзирая, что покамест и. о.

Летом государю не до литературы: войсковые маневры. Но не за горами сентябрь.

«В бытность мою в прошедшем году в Москве, как известно Вашему Императорскому Величеству, я обращал особенное внимание на издаваемые там журналы, в коих появлялись иногда статьи, не только чуждые вкуса и благопристойности, но и касавшиеся до предметов политических с суждениями и превратными, и вредными. Поставив

московскому цензурному комитету пространно на вид обязанности его, я делал самые подробные внушения и самим издателям журналов и получил от них торжественное обещание исправить ложную и дерзкую наклонность их по-временных изданий. Сие, по-видимому, имело некоторый успех, ибо с того времени тон сих журналов смягчился и доселе не замечалось вообще в них ничего явно предосудительного, как вдруг с удивлением я прочел в недавно вышедшей 9-й книжке *“Московского Телеграфа”* статью, под заглавием: *“Взгляд на историю Наполеона”*, в коей о происшествии столь важном и столь к нам близком заключаются самые неосновательные и для чести Русских и нашего Правительства оскорбительные толки и злонамеренные иронические намёки, как Ваше Императорское Величество изволите усмотреть из представляемой здесь в подлиннике статьи с моими отметками.

Цензор сей книжки, действительный статский советник Двигубский, за неосмотрительность свою, долженствовал бы подвергнуться отрешению, если б не был уже вовсе уволен от службы.

Что касается до издателя *“Телеграфа”*, то я осмеливаюсь думать, что Полевой утратил, наконец, всякое право на дальнейшее доверие и снисхождение Правительства, не сдержав данного слова и не повиновавшись неоднократно наставлению Министерства, и, следовательно, что, по всей справедливости, журнал *“Телеграф”* подлежит запрещению.

Представляя Вашему Императорскому Величеству о мере, которую я в нынешнем положении умов осмеливаюсь считать необходимой для некоторого обуздания так называемого духа времени, имею счастье всеподданнейше испрашивать Высочайшего Вашего разрешения».

Попадался ли вам когда-нибудь доклад более убедительный? Халтурщик Жданов — как говорится, отдыхает. «Европейца» в прошлом году прихлопнули, слава богу, в мгновение ока за один — весьма сомнительно, что сомнительный — абзац с приложенным к нему явно поддельным ключом. А у нас тут — во-первых, состав налицо: ревизия истории, злостная попытка принизить подвиг народа в Оте-

чественной войне (а из подтекста торчат уши категорически чуждой идеи: неверия в патриотизм рабов — то есть именно в самое Nationalité), — это вам, знаете ли, не скетч про обезьянку; а во-вторых, как уместно подпущено состояние умов; а *некоторое обуздание т. н. духа времени* — просто римский стиль, один к одному: прагматично и величаво.

Николаю Павловичу оставалось, скользнув по бумаге взглядом, только кивнуть.

Вместо этого он оставил её и журнал у себя и вернул через несколько дней с резолюцией:

Я нахожу статью сию более глупую своими противоречиями, чем неблагонамеренною. Виновен цензор, что пропустил, автор же — в том, что писал без настоящего смысла, вероятно, себя не разумея. Потому бывшему цензору строжайше заметить, а Полевому объявить, чтоб вздору не писал: иначе запретится его журнал.

Николай был мужчина бесконечно притягательный, такой статный, голова Юпитера Капитолийского (в гневе — Юпитера Громовержца), с дундуком не сравнить. Культ его личности смягчал точившую мозг Уварова *mania di grandezza*. В лучшие минуты постоянно воображаемого диалога — вы честь и совесть нашего века, Sire, говорил идиот. А ты его ум, возражал император.

Нет, негодовать на него Уваров не мог — только скорбеть. И слёг с приступом обиды и подагры.

Обида была так сильна, что он думал о государе в третьем лице. Ах, как он мякотел под своими рыцарскими латами, думал Уваров, — alas! доиграется, что какой-нибудь Тютчев снабдит его в дорогу на тот свет эпитафией: ты был не царь, а лицедей!

Ясно же, что не обошлось без Бенкендорфа (*графа* Бенкендорфа — он же у нас теперь граф!), без его фальшивой песенки про имидж империи. Как это важно, чтобы за граница знала, до чего высока у нас социальная мобильность: каждому зипуну в смазных сапогах открыты все пути; простой *le moujik*, фабрикант *de tord-boyaux* — сивухи, короче, *eau-de-vie très forte*, — может сделаться (если министр просвещения — чокнутый славянофил) членкором Российской академии, аннинским кавалером, владельцем самого

влиятельного, будь он проклят, печатного органа, да ещё и популярным беллетристом.

Ах, ну конечно: в этой же книжке журнала Полевой начал свою какую-то повесть — и государь увлёкся сюжетом! Ниций, гениальный петербургский живописец влюблен в мешаночку — она выходит за другого — его сердце разбито — продолжение впредь*.

Ну раз так — дочитывайте, *Votre Majesté*. А негодяй пускай погуляет до следующего раза. В следующий раз не уйдёт. Потому что мы подготовимся. Мы хорошо подготовимся, всесторонне.

Кто, однако же, эти вы, *M-r d'Ouvaroff*? Всё тонет в розеяхстве. Кроме верного дундука, на кого опереться? Московская цензура непростительно слаба.

И если бы только цензура. Там весь актив нуждается в основательной чистке. Даже органы поражены.

Первопрестольная! Фактически — столица оппозиции. Расхаживают уцелевшие (пощажённые неизвестно зачем) декабристы, важно волоча подрезанные крылья. Чаадаев неподвижно возвышается; щёлкает клювом, поджав коленку. Любомудры в искусственной листве щебечут. Нынешний год вылупились из привозных яиц сен-симонисты. (Птенцов назвали: Огарёв и Герцен.) Ещё бы — в такой благоустроенной вольере, да при таком уходе. Плюс видимо-невидимо либеральных кур.

Генерал-губернатор Голицын — покровитель. Обер-полицмейстер Цынский — попуститель. Жандармский генерал Волков (вот только что, в июле, помер белой горячкой — Полевой разразился некрологом — а для Бенкендорфа-то какая потеря!) — лично визировал телеграфские статьи.

Которые целый город с жадностью читает. И, кстати, провинция. 1500 экз. Единственный такой тираж в стране. («Ленинград», между прочим, был самый заурядный плохой журнал; советский без физиономии; плюнули, растёрли — никто не вздохнул; а «Телеграф» — уж если сравнивать, то с твардовским «Новым миром»: источает дух отравы, приманчивый для мошкары.)

С этой точки даже не выглядит ошибкой, что пришлось разрешить двум скользким типам — Сенковскому и Гречу —

«Библиотеку для чтения». Проект аппетитный: переводного и самодельного худлита — под завязку, плюс дайджест иностранной научно-технической литературы, плюс фельетоны и рецензии. То есть опять же «Телеграф», но а) петербургский! б) без Полевого, в) Полевому в убыток и поперёк.

Подорвать материальную базу идеологического противника рыночным приёмом.

А не скользок — кто? Возлагали на Пушкина — и сам же он вызвался — сплотить патриотическую общественность, — и где же его замечательная газета? Как только разрешили — стал искать, кому перепоручить, — и нашёл: какого-то проходимца — Отрепкова? Отрыжкова? по имени — Наркиз. Написал доверенность (Третье отделение пошло навстречу: Наркиз оказался их человек) — ну, с богом! собирайте же манускрипты лучших писателей, ваших знаменитых друзей! чтобы лубочно-сервильная «Северная Пчела» уползла, полураздавленная, куда-нибудь в Гостинный или в Апраксин, где ей и место: а не компрометируй правительство слюнявыми поцелуями в плечико; порядочной публике потребна пропаганда иного, высшего тона...

Однако тут выяснилось — кто бы мог вообразить? — что проправительственный орган — он по определению не совсем правительственный, то есть типографщику надо платить из своих (а вернутся они — если вернутся — не завтра), то есть в данном конкретном — ищите спонсора; ближе Москвы не нашлось — но не нашлось и в Москве, — и кого это мы видим на солнечной стороне Невского в июньский полдень? кто этот, рядом с Пушкиным, длинный, щуплый очкарик?

Представьте: не кто иной, как Греч, скользкий тип, издатель и редактор «Сына Отечества» и «Северной Пчелы» (и автор грамматических руководств, и повестей, и проч., и проч.).

А о чём это они на ходу так оживлённо беседуют? А о том, не поверите, что Пушкин желал бы пригласить Греча в соиздатели своей газеты и/или сам стать соредактором его журнала: реформировать его на манер английского какого-нибудь Review — а не, боже упаси, французского Revue.

Скользкий тип соглашался в принципе — его смущала (своей неопределённостью) денежная сторона — переговоры продолжались — Греч писал Булгарину в Эстонию:

«С Пушкиным сходимся довольно дружно, и я надеюсь, что сойдёмся в деле. Но ради Бога не думай, чтобы я тобою пожертвовал. Улажу всё к общему удовольствию».

«Сын Отечества» чахнул, «Пчела» сохла, конкурировать с «Телеграфом» становилось почти не под силу. Заключить союз с Пушкиным («и его партией»), постепенно прибрать к рукам, — а, глядишь, через год, как только Пушкину наскучит (какой из него журналист?) править рукописи, читать вёрстку — вся эта рутинка, — объединим редакции, создадим общую газету; назвать, к примеру: Литературная (реанимировать дельвиго-сомовский бренд). На первой полосе — рисованные силуэты Пушкина и Горького, и — жирным шрифтом: Главный редактор Ф. В. Булгарин. Вся застойная образованщина будет наша! «Телеграф» же шлёпнется в грязь!

План лопнул, сделка не состоялась: Пушкину нечем было оплатить свой пай. И вообще он остыл. (Греч сообщал Булгарину: «образумился».) Раздумал издавать газету. А — поработать для «Пчелы» постоянным автором или собкором, ставка персональная: 1000 или даже 1200? Ответ: нет. Это, положим, мудро. Но качественной и притом благонадёжной русской периодики — как не было, так и нет.

А «Телеграф» — в две недели раз. И как ловко придумано: каждые четыре номера составляют часть, пагинация части — сквозная; переплести в коленкор и поставить в шкаф — плотный томик, и томиков этих уже более полуста. Совокупный вред от одной такой семейной библиотеки составит в тротиловом эквиваленте — — —

Подсчитать. Просмотреть от корки до корки весь «Телеграф». И всю «Историю русского народа». И «Клятву при Гробе Господнем». После чего представить государю идейный облик господина Полевого во всём блеске. Комплексная экспертиза — инновационная технология — в своё время с большим успехом применена против Даниэля и Синявского.

Но. Огромный объём работы. Нагрузить кого-нибудь из цензоров? Провозится год, а в первый же день проболтается.

Референты Минпроса тоже отпадают: утечка неминуема. А как только Бенкендорф узнает — вся затея пойдет прахом.

Парадоксальная задача: нужен совершенно посторонний человек — но совершенно свой.

Как известно, независимый эксперт нашёлся. Как известно, уже через полгода Пушкин напишет:

«“Телеграф” запрещён. Уваров представил государю выписки, ведённые несколько месяцев и обнаруживающие неблагоприятное направление, данное Полевым его журналу. (Выписки ведены Брюновым по совету Блудова.)»

Ну Брюнов и Брюнов. Не всё ли равно, какая фамилия.

Одну минуту. Во-первых, не Брюнов, а Брунов. Барон фон.

Во-вторых, «Вагон von Brunov» — это вообще-то крокус. Такой сорт. Весенний. Голландский. Крупноцветный.

Цветки чашевидные, диаметром 4–5 см, с округлыми долями. Окраска их тёмно-сиреневая, внутри с заметными белыми штрихами. Снаружи в основании долей довольно большое, чёткое, тёмно-фиолетовое пятно. Трубка тёмно-фиолетовая, длиной 4–5 см. Пестик немного выше тычинок. Пыльники светло-жёлтые. Рыльца пестика крупные, рассечённые, оранжевые.

В-третьих, ни по совету Блудова, ни по предложению Уварова несколько месяцев подряд заниматься в рабочее (не в свободное же) время чтением русской словесности он бы не стал. Поскольку служил в МИДе, уж не знаю кем (впоследствии — посол в Лондоне), и лишь одна из его должностных обязанностей была — представлять своё ведомство на заседаниях Главлита. Но на общественных началах — не долгими ли зимними вечерами? — тратить свечи и глаза на «Историю русского народа» — извините.

Получается так: министр внутренних дел посоветовал министру просвещения попросить министра иностранных дел приказать — — —

Получается — чтобы покончить с «Телеграфом», составили кабаль сразу три министра.

Этот Брунов, Филипп Иванович, имел, говорят, слабость: любил пластронировать перед дамами. Понятия не имею, что это значит (навряд ли что-то несмешное), но

есть сведения, что в описываемое время особенно часто и охотно он пластрировал перед М-те Нессельроде, супругой своего непосредственного*.

Вот он, значит, перед графиней в будуаре пластрирует, а тут лакей скребётся: его сиятельство просит господина барона пожаловать в кабинет.

Короче говоря, Брунов губил Николая Полевого по заданию партии.

Полученному за почерк. Толстую тетрадь, заполненную им, не стыдно было подать государю в любой момент. Не прибегая к услугам переписчика. (Выигрыш времени. Опять же — секретность.)

Удивительно чёткий почерк был у этого крокуса. А притом своеобразный. Тщательно выработанный. Незабываемо узнаваемый.

Через сто лет один человек взглянул и сразу сказал — а ещё через шестьдесят другой тоже взглянул и с ним согласился, — что этим же почерком, или чрезвычайно похожим, исполнен некий диплом историографа ордена роносоцев.

(В эту минуту вся интрига осветилась изнутри, словно внезапно запылал в догоревшем камине бумажный театр: Нессельродиха ненавидела — за какие-то эпиграммы — Пушкина; и это с нею, в её карете ездила Н. Н. — пока у Пушкина вторая болдинская осень — в Аничков; и Дантесу графиня покровительствовала; к Уварову благоволила ещё с тех лет, когда он при папеньке её — министре финансов — состоял Молчалиным; Пушкин напечатал «На выздоровление Лукулла», — а у них имелся испытанный шутник с нарядным почерком... Пушкин догадывался — про Нессельроде. Впоследствии Александр II говорил: да, это она. Старуха СНОП, сжимая вставные челюсти, невозмутимо смотрит вдаль.)

Но это к слову. А теперь — не забыть законопатить последнюю лазейку. Чтобы не вышло, как с «Новым миром», — редактор рухнет, журнал останется, — не будет этого! Зря, что ли, пробиваются тут и там ростки капитализма. Повалив, ударить, и крепко ударить, пошляка и подонка — рублём.

«Рассматривав за сим отложенные до сего времени прошения разных лиц относительно издания журналов, главное управление цензуры признало невозможным согласиться на принятие издателем *Московского Телеграфа* Николаем Полевым в участие по изданию сего журнала брата своего (*опять двойка, Уваров, по русскому устному! а труссекретарь ловит на лету, как божью росу*) Ксенофонта Полевого, потому что первоначально дозволение на сие повременное сочинение дано было одному Николаю Полевому, на коем одном должна и впредь оставаться ответственность за редакцию сего журнала».

Цель ясна, задача определена, — за работу, барон!

§ 12. НЕЧТО О ПРЕКРАСНОМ

Этот случай с Николаем Полевым бессмысленно похож на рекламу шотландского виски в переводе Маршака: трёх королей разгневал он, и было решено.

Сразу троих королей разгневал.

Ну карточных.

Ну графов.

Графа Римской империи Карла-Роберта Васильевича Несельроде, 53 лет.

Будущего графа империи Российской Дмитрия Николаевича Блудова, 45 лет.

Будущего же, и тоже РИ, графа Сергея Семёновича Уварова, 44 лет.

И вот, значит, в один прекрасный вечер, призвав к себе потомка курляндских рыцарей барона Брунова Филиппа Ивановича, 36 лет, —

Велели выкопать сохой

Могилу короли (*ну графы*),

Чтоб славный Джон, боец лихой,

Не вышел из земли.

Три члена ЦК (плюс один кандидат) — сговорились порушить бизнес Николая Алексеевича Полевого, 37 лет, а его самого посадить.

За тексты. Причем — дозволенные цензурой. Наплевав на т. н. закон. Хуже того: назло руководителю политической полиции. Ещё хуже: навязав свою коллективную волю нац. лидеру. Открыв ему глаза — обеда вокруг пальца.

Ребята шли на определённый риск. Интересно присмотреться к их мотивам.

Нессельроде, кроме подписываемых им циркуляров по МИДУ, ни строчки русской не читал, о Полевом, небось, впервые услышал от Уварова, что завёлся инакомыслящий, надо прихлопнуть, — жалко, что ли, выделить исполнителя.

На первый взгляд, не при делах и Блудов: проконсультировал коллегу (превозмогая свою оголтелую гомофобию) — а не испробовать ли вам методику обзорного доноса? говорят, помогает.

Однако эту методику он разработал лично — в бытность делопроизводителем верховной следственной комиссии, составителем итогового доклада о тайных политических обществах. Отточил её как раз на «Телеграфе», на первых томах, — в ходе операции по перевоспитанию Вяземского. Полевым тогда пренебрегли, и вот к чему это привело: в его журнале постоянно печатается неисправимый Бестужев. Как ни в чём не бывало, только без подписи или под маской: *Марлинский*.

Болезненный антидекабризм — само собой (не здороваться с Блудовым осмеливался только Александр Тургенев, один из всех, но у всех на глазах, и все знали — почему). Вероятно, и врождённая склонность потворствовать злой воле — не своей, так чужой: недаром же фамилия, говорят, происходит от погоняла, полученного (аж в 980-м) за особо коварное предательство. (Был у князя Ярополка воевода Иона Ивещей; изменил, подвёл князя под копыта убийц — стал Иона Ивещей Блуд.)

Ну а злая воля с оптическим прицелом — это, разумеется, Уваров. Чьё серое вещество находилось в таком состоянии, что он утверждал не шутя: напиши Полевой хоть «отче наш» — все равно выйдет возмутительный текст.

Иначе говоря, в этом заговоре троих тупых — бездарный и бессовестный были всего лишь пособниками безумного.

Снабдив его копировальным автоматом «Барон Брунов» со встроенной самопальной программой распознавания крамолы.

Уваров включил его в октябре 33 года и на время успокоился. Крепкий сон, регулярный стул, хорошее настроение. В идеальной тишине, наступавшей в канцеляриях

Минпроса в 9 и в 15, когда он проходил по коридору, было явственно слышно, как он шипит сквозь зубы — типа на-свистывает — водевильный куплет.

Неспособный к адекватной оценке людей и мыслей, он действительно воображал, что неизбежная победа — дело времени и техники.

А вот фигурки.

«Московский телеграф» был хоть и очень хороший журнал (я даже думаю, что лучший в стране за всё истекшее время), — но нисколько не диссидентский. А то его не любили бы так. Читая его, можно было чувствовать себя порядочным человеком, оставаясь верноподданным. Это, согласитесь, приятно. Истинным Русским (с прописной буквы) Деявнадцатого (с прописной) столетия — т. е. Просвещённым Европейцем (оба слова — с прописной). Современником своих современников.

Никакой оппозиции, не говоря — фракционной борьбы.

Патриотизм с человеческим лицом. Легчайшее такое, похожее на слабый вздох, порывание к александровским нормам политической жизни. Но главное — непроходящее тихое веселье от новых и новых фактов, подтверждающих, что мир буквально летит вперед, к лучшему. И, вместе с тем, расширяющих ум.

«Науку и жизнь» смешать (3:1) с «Иностранной литературой», добавить немножко «Знания — силы» и «Вокруг света», разбавить ну хоть «Звездой».

Непрененно модную картинку: вот какие ленты замечены в прошедшем месяце на шляпках парижских дам, — и так далее, от гребёнок до ног. Не оставить без доброго совета и жантильомов: тросточки, там, перчатки, покрой брюк.

И, наконец, сеанс мышления — ведь есть и в России один такой предмет, о котором всякому разрешается мыслить свободно, — итак, пожалуйста сюда, г. литературный критик. Насмешливый, как Писарев, краткий, как Гедройц, а притом с идеалами, как *Издатель Телеграфа*.

С идеалами романтизма: в истории — Провидение, в творчестве — вдохновение, в любви — избирательное сродство душ. А также прогресс, просвещение, добродетель. Справедливость. И всё такое.

Теперь поместите всё это в цензуру, хотя бы и царскую. Поверните рукоятку раз-другой. Выньте. Положите на стол. И прочитайте подряд.

Как я. Как барон Брунов. Ломая голову: что, чёрт возьми, предъявить?

Ни призывов к свержению строя. Ни порочащих измышлений.

Положим, я-то, как литератор с опытом советским, без труда нашел сомнительные, даже опасные места. Непочтительные замечания не только о Карамзине или Вяземском, — это бы ладно, — но и о Пушкине! о Гоголе! Иронические игры с термином «квасной патриотизм». И целые страницы, выдающие автора с головой — как объективного идеалиста и даже практикующего христианина!

Но идти с таким компроматом к Николаю Первому было бы несерьёзно.

Брунов растерялся. Он вписывал в свой кондуит — в тетрадь большого формата с зелёной клеёнчатой обложкой — каждую фразу, в которой мелькнули: *Франция, Польша, Малороссия* (сепаратизм!) — *действие, деятельность, будущее, минувшее, двигатель, усилие, толчок, прыжок* (теория революции!); докопался и до христианства (душок экуменизма! см. подчёркнутые бароном подозрительные слова):

«Он (человек) возвысился к Богочеловеку, откровению неба, Богу духу, *не различающему* между сынами своими *никого* и всем отвергающему *равное счастье* в обществе, равную веру в религии, *равное лоно* отеческой любви за *гробом*».

Век спустя одного этого абзаца было бы достаточно, чтобы вывести автора в расход.

Но наступил всего лишь 1834-й, — и где-то в феврале Брунов завис. Уваров пытался его перезагрузить — тщетно!

Как знать? Глядишь, «Телеграф» и просуществовал бы благополучно до самой осени 1917-го.

Если бы некто Нестор Кукольник, чиновник Второго отделения, позавчерашний нежинский гимназист (однокорытник Гоголя — как же, как же, вместе редактировали рукописную «Звезду», играли в самодеятельных спектаклях: Гоголь — старух, а Кукольник — героев; директорский сынок,

добродушный отличник, по собственному мнению — гениальный поэт, по воспоминаниям других — алкаш, потом всё прошло, но — «Уймись, волнения страсти!») — так вот, если бы он не написал, не напечатал, не предложил Александринскому театру пятиактную драму в лоханкинских ямбах: «Рука Всевышнего Отечество спасла».

И если бы это произведение не восхитило императора.

У которого был строгий вкус. Прекрасное, он считал, должно быть величаво. Почему и Пушкину советовал переделать неприличные строчки: «Коснуться хочет одеяла» и «Порою с барином шалит». (Хотя вообще-то именно «Графа Нулина» ценил особенно высоко; возможно, за дату в конце: 14.12.1825 — алиби идеальное. Собственноручно, говорят, вымарал там *урьльник*, вписал *будильник*, — впрочем, СНОП эту легенду опровергает.) Терпеть не мог стихотворений про ножки, но на репетициях балетной труппы присутствовал с удовольствием, иногда и вмешиваясь.

Сам обожал танцевать и переодеваться (несколько раз в день, в мундиры разных полков), но призвание и, пожалуй, дарование имел другое: хореограф широкого профиля, постановщик массовых зрелищ — парадов, погребений, казней, балов. Проектировать фасоны, утверждать фасады, обдумывать фейерверки, заказывать музыку.

Как он волновался той ночью, на 13.07.1826, — чувствовал: что-то упускает. Пока не сообразил: едва приговоренных выведут, барабаны сразу же должны ударить мелкую дробь — как при наказании шпицрутенами; не умолкать до самого конца. Вызвал адъютанта, приказал послать в крепость фельдъегеря с предписанием, — только тогда отлегло. (Лев Толстой считал этот эпизодик ключом к его характеру.)

Драму Кукольника Николай Павлович полюбил, как свою. За народность, а также за художественную смелость. Пожертвовав единством времени, автор выявил единство национальной идеи.

Акт Четвёртый приурочен к 22 октября 1612 года: ополчение Пожарского (и, само собой, Минина) выбивает поляков из Китай-города (по Кукольнику — из Кремля). Теперь это, стало быть, 4 ноября.

В Акте Пятом — 21 февраля 1613-го (5 марта н. с.) — Земский собор на закрытом заседании в Грановитой палате выбирает царя. Минин и, само собой, Пожарский собирают бюллетени и считают голоса. 100% получает кандидатура Михаила Романова. — О радуйтесь и плачьте от восторга! — восклицает Пожарский.

На самом же деле главный, оглушительный восклицательный знак ещё впереди, через несколько минут, за мизансценой ключевой.

В двери Грановитой вламывается толпа неизвестных.

Пожарский (*гневно*).

Что это значит, Русь? Опять измена?

Гражданин (*низко кланяясь*).

Князь! Извини! Совет твой прерываем!

Но вся Москва тебя с слезами молит

Их челобитную услышать!

Пожарский.

Просим!

Гражданин.

«Нам нужен Царь!» — кричат они: — «Собор

Напрасно мудрствует, когда законный

Наследник есть от крови Иоанна,

От крови Анастасии прекрасной!»

То есть опять же Михаил Романов, внучатый племянник супруги Иоанна Грозного. Такими же представлениями о наследственности и законности руководствовался и Собор.

У них свой толк. Единогласным сонмом

Москва, вся Русь Собору бьёт челом,

Да избере́т на Царство Михаила

Романова! (*Низко кланяясь*.) Не гневайтесь, бояре!

Мы общее блаженство предлагаем!

Пожарский (*обняв гражданина*).

Друг, если можешь, обними Москву

Так пламенно, как я тебя лобзаю!

Поздравь Москву! Собор единогласно,

Единодушно избрал Михаила!

Нет, не Собор, Господь избрал, и слава

Ему отныне и до века!

Все.

Слава!

Да здравствует Царь Михаил! Ура!

Вникли? Поняли? Осознали, что такой счастливый консенсус — чудо? Что это Бог (православие!) избрал для России правящую династию (самодержавие!) спонтанно-единодушным волеизъявлением (народность!) населения и всех элит?

Но и это ещё не финал. Не апофеоз. Погодите, сейчас, сейчас Пожарскому будет видение: Россия в блаженном 1834 году, хранимая величайшим из монархов:

О братия! Смотрите: это Он!
Величием безмерным осиянный!
На море стал великою пятой, —

(где-то я что-то такое читал: ногою твёрдой стать при море)

Из-под пяты ряды ширококрылых,
Огромных кораблей несутся в море!
Земля дрожит от тяжести Его,
А небеса Его главу вмещают!
Неизмерим сей Русский полубог!

И ещё двенадцать гипербол, прежде чем труппа и публика сольются в заключительном громовом: ура!

Действительно, публика неистовствовала: драма выражала её заветные чувства: вся — как внутренний монолог, обращённый к вождю. Мало что в советском искусстве можно поставить с нею рядом.

Это притом, что сам-то Первый Николай Романов при Сталине значил бы не больше чем Куйбышев, в лучшем случае — Каганович: и то неизвестно, как справился бы с коллективизацией на Украине; но зато какое было бы в Москве метро!

Единственная черта, сближающая названных первых лиц, — скромность. Скрепя сердце император разрешил Кукольникову оставить в строке «полубога», но именоваться Богом, тем более в прозе, — не пожелал наотрез. И цензура благословила судьбу.

— В безвыходном положении оказывается цензор в таких случаях: по духу — таких книг запрещать нельзя, а пропускать их как-то неловко. К счастью, государь на этот раз сам разъяснил вопрос. Я пропустил эту книжку, однако вычеркнув из неё некоторые места, например то место, где автор называл Николая I Богом. Государю всё-таки

не понравились неумеренные похвалы, и он поручил министру объявить цензорам, чтобы впредь подобные сочинения не пропускались. Спасибо ему!

Хорошим тоном считался задумчивый с теплотой. Как в «Телескопе»:

«У нас в России один центр всего, и этот центр есть наш Николай, в Священной особе Которого соединены все великие государственные способности».

Вот как надобно было написать рецензию на «Руку Всевышнего». Но Полевой не видел пьесу на сцене — только читал. И не понял её воспитательного значения. Принялся зачем-то доказывать, что «избрания Михаила на царство несколько не должно сливать с историею о подвиге Минина и Пожарского»: факты, видите ли, против.

Отметил исторические ошибки, указал на несообразности, а о художественных достоинствах отозвался так:

«Счастливых, сильных стихов в драме г-на К. довольно, хотя вообще стихосложение в ней очень неровно. Мы думаем, это происходит оттого, что драма в сущности своей не выдерживает никакой критики».

Однако же роковой, самоубийственной оказалась не эта фраза, а другая:

«Новая драма г-на Кукольника весьма печалит нас».

Рецензия предназначалась для 3-го номера. Отправленного в типографию 10 февраля. Через неделю Полевой уехал в Петербург. В Александринку попал 21 февраля. На спектакле присутствовал государь со всей семьёй; и множество каких-то начальников: густые эполеты; на лентах ордена; в зале ни единого свободного места; и ложи переполнены; и раёк — битком.

После того как Каратыгин, игравший Пожарского, произнёс последние стихи заключительного монолога:

Из века в век, пока потухнет солнце,
Пока людей не истребится память,
Святите день избранья Михаила,
День двадцать первый февраля! Ура! —

овация не утихала с четверть часа.

В сенях Полевой внезапно оказался лицом к лицу с генералом Бенкендорфом. Поклонился. Перебросились несколькими

словами. — Ах, какая неосторожность, — сказал генерал. — Что же вы наделали, Николай Алексеевич? Постарайтесь исправить, вдруг ещё не поздно.

Но было поздно.

Тут нам — впервые, пожалуй — представляется возможность взглянуть на Полевого с близкого расстояния. Глазами другого литератора. 25 февраля, вечер, квартира Смирдина.

— Там находились также Сенковский, Греч и недавно приехавший из Москвы Полевой. С последним я только теперь познакомился. Это иссохший, бледный человек, с физиономией сумрачной, но и энергической. В наружности его есть что-то фанатическое. Говорит он не хорошо. Однако в речах его — ум и какая-то судорожная сила. Как бы ни судили об этом человеке его недоброжелатели, которых у него тьма, но он принадлежит к людям необыкновенным. Он себе одному обязан своим образованием и известностью, — а это что-нибудь да значит. Притом он одарён сильным характером, который твёрдо держится в своих правилах, несмотря ни на соблазны, ни на вражду сильных. Его могут притеснять, но он, кажется, мало об этом заботится. Мне могут, — сказал он, — запретить издание журнала: что же? Я имею, слава богу, кусок хлеба и в этом отношении ни от кого не завишу.

Он возвратился в Москву в начале марта. Тогда же 3-й номер «Телеграфа» — вовремя вырезать из него злополучную рецензию Ксенофонту не удалось — прибыл в Петербург. На очередном заседании в Главлите верный дундук положил его на стол перед Уваровым, развернув на нужной странице. — Филипп Иванович, — сказал Уваров, обращаясь к барону Брунову, — вас не затруднит прислать ко мне вашу зелёную тетрадь как можно скорей? А ещё лучше — пожаловать вместе с нею ко мне. Скажем, завтра вечером?

Текст, представленный им (21 марта) Его Величеству, получился — хоть куда.

Бесстрастное, с оттенком укоризны (предупреждали ведь!) — вступление. Отрывисто-суровое (дальнейшее промедление нетерпимо!) заключение. Между ними обрывки

вывернутых наизнанку цитат смонтированы без пауз — чистый Бабель — речь пьяного эпилептика на митинге бойцов Первой Конной.

«Давно уже и постоянно “Московский Телеграф” наполнялся возвещениями о необходимости преобразований и похвалою революциям. Весьма многое, что появляется в злонамеренных французских журналах, “Телеграф” старается передавать русским читателям с похвалою. Революционное направление мыслей, которое справедливо можно назвать нравственною заразою, очевидно обнаруживается в сём журнале, которого тысячи экземпляров расходятся по России и — по неслыханной дерзости, с какою пишутся статьи, в оном помещаемые, — читаются с жадным любопытством. Время от времени встречаются в “Телеграфе” похвалы правительству, но тем гнуснее лицемерие: вредное направление мыслей в “Телеграфе”, столь опасное для молодых умов, можно доказать множеством примеров.

Приступая к сим доказательствам, спросим: что, если бы среди обширной столицы кто-нибудь вышел на площадь и стал провозглашать пред толпою народа о необходимости революций, о неосуждении всеобщности революций; что явления нидерландской революции прекрасны, что Россия, хитрою политикою разжигая раздоры и смуты, во всяком случае выигрывала пред Польшею; что ещё Разумовский согревал в душе тайную мысль о свободе Малороссии; что жители Приволжья и Придонья совершенно чуждые нам и то же, что колонисты или цыгане; что наше правительство ежегодно ссылает в Сибирь по 25 тысяч человек на железном канате; что французы теперь равны один другому и что во Франции теперь всё ведет ко всему.

Представим толпу слушателей умножающеюся, а человек продолжает проповедовать: что разбойничество происходит от избытка сил души; что Стенька Разин и Пугачёв были страшными, но тщетными усилиями казацкой свободы в борьбе дикой независимости с силами России; что от разбойничьих песен дрожит русская душа и сильно бьётся русское сердце; что сами русские произошли от разбойников, назвавших себя Русью; что братоубийцы достойны сожаления, а не проклятия; что Мономахова корона и скипетр

принадлежат к большим сказкам; что русских пора будить от пошлой растительной бездейственности; что Магомет был человек истинно вдохновенный, и что природа, мать всех вещей, есть бессмертная ночь, есть то единство, посредством которого вещи существуют в самих себе.

Может быть, назвали бы такого человека сумасбродным (если не злонамеренным), но, вероятно, не позволили бы ему провозглашать долее на площади, где слова его могли бы возбудить разные толки. Однакож, именно есть таковой провозглашатель, и на площади столь обширной, как Россия, не пред толпой поселян, а перед тысячами тех, которые владеют поселянами, пред тысячами молодых людей, и без того уже легко заражаемых французским вольнодумством. Всё вышесказанное не произнесено на ветер, а напечатано для современников и потомства в тысячах экземпляров "Телеграфа" и "Истории русского народа". Прилагаются выписки с указаниями страниц, составляющие только самую малую часть того, что можно и должно заметить».

— Да, да, — сказал император, дочитав бумагу, — пора положить конец. Граф Александр Христофорович сегодня же распорядится. Надо признать, мы сами виноваты. Слишком долго терпели этот беспорядок.

И отдал Уварову зелёную тетрадь. Не заглянув.

25-го марта вечером прибывший за Полевым жандармский унтер-офицер увёз его в Петербург.

Доставил к Дубельту, начальнику штаба корпуса жандармов, в его квартиру на Мойке. Дав слово, что не будет выходить из отведённой ему комнаты, Полевой целыми днями читал захваченную с собой из Москвы «Физику» Велланского.

«Едва приехал я, как и спешу успокоить тебя, милый друг Наташа, что я добрался до Петербурга, хоть с отколоченными рёбрами от почтовых тележек и от прегадкой дороги, но здоров совершенно и спокоен, как будто эти строки пишу в своём кабинете и хочу для шутки переслать их тебе с Сергеем. Прошу тебя, милый друг, заплатить мне таким же спокойствием души за исполнение просьбы твоей: беречь себя. Не воображай себе ни дороги моей каким-нибудь волочением негодяя под стражею, ни теперешнего моего пре-

бывания чем-нибудь вроде романической тюрьмы: мой глубокой проводник был добрый хохол и усердно услуживал мне. Сидели мы, правда, рядом, зато рабочие инвалиды по московскому шоссе снимали перед нашею тележкой шапки, что меня забавляло чрезвычайно. Теперь я пока живу в светлой, не очень красивой, но комнате, и мне дали бумаги и перьев — буду оканчивать «Аббаддонну»* или напишу, может быть, препоучительную книгу нравственных размышлений о суете мира etc. etc.

Брату отдельно не пишу; покажи ему это письмо, почему я и прибавил в нём, что, где бы я ни был и что бы я ни был, — в душе моей вечно будет он, мой единственный друг.

О деле я ничего ещё не могу сказать, ибо граф А. Х. только сказал мне, чтобы я отдыхал с дороги. — Крепкий верю, крепкий своею правотою и совестью, я не боюсь ничего и даже в эту минуту не променяюсь с многими, которые сегодня спокойно встали с постелей и поскачут по Петербургу в богатых экипажах...»

На второй день Дубельт сказал: благоволите к семи часам вечера явиться к графу. Это на Морской, тут недалеко.

В кабинете у Бенкендорфа сидел Уваров, листая толстую зелёную тетрадь. Началось что-то странное: допрос — не допрос, диспут — не диспут. Что вы хотели сказать своим отзывом о патриотической драме Кукольника? Как могли вы выразить мнение, противоположное мнению всех? И — за что вы так не любите Россию? Бенкендорф присутствовал, соблюдая нейтралитет. Когда часы пробили девять, сказал: — Об этом предмете довольно. А о других поговорим завтра, для чего вы, Николай Алексеевич, пожалуете ко мне также вечером.

Назавтра всё повторилось, только про Кукольника уже не вспоминали. Уваров читал вслух отдельные фразы из зелёной тетради, а Полевой объяснял их благонамеренный смысл. Бенкендорф посмеивался: защита была — или казалась — явно сильней нападения.

В четвёртый день — не произошло ровно ничего.

Утром пятого дня Дубельт объявил Полевому, что его отправляют обратно в Москву. Опять с жандармом, в тележке.

4 апреля он был дома. 10-го узнал, что «Московский Телеграф» запрещён еще 3-го. По высочайшему повелению. И что Уваров уже не управляющий министерством, а министр.

Пушкин 7 апреля записал:

«Жуковский говорит: — Я рад, что “Телеграф” запрещён, хотя жалею, что запретили. “Телеграф” достоин был участи своей; мудро с большей наглостью проповедовать якобинизм перед носом правительства, но Полевой был баловень полиции. Он умел уверить её, что его либерализм пустая только маска».

Запись от 10 апреля:

«Вчера вечер у Уварова — живые картины. Долго сидели в темноте. S. не было — скука смертная. После картин вальс и кадрили, ужин плохой.<...> Говорят, будто бы Полевой в крепости: какой вздор!»

Ничья. Не посадили, не сослали, не отдали в солдаты. Только журнал запрещён, и тираж конфискован. И пропали деньги, заплаченные типографии вперёд. И куда-то подевались все знакомые, но тем лучше: сиди, работай.

С визитом явился один-единственный человек: Иван Киреевский. Поскольку, представьте себе, Наталья Петровна Арбенина наконец согласилась. А по православному обычаю полагается накануне вступления в брак просить прощения у всех.

Разговоры же в городе шли такие вот:

«Что же касается до запрещения журнала Полевого, то почти все единогласно говорят, что давно бы было пора, — писал Уварову директор московской гимназии, — ибо ни одной статьи в оном никогда не было писано без цели вредной, а класс купечества весьма недоволен и говорит, что Полевому от того запретили, что он всех умнее».

§ 13. НЕЧТО ОБО ВСЁМ

О чём бишь? А хотя бы об этой самой Руке. Как она в 1612 году весной показалась из-под земли на главной площади (конечно, им. Ленина) города Горького. Не вся, разумеется, а только палец — с напыленной на него бородатой говорящей головой.

В роли Жанны д'Арк — нижегородский Шейлок. Не по родословной (Козьма, сын Захарии, сына Мины славянином быть обязан), а по сосредоточенности гения.

Только вообразить его путь от младшего рубщика до владельца крупнейшего на Волге мясокомбината. (А, например, коллеге Шекспиру характера не хватило, пришлось уйти из бизнеса.)

И как он успел в условиях гражданской войны обналичить активы — стада и суда.

И драгметалл не зарыл в навоз на заднем дворе, а вложил в людей. Догадавшись — как.

Вообще-то просто. Формируем (из праздношатающейся криминальной черни: пишей, казаков, деклассированных детей боярских и проч.) батальон контрактников и направляем к столице нашей родины — на подкрепление войскам, осаждающим Кремль, где засело правительство хотя формально и законное, но марионеточное, а главное — бессильное.

Что будет, когда оно падёт, — уцелевшие в боях бояре разберутся (жаль, у князя Димитрия Михайловича нет влиятельного клана, и запои ну очень продолжительные, а впрочем, не без шанса и он), а наш патриотический долг — выплатить каждому ратнику подьёмные — от 30

до 50 рублей (в зависимости от воинского звания и боевого стажа), обеспечить весь контингент оружием, боеприпасами, вещевым довольствием, трёхразовым питанием и т. д.

Для чего образуем спецфонд. Куда каждый нижегородец, имеющий постоянную прописку, вносит чистоганом сумму, равную трети его имущества. Каждую третью деньгу, по-древнерусски говоря. Чрезвычайная оценочная комиссия ходит по домовладениям и прикидывает — сколько с кого причитается. Согласно уровню благосостояния. Всё поровну, всё справедливо. Гони наличные, верный сын отечества. — Тут и закавычка. Трудовых сбережений на святое дело никому, понятно, не жаль, — но не каждый же успел отложить + 33,3%, — и что такому непредусмотрительному делать? Срочно продать лодку? козу? корову? баню? дом? — опять же не вопрос, но посмотрим правде в глаза: при сложившихся обстоятельствах это всё неликвид. А и купят, так за бесценок, и всё равно не хватит, — а потом самому с семьёй куда?

А резолюция принята. Сами орали давеча на соборной площади: любо! любо! За язык никто не тянул. Не давши слова — крепись, а давши — держись. Или наоборот. В римском праве такая коллизия разрешается однозначно. *Luitur cum persona, qui luere non potest cum crumena*. Кто не может расплатиться при помощи кошелька, расплачивается собой. Как мы люди русские, а дело общее и притом действительно святое, — будь что будет! — где наша не пропадала! — я сам выплачу твой взнос. Одолжу тебе эти деньги. Под заклад. Сам знаешь, под какой, и на митинге одобрял всецело. Что у тебя есть реально ценного, кроме тебя же самого да жены с детьми? Вот вас и беру. Побудете пока мои. Как в ломбарде. Найдётся свободное время — и на стороне подхалтуришь, — глядишь, лет через пять и рассчитаемся. Очень даже может быть. В крайнем случае, через десять. Подписывай кабальную, гражданин великодушный! Родина не забудет твоего самоотверженного поступка.

Всё равно положительный образ. Отлично проявил себя в августе того же года в Замоскворечье, в уличных боях. Как настоящий, в пыльном шлеме, комиссар. А в октябре,

в самый день народного единства, — когда воодушевлённые победой казаки требовали немедленно поставить на хор (по обычаю, известному в советское время под названием «колымский трамвай») вышедших из Кремля боярынь и боярышень, Минин свистнул своим: не отдавать! За пленниц, понятно, ожидался выкуп, размер которого отчасти зависел от их сохранности. А всё-таки заслуги не отнимешь. Рыцарь и гуманист. Этой выходкой он, возможно, подорвал свой авторитет; почему-то Нижний Новгород делегировал на Земский собор не его; а подпись его на итоговом документе поставлена, говорят, задним числом. Зато новоизбранный царь сделал его думным дворянином и пожаловал вотчины. Село Богородское и ещё девять населенных пунктов с окрестностями. Где, по-видимому, и пригодились все эти закладные души. Для освоения целинных и залежных земель. Принесённая тобою жертва, дорогой бывший сосед, не пропала втуне: на троне России — Михаил Романов! Горячо поздравляю. А теперь поди-ка, попаши.

Первым в худлите воспел подвиг Минина писатель Загоскин. Роман «Юрий Милославский» (1829 год) выдержал несколько изданий подряд. Читали — все, даже Марья Антоновна Сквозник-Дмухановская. (Хотя насчёт её родителей, да и насчёт Хлестакова, — уверенности нет.) Уж на что Чембар — захолустная глушь, а читали и в Чембаре:

«Я очень счастлива к книгам, они почти не переводятся у меня, и все очень хорошие, по большей части всё Вальтер-Скотта. Наконец, и я читала Юрия Милославского! Как пленили меня эти книги, я изъяснить вам не могу! Я плакала, читавши в них о Минине: как всё в них благородно, приятно, просто, как что-то близкое к сердцу русскому! Как умел этот г. Загоскин приноровиться так к старине!»

Это одна тамошняя барышня пишет в Москву — кузену (вообще-то двоюродному дяде) по фамилии тогда ещё, кажется, Бельнский.

Приноровиться Загоскин действительно умел. Материальная сторона мининского почина от него не ускользнула. Не колеблясь, уверенной рукой графомана он изобразил развёрстку как благотворительный марафон. Роковой же (и коварный, согласитесь) призыв заложить себя и семьи

подавал просто как фигуру красноречия — как гиперболу от полноты энтузиазма.

Первый русский бестселлер (или второй — если болгаринский «Иван Выжигин» появился в магазинах раньше на какую-нибудь пару недель). Большая цитата не будет лишней.

«— Граждане и братии! — продолжал Минин. — Неужели, умирая за веру христианскую и желая стяжать нетленное достояние в небесах, мы пожалеем достояния земного? Нет, православные! Для содержания людей ратных отдадим всё злато и серебро; а если мало и сего, продадим всё имущество, заложим жён и детей наших... Вот всё, что я имею! — продолжал он, бросив на лобное место большой мешок, наполненный серебряной монетою; и пусть выступит желающий купить мой дом — с сего часа он принадлежит не мне, а Нижнему-Новгороду, а я сам, мы все, вся кровь наша — земскому делу и всей земле Русской!

— Отдаём все наши имущества! Умрём за веру православную и святую Русь! — загремели бесчисленные голоса. — Нарекаем тебя выборным от всея земли человеком! Храни казну нижегородскую! — воскликнул весь народ. <...>

Все спешили по домам, чтоб сносить свои имущества на площадь, и не прошло получаса, как вокруг лобного места возвышались горы серебряных денег, сосудов и различных товаров: простой холст лежал подле куска дорогой парчи, мешок медной монеты — подле кошелька, наполненного золотыми деньгами. Гражданин Минин принимал всё с равною ласкою, благодарил всех именем Нижнего-Новгорода и всей земли Русской, и хотя несколько сот рабочих людей переносили беспрестанно эти дары в приготовленные для сего кладовые на берегу Волги, но число их, казалось, нимало не уменьшалось. <...>

...Всё многолюдное собрание народа составляло в эту минуту одно благочестивое семейство. Не слышно было громких восклицаний; проливая слёзы радости и умиления, как в светлый день Христов, все с братской любовью обнимали друг друга...»

Кукольник был на двадцать лет моложе Загоскина и, в отличие, не обжора, а пьяница. Таланты же у них были одного калибра, — только у Кукольника текст громче.

В его пьесе экономика подвига практически не затронута. Ни малейшей уступки ползучему реализму. Пламенный призыв — единодушный отклик, и вся недолга.

Минин:

...Да если б Бог вас храбростью украсил,
Да если б вы сребра не пожалели,
В бесчисленную рать соединились!..
Кто мог бы противустоять? О братья!
Москва горит, Москва болит соблазном,
Содом в ней угнездился... Братья, братья! <...>
Я падаю пред вами на колена!
Спасайте Русь, спасайте Церковь, люди!

Голоса:

Я всё даю и сам иду. — Я также. —
Я также. — И я также. — Все даём —
Всё, что имеем, и идём! — Ура!

(Слуховые нервы у императора были такой толщины, что этот звукоряд бодрил их, — а пушкинский «Годунов» еле-еле доносился и, соответственно, утомлял.)

Ура-то, конечно, ура, — встали и пошли, все, как один, — а жёны-то что и дети — пускай прохлаждаются в тылу? Кто-то же должен их тоже не пожалеть, — или как? Вот и оцените know-how Нестора Кукольника.

Явление второе действия первого. Депутация нижегородцев с Мининым во главе прибывает в усадьбу Пожарского — чтобы, значит, просить его принять командование. Но какая горестная неожиданность: князь-то при смерти. Буквально с минуты на минуту испустит дух. Успеваешь лишь завещать народу всё свое имение (включая земельные угодья) и попутно распорядиться насчет жены и сына:

Сожгите их! — Да изверг иноземец
Не поругается моей супруге
И сироту князей в полон не вóзьмет!

После чего опускается на подушки и ни на что более не реагирует. Депутация молча проливает слёзы, утираясь рукавами армяков.

Но тут Минин внезапно впадает в транс. Походкой луна-тика приближается к одру умирающего и долго всматривается в потолок зрительного зала. Как бы дожидаясь, чтобы его переключили на режим громкой спецсвязи. После не слышимого никем, кроме него, гудка (или щелчка) начинает говорить.

Минин

Творец! О, преложи Твой гнев на милость,
Всех нас возьми, но жизнь ему продли;
Всех порази смертельной косою,
Но дай ему все наши жизни вместе!

Ответа нет. Минин, однако, не сдаётся. Стихи назойливей, предложения — заманчивей.

Есть у меня жена и дети... Боже!
Возьми меня и их, мы здесь не нужны;
Скажи, я принесу Тебе на жертву,
Что повелишь! Но жизнь ему продли!

В тишине слышен только метроном Чейн-Стокса. Минин конкретизирует условия сделки — слегка смягчая их:

Моя жена пускай меня разлюбит,
Пусть дочь моя умрёт в недуге тяжком,
Пусть сын неблагодарность мне окажет...

— затем ужесточая:

Пусть муки все от ада и земли
На дом мой, на меня спадут, но Князю
Ты смерти не даруй!

Дальше идти, кажется, некуда. Минин явно не знает, что бы ещё придумать; прибегает к повтору, но тон повышает почти до повелительного, если не угрожающего:

Нет! Отними здоровье, честь и жизнь;
Терзай меня на раскалённых углях; —
Я веровать не перестану, Боже,
Ты смерть раба Пожарского отсрочишь!

Он хватается пациента за руку — и чудо наконец-то наступает: раб Пожарский открывает глаза и сообщает, что чувствует себя превосходно. Все падают ниц и простирают руки к небу. Святая Русь, будем считать, спасена, поскольку теперь-то очевидно: Господь её простил. Ради Минина, раз уж он такой беззаветный фанатик православия. (Папа и мама у Кукольника были, понятно, католики.) Минину, на-

верное, даже не придётся отвечать за базар. (Хотя, например, жена — просто для порядка — могла бы и разлюбить.) А княгиня-то, я думаю, как рада, что её не сожгут.

Забавляйтесь. Но сверхъестественные факты попадают даже в истории литературы. Чтобы далеко не ходить — ну как вы объясните, что в 1915 году вот этот самый кукольниковский текст превратился в стихотворение Анны Ахматовой. Дай мне горькие годы недуга, Задыханья, бессонницу, жар, Отыми и ребёнка, и друга, и так далее, — только отведи опасность от родного государства.

Заглянуть от летней скуки в старинный том (последнее издание — 1851 года) она, конечно, могла. Но была слишком ещё молода, чтобы успеть забыть, что прочитала. Плагиат, знаете ли, дело такое: ни за что не украдешь, куда помнишь — чьё. Самолюбие не позволит. И чувство юмора, если есть.

Тут, правда, сразу же какой-нибудь Юнг на цыпочках подбежит и забормочет про архетипическую, батенька, ситуацию. Ну да: вот, скажем, один древнегреческий предводитель, некто Агамемнон, публично, в торжественной обстановке, зарезал родную дочь исключительно с той целью, чтобы попутный ветер, так сказать, грянул в паруса его эскадры.

А был не православный ничуть. Но, заметим, и не агностик. И такое средство корректировать ход событий он не сам изобрел, а всего лишь исполнил завет предков.

То есть это неизбежная — возможно, даже врождённая связь идей (хотя лично я считаю — вдолбили пропагандой за тысячи и тысячи лет жрецы): если интересам коллектива — или там социума — угрожает что-то серьёзное, веди себя так, словно находишься на падающем воздушном шаре. Ищи глазами балласт. От кого бы из близких избавиться. Кем откупиться. Лишь бы шар, сверкая заглавными буквами, летел.

Это мининизм.

— Сограждане! велика та земля, где граждане Минины, сановники Пожарские, пастыри душ Авраамии и где Цари Михаила, Петры, Александры и *Николаи!* Но такова Россия. Мы клянемся *Тебе, Царь Православный*, что по одному слову Твоему мы, подобно Минину, готовы воскликнуть: «Буде нам похотеть помощи Отечеству, и то нам не

пожалети животов своих, и двory свои продавати, и жён и детей своих закладывати», — мы клянемся ТЕБЕ Русскою душою, а Русская душа неизменна.

Это чей же такой чистый, такой звонкий, такой искренний, такой пионерский голосок, а? как по-вашему? Не Жуковского, согласны? у того глубже и мягче. Не Булгарина: у того отрывистей и злобней. Интонация живая — значит, не Загоскин. Для Кукольника или, предположим, барона Розена — слишком умный, подвижный синтаксис, и фраза даже нигде не срывается на крик.

И уж само собою разумеется — не Пушкин. Пушкин вообще так не умел: от всего сердца и как бы лёжа на спине.

Но тогда, стало быть... Да. Вы угадали. Стало быть, это сочинил Николай Полевой, больше некому.

И сказал с кафедры. 10 июля 1833 года. (Более чем за полгода до премьеры Кукольниковой пьесы.) На торжественном акте Московской практической коммерческой Академии. Теперь это Высшая школа экономики, а тогда — вроде как частная гимназия с особенным уклоном, с прицелом на новых русских.

Полевой входил в Совет этого заведения. И это был уже третий раз, что ему доверили приветствовать выпускников напутственным словом (напутствовать приветственным). Данную речь он озаглавил:

«Козьма Минич Сухорукой,

Избранный от всея земли Русския человек» —

и напечатал отдельной, нарядно переплетённой брошюрой.

Как и первые две, названия которых также очень стоит привести: «Речь о невестественном капитале (capital immatériel) как одном из главнейших оснований государственного благосостояния и народного богатства» (1829) и «Речь о купеческом звании, и особенно в России» (1832).

Каждая из этих речей снабжена посвящением. Допустим, таким:

*Созражданам, русским купцам, наследникам
добродетели и чести*

Козьмы Минича Сухорукого,

В знак глубокого почтения

Посвящает Николай Полевой.

И каждая, представьте, оканчивается здравицей, такой же прочувствованной и высокопарной, как приведённая выше. Увы.

Только советские писатели, и то лишь выступая на парт-и других всесоюзных съездах, достигали такой неслыханной, прямо детской простоты звука. Где-то был у меня образчик, сейчас найду.

Ага, вот он. Боже, как этот текст бездарен и глуп — настолько, донельзя, глуп, что уже совершенно не важно, насколько гадок. Но окраска звука, согласитесь, почти такая же — светлая нестерпимо:

— Народ-гигант неохватимо-колоссальной страны, весь народ с поднятыми в руках бюллетенями стоит перед фигурой Сталина и говорит голосом, слышным по всей неохватимой стране, по всему миру: «Друг наш, учитель наш, вождь наш!..» и «отец наш!..» — громким голосом, вся громада народа. И это — от сердца. Это от сердца, из самой глубины его, искренно до слёз. И этого никогда не бывает в буржуазных странах, никогда.

(Понятия не имею, кто выступает. Клочок с выпиской завалился, а фамилия оторвана. Смутно припоминается вроде бы кто-то с буквой Ф — не Сейфуллина ли Лидия? — даже и чувствуется, что тётка, и пьющая, — но подошёл бы и Фадеев; и Федин; и особенно Серафимович.)

Сто лет между речью и речью, сто лет.

Мне жаль, что тексты похожи.

Что человек, за которого я тут распинаюсь и хлопочу, при жизни носил-таки в головном мозгу этот отвратительный чип или какое-то другое устройство с программой, заставляющей автоматически соединять мыслеобразы: Любимый Руководитель, Правящая Партия, Страна Рождения — и при артикуляции каждой из соответствующих лексем немедленно испытывать прилив чувства, которое, действительно, попробуй отличить от любви.

Не он один — о, нет.

Но как бы то ни было, я твёрдо решил не оставлять его на пристрастный недосмотр Автора истории литературы. Эта дама (пусть прихлебатели величают её, как угодно: хоть Памятью, хоть Славой, да хоть Судьбой) позволила своим

любимчикам вытолкать его из песочницы, — давайте хоть теперь, когда уже совсем поздно, разберёмся — за что.

А чего тут разбираться. Сперва за то, что якобинствовал. Девять лет подряд, — вот, Пушкин подтвердит.

А потом за то, что как получил по мозгам за идейную вылазку — дискредитацию псевдопатриотической драмы (спросите у СНОП), ну и по совокупности — за инакомыслие (правый декабристский центр! — картавит Уваров, хотя лучше бы ему помолчать), — так в ту же секунду струсил и прежним убеждениям изменил. — В пять дней сделался верноподданным! — вставляет остроумный, как всегда, Герцен. Общий хохот.

— Вот видите, — пожимает плечами воспитательница (тьфу! не воспитательница! Автор истории литературы). Дальше — больше, и в конце концов этот ваш Полевой повёл себя так, что грустно и неудобно рассказывать. Так опустился. Вот придут Белинский и Панаев — спросите у них.

Ладно. А пока они не явились — будьте любезны, вернёмся вместе на предыдущую страницу. К этой цитате из речи про Минина. Разве она не верноподданническая (ну и эпитетец)? И в речи 32 года есть подобный же пассаж, и в речи 29-го. И все они, заметьте, буквально проникнуты самым почтительным благочестием (ох, боюсь, это плеоназм). И, уж совсем между прочим, про Россию он постоянно говорит как про невероятно симпатичную страну — «страну надежды», прямо-таки обречённую на величие и счастье.

Как же вы утверждаете, что верноподданным Полевой сделался только когда его прихватила Контора, — в 34-м?

Кстати: пять дней — много это, по-вашему, или мало? Пушкин, как известно, сделался верноподданным минут за сорок — если не ошибаюсь, между четвёртым и пятым часом пополудни 8 сентября 1826 года, в Кремлёвском дворце. Часов в пять император, держа его за руку, вышел из кабинета и перед телекамерами объявил придворным:

— Господа, это Пушкин мой!

А вы на месте Пушкина, конечно, вскричали бы, как в отроческом сне: лжёшь, тиран! Ты ещё не заполучил автора оды «Вольность»! пусти, пусти мне руку! Отмой сначала свою от волокон пеньки, задушившей тех пятерых!

Однако же с тех пор, г-н Герцен, вы и сами обзавелись кой-каким опытом. Разве вам не случилось разик-другой превратиться в верноподданного хоть ненадолго? Ну и сколько же времени занимает переход? Хотите — угадаю: пока бежит абзац, — не правда ли? Вот как этот, — он же вашего пера?

— С тех пор как Россия в лице великого Петра совеща-лась с Лейбницем о своем просвещении, с тех пор как она Царю передала дело своего воспитания, — правительство, подобно солнцу, ниспослало лучи света тому великому народу, которому только недоставало просвещения, чтоб сделаться первым народом в мире...

Это, если помните, 37 год, речь при открытии библиотеки в Вятке. Отчётливо слышу, как вы её произносите, вижу ваше серьёзное, розовое лицо. Помилуйте, никаких претензий, всё так понятно: молодость проходит, провинциальная скука душит, поломанную карьеру надо скорей, скорей починить. Да и в абзаце-то — практически ничего, кроме правды. Вот разве что образ солнца как будто не совсем прямо из души, — а впрочем, кто знает?

Будь это солнечное правительство поумней... Ведь не лицемерили же вы, когда, опять (и без малейшей вины) попав под раздачу, клялись исправиться навсегда, если наказание смягчат? О, не разубеждайте: 8 декабря 1840 года вы были верноподданным неподдельным — и даже могли бы — по крайней мере, искренне желали — таковым остаться:

«Государь милосерд и к преступным, я верую в Его милосердие — и умоляю Его перевести в Москву, повергните к стопам Его последнюю просьбу мою — и целая жизнь моя будет доказательством, достоин ли я этой милости...»

Они вас проиграли — так им и надо. Но, получается, вы в курсе, что пять дней на политическую метаморфозу — вовсе не нижний предел. И что это не смешно.

А смешно — что такая метаморфоза, именно эта, Николаю Полевому была не нужна. И даже была для него невозможна. Его нельзя было принудить к лояльности, ни взяв на испуг, ни подкупив. По самой простой причине: он был лоялен.

§ 14. НЕЧТО ОБ ИСКРЕ И ПЛАМЕНИ. О ПРИЗРАКАХ. О ПОХОЖДЕНИЯХ ГРАФА С***

По здоровому-то синтаксису, *культ личности* — такая же идиома новояза, как, допустим, *головокружение от успехов* или *детская болезнь левизны*. Ничего человеческого не означает. Производственное междометие, не более того. Просто чтобы зря не шевелить указательным. Впервые введённое в местный гос. оборот, равнялось всего лишь команде «Оправиться!» — правда, несколько неожиданной после очередного «Товсь!» и, значит, вместо очередного «Пли!».

Ан нет. Здесь в сжатом (наподобие кукиша) виде содержится (и прячется в потайной карман) довольно грубая морально-политическая максима. Типа: подлость — дочь глупости, но т-с-с, в смысле — цыц.

Все эти термины — такие смутные. Скажем, когда Пушкин в 1831-м через несколько минут после случайной, на улице, встречи с царём говорил фрейлине Смирновой: до сих пор не опомнюсь — *чёрт возьми, почувствовал подлость во всех жилах*, — то ли самое имел он в виду, что и Карамзин, в 1797-м утверждавший: *нация, изнасилованная тираном, не заслуживает сочувствия; пример — императорский Рим: Он стоил лютых бед несчастья своего, Терпя, чего терпеть без подлости не можно?*

Поэтому ещё раз: причина Большого террора, как и мало-го, — прочерк, а причина всенародной (прошу прощения у людей с известным дефектом речи) терроротерпимости — сказано же: обман зрения; организаторам, исполнителям и жертвам всю дорогу мерещится, что заказчик — просто душка.

Громче — рыча и рыдая — сводным хором номенклатуры, прокуратуры, госбезопасности, образованщины,

трудящихся — всем составом уцелевших соучастников: *Мы так Вам верили, товарищ Сталин, Как, может быть, не верили себе!*

Бедные. Ну как их не пожалеть, господин Карамзин? Где тут подлость? Одна лишь простота плюс эстетика с толикой эротики. Диктатор им что-то такое задвинул (наверное, как у Оруэлла: типа что зло — это добро), а они возьми и переверни свою т. н. совесть, — исключительно ради него. Будучи ослеплены его умом и красотой.

Однако некоторые компетентные лица (Иван IV, Эдуард Багрицкий) настаивают, что настоящий террор ни в каких этих нежностях не нуждается. Является ли тиран гением, красавцем, святым — не твоя, навоз истории, печаль. Твоя печаль — быть наготове. Чтобы как только скажут: солги, — солгать; скажут: убей, — убить. Главное — не тормози: не солжёшь вовремя, не убьёшь — убьют, вот в этом не сомневайся.

Мы, значит, вправе предположить, что террор работает (еще раз пardon за фонетику) на чистом культе террора. Остальное — художественная самодеятельность образованщины. А ей любой самый главный, будь он даже не тиран, всё равно, — Лучший-из-людей. И она ублажает его по рутинному ритуалу, описанному Н. В. Гоголем в «Игроках»:

«(Все приступают к нему, схватывают его за руки и ноги, качают, припевая на известный припев известную песню):

Мы тебя любим сердечно,
Будь ты начальник наш вечно!
Наши зажгёт ты сердца,
Мы в тебе видим отца!
Г л о в (с поднятой рюмкой). Ура!

Все. Ура! (Становят его на землю. Глов хлопнул рюмку об пол, все разбивают тоже свои рюмки, кто о каблук своего сапога, кто о пол.)»

Навряд ли кого-либо удивит, что культ Николая I основал Ф. В. Булгарин. Лично. В минуту, исключительно злую для него: когда в Неве между нынешним Дворцовым мостом и бывшим Лейтенанта Шмидта зимовала подо льдом

огромная стая мертвецов, а по улицам Петербурга маршировали группы захвата.

Ритм тогдашнего озноба и тембр ветра аллитерирован Музой мести и печали. Описывая весенне-летнюю кампанию 49 года против космополитов, она продиктовала поэту Н. А. Некрасову:

...И декабрьским террором пахнуло
На людей, переживших террор.

Поэту в припоминаемом декабре стукнуло как раз четыре ровно, и в далеком уезде он катался на санках с горки, специально насыпанной под мамашиними окнами.

Не предчувствуя, что скоро попадёт в литературный процесс, где чужое горе будет его колебать буквально как своё:

Крепко в душу запавшее слово
Также здесь услышал я впервой:
«Привезли из Москвы Полевого...»
Возвращаясь в тот вечер домой,
Думал я невесёлые думы,
И за труд неохотно я сел.
Тучи на небе были угрюмы.
Ветер что-то насмешливо пел.
Напевал он тогда, без сомненья:
«Не такие ещё поощренья
Встретишь ты на пути роковом»,
Но не понял я песенки спросту,
У Цепного бессмертного мосту
Мне её пояснили потом...

Нет, опять не сходится: весной 34-го Некрасов сдавал экзамены — из четвёртого класса в пятый; в Ярославле, в тамошней гимназии; сдал не блестяще, так что про неохоту к труду — стих правдивый; но всё остальное-то, значит?.. Молчу, молчу: вон уже спешит ко мне в траурном сарафане одноглазая СНОН¹ с Теорией Лирического Героя под мышкой. Согласен, для вдохновения порядок фактов — тьфу; важно, что они вообще имели место: впоследствии-то сбежал в Петербург? — сбежал; бомжевал там? — ещё как; а кто его спас и, утопающего в грязи, за шиворот втащил

¹ Советская наука о Некрасове.

в литературу, кто первый сказал (и напечатал), что он поэт, настоящий поэт? — или, может быть, вы думаете — Белинский? То-то. Отчего же задним числом и не посострадать давно погибшему благодетелю. Это только углубит образ лирического героя.

Отвлёкся, простите. Так вот, про декабрьский террор: в конце декабря 25 года дела Фаддея Венедиктовича обстояли — хуже некуда. Многие его знакомые были арестованы; и он понятия не имел, что сказать, когда придут и спросят, например: а с какой, собственно, целью 14 сего декабря числа в восемь часов вечера посетили вы гос. преступника Рылеева на его квартире у Синего моста? Ах, вот оно что: как представитель независимой прессы, желали взять интервью у возможного очевидца предполагаемых событий? Ну и как — взяли? — где оно? не удалось? — не повезло. А поясните, это у вас, у представителей прессы, обычай такой — после того как очевидец отрежет: по comment, — обниматься с ним на прощание по-братски? Да, и ещё одна деталь: что находилось в саквояже, который вынесен вами из квартиры Рылеева, и где вы прячете этот саквояж?

Казалось несомненным, что за каждым шагом следят и каждое написанное слово читают.

Но приходиться — не приходили. (Впрочем, однажды пожаловали: не будете ли так добры составить словесный портрет вашего знакомого — Кюхельбекера?) Вокруг брали буквально через одного; правда, кое-кого и выпускали. Но Булгарина не трогали; ни Греча (это начальника-то — пусть бывшего — ланкастерских школ! это наместного мастера-то — ну да, бывшего — ложи Избранного Михаила! постоянного автора «Полярной звезды», и прочая, и прочая).

И это, замечу, притом ещё, что сумасшедший подонок Воейков сочинил, размножил и разослал по разным адресам — между прочим, и в редакцию «Московского телеграфа» — анонимную листовку типа: благомыслящие читатели негодуют и недоумевают — чему приписать, что Булгарин и Греч всё ещё на свободе? это что же получается — щепки летят, а лес крамолы стоит?

Полевой бросил в печку, но некоторые другие отнесли куда следует, — автор установлен и уличён, — его друг

и родственник Жуковский всё уладил, — ни Булгарина, ни Греча никто не побеспокоил.

Этому было только одно объяснение: «Пчела»! Остановить единственную интересную газету — Николай и сам на неё подсел — на каком-нибудь 140-м номере (из оплаченных подписчиками 156) — было совершенно то же самое, что внезапно врубить по ТВ «Лебединое озеро» (тем более, Чайковский ещё не родился). Москва и провинция вообразили бы, будто в столице случилось что-то серьёзное. А не просто разогнан несанкционированный групповой пикет неугомонных несогласных.

156-й номер — 30 декабря — должен был выйти непременно. А вот первый — 2 января — совсем не обязательно. И ареста следовало ожидать именно между этими числами.

30-го Булгарин реально сыграл ва-банк. Смотрите! Завидуйте! Какая дерзость — нет, какая храбрость:

«Декабря 30.

Почтеннейший Ф. Н.!

Я болен, Греч болен; беда — и только! Падаем пред вами на колени и, воздев руки к небесам, просим сделать маленькие стишки на новый год, в честь нашего доброго, кроткого и мужественного Царя Николая! Сюжет: Новый Год и Новый Царь и его качества. Ради Бога, сделайте это. Такой царь стоит вдохновения поэта добродетельного. Ожидаем от вашей дружбы сей услуги, за которую пребудем навсегда благодарны. Ваш душою и телом

Ф. Булгарин».

А интуиция какова? Я, например, на его месте да в таких обстоятельствах позвонил бы рифмоплёту стопроцентно беспринципному. Какому-нибудь конъюнктурщику. Скажем, Борису Федорову. Да хоть тому же Воейкову: попробуй он откажись!

Только в самую последнюю очередь, да и то навряд ли, обратился бы я к полковнику Глинке. Положим, Булгарин не знал, что Федор Николаевич — член Союза благоденствия, чуть ли не член его ЦК; что состоял также и в Союзе спасения, — матёрый, короче, декабрист. Но и общеизвестные данные окутывали репутацию Глинки тревогой

и суетой. Мистик. Филантроп. Оппозиционер. Правозащитник. В самиздате ходило послание к нему Пушкина: *Но голос твой мне был отрадой, Великодушный гражданин!* (Ещё бы: Глинка едва ли не раньше всех, в 1820 году, назвал его гением — печатно, печатно, у Греча в «Сыне отечества».) Фактически в негласной отставке (чей-то донос, какой-то скандал). Под надзором почти что гласным. Поскольку есть мнение, товарищи, что жёлтый дом по этому Глинке плачет, но это крайняя мера; мы должны проявить максимальную чуткость: всё-таки герой войны.

Так вот — вы решились бы написать такому человеку: не в службу, а в дружбу, ну что вам стоит, — сделайте к завтраму маленькие стишки про то, как добр и кроток новый нац. лидер, только что упрятавший в тюрьму сто и больше ваших друзей?

А если действительно, несмотря ни на что, напишет, а вы напечатаете, а потом упрячут его самого, — что тогда?

Самое смешное, что почти так и вышло. Только не потом. Глинку забрали в тот же самый день, 30 декабря. Через пару часов отпустили. Полагаю, записка Булгарина была при нём, и с нею ознакомились.

И вот перед нами «Северная Пчела» № 1. Суббота, января 2-го 1826.

Передовица. (Неподписанная; стало быть, от редакции; от Фаддея, значит, Булгарина и Николая Греча; но как бы и от всей образованщины — и к ней же ко всей.)

«Внутренние известия»

Санкт-Петербург, 1-го Января

Прошлый год начинали мы молитвами к Предвечному о продолжении *прежнего* нашего счастья; нынешний начинаем надеждами и молением о *новом*, надеждами, которые уже в первых лучах своих обещают нам полдень тихий, живительный, благотворный.

Боже! осени небесною благодатию Твоею Того, Кто поставлен Тобою в Державные Исполнители святой воли Твоей на земли! Даруй и нам ревностное желание и способы споспешествовать Его благим делам и намерениям. — Сильные только цари могут упрочить внутреннее благоденствие

и внешнюю безопасность Царств, а Цари сильны благословением Божиим и любовью своих подданных. — Россияне! братья! Возлюбим всем сердцем нашего доброго, великодушного, Александром избранного, Богом дарованного Императора Николая Павловича, возлюбим нашего общего Отца — и отечество наше возрастет в благоденствии, силе и славе.♦

А вот — на второй полосе — и стихотворение (подписанное: *Ф. Глинка*):

Чувство Русского, при наступлении 1826 года
Прошёл для Россов тяжкий год,
От Волги до Двины — тоска, плачевны клики:
Почил наш Александр, в царях земных великий!
Ещё не отстал по Нём Его народ,
И к мёртвому живой любовью пылая...
Но Бог возвёл младого Николая
На древний трон его Отцев!
И прояснил он наших душ унылость:
Привет в Его устах, в Его душе — любовь,
И на челе, как день, светлеет Милость!..
Мы кинемся, обнимем Твой алтарь,
О Русский Бог! Ты слышишь глас смиренных:
Да будут от Твоих щедрот благословенны
И *Новый* год и *Новый* Царь!

Разумеется, белая нитка, торчащая из шва, бросается в глаза. Разумеется, уловка дешёвая. Он хороший! Хороший! Он никого не упечёт и тем более не казнит. Подержит для острастки взаперти — чтобы прочувствовали вину — и всех помирует, — а мы — о, как мы полюбим Его за это!

Голый, тупой крючок, наспех изогнутый из скрепки канцелярской. Смешно было и думать, что Николай купится. Променяет уже накрытый стол — на порцию аплодисментов.

Треска, между прочим, — загляните в Википедию, — рыба хищная с выдумкой: ежедневный-то рацион — мойва да сайра, но время от времени хочется вкусенького, и тогда она *поедает донную фауну, как правило, двустворчатых моллюсков, у которых откусывает вытягиваемые ими ноги.*

Но недаром же Булгарину принадлежит афоризм про искру (переделанный В. И. Лениным в боевой лозунг): что

если на неё плюнуть — погаснет, а если подуть — разгорится пламень. (Не помню, с чем он искру сравнивал — с правдой, с неправдой; не важно. Любил-то больше правду. Говаривал: Варвара мне тётка, а правда — сестра!) Даже и эта первая, робкая публикация дала свой эффект. Выручила если не «Пчёлку» (которой, может быть, ничто и не угрожало), то Глинку — точно. Его в марте 26-го взяли опять, закрыли на три месяца, — но тот день, когда с остальных срывали ордена и ломали над головами шпаги, застал его, счастливого, в пути.

Всего-то навсего переименованный в штатский чин, направлен для прохождения дальнейшей службы в Петрозаводск, на должность советника губернского правления.

И в новом декабре, когда его поделщики уже прибыли в места лишения свободы и начали давать стране руду и соль, — а их матери, жёны и сёстры сбивались с ног, покупая и примеряя платья и драгоценности, в которых будут плясать на балах по случаю коронации, — Глинка вернулся к поэтическому творчеству.

Тема, без сомнения, предсказуема. Но обратите внимание на заглавие и подзаголовок. Автор явно сблизился с народом (что значит — природа севера!). Ушёл в фольклор, как бы говоря: единица — ноль, а этот текст выражает живое чувство пятидесяти миллионов.

Кто сей?

(Опыт русской народной поэзии)

Он будет русский Царь — и русским — Царь-отец!

Как Государь — любим народом,

Любим людьми — как человек;

Он в храм бессмертия пойдёт надёжным ходом,

И даст России новый век.

Дальше про этого пока не названного человека рассказано, что он поставит незыблемый закон на незыбкие грани-ты правды и покажет свой суд и свои дела векам; благодаря своему зоркому уму и твёрдому духу проведёт наш чёлн (незачёт: ведь имеется в виду, наверное, Россия, — а какой же Россия чёлн, когда она корабль? а впрочем, см. Путешествия Гулливера с иллюстрациями Гранвиля), — одним словом, сделает для нас всё:

Всё нам; Себе ж возьмёт, за все труды в награду —
Молитву сироты и нищего слезу!

Теперь сосредоточьтесь и постарайтесь угадать: о ком речь? как зовётся наш таинственный Спаситель? (— Иисус Христос! — вскрикивает деревенский дурачок — и получает подзатыльник.) Ещё одна попытка:

О ком сии слова, сей отклик повторяю? —

Тире изображает напряженную паузу. Не оттого, что загадка трудна: разгадка слишком прекрасна. Но всё равно, дольше терпеть уже нельзя, чувство сейчас брызнет.

Но, на часах судьбы, пробил священный час:

Воскликнул стар и млад, и дружный россос глас

Гремит

(Ну подхватывайте же):

— Ура! ура! Монарху Николаю.

Как думаете — где напечатано? Правильно: в «Северной Пчеле».

Булгарин сводил вождя с образованщиной, промывая мозги одновременно ему и ей по тщательно продуманной системе.

Для образованщины каждый подобный текст раздвигал границы т. н. приличия, высвобождая таящийся в ней потенциал. (Дух соревнования, опять же.) Много значили фамилии. Фёдор Глинка — это, знаете, не пенис собачий, а — не слышно шума городского, в заневских башнях тишина, и на штыке у часового горит полночная луна! Или Лобанов М. Е. — мэтр стихотворного перевода (тотчас перед глазами, как наяву, — Семёнова в роли Федры), академик, — и вот, представляете, пишет про Николая I: Наук Хранитель, Любимцев Феба Покровитель, каждое слово — с прописной.

А, с другой стороны, почитать такие о себе мнения не последних в своём деле писак, — как по-вашему: приятно или нет? При всей вашей беспримерной скромности. При всём презрении к писакам вообще. Не застрянет ли у вас в голове, помимо вашей воли, пара-другая самых удачных рифм? не захочется ли новых — чисто для коллекции (о, сугубо приватной и, так сказать, виртуальной)? Нет, нет, никому не признавайтесь, но и не корите себя за якобы слабину. Дело-то — государственной важности. Такие

тексты объединяют образованщину. О, дайте ей совокупиться на платформе любви к вам, — жалко, что ли.

Сейчас Ф. В. всё вам объяснит — специальной запиской, — а в Конторе Фон-Фок переписшет своей рукой и представит (А. И. Рейтблат через 172 года опубликует):

«В № 146 “Пчелы” напечатаны прекраснейшие стихи Глинки, заключающие самую благородную и самую справедливую похвалу Государю. В доказательство, что честные и добрые люди любят Государя, служит то, что кроме выдаваемых экземпляров по годовой подписке более 50-ти человек приходило покупать от своих господ сей номер со стихами. Всем роздано даром. Пускай говорят, что журналы не действуют на общее мнение и что общее мнение не нужно! Поздравляю тех с большою проникательностью — в обратном смысле!»

Он дул и дул на заронённую искру неумоимо, — и после того как Пушкин сочинил наконец «Стансы», в 27 году, показался огонёк.

«Стансы» освободили образованщину от призраков. Ровно год и ещё одну неделю призраки исправно являлись на каждый бал, на каждую офицерскую попойку, — о литературных собраниях вообще не говорю: из-за нашествия призраков они вовсе прекратились. Призраки прятались за колоннами, их руки протягивались к бутылкам и бокалам, но хуже всего было то, что стоило музыке замолчать или разговору оборваться, в наступившей тишине слышались их голоса.

Крайне неудобно. Крайне неудобно. Кто-то должен был — кто же, как не первый поэт? — срочно найти и огласить хоть одну причину, по которой не стыдно их — ну, в общем, прогнать. В сущности, это так просто: всего лишь громко произнести один тост — и пригубить алкогольный напиток, улыбаясь и ясно глядя друг другу в глаза. Репрессированные в ту же секунду исчезнут (мы, современные люди, отлично знаем, что призраки обитают в голове и больше нигде, — а, например, не плетутся вот именно в эту минуту в шахту, придерживая руками невыносимо тяжёлую, невыносимо холодную цепь), — и жить снова станет легко, только подскажите причину, по которой это не стыдно.

А лучше — сразу тост! скажите тост! За милосердие, за великодушие — неуместно, поздно, — тогда за что?

В «Стансах» (написанных 22 декабря 1826-го) причина названа: Он хороший! хороший! к сожалению, горяч и на расправу скор, но, вот увидите, отходчив. Всё дело в генах: Он вылитый прадед — и, помяните моё слово, будет, как и Великий Пётр, совершенно замечательным руководителем. Некоторые не сразу поняли Его — и горько поплатились; бывают такие роковые недоразумения. Может быть, чем скорее мы на время забудем про этих несчастных — тем раньше Он их простит.

Тост провозглашался отдельно. Скажем, в июле 27-го Бенкендорф писал тостуемому:

«Пушкин, после свидания со мной, говорил в Английском клубе с восторгом о Вашем Величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье Вашего Величества».

Стало быть, к этому моменту всю прежнюю неловкость сняло как рукой.

Вот агентурный отчет о типичной пирушке писателей. 27-й год, сентябрь. Место действия — Петербург, в районе Владимирской площади, квартира Ореста Сомова. Повод — новоселье. Гости: Дельви́г, Булгарин, Греч, Полевой, цензор Сербинович, кто-то ещё, в том числе, сообщает агент, — «несколько лучших поэтов».

«Говорили о прежней литературной жизни, вспоминали погибших от безрассудства литераторов, рассказывали литературные анекдоты, говорили о цензуре и тому подобное. Издатель “Московского телеграфа” Полевой один отличался резкими чертами от здешних литераторов, сохраняя в себе весь прежний дух строптивости, которым блистал Рылеев и его сообщники в обществах».

(Ничего себе. А специалисты считают, что это булгаринский текст. Но всего несколько дней назад Булгарин, Греч и Полевой были в гостях у Свинына и вроде как помирились. Ладно, несущественно, читайте дальше: какая красота!)

«За ужином, при рюмке вина, вспыхнула весёлость. Пели куплеты и читали стихи Пушкина, пропущенные Государем к напечатанию. Барон Дельви́г подобрал музыку к “Стансам” Пушкина, в коих Государь сравнивается с Петром.

Начали говорить о ненависти Государя к злоупотреблениям и взяточникам, об откровенности его характера, о желании дать России законы, и наконец литераторы до того воспламенились, что как бы порывом вскочили со стульев, с рюмками шампанского, и выпили за здоровье Государя; один из них весьма деликатно предложил здоровье Цензора Пушкина, чтоб провозглашение имени Государя не показалось лестью, и все выпили до дна, обмакивая «Стансы» Пушкина в вино».

(А? Какова картинка? Картинка, говорю, какова! Не прямо ли по Гоголю, см. выше? Только немножко отдаёт чёрной мессой. И всё ещё приходится отплёвываться от призраков.)

«— Если бы дурак Рылеев жил и не вздумал беситься, — сказал один, — то клянусь, что он полюбил бы Государя и написал бы Ему стихи. — Молодец! — Дай бог Ему здорovie! — Лихой! — вот что повторяли со всех сторон».

План Булгарина сработал*. Николаевская эпоха на глазах становилась пушкинской (и наоборот) по взаимному согласию сторон. Репрессии прекратились, ожидалась реформа, открылись перспективы (получил же Гнедич за «Илиаду» персональную пенсию), совесть у образованщины совсем прошла, даже перестала поднывать.

Булгарин пригласил на обед Сомова, Дельвига, Пушкина. После с удовольствием докладывал Фон-Фоку:

«Шампанское и венгерское вино пробудили во всех искренность. Шутили много и смеялись и, к удивлению, в это время, когда прежде подшучивали над правительством, ныне хвалили Государя откровенно и чистосердечно. Пушкин сказал: меня должно прозвать или Николаем, или Николаевичем, ибо без него я бы не жил. Он дал мне жизнь и, что гораздо более, свободу. Виват!»

А, не правда ли, жаль, что Пушкин позволил себе такую плоскую остроту: что он — Николаевич? (Может быть, Булгарин — из наилучших, понятно, побуждений — пригнул? — Нет, пожалуй, не посмел бы.) Пустяк, а грустно. Но учтём смягчающее обстоятельство — венгерское вино. И что вокруг сексот на сексоте.

Вот и за Николая Полевого (который мне не сват, не брат и тем более не Пушкин) почему-то немного совестно, когда читаешь все эти глупости:

«Как Русский, пламенно любящий славу Монарха, видящий в Нём не только моего Государя, но и великого, гениального человека нашего времени, я уверен, что Его светлый ум знает и ценит все, даже и малейшие средства действовать на подвластный Ему народ, сообразно мудрым Его предназначениям».

Боюсь, нет никакой надежды, что он хотя бы отчасти кривил душой. Даже в этом, сугубо официальном документе. (29-й год, заявление генералу Волкову: Ваше Превосходительство изволили от имени Его Величества строго указать на перегибы, допущенные мною в фельетоне «Приказные анекдоты»; но если в пылу борьбы с коррупцией я и отклонился от линии партии, то это произошло нечаянно; чтобы впредь подобное не повторилось, прошу компетентные органы в Вашем лице просматривать мои статьи прежде чем они поступают в цензуру; это исключит возможность идеологической ошибки, а может статься, что и убедит Центр в чистоте моих намерений, далее по тексту.)

Ну да, у него была некоторая сумма политических надежд. Так сказать, программа Чацкого: ускорение, гласность, небольшая перестройка. Деколлективизация (по возможности без окулачивания), индустриализация (он говорил и писал: *индю*). Отмена номенклатурных привилегий. Ну и насчёт прав человека, особенно в сельском хозяйстве.

Но руководящую роль Семьи как ведущей и направляющей силы общества — он не ставил под сомнение никогда. Чего не было, того не было.

Уверяю вас: если бы он допустил в «Телеграфе» хоть одно высказывание, порочащее местный общественный и государственный строй, — барон Брунов, наш незабвенный крокус, при всём своём легкомыслии со всем своим тупоумием, — засёк бы непременно. С наслаждением выписал бы, дважды подчеркнув, — и на полях три восклицательных знака.

Но реально-то в его зелёной тетради — сплошная туфта; подтасовки и передержки, скучно и противно разбирать, я уже говорил.

Да и незачем: советские тоже проверяли — ничего не нашли. Не то ухватились бы обеими руками. Ввиду отчаянного дефицита революционных идей в России. Сами посудите: декабристы уже отмотали каждый по десятке, давно пора переходить ко второму этапу освободительного движения, — а Герцен всё ещё в пижаме, прихлёбывая остывший кофе, дочитывает повесть Николая Полевого «Блаженство безумия»*. Про, вообразите, любовь.

Ничего не попишешь: многие тогда предпочитали политике изящную словесность.

Граф Соллогуб (тот самый, что впоследствии по просьбе Панаевых выхлопотал Герцену заграничный паспорт) рассказывает в мемуарах, как он в 1835 году, служа в Твери, чуть было не овладел одной барыней:

— Все мы, золотая тверская молодёжь, за ней волочились, но я пользовался тем преимуществом, что знал главных представителей тогдашней литературы... Однако всякий раз, что я подходил к моей красавице с намерением и желанием завести нежный разговор, она опрокидывала на спинку кресла свою прелестную головку и томным голосом говорила: Ах, граф, говорите мне о Пушкине! или о Гоголе; или о Жуковском; ах, граф, говорите о Полевом!

Он, как дурак, рассказывал, упуская один удобный случай за другим, — а время уходило. Вскоре его отозвали в Петербург. Так и не овладел. Теперь, наверное, жалеют оба.

Кому как, а для меня хуже нет этих проклятых переходов — от параграфа к параграфу и даже между абзацами. Стоит позволить тексту оторваться от хронологии, как он начинает вихлять; разъезжается. И наводишь, настилаешь, прокладываешь эти, значит, литературские мостки. Пиши объяснительную главу: за каким чёртом понадобилась предыдущая. Да смотри не пропусти опять поворот на главную дорожку. По ней до последней точки, наверное, совсем недалеко.

Должно быть, я хотел сказать (оборот отнюдь не бессмысленный — означает: я больше не буду, не бейте меня), что т. н. культ личности — отличная отмазка для образованщины, особенно — литературной. Дескать, сознаюсь: я действительно, как говорится, изменила народу с царём, но это было роковое увлечение — амок, слышали такое слово? а этот ваш пресловутый народ ничего и не заметил, он всегда был ко мне абсолютно холоден; ему, если хотите знать, кроме царя, никто не нужен; и они остались друзьями, — а я? что делать мне?

Да и вообще, Застой — это режим измены. Опирается на спасительную способность человека предавать самого себя. Которую нельзя же доказать на деле, не предав кого-нибудь ещё. И характеры ломаются, как спички.

Тем приятней посмотреть на Николая Романова I. Да, он отключил доставшуюся ему страну от европейской истории, но это была не измена (разве он присягал? где, покажите, написано, что он не имел права остановить в России время хоть навсегда? предъявите документы!) — а глупость,

хотя и с трусостью пополам. Но уж зато личность свою (не путать с т. н. душой, насчёт которой ничего никому не известно) сохранил без единой царапины, и она вплоть до самого биоконца развивалась полно и гармонично.

Даже не знаю, найдётся ли в истории шоу-бизнеса другой такой же разносторонний талант. С таким потрясающим, например, чувством задника (см. т. н. фоновую застройку Петербурга, архитектуру периферийных обкомов и др.).

Приплюсовать доскональное знание машинерии, колонну ли воздвигнуть, эшафот ли.

А костюмы? Модельер уровня Николая сегодня считался бы мегазвездой, его небоскрёб в Эмиратах вознёсся бы выше всех Ю***-ых.

Взять хоть парадные платья придворных дам — т. н. русские, в смысле — народные (эскизы подписаны 27.02.1834).

Во-первых, сугубо национальная конструкция — как бы двухслойная: верхнее бархатное платье с откидными рукавами и со шлейфом имеет спереди, «к низу от талии» (какое, во-вторых, понимание фигуры!) — разрез, открывающий юбку другого, нижнего платья из белой материи по выбору носительницы. Бархат же (и это в-третьих: какое чувство иерархии цвета!) — у гофмейстерины малиновый, у статс-дам и камер-фрейлин — зелёный, у фрейлин — пунцовый, у наставницы великих княжон — синий, у фрейлин великих княжон — светло-синий.

С фрейлинами великих княгинь вышла секундная заминка: перебой фантазии, то ли бархата не хватило, — но тем изящней отыскалось решение: опять пунцовый, но с шитьём серебряным. Тогда как всем прочим по «хвосту и борту» верхнего платья, а также «вокруг и на переди юбки» — золотое, «одинаковое с шитьём парадных мундиров придворных чинов».

Ну и последний штрих, тончайший: девственница да имеет на голове повязку (цвет — по вкусу) и белую вуаль, а дефлорированные официально — кокошник, в крайнем случае — повойник.

Всё продумано до последнего крючка, до последней складки — чтобы радовать и радовать глаз.

И, напротив, с каким экономным трагизмом исполнен концепт «Смертник» (подписан не позже 12.07.1826):

— Когда они собрались, приказано было снять с них верхнюю одежду, которую тут же сожгли на костре, и дали им длинные белые рубахи, которые, надев, привязали четырёхугольные кожаные нагрудники, на которых белою краскою написано было — «преступник Кондрат Рылеев», на второй — «преступник Сергей Муравьёв», и так далее.

Там — акварель и гуашь, тут — чёрная тушь и белая бумага; но руку мастера не спутаешь ни с чьей другой.

И технику перевоплощения оттачивал изо дня в день. В трёх ролях: Очарователен, Недоступен и Громовержец. Чередуя их в произвольном порядке.

Скажем, с утра в приёмной зале, оглядывая придворную толпу, вдруг в какого-нибудь одного впериться взором, полным невыразимой ярости, как бы внезапно встретив смертельного врага; и только когда тот поймет, что разоблачён, — отвернуться брезгливо.

Днём его же, полумёртвого, высмотреть в последнем ряду, мизинцем шутливо так подозвать — и обласкать: поделиться идеей преобразования; спросить совета; передать привет супруге. Довести дурака до истерики счастья.

Часа через три, на балу, когда он поклонится, — взглянуть, как в перевернутый бинокль, не узнавая.

А назавтра сыграть в эту же игру (в обратной последовательности ходов) с кем-нибудь другим.

Творческая непоседливость: он же не мог спокойно смотреть на проходящий мимо взвод — руки, ноги, шея подёргивались — часто не выдерживал, бросался возглавить, показать идеальное равнение направо ли, налево, идеальный оттяг носка. То же и в вальсе, и на молебне: перфекционизм.

Одним словом, очень жаль, что Бенкендорф не догадался (руки не дошли — ну поручил бы кому-нибудь) создать шарашку, чтобы в ней самородки изобрели кино.

Положим, навряд ли Николай, даже осознав, для чего на самом-то деле рождён, бросил бы престол совсем. Привилегии, то-сё. (Например, он пристрастился читать чужие письма: как это обогащает синтаксис! Или — приятно при-

казать высесть какого-нибудь молодого и с самолюбием в глазах: гимназиста, кадета, пажа. Ну и что с дамами — без проблем.)

Но какую-нибудь простенькую конституцию — которая давала бы ему хоть немного свободного времени — ради искусства мог бы и подмахнуть. Ставил бы ценные фильмы. Вместо того чтобы управлять государством, как кухарка.

Как раб на галерах.

Как никто, ставший всем, — раз всё позволено.

Боялся лишь выстрелов, морских волн и крови.

Никоим образом не оказывая давления на независимый Верховный уголовный суд, просто поставил его в известность, что «никак не соизволяет не только на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь, одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы, и, словом, ни на какую казнь, с пролитием крови сопряжённую».

Ну а гарротта — как известно, не наш путь, про костёр же почему-то вообще никто не вспомнил. Сами видите: ничего, кроме виселицы, не оставалось; а вы бы предложили — что?

Вот и у образованщины практически не было выбора — предавать, не предавать. Изменять, не изменять по манию царя прежним друзьям и мыслям, не говоря — угнетённому народу. Увижу ль, о друзья? — нет, не увижу, и слава богу, потому что надо же как-то поднять детей.

Взрослый человек, когда становится всё ясно, живёт по формуле «3 Д»: Дети — Долги — Деньги. Не знаю, какие подставить вместо тире математические символы: раз Долги есть — значит, Денег нет? Но как бы то ни было, по ночам просыпаешься и думаешь о деньгах. Причём всю жизнь.

Почему-то Застой — это непоправимо низкая производительность труда и — простите зияние гласных — инфляция. И не в теории (опять зияние — и опять), а просто: доходы от имений падают, а цены растут (незаметно и неумолимо — как дети), на импортный текстиль в особенности.

Но и на транспорт, и на сено, и на жилплощадь с дровами.

В 33-м Пушкин съехал с квартиры в конце лета, уплатив за неё по август включительно; домовладелец, по букве контракта, требовал платы и за последнюю треть года; Пушкин его, естественно, послал; тот выкатил судебный иск, — а пока дело разбирается, извольте представить в суд оспариваемую сумму — тысячу с лишним рублей — либо равнозначный заклад.

Ну вы понимаете: август месяц, денег нет ниоткуда, даже и занять не у кого, — все на дачах.

Выручила — вообразите, Гоголь! — Седьмая ревизия: вовремя окончилась. И зарегистрировала в Кистенёвке несколько д. м. п. новых, — т. е. родившихся после Шестой. Заложена Кистенёвка два года назад и оценена, разумеется, по описям Шестой — в которых, стало быть, эти души не значатся, — конвертируй свободно! Вот он и выход: в обеспечение иска впредь до окончания дела представляю в силу своего права 7 свободных душ из моего имения, расположенного там-то. В случае чего продать их, и пусть г-н Жадимеровский подавится.

Ничего страшного. Им-то не всё ли равно. Россия — не Англия.

«Посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы тысяч пять или шесть народу и лишаящей их последнего средства к пропитанию... У нас нет ничего подобного. Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром; барщина определена законом; оброк не разорителен... В России нет человека, который бы не имел своего *собственного* жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет *свою* избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу: каждую субботу ходит он в баню; умывается по нескольку раз в день...»

Конечно, если те же семь душ стоит бальное платье (материя — сто р. за аршин; плюс индпошив, плюс фурнитура и вся эта блескучая чепуха), одноразовое фактически, а балы — каждый божий день (во всяком случае, каждый зимний), — то никакой крестьянской рождаемости

не хватит. Тем более — гаснущей. Сколько бы они там ни умывались.

— Опять в сторону! Опять про Пушкина! А где же этот несчастный Полевой?

Видите ли, несчастный Полевой — тоже жертва формулы «3 Д», даже числовые значения почти совпадают. А Пушкин — тоже жертва Застоя. Практически одинаковые обстоятельства, хотя один был гений, а другой — безусловно, нет, хотя всё-таки писатель не последний. Даже закрадывается подозрение, что автор(ша) истории литературы специально поставил(а) их в параллель: чтобы намекнуть, какой финал ожидал Пушкина, если бы он(а) не позволил(а) ему погибнуть на девять лет раньше. Позволил(а) — пожалел(а) любимчика. Вполне оправданная несправедливость, — вы и я тоже так поступили бы, — но это всего лишь художественный приём.

Ну а Полевому досталось по полной программе, и тут тоже не возразишь. В нищете, от отчаяния (опять зияние; а как избежать?) и геморроя — идеально логичная для литератора смерть.

Но совершенно, совершенно не обязательно было изображать его каким-то растоптанным червяком. Продавшимся (почему-то задарма) ренегатом. Лжедиссидентом, закономерно перешедшим в реакционный лагерь, так их мать.

А он ни лже-, ни просто диссидентом не был и ни в какой лагерь не переходил.

Вот уж кому клевета сопутствовала всюду. Переменялся только ветер клеветы.

Строго говоря, автор(ша) истории литературы тут как раз ни при чем. Он(а) оценивает каждого по его текстам. Хотя умеет, если надо, их забывать.

Что Полевой — невежда, жулик, опасный вредитель, лукавый сексот и, наконец (под конец), полное ничтожество, — уверял публику хор его врагов. У каждого из них был свой мотив — если разобраться, мелкий, конечно; литературная же т. н. среда.

А все эти СНОП и СНОБ не то что подхватили — а не сочли нужным возразить. (Хотя тоже знали правду.) Враги Полевого были почти все как один гении, классики —

либо приятели классиков. Поэты пушкинского круга. Революционные демократы. Принципиальные люди передовых убеждений. Кто был не с ними, тот, значит, был против них, т. е. заодно с негодяем Булгариным и примкнувшим к нему негодяем Гречем. В таком виде история литературы как школьный предмет доходчивей. А что некто Николай Полевой негодяем точно не был — ну не был. Но ведь и не герой? Ну хотите, запишем: одно время играл положительную роль, однако не выдержал её? Не всё ли равно? Кого теперь волнует его репутация? да и нет у него, считайте, репутации, раз никто не помнит. (Тем более, революционные демократы давно его простили. Пушкинский круг злопамятней.) Вот если бы он написал хоть один бессмертный текст, — стоило бы заняться реабилитацией, — но ведь не написал.

Ну, во-первых, и он разок-другой соединил несколько слов (а хотя бы и чужих) навсегда. Например:

— Но я любил её, как сорок тысяч братьев
Любить не могут!

А во-вторых, всё-таки слишком несправедливо. Слишком высокомерны эти классики, а обслуживающие их науки подобострастны. Полевой для Пушкина — невежда и двурушник, а какой-нибудь Вяземский — умница, стилист и даже моральный авторитет. Не наоборот ли случайно?

Наводим монокль на Вяземского.

Находим, что, действительно, году так в 20-м размышлял и он «о средствах, нам предстоящих, врезать след жизни нашей на этой земле упорной и нам сопротивляющейся, и нашёл одно: заняться теоретическим образом задачей уничтожения рабства... Если самим не придётся нам дожить до созрения сей мысли, то, по крайней мере, от признательных потомков счастливейших не ускользнёт память бытия нашего».

Когда турнули с госслужбы и финансы иссякли, взглянул на вещи под другим углом:

— Теперь, когда мужики оброка не платят, надобно попытаться, не дадут ли дураки, то есть читатели, оброка.

И уговорил Полевого вложиться в издание журнала: бензин ваш, Николай Алексеевич, идеи наши, прибыль пополам.

Через два года, я говорил, на него прикрикнули, он отскочил или, верней, отполз. И очень скоро — уже в 29 году — всё понял. Осознал. Сам, своим справедливо хваленым умом дошёл до диалектического материализма:

— Лучшее средство быть свободным под Самовластием есть служить Самовластию!

И постучался в заветную дверь. И его приняли обратно. Но ещё долго — пока не привык и не полюбил — единственным его утешением оставалась диалектика: употребляйте, употребляйте меня, ведь на самом-то деле это я — вас; поскольку ничего не чувствую и всю дорогу матерюсь в сердце своем. И мечтаю, мечтаю: как округлю имение, скоплю капитал, на худой конец — выслужу пенсион; имение — детям, а сам с капиталом и женой — адьё, немытая Россия! только ты меня и видела.

— Любовь к России, заключающаяся в желании жить в России, есть химера, недостойная возвышенного человека.

Свалить, свалить, причем — легально: чтобы активов не заморозили, не перекрыли канал поступлений. Чтобы культ личности отпустил по-хорошему. Но доверие надо заслужить, проявив патриотизм, а не носиться со своей гордостью, как с писаной торбой.

Вяземский проявил. И заслужил. А, скажем, Герцен пролез без очереди, хитростью и по блату.

А Пушкин не дожил. Хотя ярче всех выразил идеал осмысленного существования в эпоху Застоя: умереть, уснуть — очнуться лет через сто пятьдесят где-нибудь в Европе пенсионером — финским, немецким, японским:

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья,
— Вот счастье! вот права — —

Но живут же люди и без счастья, и без прав — даже без покоя и воли.

— Опять Пушкин!

Ей-богу, в последний — или в самый предпоследний — раз. Такое совпадение: весной 34-го он радовался, что «Телеграф» запрещён, — что Полевой, очевидно, сломлен, —

даже ходил к Уварову поздравлять с победой (заодно выбить Гоголю ставку в ЛГУ), — а летом царь сломал его самого. Причём без заранее обдуманного намерения; Пушкин нарвался сам. Ещё в феврале всё вроде бы складывалось ничего себе. Бенкендорф пригласил заглянуть, осведомился, как идёт работа над историей Петра, нет ли каких затруднений. Пушкин отвечал: работа идёт, но пришлось отвлечься на другую историю — пугачёвского бунта — единственно чтобы поправить материальное положение. Нет-нет, теперь-то всё будет хорошо: эта книга принесёт порядочный барыш, надо только где-то занять денег на типографские расходы. Отчего ж не у государя? — спросил, улыбаясь, А. Х., — и через несколько дней Пушкину выписали 20 000 — якобы на издание «Пугачёва», якобы займы и под процент; одновременно в гос. типографию поступило распоряжение напечатать «Пугачёва» за счёт казны.

Это было чрезвычайно кстати. В апреле Н. Н. с детьми отправилась в провинцию — повидать родных и поправить здоровье (неутомиomo танцевала весь сезон, но на последнем балу случился выкидыш), Пушкин, оставшись дома один, засел за корректуры. Очень скучал, очень беспокоился, писал к Н. Н. чуть не через день.

Николаю доставляли распечатку наиболее интересных писем каждую неделю, но ему, я думаю, нравилось проникать в почтовый ящик Пушкина самостоятельно. Сам угадал password, совсем несложный. Медицинские подробности в текстах его не шокировали, — ну как если бы он читал переписку собачек. Но в третьем же письме вместо «Христос воскрес!» (хотя 22 апреля как раз приходилось на Пасху) Пушкин позволил себе пассаж возмутительный (а ведь не мог не понимать, что его письма вскрываются):

«Все эти праздники просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать...»

Причина, что и говорить, убедительная; но посмотрите, что дальше:

«Видел я трёх царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал;

третий хоть и упёк меня в пажу под старость лет, но променять его на четвёртого не желаю; от добра добра не ищут».

По правде говоря, я никак не возьму в толк, из-за чего Николай так ощетинился. Прелестный фрагмент и совершенно безобидный. Добродушный. С искренней теплотой.

Подумаешь, какая дерзость — не считать совершенно невозможной мысль, что Николай Романов I в принципе смертен.

Однако факт есть факт — царь был настолько взбешён, что проговорился Жуковскому. Тот примчался к Пушкину — причитать и отчитывать. И тогда Пушкин взбесился тоже.

Сперва он подумал было на Н. Н.:

«Смотри, жёнка: надеюсь, что ты моих писем списывать никому не даёшь; если почта распечатала письмо мужа к жене, так это её дело, и тут одно неприятно: тайна семейственных сношений, проникнутая скверным и бесчестным образом; но если ты виновата, так это мне было бы больно».

Потом окончательно понял, в чём дело, и стал вставлять чуть не в каждое письмо такие замечания, что не хотел бы я увидеть лицо Николая, когда он сидит перед монитором и читает:

«Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство à la lettre. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности (inviolabilité de la famille) невозможно: каторга не в пример лучше. Это писано не для тебя; а вот что пишу для тебя. Начала ли ты железные ванны?...»

Или вот так:

«...будь осторожна... вероятно, и твои письма распечатывают: этого требует Государственная безопасность».

Однако довольно быстро его возмущение прошло, — нам ли не понимать? Привыкаешь. Презираешь.

«На *того* я перестал сердиться, потому что toute réflexion faite, не он виноват в свинстве, его окружающем. А живя в нужнике, поневоле привыкнешь к г..ну, и вонь его тебе не будет противна, даром что gentleman».

Это было уже из рук вон, и Николай, увидав Жуковского, моментально переходил в режим «Недоступен», а Жуковский каждый раз после такой встречи бежал к Пушкину и кудахтал, кудахтал.

25 июня Пушкин попросил (через Бенкендорфа) отставки, но с правом посещать архивы (чтобы «Историей Петра» отработать долг). Николай (через Жуковского) передал, что никого не удерживает, но в случае отставки «всё между нами кончено».

В свете формулы «3 Д» это значило: кончена жизнь.

Пушкин (через Бенкендорфа) отозвал свое заявление.

Трижды.

В первый раз и во второй Бенкендорф (через Жуковского) сообщал ему, что извинения его звучат сухо и неискренне. Нет, твой голос нехорош, слишком тихо ты поёшь.

С третьей попытки (6 июля) Пушкин попал в нужную тональность. Цитировать не хочу, но важно осознать, чего они все от него требовали: извиниться не за выпады в письмах — о них никто, кроме Жуковского, не произнёс ни звука, — а за то, что он воображал, будто имеет право на тайну личной переписки. За то, что осмелился предполагать, будто на отца нации распространяются правила жалкой дворянской чести. За неблагодарность. За просьбу об отставке.

На то и Застой, чтобы абсурд обязательно был унижительным, а унижение — абсурдным. Ничей рассудок не устоит.

Резолюция царя:

Я ему прощаю, но позовите его, чтобы ещё раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем всё это может кончиться; то, что может быть простительно двадцатилетнему безумцу, не может применяться к человеку тридцати пяти лет, мужу и отцу семейства.

Бенкендорф позвал и объяснил. И с тех пор Пушкин до самой осени 36-го вёл себя хорошо. Очень осторожно. Если не считать стихов на выздоровление Лукулла.

Правда, в 35-м опять попросился было в отставку — чуть ли не Христом Богом заверяя, что ну совершенно ничего не имеет в виду, кроме необходимости поправить расстроенное

состояние. Но именно так его и поняли. Бенкендорф записал: *Есть ли ему нужны деньги Государь готов ему помочь, пусть мне скажет; есть ли нужно дома побывать, то может взять отпуск на четыре месяца.* И Пушкин сказал: да, денег; и отпуск; ему дали отпуск и десять тысяч, а долгов было уже на шестьдесят; он подумывал — не попросить ли сразу сто, — не решился — намекнул, что спасли бы шестьдесят, — получил тридцать.

Только-только на ликвидацию мелких долгов и реструктуризацию крупных.

Законодательство в этом разделе отличалось простотой и неумолимостью. Не слабей, чем в т. н. цивилизованных странах.

Любой, у кого имелась ваша долговая расписка с проставленной датой, мог по истечении указанного в ней срока явиться в ближайшую к вашему местожительству полицейскую часть и заявить: так и так, прошу защитить мои права.

За вами тотчас посылали участкового (ну или если вы почётное лицо — скажем, знаменитый литератор, камерюнкер, — к вам в тот же день приезжал частный пристав, чтобы спросить): намерены ли вы немедленно удовлетворить законное требование кредитора.

И если нужной суммы у вас при себе не имелось, а кредитор ни в какую не соглашался на отсрочку, — полиция обязана была тут же вас задержать, а имущество ваше опечатать (и описать, и выставить на торги, и т. д.).

Разумеется, с почётными лицами так поступали неохотно; обеим сторонам конфликта настоятельно рекомендовали найти другое, полюбовное решение; и если у кредитора оставалась надежда получить когда-нибудь всю требуемую сумму сполна (скажем, если вам в относительно недалёкой перспективе светили крупный гонорар или наследство — какое-нибудь Михайловское или Болдино), — он обычно соглашался — за некоторое количество наличных — обменять просроченную расписку на новую, с другой датой. (Надо ли пояснять, что и с другой, несколько возросшей суммой?)

Но мог и заупрямиться — мало ли почему. (Вдруг он, как Шейлок, — сионист и русофоб. Или, наоборот, как Скупой

рыцарь: ничего личного, только бизнес. Хотя всё не так просто: на самом деле у старого Барона тоже была сверх-идея: сорвать наступление нарождающегося капитализма.)

А закон был на его стороне. А на вашей — только связи и знакомства. И в принципе с вами могли и даже обязаны были поступить по закону, причём сразу. А чтобы подключить связи и знакомства, нужен был хотя бы день-другой.

И этот день-другой, сколь падающей ни выглядела бы применённая мера пресечения, лишали вас — нет, разумеется, не чести, как при неуплате карточного проигрыша, а так называемого доброго имени; ваша репутация делалась несколько скандальной, причём навсегда; несколько неприличной; вы становились человеком отчасти жалким; отчасти же — как это ни странно — смешным. Человеком, побывавшим под арестом; в кутузке; в чижовке; в яме; в отеле «Тарасов». Ещё нестерпимей: блики жалкого и смешного падали на вашу семью — жену, детей.

И все ваши связи ослабевали, и знакомства приобретали другой вид; на лицах читалось другое выражение. У Шекспира есть про это стихи: оленя ранили стрелой, он шатается, он падает, окружающие лани и сопутствующие олени порскают прочь, огибая его, как неодушевлённое препятствие, — как бы резвяся и играя, — так трусливые мещане не видят в упор соседа, объявленного банкротом.

Называлось — позор. Позора — боялись. Считалось, что он хуже смерти, — на которую, впрочем, похож:

Она, как втёршийся с утра
Займодавец терпеливый,
Торча в передней молчаливой,
Не трогалась с ковра.

Поживите-ка сколько-то лет, изо дня в день, под такой угрозой. Попишите-ка лит.-худ. тексты, помня: совсем рядом, прямо за дверью вашего кабинета вас упорно дожидается Позор.

Ну а что бы вы хотели? Чтобы было — как? Разве не провозгласила СНОЛИ¹ на первом съезде ССП в 1934-м (ещё молодая, пышнобёдрая, железы распирают жакетку,

¹ Советская наука о литературе.

глазки из-под очёчков боевито искрятся) этот закон судеб: лит.-худ. тексты способны доставить своим производителям стабильный доход лишь в условиях социализма?

И разве собственная твоя жизнь, мой усталый, страдающий, навряд ли читающий данное сочинение брат, — его не подтверждает?

Лишь отчасти. Тут какое-то логическое увечье. Не закон, а возведённое в закон исключение. Неправильный силлогизм вида «нигде кроме, как в Моссельпроме». Взять увядший первомайский воздушный шарик, оттянуть ему щёку и как можно туже, но аккуратно перевязать образовавшуюся перемычку ниткой. Получатся две не сообщающиеся (допустим) сферы: шарик и волдырёк-пузырёк. А теперь скажи, о молекула углекислого, предположим, газа, побывавшая там и там: не правда ли, термодинамика волдырька не в пример благоприятней, чем шариковая? Ну вот и описывается соответствующей логической фигурой.

Что чего-то (скажем, подразумеваемых лучшим из талантливейших — или талантливейшим из лучших — ветчины и пива «Трёхгорное»; или покоя; или счастья) нет нигде и / или не будет никогда — абсолютно не противоречит опыту, т. е. привычке к дефициту и энтропии. А неудивительное представляется как бы понятным. Чего нет — того, значит, нет, и всё.

Но вот насчет того, что якобы есть — например, якобы есть такой Моссельпром, в котором «Трёхгорным» залейся и ветчины завались, — как не поинтересоваться: неужели? а, собственно, почему? по какой такой постоянно действующей причине?

А ни по какой. Это же реклама. Разве можно верить пустым словам балерины?

Извините. Что соцреализм экономически выгодней критического — бесспорный факт. Соцромантизм и тот прибыльней обоих буржуазных — активного и даже пассивного. (СНОЛИ энергично кивает кудряшками с завивкой перманент.)

Но, во-первых, преимущество сохраняется лишь до тех пор, пока не разорился генеральный дистрибьютор. Во-вторых, соцреалисты очень часто и очень быстро спиваются.

Поскольку тогда же, в 1934-м, были предупреждены: у вас будет всё, кроме права писать плохо. Платить будут не за сырьё, поступающее из-под пера, а за очищенный продукт. Поддерживающий в потребителе силу мышления на уровне не выше — как и планировал Уваров! — среднего школьного. То есть литгонорар начисляется одновременно с надбавкой за наивность — за святую (не путать с неслышанной) простоту — или не начисляется вообще.

Всю дорогу, до гроба, валять дурака (аллегорически говоря, не носить брюк в доказательство того, что вы считаете себя находящимся в раю и притом на положенном расстоянии от запретного древа) — нет, знаете ли, это не синекура. У кого ум действительно наличествовал — уходил на подавление себя (и стыда) буквально весь. Так что фактически литгонорар в СССР и в странах народной демократии включал в себя две теневых зарплаты: актёра и цензора. Уверенно овладевшие навыком — или наделённые природным талантом — совмещать эти ремёсла, имели, конечно, фору и бывали поощряемы дополнительно. Но уставали страшно. Литературу типа советской не делают в белых перчатках. Умей вертеться.

А также терпеть, видеть, ненавидеть и зависеть от.

Боюсь, Пушкину и тут не светило. При Хрущёве и Брежневеве Пушкин, скорей всего (если бы при Ленине или Сталине не был убит), ездил бы в Комарово или Переделкино на электричке. Изнывая от безнадежной зависти к Пастернаку и Корнею Чуковскому, не говоря уже о Толстом А., Федине К., Леонове Л., Михалкове С. (и Н.), Тихонове Н., Симонове К., Маркове Г., Прокофьеве А., Евтушенко Е. и мн., мн. др.

В своё время он тоже не имел такого, как у них, достатка. Ни такого комфорта. Ни сбережений.

Но из них-то почти никто не сумел бы заработать в его время литературой даже на трёхразовое питание. Разве что Толстой — переводя для журналов с французского — да Пастернак — с немецкого; ну и Чуковский — рецензиями в «Северной Пчеле» и в «Литгазете». Конечно, из остальных тоже никто бы не пропал: их скромные, но уютные карьерки — каждому по способностям — приятно вообразить. Но чтобы материальный успех зависел от сбыта сочинений? вы серьёзно, что ли?

А Пушкин продержался на позиции профессионального писателя с 27-го по 31-й — более четырёх лет подряд!

Правда, у него-то (именно — как у советских) как раз был генеральный дистрибьютор. Ну — постоянный покупатель. Идеальный: готовый платить вперёд и подолгу ждать. Без претензий, без фантазий, без амбиций. Соблюдая презумпцию гениальности автора. Короче говоря, Смирдин Василий Филиппович. Мужичок в скюртучке. Миллионер типа Сороса или Монте-Кристо. Последний тамплиер.

Правда и то, что за эти четыре года Пушкин всё-таки нажил неизлечимый долг — но оттого, что позволял себе разорительные развлечения.

А работал, будучи гением, только когда хотелось; когда находила, как он выражался, дурь.

Чтобы понудить его выполнить плановое задание в кратчайшие сроки, кое-кому, как мы помним, пришлось задействовать главный регулятор — Matrimonium, великий институт.

Воздействие которого на творчество и на жизнь бывает, однако, непредсказуемо. Вплоть до того, что всё может внезапно прекратиться чёрт знает из-за какой ерунды: случайного обстоятельства, ничтожного человека. Из-за чужих страстей.

Таких, как, например, вторая из страстей нацлидера (первая, понятно, — к парадам): танцевать.

(А не то, что вы, может быть, воображали. Слостолюбие стояло, полагаю, где-то месте на пятом, уступая театру и телесным наказаниям. Разумеется, приятно сознавать, что все дамы в зоне видимости — твои; забавно иногда мимолётно осчастливить без урона для первичной ячейки общества; но и только.)

Придворная жизнь представляла собой чемпионат по бальным танцам. Два сезона в год, в каждом сезоне ежедневно два раунда — дневной и ночной, — в антрактах все участники и зрители переодеваются.

См. фрагмент светского репортажа из Зимнего дворца (декабрь 36-го). Корреспондент (А. И. Тургенев) особенно хвалит игру оркестра:

«Я не знал, слушать ли или смотреть на Пушкину и ей подобных. Подобных! Но много ли их? Жена умного поэта

и убранством затмевала других; как супруга пышного лорда — бриллиантами и изумрудами. У ней спросили, много ли у ней ещё здесь бриллиантов. “К вечеру готово другое платье, унизанное другими камнями”, — отвечала она».

Оклад пушкинского жалованья тянул на пять платьев. (Возможно, я ошибаюсь — но навряд ли грубей, чем раза в полтора.) Денег, получаемых, согласно контракту, от Смирдина, хватало ещё на семь.

Ещё, по крайней мере, одно платье было пошито сверх контракта — из стихотворения «Гусар». Ср. текст интервью, взятого модным писателем Иваном Панаевым (начало 1850-х) у нищего старика по фамилии Смирдин:

— Я пришёл к Александру Сергеевичу за рукописью и принёс деньги-с; он поставил мне условием, чтобы я всегда платил золотом, потому что ихняя супруга, кроме золота, не желала брать других денег в руки. Вот Александр Сергеевич мне и говорит, когда я вошёл в кабинет: рукопись у меня взяла жена, идите к ней, она хочет сама вас видеть. И повёл меня. Постучались в дверь, она ответила — входите. Александр Сергеевич отворил двери, а сам ушёл. — Я для того вас призвала к себе, — сказала она, чтобы вам объявить, что вы не получите от меня рукописи, пока не принесёте мне сто золотых вместо пятидесяти. Мой муж дёшево продал вам свои стихи. В шесть часов принесите деньги, тогда получите рукопись. Прощайте. — Я поклонился, пошёл в кабинет к Александру Сергеевичу и застал его сидящим у письменного стола с карандашом в одной руке, которым он проводил черту по листу бумаги, а другой рукой подпирал голову, и они сказали мне: что? с женщиной труднее поладить, чем с самим автором? Нечего делать, надо вам ублажить мою жену; ей понадобилось заказать новое бальное платье, где хочешь, подай денег... Я с вами потом сочтусь.

— Что же, принесли деньги в шесть часов?

— Как же было не принести такой даме?

По-видимому, на платье пошла и «Пиковая дама», напечатанная в «Библиотеке для чтения»; кстати, Сенковский платил авторам опять-таки деньгами Смирдина.

Таким образом, на всё остальное (на квартиру, на дачу, на одежду повседневную, на еду, на транспорт, на прислугу,

на бельё, на книги, в конце концов) не оставалось ровно ничего. Занимать и занимать. Извиваясь на крюке у мафии ростовщиков. В прямом смысле безумный образ жизни. Пушкин пытался его переменить.

Представьте себе, если можете, физиономию императора, читающего в письме Пушкина к Н. Н. пересказ разговора с акушеркой:

3 августа 1834. На днях встретил я М-те Жорж. Она остановилась со мною на улице и спрашивала о твоём здоровье, я сказал, что на днях еду к тебе pour te faire un enfant. Она стала приседать, повторяя: Ah, Monsi? Vous me ferez une grande plaisir. Однако я боюсь родов, после того, что ты выкинула. Надеюсь, однако, что ты отдохнула.

Отдохнула. Забеременела. Всю зиму опять плясала до упаду.

Тем не менее детей стало уже трое. Будет и четвёртый, само собой.

Предполагалось, что рано или поздно они — как это сформулировано в некотором стихотворении? — да, вот именно: позовут её внимание. Но пока что выходило так, что благодаря им в уме Пушкина образовался новый воображаемый страшный сюжет. Как будто лица детей тоже смотрели на него из сонма кредиторов. Им-то, детям, он оставит — что? Их оставит — с чем?

— Утешения мало будет им в том, что их папеньку схоронили, как шута, и что их маменька ужас как мила была на Аничковских балах.

То есть он всё чаще стал задумываться о своей смерти. Есть в уме такая стрелка, которая мысли о детях, деньгах, долгах автоматически переводит на эту, четвёртую, тему.

И вот отчего такая прекрасная вещь — «На выздоровление Лукулла»: написана про самое, самое важное в переживаемый момент, хотя на вид — совсем о другом; и четыре мучительные темы разыграны в освобождающей комбинации; остановите реквием (ср. музыкальный ход в «Памятнике»: мнимую торжественность, дезавуируемую финалом.); отбой ложной тревоги; бодрится врач, поднимая очки. Беда прошла, как дождь, и яркий свет заливает последнее радостное стихотворение Пушкина.

А не злорадное, как думает недалёкая СНОП. Не оценила. Принимает за эпиграмму со взбитыми сливками под соусом антик. Месть Уварову, неодобрительно отзывавшемуся об «Истории пугачёвского бунта». Заодно — бичевание нравов придворной камарильи. Лучше бы СНОП что-нибудь в этом роде хоть раз буркнула про «Утро в кабинете знатного барина». А то: если Полевой написал — значит, пасквиль, а если Пушкин — бескомпромиссная политсатира, хоть сейчас в окна РОСТА. А ведь жанр — один и тот же, а вся разница только в том, что Пушкин — гений.

Зато оценил — Уваров. Каков бы ни был его IQ. И хотелось ему теперь только одного: чтобы где-нибудь — в Англии, в Германии, в Америке — как можно скорей создали атомную, лучше водородную, бомбу и чтобы агенты Бенкендорфа её украли. Сергей Семёнович нашёл бы способ уговорить императора привести её в действие. В крайнем случае, сам украл бы и сам взорвал. Мир не должен был больше существовать. Пока мир существовал, в нём находились эти восемь невозможных строчек, внутрь которых словно и не Пушкин, а какой-то демон поместил Сергея Семёновича, как в игрушечную клетку из золотой проволоки — подкованную блоху! Сила шока от такого внезапного сокращения в размерах как бы останавливает в человеке кровь. Мёртвыми глазами он глядит на этого нового себя и не верит, что этот он — действительно он; что это его трактуют в таком регистре:

Он мнил: «Теперь уж у вельмож
Не стану няньчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож;
В подвалах, благо, есть излишек.
Теперь мне честность — трынь-трава!
Жену обсчитывать не буду,
И воровать уже забуду
Казённые дрова!»

Что примечательно: сама-то по себе эпиграммка — так себе. Обыкновенный водевильный куплет. Покойный Александр Писарев такие сочинял дюжинами. Каратыгин-младший тоже умеет. А у Некрасова будут и получше. И все забыты на второй после спектакля день. Но чутьё коллек-

ционера классических древностей (и / или чутьё клопа, наступившего на формулу карбофоса) сразу сказало Сергию Семёновичу: спасения нет. Не оттого, что Пушкин, даже не оттого, что про Уварова, — скорей наоборот: как раз оттого, что куплет появляется и, насвистывая, уходит, а тем временем весь театр стихотворения всплывает над землей, как стратостат, — оно бессмертно. Пушкин отнял у Сергия Семёновича любимую мечту — о кресле в VIP-ложе ноосферы. Пушкин, как и мир, не должен был долее существовать.

Кстати: хотел бы я знать, кто передал Пушкину, что Уваров «кричит» о его книге, что она — идейно не выдержанная? Кто-то из тех, при ком Уваров это «кричал», или из тех, кому они шепнули про это. А где Уваров мог настолько распоясаться? не при дворе же и не в гостинных большого света — там его не поняли бы: книгу, как-никак, редактировал и в неё свои, т. е. казённые, деньги вложил не кто-нибудь, а известно кто. Своими дерзкими мыслями на этот счет Сергей Семёнович мог поделиться разве только с верным дундуком на коллегии Главлита — либо высказал их в своём Минпросе, на заседании проф- или парткома. Где, конечно, присутствовал, как представитель ведомственной многотиражки, некий многообещающий молодой чиновник в густых бакенбардах. Томился, ожидая окончания рабочего дня: вечер ему предстояло провести в большой литературе — в гостях у Жуковского — или у Плетнёва — или у Одоевского; Пушкин обещал взять его с собой и представить.

Ну и насчёт стихотворения: кто подсказал Уварову (или шепнул тому, кто подсказал), что адресат — он, а отправитель — Пушкин? Печатая «К Лукуллу» в «Московском наблюдателе», Погодин знал только — чьи стихи. Но когда Пушкин вкладывал в конверт письма к Погодину листок с этими стихами, по его кабинету прогуливался, ожидая поручений, полезный молодой человек в густых бакенбардах. Пушкин не удержался — показал ему листок. Чего доброго — и пояснение дал. Молодой человек запомнил стихи, выслушал все поручения и побежал к месту службы, в Минпрос.

Многообещающего звали Андрей Александрович Краевский. Погодину он вскоре написал так:

«А зачем “Наблюдатель” напечатал стихи *На выздоровление Лукулла*? Не хорошо. Я порадовался было, когда Пушкин сказал мне, что получил из Москвы известие об отказе “Наблюдателя” принять его стихи; а потом через неделю получаю 14-ю книгу “Наблюдателя”, где стихи уже тиснуты. По-моему, это — большая неосторожность. На Пушкина смотреть нечего: он сорви-голова! Третьего дня получил он от Государя позволение издавать журнал вроде Quarterly Review, четырьмя книжками в год, и начинает с Марта».

Страшен сон, да милостив Бог. Всё ещё может перевернуться. Как будто жизнь качнётся вправо, качнувшись влево.

Нужны 80, лучше 100 тысяч. Не займы: чтобы аннулировать долг, а не чтобы удвоить. То есть, разумеется, желательней всего — займы, с отдачей лет через двадцать и без процентов. Выдать такую ссуду мог бы царь. Или Смирдин. Царь не то недопонял, не то недослышал: громче и жалким голосом надобно его просить. К Смирдину обращаться неудобно, да нет у него, наверное, свободных денег, все в обороте.

Короче: достать требуемую сумму негде. Остаётся — добыть. Заработать. Как Смирдин, как Булгарин с Гречем, как ещё недавно Полевой. Взять лицензию на периодическое издание. У «Библиотеки для чтения» не то пять, не то семь тысяч подписчиков; издатель — Смирдин, редакторы — Сенковский и Греч. Какова же будет подписка на журнал, которого издатель и редактор — Пушкин?

Он запросил и легко получил разрешение издать в 36 году четыре тома статей под общим названием «Современник».

Гораздо разумней было заняться наконец историей Петра. Написать гениальную книгу, получить награду — орден, камергерский ключ, выездную визу; авось решился бы и финансовый вопрос. Но книга — это несколько лет работы. Кредиторам надоест так долго ждать.

В год падения «Московского телеграфа» детей у Н. А. П. было семеро: Вольдемар (т. е. Владимир), Наполеон (т. е. Никтополион; именины, значит, 3 ноября), Лиза, Наташа, Анета, Сергей, Алексей.

Жена, тётца (Муттер), свояченица (Немочка). Итого сам-одиннадцать.

Даже при московской дешевизне (с поправкой, однако же, на повсеместный рост цен) меньше как десятью тысячами в год, по-моему, не обойдёшься.

Журнал, пока существовал, приносил тысяч семнадцать, — и можно было выписывать заграничные издания, устраивать дома литературные вечера, учреждать стипендии в Коммерческой академии, летом вывозить семью на дачу. Но сбережений — никаких.

Долю в семейном ликёро-водочном бизнесе выкупил старший брат, вырученные за неё деньги ушли мгновенно и незаметно. Ликвидация журнала — одни убытки. Нестойки, то да сё. Переезд на новую квартиру. В утешение обманутым подписчикам «Телеграфа» издать «Русскую Вифлиофику» (ценнейший, между прочим, сборник редких документов, услада антиквара) — ещё несколько тысяч долл. Но поступить иначе — после казуса 29 года с ИРН ну никак было нельзя. (Какая это была злосчастная глупость — объявить подписку по такой цене: 40 р. асс. за двенадцать томов. Собранных денег едва хватило на четыре; доходов от журнала — ещё на два. А седьмой и восьмой — тоже готовые — так и пропали.)

Короче говоря и простоты вычислений ради, примем, что состояние Николая Полевого к концу 1834 года было равно нулю. И, значит, первая забота была — занять. Просто на жизнь. На ёлочные игрушки. Десять тысяч под 12% годовых.

(Кредит, слава богу, был. Его имя стоило дороже каких-то десяти тысяч. В книжных магазинах лежали пятый и шестой тома ИРН, роман «Аббадонна», сборник повестей «Мечты и жизнь». Плюс остаток тиража предыдущих томов ИРН и предыдущего романа — «Клятва при гробе Господнем». И всё это расходилось довольно бодро.)

А чтобы вернуть долг как можно скорей — сразу же затеять новое повременное издание. Типа «National Geographic». По правде говоря, Н. А. его не придумал, а слизал с британского «Penny Magazine»: в Лондоне заказываем политипажи с изображениями всевозможных достопримечательностей,

чудес света — зданий, растений, животных, машин, — а к ним пишем (чаще — переводим) сопроводительные статьи, как можно занимательней, — успех обеспечен; верный, а пожалуй, и существенный доход.

Разумеется, Уваров не позволил. Идею (не пропадать же идее) пришлось подарить: издателем «Живописного обозрения» сделался известный типографщик, г-н Август Семен, и этот журнал процветал, радуя детвору обеспеченных семей, несколько десятилетий, — а Николай Полевой сколько-то месяцев был его негласный редактор и основной (но анонимный) автор.

В общем, пришёл его черед проверить на себе упомянутый закон судеб.

На этот раз чистоту эксперимента можно было бы признать почти идеальной. Вот писатель. Ему даны: отдельная комната, стол, канцелярские принадлежности, умственные способности, навык составлять фразы. Спрашивается: достаточно ли ему всего этого для безбедной, хотя бы и скромной, жизни в XIX веке, в России? При условии, конечно, что он будет стараться.

Он старался. За один лишь 35-й год написал три тома (из предполагаемых четырёх) «Русской истории для первоначального чтения», первый (из предполагаемых двух) том биографии Христофора Колумба да ещё перевёл несколько томов огромного французского травелога. Это не считая мелких статей для «Живописного обозрения».

Но в задаче ничего не сказано о детях. А семеро — это же системный фактор!

Прокормиться пером (или иглой; или шилом) в одиночку — это не фокус — по крайней мере пока на товар есть хотя бы минимальный спрос (в крайности — переводы детективы, пятачок пучок).

А ты попробуй в отсталом, кастовом обществе, сверхрезким рывком поднявшись из придонного слоя, поддерживать статус, которого добился талантом, трудом и деньгами, — поддерживать его, говорю, теперь уже без денег, только талантом и трудом. Чтобы жена одевалась, как дамы из общества, и сыновья получили хорошее образование, а дочери — возможность выбора, — и всё это исключительно

на твои гонорары. Что ещё ты там бормочешь? Оставить детям в наследство незапятнанное имя? Ну-ну.

Один сын скоро умрёт, другого посадят. Будут и ещё дети. У них, наверное, появятся свои и тоже умрут, и т. д.* От всех от них останется лежать в траве чёрный каменный брусок не более как в локоть высотой, а верхняя грань — примерно с ладонь. На грани выщерблено мелким почерком: *П. Н. Полевой с правнуком Анатолием*. И никаких дат. П. Н. — это Пётр, один из троих самых младших; соратник Писарева (Дмитрия; вы с его дядей в 20-е годы так жесточно пикировались) и тоже литератор (посредственный, увы). Анатолий, надо полагать, был строителем социализма. Как они с прадедушкой отыскиали друг друга в траве, кто же знает; повезло. А вам с Алексеем — не особенно.

Насчёт же незапятнанного имени — хотите стишок? Слушайте:

Нет подлее до Алтая
Полевого Николая,
И глупее нет от Понта
Полевого Ксенофонта.

Толком, собственно, и неизвестно, кто сочинил. Напечатано впервые за бугром в книге неизданных стихотворений Пушкина, 1861 год. Вяземский, пользуясь служебным положением (в это время он был уже зам. министра, представьте, руководитель Главлита), конечно, добыл этот том; в его экземпляре возле этого четверостишия помета его рукой: *Соболевский*. (Вы ведь с Соболевским были приятели, верно? Ну вот; одна из родственниц г-жи СНОП так и поясняет в примечании: типичная дружеская эпиграмма. Но учтите: Вяземский — мемуарист не самый правдивый.)

Чтобы этот камушек лёг в эту траву и над ним прохаживать мог припомнить эти чудные рифмы, детей надо было покамест кормить и одевать и покупать им книжки, и возить в гимназию.

А не просто — как третьему подопытному г-жи нашей Авторши — сочинять без передышки и с оказией отсылать исписанную бумагу в Петербург или Москву, а там Греч или Полевой напечатают и отдадут все деньги сестре, а она

разделит поровну и разошлёт братьям. Ему-то, литератору Марлинскому, не нужно ничего, потому что по жизни он — рядовой Бестужев и погибнет через минуту или завтра.

Ему не надо уговаривать ростовщика одолжить ещё десять тысяч, поскольку, дескать, вы же понимаете обстановку: книжный рынок и так-то тесен и перегрет, а «Библиотека для чтения» совсем его обрушила. Эту сумму, о которой мы говорим, должен был дать перевод «Путешествия Дюмон-Дервиля», — и, действительно, книгопродавец Улитин купил весь тираж — но в рассрочку; а чуть не на следующий день объявил себя несостоятельным и прекратил платежи; труд целого года ушёл за несколько клочков бумаги: по этим распискам ничего не получить. Но я имею серьёзную надежду на весьма значительный грант, который безусловно позволит мне привести в порядок все мои дела. В частности — вернуть сумму, о которой сейчас вас прошу, сполна и даже раньше условленного срока.

Теперь долг только по этим двум векселям составил 20 тысяч. (Притом что на руки получено, за вычетом процентов, тысяч 17.) В сущности, всё уже было неправимо.

Если бы сразу же, тогда же, в 34-м, он вступил в службу (советовали! настойчиво предлагали) в какой-нибудь архив или мануфактурный комитет, к 37-му имел бы чин (обещали продвинуть быстро), достаточный, чтобы преподавать. Хоть в Дворянском полку, хоть в Межевом институте, да мало ли заведений, неподведомственных Минпросу. А по совместительству — в той же Коммерческой академии. Нормальные деньги, непротивная работа, разные дополнительные выгоды (максимум лет через десять — потомственный дворянин, плохо ли? очень облегчает детям жизнь). Писать — как все: в свободное время — да на здоровье.

Но скажем прямо: заносчив, самонадеян, высокомерен был внутри себя этот кроткий человек. Слишком дорожил своим именем. Воображал, что Николай Полевой — это звучит гордо. Что быть Николаем Полевым не может никто другой. А губернским, допустим, секретарём — кто угодно.

Чуть ли не надеялся он своим примером поднять самооценку недворянской молодежи. Или даже — вообще престиж среднего класса. Опять же, полагался на свои дарования, познания, работоспособность.

Скоро он понял, что это был ошибочный расчёт.

Но уже в конце 35-го сворачивать было поздно. С двадцатитысячным-то долгом. Это ведь тот же рак: не избавиться от опухоли своевременно — пиши пропало.

Оставалась надежда на грант, действительно. Но только она одна.

§ 16. НЕЧТО О ЛИЦЕ. ОСЬ ВРЕМЕНИ. ЕВРОПЕЙСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Накинуть, что ли, на него внешность. Чтобы, значит, из ФИО кто-нибудь как будто глядел, и хорошо бы — не урод.

Ишь когда спохватился.

А — не хотелось разводить ЖЗЛ. Мы тут всего лишь разбираем инцидент из истории мнений. Какая исписанная бумажка какую бьёт.

Что ещё остаётся — по крайней мере, от нас, от мнителей, счастливых праздных? Наши бумажки (если не успеем сжечь) плюс бумажки про нас — насколько мы были скучней даже наших бумажек.

Мнения у него, видите ли, были. Чёрта ли в его мнениях. Тем более он их, говорят, переменял, как перчатки.

Ну или, предположим, не переменял.

Правда не волнует: мало ли правд. А справедливость лицеприятна. Изволь задобрить. Кто не виноват — должен быть хоть немного симпатичен. Ср. канон иконописи: толстых, например, мучеников не бывает; ни курносых; ни мучеников — коротышек.

Без выраженных физических недостатков, однако с какой-нибудь особой приметой (беллетристика и сыск тоже на том стоят) — разумеется, выдуманной: это такой мнемонический приём. Желаете справедливости — будь, пожалуйста, узнаваем; будь хотя бы различаем. А мнения — они же ничьи, потому что принадлежат, кому хотят; как вообще слова; как Лаура; как деньги.

Чтобы не ходить за примером далеко: году так в 250-м, при императоре Деции I (он же — Дакийский Величай-

ший) в гарнизоне Севастии Армянской (ныне территория Турецкой Республики) начальник особого отдела полковник Марцелл накрыл подпольный кружок армянствующих, то ли жидовствующих. В кружок входили рядовые Аттик, Агапий, Евдоксий, Катерий, Истукарий, младшие офицеры Пактовий и Никтополион. Покидая под разными предлогами расположение части, эти семеро, по сообщению внедрённого агента, сходились в зелёнке в условленном месте и по очереди читали вслух сочинения, порочащие общественный и государственный строй. Впрочем, на следствии (с неизбежными юридическими формальностями: «по плечам и по чреву воловьими жилами, и затем им были сокрушены зубы») арестованные отрицали свою связь с сепаратистами, лелеющими преступную мечту отделиться от империи, создав суверенную, т. н. Великую Армению. Так, рядовой Катерий шамкал, что против царя Деция не агитировал, а только распространял тезисы «бессмертного царя Христа». Такую же позицию заняли («за что были осуждены и биты кольями») Истукарий, Пактовий и Никтополион. От Аттика же, Агапия и Евдоксия не удалось добиться ни слова. Всех семерых, естественно, приговорили к высшей мере через сожжение. Спустя семьдесят с лишним лет, при Константине Великом, — естественно, реабилитировали, но тут и встал вопрос: как их почитать. Понятно, что поимённо, но торжествующая справедливость требовала знать каждого в лицо, — а была груда золы, да и ту давно разметало ветром; мнений же все погибшие придерживались одних и тех же.

Специальная комиссия составила на каждого фоторобот.

Св. мч. Аттик: воин *средних лет*, греческого типа, *со средней величины бородой*;

Св. мч. Агапий: воин *средних лет*, греческого типа, *с небольшой бородой*;

Св. мч. Евдоксий: воин *средних лет*, греческого типа, *с малой бородой*;

Св. мч. Катерий: воин *средних лет*, греческого типа, *с большой бородой, с проседью*;

Св. мч. Истукарий: воин *средних лет*, греческого типа, *со средней величины бородой*;

Св. мч. Пактовий: воин греческого типа, *молод, с очень малой бородой;*

Св. мч. Никтополион: воин греческого типа, *молод, без бороды.*

Даже и при таком высокопрофессиональном подходе накладок не избежать: Истукарий, как видите, отличается от Аттика только местом в строю. Никтополиона, кажется, ни с кем не спутаешь, — но представьте, какой случай: вскоре выяснилось, что при императоре Лицинии, в 320-м, т. е. чуть ли не в последний год научного политеизма, в той же Севастии по такой же самой статье был казнён ещё один Никтополион! И отдельного лица для него уже не нашлось.

На что же тут надеяться какому-то Полевому. И что могу какой-то я.

Ну — десоветизировать фамилию. Отобратить её назад у героя соцтруда и сталинского дважды, хотя и второй степени, лауреата. Не вдаваясь в худ. особенности трёхчастной эпопеи («Мемуары вшивого человека» — «Повесть о настоящем человеке» — и, наконец, «Мы — советские люди»).

Взяли, понимаешь, моду — стабил с мертвеца фамилию, как шинель, — и вперёд, не трепеща: в секретари правления, в члены бюро, в депутаты Верховного Совета. На ходу переменяя отчество, если жмёт. И утешаясь параллелью. Был Стукалов — стал Погодин. (Человек с ружьём! А прототип Собакевича никогда не существовал, и вали отсюда.) Был Кампов — слишком похоже на Кампф, не говоря уже, чем занимался папа-юрист до семнадцатого года; но по-латыни, знаете ли, сапро — это поле, и вот превосходный серовато-зелёный почти не псевдоним готов*.

Попробовать как-то вывести этот въевшийся т. н. защитный цвет. Полевой цветочек, — напоминает Даль, — дикий, не лесной, не болотный, не садовый. Полевой гусь — опять же дикий. И чаще всего прилагательное *полевой*, особенно в сибирских говорах, значит: *дикий или вольный, недомашний, недворовый*. Т. е. заключает в себе идею простора и свободы. Бывает и существительным — как водяной, как домовый, — «суеверный призрак из числа нежити»: следит, надо понимать за тем, чтобы линия

горизонта не приближалась; иногда подстраивает каверзы: водит и кружит по сторонам.

Такое прозвище — с маревом внутри — просто так не присвоят, заслужить надо. По-видимому, самый первый Полевой сумел противопоставить себя складывающемуся коллективу земледельческой общины — наверное, в Смутное время, в лихие 90-е шестнадцатого века, воспользовавшись прозрачностью границ, подался в челноки, — благодаря чему невод крепостной зависимости его не зацепил.

Что, конечно, сказалось на гáбитусе потомков. Если бы, скажем, Николай Алексеевич жил в английском романе (Булвер-Литтона или Диккенса), — как бы ни был он скромно одет, любая трактирщица моментально опознала бы в нём джентльмена, т. е. человека, никогда не занимавшегося физическим трудом и происходящего от таких же родителей. (Маменька, кстати, была, говорят, дворянка, урождённая Верховцева.) Узкий, лёгкий корпус, быстрые жесты. Пловец сильный — и гребец (детство на Ангаре), — но, несомненно, ничего обременительней весла в руках не держал.

В России больше обращали на себя внимание постановка головы и взгляд — для простолюдина, каковым ему здесь полагалось считаться, не типичные: как у человека, который в жизни ни разу не получил даже подзатыльника; который совершенно не готов к тому, что его вот прямо сейчас, просто так, за здорово живёшь, обматерят. А, наоборот, ожидает от вас каких-то интересных и весёлых сообщений.

Ну и насчёт гардероба. Ещё при Александре I люди купеческого сословия стали одеваться, как все т. н. порядочные. Но Величайший Костюмер Всех Времён, конечно, не мог это так оставить. Делегация предпринимателей явилась поздравить с воцарением, — он как напустился: не совестно ли вам забывать обычаи отцов, — и пошёл, и пошёл, прямо по монологу Чацкого. Один из делегатов до того растерялся, что осмелился оправдываться: да ведь и отец мой так ходил, — ах вот оно что? — тут уже досталось и покойнику. В мировую буржуазию полезли? Я вам покажу глобализацию.

Законом новую норму не закрепили, чтобы не переутомлять органы: на улице как разберёшь, по праву ли человек носит редингот? или, предположим, плащ, а под ним — фрак? документы, что ли, спрашивать у прохожих? а у проезжих? Это же какая должна быть численность личного состава.

Но уж на официальных мероприятиях будьте любезны соблюдать дресс-код: купец да выглядит, как исполнитель роли купца на сцене Александринки (эскизы утверждены знаете кем), — штаны заправлены в сапоги; рубаха же (цветная, в полоску), напротив того, — навыпуск и подпоясана кушаком, акцентирующим выпяченный желудок; поверх рубахи — длинный негнущийся сюртук; в руке — шляпа (уступка Западу — но не без насмешки) на два размера меньше головы; в шляпе — фуляровый платок, огромный; сморкаться — громко, сапогами — скрипеть; вставая — кряхтеть; садясь — отдуваться. Чуть не забыл: стрижка — непременно под горшок. Да! и самое, самое главное: немедленно приклеить бороду! (Длина, фасон и цвет — соответственно возрасту и положению в сюжете.)

Советский театр с удовольствием подхватил и бережно сохранил славную традицию. Усилил дворянскую спесь пролетарской злобой. Спорим, что и перед вашим умственным, как говорится, взором возникает при слове «купец» ярко раскрашенное корявое чучело. (Из школьного культпохода на пьесу Островского «Гроза». Из телефильма на канале «Культура».)

И такие слова, как «журналист» или, того пуще, «романтик», — рядом с «купцом» не стояли: уж очень было смешно. Всё равно как вообразить еврея, занятого сочинением русской любовной лирики.

Поэтому публика интересовалась наружностью Н. А. Полевого чрезвычайно. Каждый день кто-нибудь приезжал познакомиться.

«Меня здесь, — писал он жене из Петербурга, как раз накануне катастрофы “Телеграфа”, — удивительно ласкают и принимают, так что я не успеваю уже отдавать визитов и принуждён отказываться от приглашений на вечера и обеды. Молодые литераторы здешние так были обрадованы

мною, что уговаривают меня списать портрет, для чего сложили подпискою деньги, чтобы после того гравировать его. Но я отказался от этого; также отказался и от обеда, который хотели дать мне многие здешние купцы, собравшись вместе».

Два-три портрета, однако, существуют, — и на них изображён человек, одетый, выбритый и причёсанный не хуже никого. До разочарования приличный.

В обыкновенной чёрной паре: как Дэвид Копперфильд, как Пушкин, как официант, как симфонический дирижёр; белая довольно тонкая (голландского, должно быть, полотна) сорочка, галстук (вообще-то — галстук) — «бабочкой» (с размахом крыльев, как у воробья); обувь кожаная; носки тёмные (как у всех — на подвязках); в потайном кармашке — очки (оправа тоненькая, золотая).

А всё-таки можно угадать, что не из правящего класса: явно никогда никого не бил по лицу и не умеет танцевать мазурку. Ни, держа обе руки слегка на отлёте, уронить подбородок на яремную вырезку рукоятки грудины — мгновенно поднять — и приветствовать присутствующих улыбкой, не разжимая, однако, губ. Не то чтобы неуклюж, а — не воспитан. Развязность вызывающе не светская. Кланяясь, кивал головой несколько раз подряд — и отчётливо нагибался! после чего руки как бы простирал. Речь — как попечатному, — однако без малейшего стеснения выговаривал словоерс («виноват-с», «такая у меня привычка-с»), чуть ли не с вызовом, точно чеховский какой-нибудь деклассированный интель. Нельзя поручиться, что не был способен и на вполне постыдную выходку. Как Надеждин на вечеринке у Погодина осрамился, помните, в 30 году? Пушкин выронил платок, а Надеждин — наклонился! поднял! подал!* Гадость какая! Вот и доктор наук, а всё одно попович. Пушкин его, конечно, заклеил:

— Он показался мне весьма простонародным, vulgar, сучен, заносчив и безо всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный.

Нет, будем надеяться, Полевой не поднял бы.

Рост средний. Телосложение худощавое. Лоб высокий, нос крупный, прямой, уши большие, губы полные. Глаза —

сказал бы — умные, но лучше скажу: как у человека, которому приходилось задумываться, и не только насчёт трёх Д. Ну или (будем недоверчивы) художники полагали, что перед ними лицо не из тех, которые, если им придать задумчивое выражение, сделаются, наоборот, забавны.

Выключаю сепаратор прилагательных. За остальными обращайтесь в музей словесных фигур.

Человеческое лицо говорит всё сразу, говорит сразу всё. Излучает весь смысл человека каждым сантиметром (пу-скай — квадратным) своей поверхности, своего (тогда — кубическим) объёма. Однако мягкие ткани имеют весьма ограниченный срок годности. Чёрный, тяжёлый, холодный, мокрый огонь сдирает всё случайное, всё персональное, выявляя стандартный минеральный каркас.

И если украсть из аэропорта сканер — или как называется этот прибор, которым просвечивают багаж, — установить его над одним из жерл вечности — например, на линии диаметра, называемой Литераторскими мостками, — включить экран, — чего доброго, расплачешься, как Герцен в Александринке на «Гамлете»:

— Поверишь ли, не токмо слёзы лились из глаз моих; но я рыдал... Я воротился домой весь взволнованный... Теперь вижу тёмную ночь, и бледный Гамлет показывает на конце шпаги череп и говорит: «Тут были губы, а теперь ха-ха!..» Ты сделаешься больна после этой пьесы.

Положим, такой фразы там нет, — разве что Каратыгин симпровизировал. В тексте Полевого:

— Тут были губы, которые целовали меня. Где теперь твои шуточки, твои остроты, твои песенки, всё, что так громко заставляло хохотать других? Неужели не осталось ни одной, хоть посмеяться над самим собою, какую глупую рожу ты делаешь?

Но при чём тут текст. В тексте можно, если очень пове-зёт, оставить тень голоса. Свечение лица невозобновимо.

Вот, медленно увлекаемая во тьму, дрожит на экране слепленная из хрупкого трикальцийфосфата кисть руки — возможно, правой, волшебной. Сколько раз выручала! Когда в голове ни одной мысли, — ещё хуже: когда обрывки предложений со страшной скоростью бегут по внутренней

поверхности лба, и ничего не понимаешь, и сам бы убежал куда глаза глядят, но они глядят на бумажный лист, — да, который чист (вот уже и до комической рифмы докатились), но не позже завтрашнего утра должен быть кругом исписан, и за ним ещё тридцать такого же формата (как А-4, но длинней), — скажешь правой руке: ну хватит медлить, что нам стоит проиграть лишнюю партию при таком всё равно абсолютно непоправимом счёте, — ну давай же! И рука медленно выводит первую букву, а второе, третье слово — побыстрее, а с пятого предложения уже чуть ли не летит по бумаге, причем сама, ничего не спрашивая у головы, которая, можно сказать, отдыхает, поскольку думает совершенно о другом.

Удивительней всего, что когда утром исписанную бумагу увозили в типографию, а днём привозили обратно текст уже набранный, — он не оказывался, как должно было бы ожидать, несусветимой чепухой. Подлежащие на своих местах, сказуемые вращаются, сцепления худо-бедно держат, за цитаты вообще не стыдно, а то и шутка — откуда она тут взялась? — мимолётно блеснёт.

Семь лет Полевой работал только так — одной правой. Необыкновенная была рука. Практически ни разу не подвела. Совсем плохо у неё просто не получалось. (Но, правда, и по-настоящему хорошо — почти никогда.) Служила до последнего, а уж как болела. Отказала за две недели до конца, и вот ха-ха.

Теперь-то, естественно, ха-ха: видите слёзную кость, вплотную к скуловой? А был самый начитанный человек в России, да ещё и помнил всё, что прочитал на разных языках. Каким-то образом всё сохранял в этой когда-то голове, чуть повыше. Также там помещался ум, работавший наподобие того, как использовался при зрелом социализме пылесос для побелки потолка. По истинному-то призванию Полевой был университетский профессор истории. Как Грановский, только говорил хуже, а писал лучше.

Впрочем, и на этой стезе догнали бы и задушили. Поскольку разногласия с партией у него были как раз чисто научные: не так понимал Провидение, т. е. геополитику Бога.

Ну вы же в курсе: исторический процесс организован так разумно. Каждое событие *В* случается *из-за* какого-то события *А*, случившегося когда-то прежде. Либо же для того, чтобы когда-нибудь после случилось событие *С*.

Выбрав первый вариант, мы говорим: причинность, детерминизм, судьба, рок, фатум, эволюция, прогресс, историческая необходимость, фуё-моё. Выбрав второй — целесообразность, историческая необходимость, судьба, рок, фатум, эволюция, прогресс, провидение.

Но всерьёз и окончательно никто не выбирает. Играющий в эту игру всегда находится в точке *В*, свободно устремляясь умом к обоим другим. И видит то в точке *А* свою необходимую причину, то в точке *С* — неизбежную, хотя и неизвестную цель.

При этом на оси времени цель работает именно и в точности как причина, только с другой стороны. Я же говорю: исключительно разумное устройство. Не уступающее застёжке «молния». Хотя возможно, что она его-то и копирует; неумышленный такой, бессознательный плагиат.

Термин Провидение (Providence) обозначал одновременно и Того, Чья рука тянет за петлю, укрепленную на подвижном замке, и — зачем тянет. Застегнуть, расстегнуть, или, скажем (а вернее, с ужасом вообразим), это чисто нервное.

В официозную моду термин вошёл благодаря, вероятно, некоторым особенностям православия у начальников и вообще привилегированного слоя. Оттого ли, что с Евангелием они знакомились кто в немецком (как Семья или, допустим, как Жуковский) переводе, кто во французском (как Уваров или Вяземский), — ощущалась необходимость некоторых поправок на здешнюю самобытность. Компенсирующих явную недооценку роли монарха. То же самое и с догматикой (краткий курс), даром что-по-русски: в тричности вертикаль не просматривалась совершенно. (Хотя, например, очевидно, что курировать Генштаб и МЧС — это одно, а сельское хозяйство, собес и здравоохранение — совсем другое.) По аналогии с политической практикой, в подсознание назойливо просилась — и выходила на первый план — ипостась как бы дополнительная, реально же ключевая: координатор, генеральный секретарь, бог земной.

Ведь не объяснять же мир должна гос. доктрина, а поддерживать его в желательном состоянии. Ленинизм — это марксизм в действии. Сталин — это Ленин сегодня. Наша, тоже двояковыпуклая, модель — уточнений не просит: вот (нигде и всегда) — Провидение, а вот (здесь и теперь) — Его чрезвычайный и полномочный и. о.

Для порядка замечу в скобках, что хотя религия основной массы населения тоже отличалась от единственно верной теории, причём резко¹, но совсем в другую сторону; разговоров же о провидении не любила; терпеть не могла; например, матушка студента Белинского так прямо и предупредила его (письменно), что ничего он в жизни не добьётся, пока не научится веровать не в фортуны и не в провидение, а просто в Бога.

Тёмная старушка ошибалась. А Николай Полевой, как и все просвещённые люди первой трети XIX века, уже и представить себе не мог мироздание без Провидения. Проработав (сейчас выйдут плеоназм!) труды Нибура, Тьерри, Мишле, Кузена, Баранта, он научился узнавать следы Его руки уж получше какого-нибудь пошляка Кукольника. По историческим фактам, а не к нац. праздникам.

Собственно, вся его «История Русского Народа» — про это. Там на каждом шагу: *«Есть Провидение, есть судьбы, Им предначертанные! Кого в сём не убеждает История, — тот недостоин её великих уроков».*

Из-за чего он и повёл её на таран — деревянным носом прямо в бронированный борт «Истории Государства Российского».

Потому что у Карамзина событие **В** наступает вслед за событием **А** даже не всегда неизбежно. А уж о силе притяжения, исходящего от события **С**, — часто вообще ни слова. События идут себе друг за дружкой — и идут; подразделяясь на хорошие и плохие. Роль Провидения в целом не отрицается, но применительно к конкретным случаям смазана обывательскими формулировками типа: к счастью; к несчастью; Бог попустил; Бог спас; и т. п.

¹ См.: Г. Федотов. «Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам».

Скажем, если какой-нибудь удельный князь, согласно свидетельству летописей, отравил родного брата, изнасиловал его жену, а всю оставшуюся жизнь потратил на вооружённую борьбу с племянником, — то Карамзин напишет: княгиня, на свою беду, была красавица, но узурпатора это не извиняет нисколько; его злодейство вскоре было отомщено, и т. д.

А Полевой: какое счастье для России, что этот князь был зло- и прелюбодей! Ведь не увязни он по шею в семейной драме, — чего доброго, мог дать волю врожденному внешнеполитическому инстинкту: захватил бы несколько соседних городов — обстановка позволяла, — и значительно усилился бы, — а при таком раскладе становление централизованной вертикали завершилось бы, глядишь, ещё столетием позднее. Но Провидение веников не вяжет (*а пишет нолики*), и т. д.

Как, знаете, шахматный аналитик, разбирая выигранную чемпионом партию, ставит восклик (!) чуть не после каждого хода: обратите внимание, до чего гениально эта пешка не ест коня!

Обе истории крайне утомительно читать: абзацы, экономии бумаги ради, невозможно длинны. Полевой ужасен ещё тем, что примечания — бесчисленные и бесконечные — ставит внизу страниц. (Представляете: чтобы перейти, предположим, на с. 100 от фразы, снабжённой примечанием, — к фразе следующей, вам надо спуститься и пройти по подвалам сс. 101, 102, 103, после чего вернуться назад и наверх!) Карамзин хоть сообразил печатать примечания отдельно от основного текста, и на том спасибо.

А слог — ну что слог: периоды Карамзина — плавные до легкой тошноты, Полевого — отрывистые до изжоги.

Карамзин писал для полных невежд — в сущности, для детей. Полевой — для невежд (и детей), прочитавших Карамзина.

Есть основания думать, что реально, от корки до корки, не одолел никто. Ни всех двенадцати томов ИГР, ни шести изданных томов (ещё два остались в рукописи и ушли в макулатуру) — неоконченной ИРН.

Никто — кроме идеологов и специалистов.

Ну и родственников Карамзина — у которых (якобы у всех, в том числе и Вяземского) было святое правило: вместе прочитывать несколько страниц ИГР каждый день.

ИРН для них, само собой, не существовала.

Но идеологи (хотите верьте, хотите нет) отнеслись к ней гораздо мягче. (А из специалистов — как всегда бывает — только те, кто ещё не защитил докторской.) Да, опять пытался подорвать — по счастью, безуспешно — авторитет классика, и это жирный минус. Но зато в популярной форме, в издании, доступном по цене, убедительно показал, что РИ — приоритетный проект Провидения. Чем укрепил авторитет вертикали (хотя она не нуждалась и его не просила) даже в её собственных глазах, — а это, что ни говорите, бесспорный плюс.

Допиши он ИРН до конца — недоразумение рассеялось бы, как дым. Хотя не факт, что и в четырнадцати томах он успел бы выговорить вторую половину своей мысли.

Зато факт — только какой-то уж слишком неизвестный, — что он всё-таки сделал это. Т. е. не историю дописал, а договорил мысль.

Публично заявил, что не считает укрепление обороноспособности РИ, округление ее границ и поддержание внутренней стабильности — единственной заботой Провидения. Что это лишь один из важнейших аспектов Его деятельности. Которая вообще-то ведётся в интересах якобы всех народов и в конечном счёте направлена на реализацию *великой идеи Человечества!* (С этой идеей, кстати, носился и «Телеграф», почему и рухнул.)

Что по его, Николая Полевого, крайнему разумению, всю последнюю тысячу лет Провидение только тем и занималось, что создавало и здесь, и на Западе необходимые и достаточные предпосылки для присоединения России к остальной Европе.

И что текущий момент — якобы наиболее благоприятный.

Не шучу, не упрощаю, не преувеличиваю, сейчас удостоверитесь. Вам будет предъявлен — как это говорится? — выдающийся памятник русской политической мысли. Не упоминаемый никогда. Опубликованный в 1835-м, через полтора года после запрещения «Телеграфа».

А вы говорите: не выдержал рокового удара, струсил, по-ник. Нет-с: тот удар пришёлся главным образом по финансам. А к журналу он давно охладел: писал ИРН и прозу, переживал кризис среднего возраста (ах! я же не поставил таймер: г. р. 1796, — тремя годами старше Пушкина, — скоро сорок) и, само собой, трагические шуры-муры с femme fatale (в особо тяжёлой — бесконтактной — форме); короче — не до того! — и «Телеграфом» уже года три рулил Ксенофонт.

Так вот. В упомянутом «Живописном обозрении» — аккурат между заметками: «Дерево Анчар, или Упас» и «Строфокамил» («который Строус») — находится пространный текст о Медном всаднике. Не о поэме (не напечатанной: Пушкин перерабатывал её, пытаясь учесть замечания государя), а про памятник Фальконе.

Хотя первый же абзац должен был Пушкина жутко разозлить.

«...Ошибочное мнение, что славнейшему тогдашнего времени писателю должно было быть историком Петра Великого, заставило отнестись к Вольтеру с просьбою написать *историю* нашего Петра.

Беден был памятник, воздвигнутый Вольтером, гением своего века, но историком жалким».

Дальше — больше:

«Не знаем, настало ли время для такого сочинения, сомневаемся даже в том, есть ли между современниками нашими кто-нибудь, которому было бы дано от Бога призвание на такой подвиг.

Но много раз, стоя на берегу Невы, среди громад созданного Петром великолепного города и смотря на памятник его, мечтали мы о том, какой памятник мог бы воздвигнуть ему истинно вдохновенный художник и как создал бы Историю его гений-Историк, соединивший в душе своей глубокую философию с пламенной поэзией сердца, обладающий пером Тацита, Русский по душе, по уму, по сердцу — Европейец по взгляду, по идее, по понятиям.

Явись, счастливец, если ты уже существуешь в этом мире, воссоздай нам жизнь Петра...»

Наглость, и притом не без расчёта (в следующем параграфе разоблачу), литературные дрызги. А зато — вот ещё

одна альтернативная концепция вашего царствования, Sire. Я укоротил цитаты, насколько сумел. Но всё равно придёт-ся потерпеть.

«Государство, обхватившее собою значительную часть земного шара, местностью своею поставленное между Азией и Европою, касающееся льдов севера и полуденных стран средней Азии, столько же могущее быть грозным своими войсками, сколько и флотами, населённое народом крепким, умным, соединившим в себе воображение Востока с умом Запада, с твёрдостью Северного характера. Вот Россия и Русские.

Если прибавим к тому, что это государство, этот народ образовались из Нордманнов и Славян, отличаются от всех других народов своею верою, своим языком, своим внутренним образованием, что они составились не из обломков Древнего мира, но выросли на диких, самопроизводящих степях Востока и в лесах Севера; что начавшись в одно время с западными народами Средних времён, они имели свою отдельную Историю в течение восьми столетий, а потом, когда Запад совершил все свои периоды, Русь и Русские сблизились с ним, самобытны, дики, своенравны, перенимали у Запада, но чувствовали и чувствуют несродность Запада со своим северо-восточным началом, — что из этого следует?»

Хороший вопрос. Из разряда т. н. вечных. К ним прилагаются таковые же ответы. Например: «Что делать?» — «Снять штаны и бегать»; или: «Что же теперь будет?» — «Пиво холодное будет», — и т. п. Так что там из этого следует?

«Бесспорно — то, что России определена в будущем великая роль в Истории Европы; что Россия, конечно, должна внести новую стихию в мир западный, и, следовательно, что донныне вся её История была только приготовлением к *Истории будущей*.

Эта история будущего только что началась с XIX века. До того времени вся История России состояла в двух отделениях: Россия составила свою независимую от Запада самобытность и потом сблизилась с Западом.

Первое сделано было в семьсот лет Нордманнами, Греками, Славянами, Монголами, Поляками, Шведами, Тевтонскими Рыцарями, Турками, Уделами, Самодержавием,

Религию, рядом Государей, от Владимира до Андрея Боголюбского, от Иоанна Калиты до Иоанна III, Михаила и Алексия.

Второе сделано Петром Великим, только одним Петром, и с тех пор Россия живёт уже около 150 лет только тою новою жизнью, какую он вдохнул в неё».

«...Дело не в том было, чтобы ссылаться иногда с Европейскими Государями, вызывать из Европы *медиков* и *географиков*, перенимать *мушкетную стрельбу Немецкую*: речь шла об участии Азиатского образования России, к которому мы были направлены Славянским происхождением, Византийским влиянием, Татарским игом, реформою Иоанна III.

Вопрос о совершенствовании человека был решён в Греции, Риме, на Западе, и решён тем, что до неизвестного будущего переворота Истории человеку для движения вперёд надлежит быть Европейцем, таким, каким он был на Западе.

Местность каждого народа должна была сделать одного Немцем, другого Англичанином, третьего Французом, четвёртого Испанцем, по действию Истории и Географии каждой земли; но главное — все они должны были быть Европейцами.

Русский был Русским после Иоанна, но не был Европейцем до Петра. И тут ничего не значило, если Иоанн женился на Софии Палеолог, Фиоравенти построил собор в Москве, Олеария звали в Россию, в Преображенском играли комедию, в Москве завели Греко-Латинскую Академию. Русский не был Европейцем.

И при дворе Монгольских Ханов жила художники и учёные; и в Китае миссионеры сочиняли календарь. <...> Борода и кафтан, значение слова: *Немец* как синонима еретика; Азиатская недоступность Кремля, местничество бояр — всё это было потому неуместно, что было наружным признаком внутреннего, и всё это надобно было уничтожить потому, что всё это была Азия, а России надлежало вступить в Европу...»

Ещё раз (хотя за такую внятность и в дни т. н. наши можно запросто схлопотать и даже огрести):

«Пётр увидел, что не Европу звать в Россию, но России надобно было вступить в Европу; что должно не частные прививки присовокуплять, но вырвать дерево России из почвы Азии и пересадить его в Европу, что необходимо разломать Китайскую стену со стороны Запада и пересоздать природу.

Говорят, что такие перевороты неестественны, что они даже противны природному ходу вещей.

Но что же такое означают в природе бури, наводнения, вулканы, землетрясения?

Местность потом возьмёт своё, не заботьтесь об ней — Запад будет западом, Восток будет востоком, Француз останется Французом, Англичанин Англичанином; но Ришельё и Людовик XIV были необходимы, чтобы из Франка и Феодала сделать Француза, а Реформация и переворот 1645 года необходимы, чтобы из Нордманна-Саксона сотворить Англичанина...»

«...Вы боитесь, что Русь утратила свой характер, потому что теперь литература наша не имеет самобытности, что образованность у нас представляет яркие противоположности, что мы выписываем моды из Парижа? Не бойтесь! Вчитайтесь получше в Историю, взгляните пристальнее в настоящее, подумайте о будущем. Ошибки и уклонения частные необходимы, но целое верно цели своей».

Уф. Но вот и кода — Николай Алексеевич обращается непосредственно к Петру I:

«Утешься, тень великая! <...> Ныне, когда внешнее образование России кончено, когда мы постигаем, в чём должна состоять наша Европейская Русская народность, основанная на условиях Истории и Географии нашей, мы видим и необходимость всех произведённых тобою преобразований, постигаем, что ты один провидел судьбу России, что ты был посланником Провидения...»

Каков хитрец? Или: каков храбрец? Или совсем-совсем не понимал, что происходит?

Бенкендорф, наверное, тоже не понимал. По прибытии (осенью 35-го, в свите императора) в Москву какой устроил ради этого текста цирк! Чистый Станиславский. В Кремле, на оперативном совещании с руководителями местных подразделений, вдруг поворачивается к представителю Горлита:

— А что подделывает Полевой? Как живёт он?

— Заведывает редакцией небольшого периодического издания, ваше сиятельство, и пишет там прекрасные статьи! — рапортует горлитовский.

— Тихо живёт, — подтверждает жирный баритон (не чей-нибудь, а Цынского, генерала свиты, начальника ГУВД), — замечаний нет. Всё трудится, а в обществе показывается редко.

— А что же это за журнал, которого редактором Полевой? — вяло так любопытствует граф.

Конечно, в портфеле у горлитовского (*вот вы уверены, что это я так бездарно сочиняю; неправда-с! тут почти ни слова моего*) случайно находится тот самый номер «Живописного обозрения».

— Прошу ваше сиятельство обратить внимание на статью: «Памятник Петра Великого», — дерзит горлитовский, — и вы согласитесь со мною (*ну ничего себе!*), что нельзя писать благонамереннее и лучше.

Бенкендорф перелистывает несколько страниц и вдруг восклицает:

— Я сейчас же представлю это государю императору!

И с журналом в руке поспешно уходит во внутренние комнаты дворца. Возвращается минут через пятнадцать, сияя, как аксельбант. Говорит в зал, обращаясь как бы к горлитовскому (*который всё это и зафиксировал*):

— Государь император чрезвычайно доволен статьею о Петре Великом и поручил мне изъяснить свое благоволение за неё автору. Отправьте же сейчас фельдъегеря с приказанием к Полевому, чтобы он немедленно приехал ко мне. Надобно порадовать его!

А теперь ха-ха.

**§ 17. НЕЧТО О БУДУЩЕМ. СКОРОСТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПТИЦЫ ТРОЙКИ.
ПОПЫТКА ПЕРЕХВАТА**

— О, нет! Только не это! *Jamais!* — вдруг возражает горлитовский чуть не навзрыд. (И вообще ведёт свою роль изрядно: типа тоже поспешает делать добро и нагл единственно от лихорадки умиления.) — Не надо фельдъегеря, ваше сиятельство. Нервная система у литераторов так хрупка. Чего доброго, Николай Алексеевич вообразит, что опять допустил идеологическую ошибку. На почве внезапного испуга возможен стресс. А супруга, а детки? В каком томительном и тревожном ожидании останутся они, когда за главой семейства закроется дверь и замрёт вдалеке перестук копыт и дребезжащий грохот казённого экипажа! Позвольте, ваше сиятельство, мне самому отправиться к Полевому и предупредить его, что он явится к вам для счастливой вести.

Бенкендорф мельком оглядывает зал. Сочувствующие такие, понимающие лица. Растроганные улыбки. Словно не рабочее совещание, а заговор великодушных. Булгарин как-то ляпнул: Третье Отделение, по-настоящему, следовало бы переименовать в Союз Благоденствия, — о, если бы нелепый хитрец был прав! Но лучшие не выдерживают напряжения — гибнут на посту, — Фон-Фока нет, вот и Волкова не стало: расплавился мозг, и однажды утром поприitchилось генералу, что он не генерал Волков, а польский король, — ну и всё, см. книгу Н. Гоголя «Арабески», часть вторая, а в ней — «Клочки из записок сумасшедшего», — и нынче московским округом корпуса жандармов заправляет этот тупой Лесовский — ишь как скалится гуманно, — что ж, слушай и запоминай (далее из вторых рук, но по первоисточнику):

«— Спасибо вам, что вы вздумали об этом, — отвечал граф Бенкендорф. — С Богом, отправляйтесь.

...Действия доброго его чиновника* не нуждаются в похвалах и говорят сами за себя. Он с радостным лицом (*простите, не могу не вставить: Н. А. П. в это время уже переселился из центра на окраину, почти за город — в Кудрино, что под Новинским, — радость на лице надо было держать неподвижно с четверть часа или даже дольше*) приехал к Николаю Алексеевичу, намекнул ему о доброй вести и привёз его к графу Бенкендорфу, который (*внимание!*) объявил ему высочайшее благоволение и объяснил (*наедине, — но добрый чиновник, убрав с лица радость, несомненно, подслушивал, и последнюю фразу Бенкендорф отчеканил так, чтобы она обязательно попала в отчёт*), — что Государь готов поощрять его во всех полезных трудах*.

Ударение, конечно, на «полезных». Так что сама по себе фраза эта ничего не значила.

И очень много — как охранный грамота. Прекратите, дескать, дорогие доброжелатели отечества, беспокоить органы запросами типа: *Quousque tandem, Catilina?* когда же, наконец, оборзевшего купчишку высекут на съезжей или / и забреют ему лоб? Проспитесь. И в следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем со своим суконным рылом критиковать политику партии в области литературы.

Опять же, и самому правопорядку местному внятный сигнал: клиент не ваш, отвяньте. Формальный-то повод прикопаться был: социальное положение сомнительное. По-прежнему купец? Прекрасно. Только предъявите, будьте добры, свидетельство (ежегодно возобновляемое), что состоите в гильдии, т. е. уплатили членский взнос и перерегистрировали свой бизнес. Ах, нет больше бизнеса? пакет акций винзавода продан? а журнал это понятно, что тю-тю. Стало быть, приписывайся, любезный (с этой минуты — исключительно на «ты»), к мещанскому обществу, забирай документы сыновей из гимназии, а если вдруг самому принесут повестку из военкомата — не взыщи.

У Полевого имелся парадный фрак, из левой петлицы которого застенчиво так выглядывал аннинский крестик — за активную работу в оргкомитете промышленной выставки

31 года. А в 32-м вышел указ, по которому эта Анна в петлице автоматически даёт пожалованному ею купцу потомственное почётное гражданство (тогда опять «вы», и от рекрутской повинности свободны, от телесного наказания изъяты, мальчикам что в гимназию, что в университет — wellcom!), — но распространяется ли действие указа на награждённых ранее? а считался ли Полевой на день подачи заявления всё ещё купцом? — В Петербурге разберутся, а покамест не мешайте спокойно работать человеку, чьи сочинения читает государь. Лично.

Хотя как раз эту-то статью — про Петра — навряд ли прочитал. Очень надо. Про страуса не в пример интересней и не без пользы для себя. А к образу безбашенного пращура литература обращается известно для чего. Спекулируют на ассоциации по якобы сходству. Пишут: Пётр, — подразумевают: Николай. Как он велик. Да шалишь, Пушкина не переплюнут. Лик его ужасен, движенья быстры, он прекрасен. Вот мастерство. Буквально все простишь.

А насчёт индульгенции Полевому — очень сомневаюсь. Навряд ли император сартикулировал так именно, как Бенкендорф транслировал: готов поощрять во всех полезных трудах.

Что там, в предыдущем параграфе, произошло за кулисой — вообще загадка. Понятно, что, сопровождая главу государства в поездках по стране, Бенкендорф исполнял функции начальника личной охраны и поэтому действительно мог в любое время зайти в кабинет без доклада. Но представить себе: царь, попивая какао, сидит за походным компьютером, просматривает пушкинскую почту, — вдруг врывается Бенкендорф с каким-то журналом в руках и кричит: а Полевой-то наш какая светлая голова! напрасно мы его обидели, ах, до чего напрасно! нельзя разбрасываться людьми, способными так верно излагать ваши, в. и. в., предначертания! Создавать такие блестящие тексты, как этот! И суёт Николаю в руки журнал: не уйду, пока не ознакомитесь!.. Нет, моя фантазия пасует, хоть убейте.

Скорее дело было так (вот ведь оборотец: простой, как сучок, и такой же неправильный; а удобный): ещё за завтраком граф обронил à propos: да, кстати — помните,

в. и. в., как великие княжны всё допытывались, произрастает ли реально в жарких странах анчар, дерево яда, или Пушкин выдумал его для аллегии? Мне нынче доставят один здешний журнал с ботанической статьёй, и при ней даже будто бы чудная английская картинка; желаете видеть? как доставят, тотчас принесу.

Вот и принёс. И не преминул упомянуть, что журнал — затея Полевого:

— Который, однако же, скрывает своё имя: вы ведь знаете, министр просвещения против него предубеждён. А, между прочим, Полевой пишет в самом прекрасном духе; я нашёл в этом же номере статью о памятнике Петру Великому: бездна сведений и необыкновенно утешительный взгляд на вещи. Прочитав подобную статью, — да только где они у нас, подобные? это фактически первый опыт историсофской публицистики, — каждый поймёт: прошедшее России было удивительно, её настоящее более чем великолепно; что же касается будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение. Это вот здесь, между анчаром и страусом.

Николай же, поведив своими оптическими датчиками по журнальным полосам (начав, натурально, с той, на которой политипаж анчара), выдал в звуковом диапазоне реакцию типа: ну-ну; может, значит, когда захочет; всегда бы так.

После чего Бенкедорф возвратился к своим болванам, — и далее по тексту, см. выше.

И это был оптимальный результат. Лучшего данная спецоперация принести не могла. Если бы с этой статьёй к Николаю явился — что непременно случилось бы не позже как через неделю — уже подзабытый, наверное, вами Уваров, — тут не то что сюжета конец, а не стоило бы и начинать; по крайней мере, я не взялся бы: ну ещё одна несчастная жертва царизма, — подумаешь.

Ну да, колоритный пикейный жилет из народных низов; пропагандировал достижения европейской буржуазной культуры; незаконно (а впрочем, поделом) репрессирован за некий текст, представлявший собою плод случайной связи космополитизма (известно какого) с бедняжкой *Nationalité*.

Она, предположим, распростёрлась среди пасущихся овец на изумрудной, мягкой, как шёлк, мураве и забылась в мечтах, а он совершал очередной разведывательный полёт; внезапный порыв нескромного зефира обнажил некоторые наши преимущества; ну-ка, ну-ка, — в гордом за импортными очками взоре блеснула развратная любознательность: что это там такое сквозит? что тайно светит в этой смиренной наготе? Безродный снизился, рассмотрел — а потом спикировал и безжалостно нанёс свой точечный удар.

И вот перед вами дитя нечаянного греха, несчастный урод, двухголовый текст; сочинитель, без сомнения, сам был такой же мутант — упёртый православный западник. В Кунсткамеру его! в стеклянную банку, и залить спиртом. А не трактаты о нём трактовать.

Нет, это счастье Полевого, что Николай, увлечённый мыслями о свойствах анчара, не вник в тезисы подброшенной политпрограммы. И граф Бенкендорф тоже хорош! В конце концов, мы же взрослые люди. Обязаны отдавать себе — и не только, не только себе! — отчёт в употребляемых нами метафорах. *«Не Европу звать в Россию, но России надобно вступить в Европу»*, — это как?

Вы ведь, если не ошибаюсь, не интервенцию вооружённую (для которой, увы, руки оказались покамест коротки) имеете в виду? И даже не модернизацию оборонной инфраструктуры: завести телеграф (настоящий!), проложить дороги (в том числе железные), построить, в первую голову, мосты.

Тут вы были бы отчасти правы: необходимость назрела. А, например, Пушкин — наоборот, отчасти не прав, предлагая — разумеется, в частном письме и в шутку — на проект сооружения железной дороги между Петербургом, Москвой, Нижним Новгородом и Казанью (подал на высочайшее имя некто фон Герстнер такой проект) откликнуться в манере всё того же незабвенного Великого Петра:

— А спросить у немца; а не хочет ли он — — —?

Цена вопроса — и верно, чудовищная: 3 миллиона (впрочем, откаты, сопутствующие распилу такого госзаказа, немца неприятно удивят). Однако на чём, хотелось бы знать,

думает Пушкин перебрасывать, в случае чего, к линии фронта боевую технику (живая-то сила — ладно, добежит)?

Но вам-то, вам-то военный потенциал — вообще до лампочки. Уровень благосостояния — и подавно, тем более что наш — западного определённо повыше; см. в одном из предыдущих параграфов цитату из Пушкина, а понадобится — найдём и у Белинского: в России, чтобы умереть с голоду, надо допить до такой фазы, когда организм на чисто отторгает любую закуску.

Что же вас не устраивает? Чего ради не терпится господину Полевому *«вырвать дерево России из почвы Азии и пересадить его в Европу»*? Для какого такого «движения вперёд»? Империя — не избушка; верноподданному не дано судить, где у неё перёд, где зад; это тайна.

Помним, помним пресловутую теорию «невещественного капитала»: якобы чем больше в стране ума, тем страна богаче, сильнее и счастливей; ну, допустим.

И даже согласимся нехотя, что отдельным умам, дабы они не гасли, следует иногда разрешать в часы досуга дотрагиваться до посторонних предметов (и Калигуле не стоило, пожалуй, почём зря истощать интеллектуальный ресурс Древнего Рима, сажая в клетки или расчленяя пилой тех, кто не хвалил его спектакли; впрочем, поскольку Николай I наверняка не читал Светония, прошу вычеркнуть содержимое этих скобок из протокола).

Ну и что из этого вытекает? Неужто (да нет же: течёт обратно, причём стремительно) абсурдная мысль, что и умственно отсталых надо лечить свободой — предоставив им фундаментальное право человека лениться и слоны слонять?

А этих умственно отсталых — пятьдесят миллионов. Пока что неизвестно даже, теплится ли в них нервная деятельность; способны ли они, скажем, чувствовать страдание. (Ответ — положительный — даст Григорович лет через десять.) Невинны и оттого незащитны; разлечь их слишком легко; но тот, кто является единственным в России европейцем (и, уверяю вас, не нуждается в других), — этого не допустит. Пока он жив, ядовитые плевелы общечеловеческих ценностей на наших нивах — не надейтесь, не взойдут.

Что же до господина Полевого — а спросить у него: а не желает ли господин Полевой того самого, чем собирался попочевать херра Герстнера Пушкин?

Вот и всё. И крыть нечем. Разве что пролепетать: но тогда какое же будущее ожидает Россию?

А с чего вы взяли, что ожидает? Кто вам его обещал — Шеллинг? Или, может быть, Гегель? Вас же ещё в параграфах 8, 9 и 10 поставили в известность: будущего больше нет. Отменено летом 1831-го, когда мы с Сергием Семёновичем в один голос произнесли: остановись, мгновенье! — и взяли бесповоротный курс на октябрьское вооружённое восстание 1917-го. Как же вы-то, граф Александр Христович, не заметили этого рокового маневра?

Ах, исторический оптимизм, куриная слепота! Какой-нибудь голубой маркиз, ни бельмеса по-русски, ни шагу без сопровождающих агентов, — и тот через две недели пребывания в стране даст уверенный прогноз: кровавая революция неизбежна; и французская т. н. великая по сравнению с ней покажется чем-то вроде игры «Зарница»!

Это, что ли, по-вашему — будущее? Это пульсирующий ритм Застоя: идёт одна и та же пьеса, но воспринимается то как трагифарс, то как просто фарс, — в зависимости от того, насколько вы устали. Даже и местные умники довольно быстро догадались, что время здесь отныне — категория сугубо грамматическая, а вы — я просто удивляюсь вам, граф. Где у меня эта выписка, эта выходка против Nationalité? А, вот:

«Вы знаете, что я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу: её задача дать в своё время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе. Поставленная вне того стремительного движения, которое уносит там умы, имея возможность спокойно и с полным беспристрастием взирать на то, что волнует там души и возбуждает страсти, она, на мой взгляд, получила в удел задачу дать в своё время разгадку человеческой загадки. Но если это направление умов продолжится, мне придётся проститься с моими прекрасными надеждами: можете судить, чувствую ли я себя ввиду этого счастливым. Мне, который любил в своей стране лишь её будущее, что прикажете мне тогда делать с ней?»

Лучше бы господин Чаадаев подумал, что страна сделает с ним, когда он попытается протащить свои антинародные взгляды в печать. Любя в прошедшем времени чужое будущее, поберёт бы в настоящем своё собственное. Но умники не умеют.

А впрочем, умник умнику рознь. Вот этот Чаадаев — и вот наш старый знакомый Вяземский. Обоих и почти одновременно Александр отправил в отставку; лет через десять обоим, одному после другого, доверенные лица Николая намекнули: государство, ценя ваши дарования, не прочь попользоваться ими ещё. Оба разлетелись, размечтались, распушились. Да, о да, особенно если прибавят недоданные чины, — как я мог бы проявить себя в МИДе! — а я — в Минпросе! — если нельзя в МИД, я тоже согласен на Минпрос! Обоим холодно сказали: не обсуждается; в Минфин. Оба закобенились; представили резоны: будучи незнаком с бухгалтерией, я мог бы явить на этом поприще лишь непригодность человека, все научные занятия которого в прошлом связаны были с предметами, чуждыми этой области, и т. п. Но Вяземский покобенился слегка — и, пока не поздно, согласился, — а Чаадаев кобенился так выразительно и долго, что прошёл точку невозврата (или, скорей, возврата). И вот — один встроен в вертикаль, а другой гуляет (покамест) по московским бульварам.

Спрашивается: кто умней? Тот, кто всю дорогу выясняет отношения и ждёт спецтранспорта в дурдом («Я уже с давних пор готовлюсь к катастрофе, которая явится развязкой моей истории. Моя страна не упустит подтвердить мою систему, в этом я нимало не сомневаюсь»)? Или же тот, кто, держа себя в руках, добивается единственно возможной, т. е. без сантиментов, взаимности («Россию можно любить как блядь, которую любишь со всеми её недостатками, проказами, но нельзя любить как жену, потому что в любви к жене должна быть примесь уважения...»)?

А вы — про какое-то будущее. Ах, господа, какие пустяки! Желаемое вами т. н. будущее России — не более чем копия воображаемого т. н. настоящего какой-нибудь другой страны — туманного, скажем, Альбиона, — где человеку

ударить человека будто бы трудней, чем сплунуть на пол, а сплунуть на пол — будто бы трудней, чем достать из кармана платок.

Не спорю, бывают такие минуты, когда — вот как А. Х. Бенкендорф, тогда ещё не граф, 13.07.1826 в кронверке Петропавловской крепости, — смотришь, смотришь, слушаешь, слушаешь, молчишь, молчишь — сейчас, сейчас всё кончится; вдруг — это невозможно описать, что-то совсем безобразное — трое сорвались с виселицы и рухнули на помост; палачи облепили извивающиеся мешки, тащат под перекладину, — барабаны бьют, бьют. Короче: «Бенкендорф, видя, что принимаются снова вешать этих несчастных, которых случай, казалось, должен был освободить, воскликнул: «Во всякой другой стране...» — и оборвал на полуслове».

Да, бывает, случается, воскликнешь. Почему-то эти самые слова.

Но иной раз подумаешь и так — в стиле ретро-оптимизма: а что, если Полевой был прав и шанс оставался? Не будь Николай ничтожеством, не подпади он под влияние идиота Уварова, — глядишь, к XX веку была бы страна как страна. Населённая потомками рабов не в десятом, условно говоря, колене, а, условно же говоря, — в восьмом. С которыми дело Ленина-Сталина могло и не выгореть. И теперешние граждане не питали бы такой любви к руководству и такого отвращения друг к другу, к Западу и к труду.

Однако нельзя же совсем, начисто исключить, что историческая правота была на стороне как раз ничтожества с идиотом. Что исполнили они обещание Александра I предоставить пятидесяти миллионам рабов человеческие права, случилась бы какая-то совершенно ужасная катастрофа. В Пруссии не случилась, в Австрии не случилась, а здесь — тушите свет, сливайте воду, и общий привет. Вдруг, действительно, разумной альтернативы Застою не было? И кто же знал, что, раз начавшись, он не кончится никогда. И кто рассудит?

Среди очевидцев находились два гения. Но Пушкину было не до футуроперспектив. (И заведёт крещёный мир на каждой станции трактир, — чего вам ещё? рожна, что ли?)

А Гоголя — поди пойми. Сам-то он понимал, по-видимому, абсолютно всё — но свои сообщения кодировал; преобразуя в экстравагантные стилистические ходы. Как если бы он был, не знаю, гигантский мыслящий осьминог и изъяснял свои идеи позами и прыжками. Или самый жуткий в мире клоун-мим. Из-за этого всё время такое чувство, что он над вами издевается. Вот как в этой истории про животрепещущее русское слово, вырывающееся из-под самого сердца.

И то же самое — с птицей тройкой, символом движения России к могуществу и счастью; прочие государства постраниваются, дают дорогу, с завистью смотрят вслед. Рекорд тройки лошадей — 40 км/час; это на дистанции не больше полутора км и на отличной дороге. А реально Чичиков делает в час километров 15. И невозможно поверить, что Гоголь не знал: скорость «Ракеты» Стефенсона (1830 г.) — 48 км/час, а локомотива Sharp & Roberts (1835 г.) — якобы более ста. Но тогда что же это такое эта лирическая, всеми заученная наизусть страница, настолько искренняя, что голосу совестно, — слепой патриотизм или отчаянная пародия на него? (Не говоря уже, что в каком-нибудь совсем кривом зеркале Гнедой вполне может показаться самодержавием, каурый Заседатель — народностью, а чубарый пристяжной — да нет, исключено. Я вообще ни при чём; это Вяземский однажды так пошутил: сравнил с Чичиковым — Уварова.) Несомненно одно: Гоголь твёрдо надеялся, что читатели — сплошь дураки. И они его не разочаровали.

Застой всю жизнь преследовал его, как хронический кошмар.

Хотя казалось бы: люди, чувствующие — как Гоголь, Чаадаев, Полевой — устремлённый на планету недрёманный зрительный луч Провидения, должны легче переносить тяготы политического климата. Раз нет сомнений, что всё идёт как следует, но даже если и не как следует, то рано или поздно кончится как надо, и всё равно не дожить.

Другое дело, что Провидение не различает мелких объектов. И почему-то не умеет считать деньги, как будто даже плохо представляет себе их роль.

В начале 36-го Полевой отослал Бенкендорфу заявку. Написанную горячо, даже слишком горячо. С учётом вкусов конечного потребителя. Возьмём абзац из начала и абзац из конца, и всё станет ясно.

Преамбула:

«Если бы Богу угодно было благословить моё всегдашнее желание — посвятить время и труд на изображение бессмертных дел Петра Великого, — я почёл бы это обязанностью остальной жизни моей и залогом того, что щедроты Его благословляют меня оставить после себя памятник временного бытия моего на земле, заплатить тем долг моей отчизне и споспешествовать, по мере сил, чести и славе Отечества».

Поспешим на последнюю страницу — где самая суть:

«Всё это будет стоить некоторых издержек. *Плата за труд* была бы святотатством. Платы никакой не надобно. Кроме временной ссуды на путешествие, приготовление материалов и издание. Сумма будет невелика. И ту можно выручить из продажи экземпляров. Вся Россия расхватит подобное творение. И пусть потомки скажут об нём: “Оно не куплено. Но создано волею Царя и усердием русского!”

Без *воли Царя* намерение неисполнимо: молю Бога, да будет во услышание Его желание человека, готового посвятить время и труд полезному и бескорыстному подвигу!»

Вот, стало быть, о чём они говорили тогда, осенью, оставшись наедине. Почему-то оба были уверены, что книга о Петре — лучший подарок для Николая, он прямо спит и видит: когда же наконец кто-нибудь напишет эту научно-художественную биографию и в клюве принесёт.

А Пушкин ну совсем не спешит. Всё время занят чем-то другим. Вот только что разрешили ему завести журнал. Уверяет, что это для него единственное средство выпутаться из долгов. «Пётр» принёс бы ему гораздо больше денег. Но Пушкин не верит в это: должно быть, неуспех «Пугачёва» его охладил. Ну что ж; небольшой закрытый тендер подбодрит его немножко. Разогреет. У нас, в Гончих Псах, считают, что соревнование, способствуя повышению производительности труда, повышает благосостояние трудящихся.

Бенкендорф — императору:

«Известный Вашему Величеству Николай Полевой, бывший издателем московского журнала “Телеграф”, человек с пылкими чувствами и отлично владеющий пером, имеет сильное желание писать историю Петра I-го. Он прислал мне свои мысли по сему предмету и краткое изложение плана предполагаемой истории. Бумагу сию, примечательную как по мыслям, в ней заключающимся, так и по самому изложению ея, долгом поставляю представить у сего Вашему Императорскому Величеству».

Очень некрасиво. Совершенно бестактная затея. До чего нахален этот Полевой. Как бесхитростно коварство Бенкендорфа.

Расчет какой: Хозяин не преминет же посоветаться с Идеологом, а тот теперь, после «Выздоровления Лукулла», ненавидит Пушкина сильнее, чем Полевого. (Смешно: а Полевого, значит, слабей? Ничего-то вы не понимаете в этом чувстве.)

Император разобрался сам:

Историю Петра Великого пишет уже Пушкин, которому открыт архив Иностранной коллегии; двоим и в одно время поручить подобное дело было бы неуместно...

В первый (надеюсь, и в последний) раз в жизни поддерживаю царизм.

Но, видно, граф А. Х. принимал свой проект близко к сердцу. И отступить не хотел. В конце-то концов — нужна нам, чтобы вполне осознать историческую задачу, дельная книга о Петре Великом — или нет? И кто же её напишет? Вы верите, что Пушкин?

Бенкендорф — Н. А. Полевому (25 января):

«Его Величество с благоволением удостоил принять Ваше намерение; но не мог вполне изъявить Монаршаго соизволения на все Ваши предположения по той причине, что начертание истории Петра поручено уже известному литератору нашему А. С. Пушкину, которому, вместе с тем, предоставлены и все необходимые средства к совершению сего многотрудного подвига...

...По Высочайшему повелению, все государственные архивы открыты для господина Пушкина; и потому Государь

Император равномерно изволит находить неудобным, чтобы два лица, посвятившие труды свои одному и тому же предмету, почерпали необходимые для себя сведения из одного и того же источника.

Передавая Вам таковые мысли Его Величества, не скрою от Вас, Милостивый Государь, что и по моему мнению, посещение архивов не может заключать в себе особенной для Вас важности, ибо ближайшее рассмотрение многих Ваших творений убеждает меня в том, что, обладая в такой степени умом просвещённым и познаниями глубокими, Вы не можете иметь необходимой надобности прибегать к подобным вспомогательным средствам.

Впрочем, если бы при исполнении Вашего намерения представилась Вам надобность иметь то или другое сведение отдельно, — то в таком случае я покорнейше Вас прошу относиться ко мне и быть уверенным, что Вы всегда найдёте меня готовым Вам содействовать, — и вместе с тем я совершенно уверен, что и Государь Император, всегда покровительствующий благим начинаниям, изъявит согласие на доставление Вам тех сведений, какие Вы признаете для себя необходимыми*.

Очень мило. Очень лестно. Жене показать; детям когда-нибудь. Вот, отдавали же справедливость. Из вежливости так не пишут. Это даже слишком не банально: сообщая вам высочайшую резолюцию, не скрою от вас, что с нею не согласен, и давайте-ка мы с вами остороженько её обойдём.

Но это значило только то, что значило. Что ни тридцати, ни даже двадцати тысяч рублей не дают, а стало быть — всё погибло.

§ 18. НЕЧТО О ТИРАЖАХ. О РОЛЕВЫХ ИГРАХ. О РОКОВЫХ ГЛУПОСТЯХ

Умнейшим был — Владиславлев¹.

Из деятелей русской литературы — первый, кто сообразил, как обращаться с нею, чтобы успеть съесть рыбку.

А — не доводить до серьёзного. Употребить играючи, между делом. Вложил — извлёк — под мышку — с полупоклоном шаг назад — поворот через плечо — и марш-марш к месту назначения, оборачиваясь для воздушных поцелуев.

Она останется навек (ну на полвека) благодарна. Вознаградит. Всё будет: слава (ну известность), большие деньги, продвинутых барышень сияющие глаза.

(Вам же, которые, дотронувшись, не в силах отлипнуть, — при жизни весь пакет достанется, ох, вряд ли; в старости же — и после, наверное, — кайф уже не тот.)

Да что барышни! Частный случай, мелкий бонус. Посияет — и замуж. Но чувствовать себя постоянным предметом жадного интереса молодых! Литератор! Звучало почти как сегодня — футболист. Особенно в первой половине девятнадцатого.

«Слово “литератор” даже пугало меня, гимназиста, — пишет Г. Н. Потанин из Симбирска, вспоминая, как в 1847 году познакомился там с автором только что прогремевшего хита — “Обыкновенной истории”. — Слово это во времена императора Николая имело весьма важное и высокое значение, не то что теперь... Напечатана даже была толстая книга “Сто русских литераторов” с превосходными портретами Зотовых, Свиных, гравированными в Англии

¹ Ср.: Цезарь. «Записки о галльской войне».

на стали. Поневоле страшила меня встреча с таким важным лицом, как литератор. Все кругом только и говорили о нём. Даже товарищи начинали завидовать и подшучивать надо мной: “А ты, брат, как увидишь его, сейчас беги, скажи, какой такой литератор. Беленький, серенький или чёрненький он?”»

Приятно, чёрт возьми. А желаете завоевать это высокое звание, не сочиняя хитов? да в придачу озолотиться?

Сколько там Краевский отсчитал Гончарову за «Обыкновенную»? Р. по двести за печатный лист, т. е. тысячи две? (Вообще-то недурно: тогдашний р. асс. — это, считайте, нынешние сто.)

А не угодно ли — полтораста тысяч для начала? и потом повторить?

Чтобы, значит, выйдя досрочно на пенсию, кочумать в гамаке, сплетённом из натурального лаврового прута, а литература отгоняла бы мух и подливала вам в стакан то malt scotch whisky, то straight bourbon — смотря по погоде.

Вы, кажется, не прочь? Тогда изучайте опыт Владимира Андреевича Владиславлева (1806–1856). Вот пошаговая инструкция. На раз-два-три.

Раз — садитесь за компьютер, пишете (при царизме — в цензурный комитет, при социализме — в издательство, а в наше непростое время — в РЖД, в РПЦ, в ближайшую мэрию — словом, туда, где деньги лежат): имея цель поднять уровень российской педиатрии, желаю издать лит.-худ. альманах, прибыль от реализации которого будет направлена на приобретение импортного медицинского оборудования для петербургской детской больницы № 1.

NB: при социализме про детскую заболеваемость и тем более про импорт — ни слова; заменить патриотическим воспитанием.

При всех режимах вас приглашают зайти; угощают чашечкой кофе (при царизме и социализме — чаю), на прощание горячо жмут руку; при царизме и социализме положительную резолюцию доставляют по месту работы.

Два — едете в любую, по вашему выбору, типографию, объясняете содержателю: 32 печатных листа в 16-ю долю, четыре гравюры, бумага первого сорта, тираж 10 000, —

в какую сумму обойдётся издание? Он говорит, допустим: двадцать тысяч. Только для вас. Гравюры надо заказывать в Англии; доставка, растаможка, то да сё. Вы отвечаете: двадцать пять. Но без предоплаты. А по ходу реализации.

Типографщик — это не должно вас удивить — изъясляет непритворную радость и благодарит за доверие.

NB: при социализме о надбавке, равно и о кредите не может быть и речи; да и весь этот пункт ни к чему: переговоры ведутся с издательством; в наше же непростое — типографщику надо предъявить гарантийное письмо из РЖД или РПЦ или мэрии (см. выше). Без этого радость типографщика не будет непритворной. А впрочем, вам на него при любом общественном строе — плевать.

Три — берёте записную книжку, мобильник и обзваниваете избранных (вами) авторов — кого хотите — какие нынче модные имена? Бенедиктов? Кукольник? Даль? Добавить солидных — Вяземского, Одоевского. С иногородними — Баратынским, Языковым, Ростопчиной — связаться по e-mail. Опросить переводчиков: над чем работаете? Профессоров — насчёт статей. Ну и приятелям — циркулярное: налетай!

Доставленные рукописи сложить, обернуть, перевязать бечёвкой, отослать в типографию.

Вот, собственно, и всё.

10 000 экз по 20 р. = 200 000;

25 000 — как обещано, г. Фишеру (чья типография);

25 000 — попечителю детской больницы № 1 в собственные руки.

Авторам — по экземпляру в зубы — примерно 800 р.

Подарочные экземпляры влиятельным лицам, почётным особам, нужным людям, лит. критикам — ещё на 2000.

На извозчика, на телефонные переговоры, на переписку — ну, пускай, 200 р.

Книгопродавцам (нельзя же совсем без них) за комиссию — ну 7000.

Чистый доход = 140 000 р. асс.

Прописью: сто сорок тысяч! Без малого сто годовых окладов жалованья столоначальника в министерстве или командира армейского батальона.

NB: при социализме — не раскатывайте губу! — г. Фишер, в дальнейшем именуемый Государство, оставляет весь тираж себе (и что он с ним делает — вас не касается), а вам выдаёт стандартный гонорар составителя плюс потиражные. Это две, максимум три годовых зарплаты инженера. Тоже, впрочем, — не жук лапкой потрогал.

NB: в наше непростое стоимость гарантийного письма из РЖД, РПЦ и пр. — не меньше 50% гарантируемой суммы. Зато можно сэкономить на детской больнице № 1.

Теперь представьте себе, что Владимир Андреевич исполнил этот фокус шесть раз подряд. С одинаковым успехом.

$$140\ 000 \cdot 6 = 840\ 000.$$

Живи — не хочу. Пока все эти Пушкины, Полевые корчатся в долгах.

Отчего бы, кстати, самому не сыграть в беллетристику по маленькой? Чисто ради удовольствия рецензии почитать. Как соревнуются Булгарин и Белинский: кому сильнее понравилось. Хотя положила руку на сердце — какое может быть сравнение. Молью траченная лиса — и зоркий ястреб.

Не ручной, не ручной. Беспощадно правдив. Непосредственный до наивности. Как живёт, так и пишет. Засыпает над повестями Белкина — режет публике в глаза: хороши после обеда. Претит ему Марлинский — рвёт Марлинского в клочки: «ни характеров, ни лиц, ни образов, ни истины положений, ни правдоподобия в интриге». При виде «препрославленной “Пиковой дамы”» только плечами пожимает. А попал на томик Владиславлева — вот что значит самостоятельность вкуса — проглотил залпом и загрузил: как хочется ещё; и ведь побежал в магазин за предыдущим томиком, и жёг над ним свечу до утра.

«Мы принялись за III и IV части “Повестей и рассказов” г. Владиславлева *ex officio*, а прочли их с таким наслаждением, что, несмотря на недостаток во времени, прочли и первые две части...»

Завидуете? А разве так уж непременно литератор должен быть непонятым и нищим, страдать от обид?

Как себя поставишь.

(Издать избранные произведения русских писателей; расположить по алфавиту — Бернет, Владиславлев, Вяземский, Жуковский. Вот уже и до антологии рукой подать. А там — и до хрестоматии.)

Вникнем: отчего бы тому же Пушкину, тому же Полевому не воспользоваться владиславлевской технологией? Сорвать хотя бы этот первый куш, 140 тысяч, — одним ударом решить все проблемы. Ну хоть не все. В 34-м Пушкин уплатил бы половину долгов, — и ещё хватило бы на воссоединение Болдина: часть села, принадлежавшая Василию Львовичу, после его смерти поступила в опеку. Крупное поместье, долгоиграющий ресурс.

«Ох! кабы у меня было 100 000! как бы я всё это уладил; да Пуг., мой оброчный мужичок, и половины того мне не принесёт, да и то мы с тобою как раз промотаем; не так ли? Ну, нечего делать: буду жив, будут и деньги...»

К 36-му долг разросся так страшно, что был уже несовместим с жизнью; немедленная ампутация стоила как раз 140 тысяч. И ведь Пушкин, разуверившись в других способах, именно решился издавать альманах. На два года раньше Владиславлева.

Конечно, вы не усомнитесь, что «Современник» был раз в тысячу лучше «Альманаха на 1838 г.» (переименованного затем в «Утреннюю зарю»). В нём «Капитанская дочка» и «Нос» впервые напечатаны, — так даже не бывает.

Почему же Владиславлев воспарил, а Пушкин только глубже провалился? Скажете — судьба?

Ну — пожалуй. В некотором смысле. В смысле фактора, стимулирующего спрос.

Первый том «Современника»: тираж — 2400 экз., продано 800. Второй том — те же самые цифры. Только-только окупить издержки. Третий так уже и печатали — смирившись: 900 экз.

Из трёхтысячного тиража «Пугачёва», кстати, тоже реализована хорошо если треть. (В плюсе — тысяч двадцать р.: формально — чистая прибыль, по существу — подарок от спонсора.)

Но «Пугачёв»-то — ладно: сочинение специальное, на квалифицированного любителя — такого, как царь. А «Современник» отчего не пошёл?

А он пошёл. Он очень даже уверенно пошёл. При сложившейся конъюнктуре рынка. В первое десятилетие Застоя в РИ проживало не более восьмисот человек (из них шестьсот пятьдесят — в Петербурге), готовых ради того чтобы на полгода раньше всех других прочитать «Капитанскую дочку» или «Нос», — приобрести в нагрузку полкило одноразового вторсырья.

Однако ведь Владиславлев свой пухлый свёрток втюхал! Разместил в тысячах семей! Спрашиваю в последний раз: как ему удалось? Какими средствами?

Отвечаю: обыкновенными. Подручными. Под рукой у него были креативные промоутеры; надёжная дилерская сеть; и пылкая бесплатная реклама.

Потому что он был — кто? Правильно: адъютант Дубельта, легендарного начштаба корпуса жандармов. Его свинцовый карандаш. (Без метафор: у адъютанта только на левом плече — эполет, а с правого свисает золочёный витой шнур с этим самым карандашом — записывать исторические изречения полководца и очередные ходы; *die erste Kolonne marschiert*, помните?)

В человеке, занимающем такое место, как-то особенно отродно встретить литературный талант. И поприветствовать от души. Его почерк и подпись известны сослуживцам во всех уголках необъятной. Доставили ему множество заочных доброжелателей.

Представим какой-нибудь город NN, но не в александровскую (Гоголем обозначенную, чтобы цензура не вязалась) эпоху, а в николаевскую. Кому должен Чичиков по прибытии нанести первый визит — губернатору (который вышивает иногда по тюлю) или жандармскому генералу, — однозначно сказать нельзя, это зависит от задания и легенды. И чья супруга просто приятная, а чья — во всех аспектах. Но нет сомнения, что интеллектуальную городскую моду диктуют обе. Разговор переходит на литературу; мы хоть и в провинции, но *au courant de toutes les nouvelles*: дамы буквально упиваются «Утренней зарёй» (обеим, какое совпадение, книжку преподнесли мужья в один и тот же день). Уж на что рецензент «Литгазеты» бывает строг («Молодой, — вздыхает просто приятная. —

Белинский его фамилия, мой Сидор Пафнутийч сказал») и даже нетерпим, а умеет отдавать справедливость. Альманах г. Владиславлева, — пишет, — есть весьма утешительное явление и может служить прекрасным подарком всякой милой кухне и не кухне. Остро, не правда ли, Павел Иванович?

Пренебрегли бы вы на месте Чичикова подобным намёком? А вице-губернатор пренебрежёт? А прокурор, председатель палаты, полицмейстер, откупщик? (Особенно откупщик — забудет ли он про частно-государственное партнёрство и социальную ответственность бизнеса?)

Тут ещё такая тонкость: попечителем детской больницы № 1 являлся не кто иной как Бенкендорф. Его сиятельство лично.

Это дополняло конфигурацию. Которая (грубо обобщая) в заинтересованных умах выглядела так: про того, кому жалко двадцатки на «Утреннюю зарю» для кухни или не кухни, начальники могут подумать, что он затаил в душе недоброе отношение к органам. Ну или что кладёт (из скупости или по глупости) на то, что могут подумать. И, стало быть, на первую заповедь: кто не любит органы — не любит Россию. А для такого человека всегда могут найтись ничтожные, но непреодолимые препятствия при производстве в следующий чин или при заключении контракта на подряд.

Десять тысяч (кузин и не кузин) — эта цифра отображает сплочённость номенклатуры, а также её готовность бросать, если надо, деньги на ветер. (Ну да, и трусость. В обеденный перерыв загляните в первый отдел, там подписка идёт. Попробуй не загляни.)

На этой поляне Владиславлев собрал всё.

А Пушкину, Сенковскому, Полевому и вообще любому, кто захотел бы поправить свои дела, обслуживая распространяющуюся по стране привычку к чтению, оставалась другая часть публики: молодёжь (от 13 до 30 лет) преимущественно мужского пола и притом не дорожащая административной карьерой. Равнодушно проходящая мимо дверей переполненных социальных лифтов. Бредущая (чёрт, сколько причастий!) на свой четвёртый или шестой этаж

по чёрным лестницам. Чтобы, наскоро и скудно поужинав, броситься на диван и уйти с головой в ролевую игру.

Коротая эпоху Застоя.

Начать с меню сюжетов: «...об роли поэта, сначала не признанного, а потом увенчанного; о дружбе с Гофманом; Варфоломеевская ночь, Диана Вернон, геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем, Клара Мобрай, Евфия Денс, собор прелатов и Гус перед ними, восстание мертвецов в Роберте (помните музыку? кладбищем пахнет!), Минна и Бюренда, сражение при Березине, чтение поэмы у графини Воронцовой-Дашковой, Дантон, Клеопатра e i suoi amanti, домик в Коломне, свой уголок, а подле милое создание...»

Что выбрать? На чём сосредоточить воображение, чтобы заснуть без тоски (даже в Петербурге, даже летом)?

А есть же счастливики, маменькины обеспеченные сынки, которые занимаются этим прямо с утра, пока остальные плетутся на службу.

«Он любит вообразить себя иногда каким-нибудь непобедимым полководцем, перед которым не только Наполеон, но и Еруслан Лазаревич ничего не значит; выдумает войну и причину её: у него хлынут, например, народы из Африки в Европу, или устроит он новые крестовые походы и воюет, решает участь народов, разоряет города, шадит, казнит, оказывает подвиги великодушия.

Или изберёт он арену мыслителя, великого художника: все поклоняются ему; он пожинает лавры; толпа гоняется за ним, восклицая: “Посмотрите, посмотрите: вот идёт Обломов, наш знаменитый Илья Ильич!”»

Худлит ещё не осознавал, а только едва предчувствовал своё историческое назначение: поставлять широким массам материал для сценариев компьютерных игр. (На промежуточном этапе — для кино- и телесериалов.) Сами компьютеры были практически недоступны. Почти все сюжеты потребителю приходилось разрабатывать самому и сохранять исключительно в голове, что приводило к сбоям памяти — впрочем, нисколько не болезненным, даже наоборот.

«Верите ли вы, на него глядя, милая Настенька, что действительно он никогда не знал той, которую он так любил

в своём иступлённом мечтании? Неужели он только и видел её в одних обольстительных призраках и только лишь снилась ему эта страсть? Неужели и впрямь не прошли они рука в руку столько годов своей жизни — одни, вдвоём, отбросив весь мир и соединив каждый свой мир, свою жизнь с жизнью друга? Неужели не она, в поздний час, когда настала разлука, не она лежала, рыдая и тоскуя, на груди его, не слыша бури, разыгравшейся под суровым небом, не слыша ветра, который срывал и уносил слёзы с чёрных ресниц её?»

А? Какой высокий класс: ветер, срывающий слёзы с ресниц, причем — чёрных! А кино, тем более цветного, всё ещё нет в помине. Но, правда, это случай редкий: как правило, визуальный ряд у тогдашнего пользователя, или, если угодно, пациента (т. н. «мечтателя») несколько размыт, главный интерес игры — в переходах от несчастья к счастью и обратно... Давайте докрутим диск до конца.

«Неужели всё это была мечта — и этот сад, унылый, заброшенный и дикий, с дорожками, заросшими мхом, уединённый, угрюмый, где они так часто ходили вдвоём, надеялись, тосковали, любили, любили друг друга так долго, “так долго и нежно”! И этот странный, прадедовский дом, в котором жила она столько времени уединённо и грустно с старым, угрюмым мужем, вечно молчаливым и желчным, пугавшим их, робких, как детей, уныло и боязливо таивших друг от друга любовь свою? Как они мучились, как боялись они, как невинна, чиста была их любовь и как (уж разумеется, Настенька) злы были люди! И, боже мой, неужели не её встретил он потом...»

Вот! Вот о чём я говорил: вот к чему приводило отсутствие съёмного носителя: к слипанию файлов. Вроде бы пошла вторая серия, — но нет: сразу — практически без подготовки — harry-end, и возвращаемся в первую.

«...потом, далеко от берегов своей родины, под чужим небом, полуденным, жарким, в дивном вечном городе, в блеске бала, при громе музыки, в палатце (неприменно в палатце), потонувшем в море огней, на этом балконе, увитом миртом и розами, где она, узнав его, так поспешно сняла свою маску и, прошептав: “Я свободна”, задрожав, броси-

лась в его объятия, и, вскрикнув от восторга, прижавшись друг к другу, они в один миг забыли и горе, и разлуку, и все мучения, и угрюмый дом, и старика, и мрачный сад в далёкой родине, и скамейку, на которой, с последним страстным поцелуем, она вырвалась из занемевших в отчаянной муке объятий его...»

И такого-то пользователя вы надеетесь накормить сухим печеньем из альманаха? Нет! ему нужен журнал. (То есть он не против отдельных изданий, но книги дороги; также много значат периодичность и регулярность.) А в журнале нужны ему: роман с обаятельным героем (очень можно — иностранный); разочарованная лирика; едкая критика.

Материал для трёх ролей. Но поскольку исполнитель предполагается один, в них должно быть нечто общее. А именно — цвет. Один из оттенков розового или жёлтого. Им должно быть окрашено всё: от колонки редактора до последней библиографической заметки. (Понятно же, что без одноразового вторсырья нельзя обойтись и в журнале.) Этот оттенок розового или жёлтого принято называть направлением, или идеей.

Например, идея покойного «Московского телеграфа» была кисейно-розовая с крапинками салатного: дорогу среднему классу — локомотиву прогресса!

Идея «Библиотеки для чтения» — тёмно-жёлтая с пятнами от пролитого чёрного кофе и может быть выражена словами: дорогие современники и особенно соотечественники! Честь имею сообщить, что видел вас всех в гробу. Искренне ваш барон Брамбеус. (Это поначалу очень понравилось, но роль-то — всего одна; и монотонная; и трудная.)

«Московский наблюдатель», «Отечественные записки», «Сын отечества» варьировали серый цвет, и мало кто их замечал.

А «Современник» был ослепительно бел.

И к нему присматривалась и, облизываясь, подбиралась литературная партия нового типа, цвета тусклой тёмной охры, как фасады петербургских доходных домов. Капитаны и майоры. Военные и штатские. Карлгоф из горвоенкомата, Панаев и Краевский из Минпроса, наш знакомый

Владиславлев и некто Врасский — из ГБ. Идея: стабильность — наличность — недвижимость. А также нравственность и художественность, само собой.

Все они помаленьку пописывали худ. тексты и помаленьку же скупали акции разных предприятий (Краевский, скажем, — Царскосельской железной дороги). Успех владиславлевского альманаха показал, что эти два любимых дела можно соединить.

Были кой-какие деньги, были приятели-поэты (у Краевского — Лермонтов; Карлгоф покровительствовал Кукольникову и Бенедиктову, даже издавал их книги за свой счёт); прозы вообще навалом, поскольку прозу они сочиняли сами; в основном — третьего сорта, но у Одоевского (из МВД) — вполне добротный второй, Панаев тоже подавал надежды. А Марлинского партия (эти люди так и говорили о себе: честная литературная партия) презирала.

Главное — у них был в «Современнике» свой человек, полезный человек, великий человек — Краевский. Возможно, единственный в мире человек, родившийся сразу редактором (как Башмачкин — чиновником). Никогда ничего другого в жизни не хотел и не умел, только — читать чужие рукописи и решать: в набор, в портфель или в корзину. И править их, править, с особенной охотой — статьи; поднимая чужие мысли до уровня своих. (И выдавая потом за свои: одна из двух слабостей, другая — к прибавочной стоимости.) А также — заключать союзы, составлять комплоты, плести интриги, вербовать агентов, подсылать лазутчиков, короче — всегда иметь врагов и беспрестанно побеждать.

Не хватало только критика (не абы какого, а с идей-красителем), чтобы осуществить лакомую мечту: завести на паях журнал — доходный и высокохудожественный. Писать сам — Краевский не любил, и считалось, что он для этого слишком умён.

Панаев предлагал призвать из Москвы Белинского. Какая свобода пера, какой искренний голос. Краевский соглашался: пишет смело, а попадает в такт; далеко пойдёт. Наброситься на Марлинского не каждый решился бы: на репрессированного! на солдата! для которого, может быть,

в литературной славе — единственная надежда на перемену судьбы. Все похваливали или помалкивали — под дурацким интеллигентским предлогом: лежачего якобы не бьют. Белинский первый в России подал пример: бьют, и ещё как бьют, ведь нам дороже всего эстетическая истина. И надо же как угадал: там, во дворце, смотрят на так называемое творчество Марлинского точно так же, — это министр сказал. Он вообще Белинским доволен; ещё бы: как радуется, когда молодой — а всё понимает. Необыкновенно удался ему в «Литературных мечтаниях» этот абзац, действительно прекрасный.

(Напомню его в скобках. Частично воспроизведу. Хотя СНОБ против. Она говорит: не может этого быть, чтобы великий ревдемократ начал свою песенку с такой визгливой ноты. Впоследствии — да, его попутал бес — вернее, Бакунин — вернее, Гегель. И то ненадолго. А этот абзац в «Лит. мечтаниях» — крайне сомнителен. Крайне. Его, наверное, Надеждин вписал, тайком от автора. Чтобы спасти эту гениальную статью от цензурной расправы.

«Итак, нам нужна не литература, которая без всяких с нашей стороны усилий явится в своё время, а просвещение! И это просвещение не закоснит, благодаря неусыпным попечениям мудрого Правительства. Русский народ смыслён и понятлив, усерден и горяч ко всему благому и прекрасному, когда рука Царя-Отца указывает ему на цель, когда Его державный голос призывает его к ней! И нам ли не достигнуть этой цели, когда Правительство являет собою такой единственный, такой беспримерный образец попечительности о распространении просвещения...»

А вот и прямо про Уварова. Как независимо, как тонко и звонко. Нет, гражданка, это не Надеждина рука:

«Да! у нас скоро будет своё *русское*, народное просвещение; мы скоро докажем, что не имеем нужды в чуждой умственной опеке. Нам легко это сделать, когда знаменитые сановники, сподвижники Царя на трудном поприще народоправления, являются посреди любознательного юношества в центральном храме русского просвещения возвещать ему священную волю Монарха, указывать путь к просвещению в духе *православия, самодержавия и народности...*»)

Молодец. То, что надо. Далеко пойдёт.

Но покамест пускай остаётся в Москве, матерееет. Журнала-то ещё нет.

«Отечественные записки» Свинына дышат на ладан. «Русский вестник» Сергея Глинки — в летаргии. «Сын отечества», Греч и не скрывает, убыточен. Да и «Современник» должен же Пушкину очень скоро надоесть. Корректурa, редактурa, цензура... Куратору вовремя поддакнуть... Не с его характером.

Покамест все эти тяготы и хлопоты Краевский взвалил на себя. *Gratis*, из естественного благоговения молодого литератора к живому классику. И чтобы втереться в литбомонд. Чисто для души. (Для денег он редактировал любимый орган Уварова — журнал Минпроса.) Пушкин за ним, как за каменной стеной, спокойно дописывал «Капитанскую дочку».

Вот если бы он согласился взять Краевского (и, скажем, Одоевского) в соредакторы прямо сейчас. С Врасским (чья типография) — у нас большинство. Произведём реорганизацию. А там и прибыль — как начнёт поступать — перераспределим.

Не на того напали. Когда они сунулись с этим к Пушкину — он их послал. У Пушкина было сколько угодно собственных идей (в том числе даже одна политическая); он тоже прекрасно понимал разницу между журналом и альманахом.

И тоже, кстати, подыскивал постоянного критика; Гоголь явно не годился. Гоголь в первый том «Современника» дал совершенно бестактную статью. Напал на «Библиотеку для чтения» (а журнал-то — Смирдина, и там напечатана «Пиковая дама»). Пожалел о «Телеграфе» и даже исхитрился выразить сочувствие самому Полевому («В это время не сказал своих мнений ни Жуковский, ни Крылов, ни князь Вяземский, ни даже те, которые ещё не так давно издавали журналы, имевшие свой голос и показавшие в статьях своих вкус и знание: нужно ли после этого удивляться такому состоянию нашей литературы?») Наконец, не посчитал нужным заметить Белинского, восходящую звезду.

Пушкин был вынужден в следующем томе отчитать его, и довольно резко. За всё сразу, и отдельно — за Белинского:

«Жалею, что вы, говоря о “Телескопе”, не упомянули о г. Белинском. Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостью мнений и с остроумием своим соединял он более учёности, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, — словом, более зрелости, то мы бы имели в нём критика весьма замечательного».

Гоголь не возразил. Гоголь охладел к «Современнику». Гоголь возьми и свали за бугор. По-английски, не прощаясь. Вместо последнего привета послал Пушкину какую-то шуточку — немножко бестактную — в тексте пьесы «Ревизор».

Но и с Белинским — не срослось. За какие-нибудь две — две с половиной тысячи он весь будет твой, уверял Пушкина Нащокин. Две — две с половиной. Из дохода от журнала, больше неоткуда. А журнал дохода не давал. Потому что не имел успеха у публики — потому что был ей скучен.

А Пушкин думал (наверное, не очень ошибаясь) — это потому что она глупа. Но через полгода, в крайнем случае — через год — поумнеет, если он займётся «Современником» сам. Лично. Дейтельно. Вплотную.

Вот тут он, вероятно, заблуждался. Воспитывать читателя, не ублажая, — деньги на ветер. Не потрафляя. Презирая — ну да, примитивные — его, читателя, пожелания. Которые к тому же неплохо бы и представлять себе хоть приблизительно.

Короче, необходимо нужен был сотрудник, знающий этот, скорей всего дешёвый, но волшебный секрет: как сделать, чтобы журнал читался, как глава из увлекательного романа, и чтобы предвкушение продолжения вошло у публики в непобедимую привычку. Пушкин, похоже, не знал этого секрета. Белинский — и подавно. Знали — преуспевающий Сенковский (главный и пока единственный конкурент) и безработный Николай Полевой. Который, вообще-то, всё ещё считался самым лучшим журналистом, сильнее всех, — но упоминание о нём, признаюсь, неуместно: помимо пробежавших

между Пушкиным и Полевым чёрных кошек, следовало иметь в виду сказанное мною же выше: организм Уварова не подчинялся закону сохранения электрического заряда (в частности, формуле Тредиаковского-Кулона); если Сергей Семёнович теперь сильнее ненавидел Пушкина, это не значит, что Полевого он ненавидел теперь слабей; оба были им приговорены, но вздумай они, вопреки вероятию, заключить союз, — в ту же секунду идиот задул бы «Современник», как одуванчик.

Тем более что кое-кому уже пришла однажды в голову идея такого, извините за выражение, тандема — и не порадовала ничуть. В 33 году Пушкин пытался выбить в политбюро ставку научного консультанта — который вместо него копошился бы в архивах, добывал и отбирал документы, — то-то резвым аллюром пошла бы история Петра. Кого же тебе надобно, спросил царь. Погодина, московского профессора, отвечал Пушкин. Нацлидер нахмурился. Стал отвердевать, явно собираясь перейти в режим «Недоступен». К счастью, министр внутренних дел смекнул причину: «всё поправил, — рассказывал Пушкин Погодину, — и объяснил, что между вами и Полевым общего только первый слог ваших фамилий». (И ставку выделили было, да только Погодина не устроило соглашение о разделе вершков и корешков.)

В общем, Полевой на этой странице всплыл со дна совсем некстати. А искомый человек стоял у Пушкина за спиной, — но Пушкин упрямо не поворачивался к нему. Словно не догадываясь (а ещё — гений!) — что на посылах у него, на побегушках — журналист, величайший из всех. Который, десяти лет не пройдёт, как воздвигнет себе дом на Литейной (где теперь музей Некрасова; и Панаева; и тень Авдотьи Яковлевны залетает порой). Такого прочного успеха не добивался в России ни один редактор. Вот же он, совсем рядом — в густых бакенбардах, солидный такой; ни дать ни взять — Адуев-старший из «Обыкновенной истории». Вся мат.-тех. часть «Современника» держалась на Краевском, но Пушкин: а) не брал его в долю, б) не платил ему, в) даже отказывался печатать его protégés (Кольцова, например: из целой тетради стихотворений принял одно).

Особенно раздражал, не удивляйтесь, пункт третий: снова и снова подтверждая, что у Пушкина нет чутья на рентабельное. А у Краевского оно было.

Он роптал и сетовал. И ворчал. Жаловался на Пушкина общим приятелям.

И общие приятели наконец сказали хором: а зачем нам ждать, пока «Современник» рухнет? давайте сами обрушим его; предадим Пушкина! как один человек, предадим!

Краевский, Одоевский и примкнувший к ним Врасский представили министру просвещения программу нового, собственного журнала. Название — «Русский сборник», цель — патриотическое воспитание, авторы — весь цвет словесности (кроме Пушкина), и т. д. Приложение: горячее ходатайство Жуковского.

Уваров не мог же упустить случай огорчить Пушкина — и взялся ходатайствовать перед государем о дозволении. Хотя не скрыл от Жуковского, что проспект — не впечатляет: «Это просто журнал — а программа сходствует со всеми программами журналов».

Результат оказался отчасти неожиданный. Николай написал на первой странице его доклада: *И без того много.*

(И как в воду глядел. Месяца не пройдёт — органы разоблачат враждебную вылазку Чаадаева в «Телескопе». А ваши цензоры, Сергей Семёнович, проморгали. Ваш фаворит Надеждин оказался пособником внутреннего врага. Ну или буйного сумасшедшего. Который даже в частной переписке позволял себе клеветнические утверждения типа: «мы живём среди самого плоского застоя». Вообще, как-то немного надоедает закрывать журналы по одному. «Европеец», «Телеграф», «Телескоп» — кто следующий? Помнится, вы обещали, что образумите литературу.)

Отныне, значит, завести новое периодическое издание стало невозможно. Только — купить одно из существующих. Либо взять напрокат.

И Краевский с компанией, не теряя времени, арендовали газету Воейкова — «Литературные прибавления к Русскому инвалиду». А насчёт журнала решили: успеется; обождём, пока Глинка или Свиныин сбавят цену или Пушкин убедится, что не за своё дело взялся, прежде чем лицензию отзовут.

С его-то комплексом Кориолана — руководить СМИ? Топтаться в шеренге идеологической obsługi? На грудь четвёртого человека — равняйся? Журнал, не подлый вовсе (без подлости хотя бы притворной, то есть двойной), — в России невозможен. Будь редактор хоть какой благонамеренный, до кончиков ногтей патриот и монархист — всё равно: без подобострастного кликушества нельзя. Чистота политической совести не даёт привилегии на осанку благородства, — совсем наоборот: ваш полупоклон означает, что и верноподданный вы процентов на 50; а другой половиной — идейный сторонник; может, и в единомышленники метите? экая наглая претензия. Руководящей и направляющей силе не нужны волонтеры. Сторонник — это потенциальный попутчик, то есть наиболее вероятный вредитель. И какой, на фиг, может быть единомышленник у того, чье мышление непостижимо?

С лёгкой руки покойника Байрона у нас до сих пор в моде Ориент, — ну так скажите: от одалиски в серале разве требуется, чтобы она питала к домохозяину лирическое чувство? отнюдь. Только блюда, алмея, постоянную готовность: подхватиться сразу же, как на табло высветится присвоенный номер. Ну и условие *sine qua non* — не правда ли, г-н Киреевский? не правда ли, г-н Полевой? — быть на хорошем счету у дежурных евнухов и бригадира.

В том же, собственно, убеждает и пример Надеждина. Как с ним поступили: гром! молния! — чтоб духу не было! — в Усть-Сысольск, где ворон не соберёт костей Макаровых телят! — а, между прочим, писать — пиши себе; а печатайся, сколько душе угодно; годика через полтора, бесшумно так, амнистируют вчистую. Не оправдал ожиданий, но не обманул доверия: Сергей Семёнович кадровых ошибок не допускает. Проштрафиться — ослабить бдительность, даже прозевать враждебную вылазку — может каждый, но по большому счёту люди без самолюбия — вне подозрений.

И только они. Брамбеуса начальство терпит, потому что — шут и кувыркается. Тем искупая — ну не аполитичность, а некоторую как бы вялость общественной позиции. Хитрец ловко рассчитал: в журнале, где, скажем, лит. крит. обозрение является под заголовком «Большой выход

у сатаны», не совсем уместна публицистика про блаженство наших дней и всенародную поддержку Великого Кормчего. То есть, разумеется, вкус официоза отбить нельзя ничем, но букет будет уже не тот, без романтических обертонов: доносящийся из соседнего раздела чад иронии неумолимо перебьёт нежную ауру берёзовой лозы. При известной снисходительности взгляда на эту комическую литературную личность, можно даже считать, что барон, уклоняясь от общеобязательных регулярных прямых изъявлений, проявляет своего рода такт. (Тем более что реальный-то Сенковский, хоть и поляк надутый, особо ценим военной разведкой как незаменимый специалист; как пригодился, например, его русско-турецкий разговорник на фронте последней войны!)

А «Современнику» на снисхождение рассчитывать нечего. Каждый номер будет тщательно исследован на предмет соответствия пропорции оптимизма и восторга — нормам ГОСТа. Рабы и шпионы Лукуллова наследника займутся идентификацией авторов. (Это Гречу можно публиковать Марлинского, Кюхельбекера, Одоевского Александра; а Пушкин — только попробуй!) И, сладострастно помешивая в чернильнице клювом пера багровую жижу, каждый дундук станет учить Пушкина стилистике.

Этого Пушкин точно не вынесет. В раздражении неизбежно допустит промах — то есть очередное прямое попадание в огромную неприкосновенную мишень. А ей, мишени, только того и надо. Она, мишень, уж будьте уверены, позаботится о том, чтобы на этот раз её царапину или вмятину вменили ему по полной.

Короче, век «Современника» измерен. Нелепо было и затевать его после «Выздоровления Лукулла». Вы полагаете, что сознательно идёте на риск отвратительных унижений (в номерах служить, — с гадливой тоской покорно повторяете вы за советским убитым писателем, — подол заворотить); но если вы на ножах с бригадиром — это уже не риск, а просто так и знайте: вы погибли; вам вообще нельзя было соваться в эти номера.

Мотылёк, атакуя лампу, чувствует себя, возможно, истребителем. Игрок, преследующий воображаемое числительное,

пылает эйфорией боя. За 376 тысяч р. инженер Германн пошёл бы, не раздумывая, в альфонсы к восьмидесятилетней, но раз время не терпит (в первую же ночь она шифр сейфа фиг выдаст, — а что если на вторую вдруг перекинется?) — шантаж предпочтительней; скорей — значит практичней; благоразумней. Когда мы галлюцинируем, нам нет преград.

Вот и Пушкин решал свои арифметические задачи по правилам галлюцинации. Притом верил (в 36 году!) — что какое-то время у него ещё есть:

«Вижу, что непременно нужно мне иметь 80 000 доходу. И буду их иметь. Не даром же пустился в журнальную спекуляцию — а ведь это всё равно что золотарство... очищать русскую литературу есть чистить нужники и зависеть от полиции. Того и гляди что... Чёрт их побери!»

А Уваров — ну что Уваров? На Уварова, думал Пушкин, у него есть царь. Точней — Бенкендорф. Ещё точней — Мордвинов. (Тем-то двоим вникать в дискуссии о формализме — влом.) Как бы ни было — практически прямой, всего через два разъёма, провод к гаранту. Другое дело, что там с прессой разговор короткий: защитить, если очень попросишь, — может, и защитят, но и посоветовать, в случае чего, — посоветуют. Или тоже попросят. И не отвертись.

Презренный, одним словом, бизнес. Очень ненадёжный, но, главное, презренный. Вся эта ситуация страшно раздражала Пушкина.

«...У меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи ещё порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры, и мне говорили: *Vous avez trompé* и тому подобное. Что же теперь со мною будет? Мордвинов будет на меня смотреть, как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона; чёрт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело, нечего сказать».

Вот так вот. В письме к Н. Н. (от 18 мая 36 года) — не в простом письме, а в бессмертном (сколько кровоточащих самолюбий спасло: капнуть цитатой — до свадьбы заживёт) — ни с того ни с сего одним сравнительным оборо-

том — словно пулей муху в стену вдавил: вот ваш Полевой! нашли кому сочувствовать.

Запоминается, конечно, только цитата, ввиду её целебных свойств, но по краешку сетчатки всё равно пробегает: Полевой = Булгарин = шпион. А тут ещё старуха СНОП, встрепенувшись, появляется из-за ширмы. Всеми своими мимическими средствами давая понять, что, во-первых, ничего не случилось, а во-вторых — она тут совершенно ни при чём.

— Ну да, примечание науки гласит: «Пушкин полагал, что Н. Полевой, подобно Булгарину, был связан с III отделением». Полагал и полагал, что тут такого особенного? Нормальный ход.

— Как это — ничего особенного? А разве не этот же самый Пушкин или не про этого же самого Полевого писал два года назад: «мудрено с большей наглостью проповедовать якобинизм перед носом правительства?» и что полиция дала слабину, не распознав его вражескую сущность: «умел уверить её, что его либерализм пустая только маска»? То есть ещё недавно Пушкин полагал, что Полевой — опасный и бесстрашный экстремист. И вот — такая резкая перемена. В чём дело? Открылись какие-то новые факты?

— А это не к нам. Не наша компетенция. Подайте запрос в подсектор Полевого. Шутка. Да не волнуйтесь вы так. Не сказано же: имел основания полагать. Просто зарегистрирован один из рабочих моментов умственной жизни великого поэта. Человеку вообще, а русскому литератору в особенности — свойственно и полезно полагать про ближнего своего, что он — агент. Тем более — про дальнего.

— Чём агентом можно считать человека, про которого думаешь, что III Отделение он сумел переиграть?

— А двойным: Бенкендорфа и мировой буржуазии. Допускаете же вы, что и сам Бенкендорф работал не только на Николая, но и на галактическую закулису. А если серьёзно — вспомните, как мирволил вашему... подзащитному начальник политической полиции; потакал, покровительствовал фактически. Ценил дарование, говорите? Уважал как человека и писателя? Бенкендорф? Ну-ну. А после разгрома «Телеграфа»: откуда нам знать, на каких условиях оставили

Полевого в Москве, вообще — в литературе? Не заставили ли — хотя бы для виду, для отчёта о проведённой с ним профилактической беседе — дать соответствующую подписку? Нет, нет, никаких доносов — кому они нужны, и так выше крыши, не успеваем обрабатывать. Но мало ли — возникнет, предположим, надобность поправить слог во всеподданнейшем ежегодном обзоре настроений, — ведь не откажетесь помочь? Разве не идеальный был момент для вербовки? разве Полевой не идеальный был объект? А что документов не осталось — это в порядке вещей.

— Но если документальных данных нет и всё это одни только домыслы — жалко вам, что ли, указать невежественному потомству: Пушкин полагал и так далее — безосновательно?

— Не понимаете. Это было бы ненаучно. Нет данных за — но ведь нет и против. Те или другие могут ещё когда-нибудь быть откопаны. Хотя вероятность ничтожна.

— Что это вы такое говорите! Данные против — разве бывают? Как вы их себе представляете? В виде справки на бланке Большого дома: предъявитель сего в картотеке А (сексоты), а равно и в картотеке Б (стукачи) не числится? О да, с такой бумагой в нагрудном кармане можно смело смотреть потомству в глаза! Никаких улик. Сбережение агентуры — первая заповедь. А. И. Рейблат рассказывает: Фон-Фок собственноручно переписывал сообщения информаторов, после чего уничтожал. А, наоборот, лжеулики, я думаю, копил, как валюту. Записку Пушкина о Мицкевиче небось не сжёг.

— Прекратите. С этим клочком бумаги давно разобрались. Только любитель дешёвых сенсаций способен...

— Кто же их не любит. Кстати, не клочок: обыкновенный канцелярский лист качественной казённой бумаги. И разобрались вы с ним — извините — как всегда: типа да будет стыдно тому, кто задаст вопрос, и поэтому отвечать на него нет смысла. Типа ну совершенно ничем не примечательный текст. И действительно так. Заурядная объективка. На французском языке, без подписи, с датой: 7 января 1828. Адам Мицкевич привлекался тогда-то и там-то, дал такие-то показания, отсидел столько-то, выслан туда-то

под присмотр такого-то и такого-то; в настоящий момент надеется, «что если их отзывы будут благоприятны, власти разрешат ему вернуться в Польшу, куда его призывают домашние обстоятельства». Всё. Ровно ничего интересного, если бы не эта неприятная подробность: рука — Пушкина, его самый лучший, парадный почерк.

— Ни малейшей неприятности, наоборот. Великий русский поэт ходатайствует за великого польского. Благородный пример профессиональной солидарности.

— Поднадзорный — за поднадзорного? Вам ли не знать, ему ли было не знать, на каком он там счету, какой вес имеет там его мнение? Но допустим. Тогда — каково же оно? Что он предлагает, чем аргументирует? И — почему не подписался?

— Ходатайство было, по-видимому, устное. В личном разговоре. И собеседник сказал Пушкину: а набросайте-ка мне основные факты; чтобы я, докладывая наверх, ничего не упустил.

— Вот! Это уже теплей. Стандартная, многожды изображённая процедура — мягкая вербовка втёмную. Как дела, над чем работаете, нет ли проблем? Говорят, завтра вы завтракаете (смешной оборот, а не вывернешься из него) у господина Булгарина? И господин Мицкевич там будет, его друг; вы ведь с ним знакомы ещё по Москве? Мы в курсе. В гостях — у Николая Полевого, кажется? — пили за его здоровье, участвовали в складчине на какой-то серебряный кубок... Большой артист, не правда ли? Ах, вы читали только переводы... Но ведь он мастер? мастер? Что вы говорите: тоскует? по семье? бедный! Послушайте, это очень, очень важно; вы можете оказать Мицкевичу неоценимую услугу: напишите это — вот то, что вы только что сказали; напишите прямо сейчас... Прекрасно, прекрасно. Погодите, не подписывайте — давайте-ка вместе придумаем ник; что-нибудь из вашего неопубликованного; может быть — Арион? Это что-то мифологическое — говорящий конь, да? Тут Пушкин, конечно, опомнился и, конечно, взбеленился. Убедительно, надо думать, взбеленился. Основательно. И его оставили в покое. А бумажку — на всякий случай — в досье; такая глупость: забыл разорвать.

— К чему этот скучный плагиат из советской антисоветской беллетристики?

— А к тому. Если бы почерк записки был чей-нибудь другой, — признайтесь: мы не стали бы сочинять никаких версий. Сочли бы её за едва ли не безусловное доказательство сами знаете чего. Но тут — мы абсолютно точно знаем: этого не может быть! Просто потому, что если в это хоть на секунду поверить — нас самих больше нет. Рубенс был шпион — фламандская живопись восхитительна. Дефо был шпион — Робинзон Крузо лучший друг советских школьников. Дидро, говорят, был шпион, — никого не колышет. Но если бы тот же я, например, мог представить себе, что Пушкин — — —! Это как тотальный, фатальный инсульт. В одно мгновение вы превращаетесь в слепоглухонемого идиота. По крайней мере, на русском языке больше ни говорить, ни даже думать нельзя. Не то что читать или писать... А вы — о доказательствах! Ни один человек в России никому и ничем не может доказать, что он не агент и никогда не был агент, — ничем, кроме всей своей жизни, до агонии включительно. Кроме всей своей жизни, всей своей жизни. Пушкин — доказал. А Полевой, скажете — нет?

— Ваш Полевой — никто. Для всех и давным-давно. И звать никак. Некто, кого Пушкин (и не он один) не любил, — не всё ли равно, за что? За многое. В 36-м — я скажу, а вы сразу забудьте! — даже и за то, что сам в 34-м аплодировал победе Уварова над «Телеграфом». Которой ведь и поспособствовал чуть-чуть. О, совсем чуть-чуть, — но как отрадно думать, что человек, вынудивший вас сделать гадость, ничего другого и не заслуживал: потому что он гад. Якобинец, шпион, какая разница? Это всего лишь бранные эпитеты, по-разному мотивирующие неприязнь — одну и ту же.

— Пусть никто. Но ни в коем случае не гад. Остаться в истории литературы никем (т. е. не остаться, потеряться) — это одно, а остаться кем-то, про кого Пушкин написал: шпион, — это немножко другое, согласны?

Давайте прикинем: с какой стати ему пришло на ум именно такое слово, а на память — имя: Полевой.

Осенью 36-го один молодой историк, Устрялов, намереваясь защищать докторскую диссертацию, напечатал её отдельной брошюрой. Там он оспаривал какие-то положения Карамзина, в чём-то соглашался с Полевым, — ну, как должно быть в добросовестной научной работе. Вяземский написал разбор. В виде открытого письма к министру Уварову. На тему: все враги России — противники Карамзина, и все противники Карамзина — враги России. По-видимому, князь Петр Андреевич окончательно забросил чепчик за мельницу. Три цитаты:

«...Г. Устрялов не усомнился вывести на одну доску Карамзина и Полевого: стройное творение одного и хаотический недоносек другого! И столь двусмысленно или просто сбивчиво опутал собственное мнение своё оговорками, пошлыми фразами и перифразами, что поистине не знаешь, кому из двух отдаёт он преимущество!»

«...Письмо Чаадаева не что иное в сущности своей, как отрицание той России, которую с подлинника списал Карамзин».

«...И самое 14 декабря не было ли впоследствии времени, так сказать, критика вооружённою рукою на мнение, исповедуемое Карамзиным, то есть Историю Государства Российского...»

Чудовищный этот текст Вяземский предложил «Современнику».

Печатать его, разумеется, было нельзя, неприлично; Пушкин написал Вяземскому: цензура не пропустит. Разве при каком случае удастся использовать отрывок-другой. И отчеркнул в рукописи самый подходящий — насчёт хаотического недоноска. Сбоку приписал:

«О Полевом не худо бы напомнить и попространнее. Не должно забыть, что он сделан членом-корреспондентом нашей Академии за свою шарлатанскую книгу, писанную без смысла, без изысканий и безо всякой совести, — не говорю уже о плутовстве подписки, что касается управы благочиния, а не Академии наук».

Обвинение немного странное, если вдуматься: от человека, пятый год получающего солидную плату за труд, которым занимается — скажем так — спрехвала.

Что характерно: именно тут СНОП не выдерживает; считает своим долгом вмешаться. Ход её мыслей — по умолчанию — примерно такой: Пушкин обозвал Николая Полевого шпионом — оставим это на его совести; якобинцем — просто забудем (великий поэт погорячился, с кем не бывает); но невеждой, но халтурщиком, но жуликом — это перебор. Если и это оставить без комментария — потомство, чего доброго, решит, что гений не всё понимал; не так уж безошибочно разбирался в книгах и в людях; и разрешал себе не совсем литературные поступки. К примеру — готовил печатное нападение на писателя, лишённого возможности возразить. Так знайте же, дети: в данном конкретном случае Пушкин поддался вполне естественному желанию — дискредитировать конкурента. (Что-что, а такой мотив потомство радостно поймёт.)

Она проговаривается!

«...Пушкин болезненно воспринимал любые известия (ага!), которые ставили под сомнение ценность подготовляемого им труда или могли осложнить его положение как историка. Надо думать, что именно это обстоятельство обусловило резкость слов Пушкина по адресу Н. А. Полевого на полях открытого письма Вяземского».

Позвольте, позвольте: а думать, что Пушкин считал Полевого сексотом, — получается, уже не надо? Ведь если, наоборот, думать, что считал, то зачем искать оправдание резкости тона?

Она проговорила, она проговорила, наша добрая, справедливая, компетентная старушка СНОП! Она знает, что Пушкин обругал Полевого шпионом не по делу, а в запальчивости, со зла! Был повод, и была ядовитая подсказка.

Собака зарыта в злосчастной заявке Полевого на грант. Кто-то уведомил Пушкина и порадовал его подробностями: так и так, Бенкендорф поддержал, император отказал, однако тема не закрыта.

Кто же как не бесценный сотрудник Краевский.

Которому слил информацию, без сомнения, Владиславлев. Без сомнения же — дополнительно отравив.

Мы ещё увидим, на какую грубую ложь был способен этот человек, когда речь заходила о Полевом. Должно быть,

ненавидел. Должно быть — за полное равнодушие погибшего «Телеграфа» к владиславлевской прозе, столь ценимой другими, тем же Белинским.

Маленькие литераторы (особенно — бездарные) и вообще ненавидят больших; обожают (особенно — связанные с ГБ) на них клеветать; стравливать их. А также нельзя исключить, что штабс-капитан действительно подозревал, что его начальство заступается за Полевого и церемонится с ним — неспроста.

Вот все мотивы и сошлись.

Я предупреждал: кашалоты и гении бывают свирепы. Без причины кашалот обычно не нападает, но осознав маневры преследующих его плавсредств как согласованное и целесообразное поведение коллективной злой воли — и что участь его решена, — разворачивается и идёт в контратаку*. Таран, ещё таран. Кашалот теряет ориентацию, слепнет, глохнет, но бьёт и бьёт своей огромной головой по деревянным — а если стальные, то по стальным — бортам и днищам. Большой промысловый корабль ему не потопить, а вот у катеров, не говоря уже о шлюпках, — шансов нет, перечитайте Мелвила.

Портфель был тощ. Журнал надо, как печку, топить, — а чем? Не Кукольника же прозой, не стихами Бенедиктова? Мемуары ветеранов ОВ — непортящийся товар, но на благородных стариках далеко не уедешь. Переводные романы программой не предусмотрены. Марлинского не пропустят. Гоголь дезертировал. Натуральная школа пока не открылась. Лермонтов, к счастью, не сочинил ещё «Смерть поэта». Откуда же возьмутся тысячи подписчиков, чтобы доставить десятки тысяч рублей?

А впрочем, 25 января 37 года, в понедельник, около полуночи, в гостиной у Вяземских, всё это утратило вдруг для Пушкина смысл.

И это настолько печальная — как сорок тысяч братьев — история, что я больше не хочу о ней говорить. Выпишу на прощание с Пушкиным страничку из одной мартовской того же года статьи (написанной Полевым; напечатанной Сенковским; Уваров утёрся).

«В толпе поколений, которые теснятся по дороге, ведущей от колыбели до гроба, спеша сменить пелёнки саваном, являются иногда пришлецы — странные скитальцы на земле, бездомные и сирые. У всякого из нас есть какое-нибудь занятие в жизни. У этих странников нет занятия. Они лепечут только какие-то гармонические звуки, иногда так внятно, что даже толпа людей слышит их, приходит в восторг, останавливается и, указывая на пришлеца, восклицает: “Поэт!” Где он? Где он? Неужели явился новый поэт? Да, явился новый фигляр на ваше позорище, новый безумец. Бегите, бегите за ним! Послушайте его песен! Смотрите — вот он! И толпа смотрит. “Да он как все? Он как все мы?” Разумеется,

И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он!

Но что ж он не поёт? Он, кажется, страдает чем-то? И он опять запел. Как это нехорошо, неправильно! Прежде он лучше певал. Посмотрите, как он дурачится! А вот ещё запел другой: этот поёт лучше, в этом больше надежды. “Надежды?..” Бедные люди! на чью могилу споткнулись вы? “Как? Это его могила? Жаль, жаль поэта! Он рано умер!” И суетливо пробежала вперёд людская жизнь, оставивши за собою потомству могилу вдохновенного, могилу, окропленную тёплыми слезами немногих, у кого сердце билось к нему сочувствием. Одни только они стоят, погружённые в мрачную думу, над его гробом!

Не вините толпы, не вините людей; она права, они правы. Поэзия — безумие, непонятное, странное безумие — тоска по небесной отчизне. Её ли понимать нам на земле?..»

Я думаю, что это написано хорошо. Что этот приподнятый тон не фальшив. Что это, конечно, романтизм для бедных, — но другого и не бывает. Что нет жанра неблагодарней, чем лит. критика. Тут скорей эссеистика, вы говорите? Ну да.

«Не вините людей. Действительно, так: сами поэты виноваты перед людьми — факиры-мечтатели, добровольные скитальцы, лунатики, повинующиеся силе непостижимого луча, который падает на них откуда-то свыше и приводит в вещее прозрение. Не думайте, чтобы толпа всегда отвер-

гала этих дивных собратий, чтобы она не давала им иногда гремушки своей дружбы, не дарила их дурацким колпаком своей любви. Но с презрением бежит поэт от её объятий, и, как слёзы крокодила, отвергает он слёзы толпы. В ярости своей за сострадание к нему, он платит эпиграммою — участию, насмешкою — любви. От него люди отвергнулись: он мучится. Его похвалили: он насмехается. И, вечно недовольный собою, другими, жизнью, — он гибнет, гибнет, когда его обхватывают холодные объятия света, гибнет, когда на него сыплются все дары земного счастья, гибнет, когда зависть обременяет его позором бесславия...»

Про отвергнутую слезу крокодила — смешно. И фактуры — ни к селу ни к городу. Но всё же, согласитесь, текст — не фуфло, а похож на человека.

И сестра Пушкина писала отцу:

«Вы, конечно, читали статью г. Полевого об Александре в “Библиотеке для чтения”. Она мне чрезвычайно понравилась. Это всё, что можно было сказать лучшего. Правда сквозит в ней, похвала без лести, без преувеличения, ощущение, чувство потери без аффектации...»

Дописывать ИРН (оставалось ещё шесть томов) и «Русскую историю для первоначального чтения» (четыре тома) и наполнять рецензиями (анонимными) критический отдел «Библиотеки для чтения». Очень много работы, очень мало денег.

«Работать и видеть, как бесплодно гибнет труд и время, менять векселя на векселя...»

В цейтноте и отчаянии человек начинает делать роковые глупости. Вернее, прибавлять новые к сделанным уже.

Личные нас не касаются, а литературная до сих пор была одна: не надо было объявлять эту проклятую подписку на ИРН.

Нет, была и другая, но выглядела сначала вполне ничтожной: некто Бегичев попросил просмотреть рукопись его романа; Полевой просмотрел: графоман, а впрочем, что-то есть; какой-то юмор, какие-то живые сцены; только слог невозможный. А не согласитесь ли вы его поправить, любезнейший Н. А., — ну что вам стоит, вы же профессионал,

такой блестящий мастер. Полевой взялся. Будучи, чёрт возьми, бесхарактерным, а также падким на комплименты генералов. (Этот Бегичев, приятель покойного Грибоедова, предполагаемый прототип Горичева из «Горя от ума», был воронежский губернатор.) Текст был огромный, времени отнял бездну, но книга — «Семейство Холмских» — вышла и даже имела успех. Автор не ударил палец о палец, Полевой сам нашёл издателя, даже сам держал корректуры. Наконец, проездом из Воронежа в столицу, внезапно Бегичев явился: говорят, мой роман отлично идёт, — где мои деньги? Причиталось много, и, как назло, в этот день всей суммы не было: «Телеграф» тогда ещё действовал, и деньги непрерывно вращались. Ну что ж, сказал Бегичев, ничего страшного, выдайте мне на эти остальные пять, что ли, тысяч заёмное письмо. Что же Н. А.? Выдал! Из абсолютно неуместной щепетильности. Вместо того чтобы сказать наглему: и не подумаю! напротив того, я удержу их как гонорар за литообработку вашей писанины, на которую потратил бог знает сколько вечеров. Но кто же знал, что «Телеграф» рухнет. И что приятель Грибоедова окажется бессовестным человеком. За прошедшие годы вексель переписывался несколько раз, и пять тысяч этого нелепого долга превратились в десять, — а сколько унижений, — да что говорить!

А с «Гамлетом» — какой прокол! какой — не побоюсь этого слова — облом! Нет, не подумайте: перевод Полевого — совершенно замечательный, для русской тогдашней (а то и теперешней) сцены — лучший, и вообще — первый на русском языке текст *о смысле всего*, — но за него можно было получить деньги! Большие: чуть ли не эти же самые десять тысяч. (Полагался полный сбор за первый после премьеры спектакль.) Но Полевой подарил «Гамлета» Мочалову на бенефис (о, тщеславие драматического писателя! — страсть лютая, беззаветная, см. «Театральный роман»), — и пьеса навечно перешла в собственность театральной дирекции.

К 37 году размер долга простирался уже до 40 тысяч.

Пришло письмо из Петербурга. От Смирдина. Не хотите ли взять на себя редакцию «Северной пчелы» и «Сына отечества»? Я покупаю их у Греча, собираюсь вложить и

в газету, и в журнал много денег, вообще — возродить, но без вас это невозможно. Греч и Булгарин остаются сотрудниками, однако препятствий с их стороны не опасайтесь, вся власть — вам и только вам. Жалованье — какое скажете, аванс и подъёмные — само собой.

Полевой ухватился за этот вариант. Бросился, как в омут, в эту аферу. Очередная роковая глупость. Но она не казалась очевидной. И сделана была не только ради шанса избежать позорного разорения.

«...Что было первоначальною причиною мысли о побеге из Москвы, — читаем в его письме к брату месяца через три, — ты *знаешь* и согласишься, что меня ничто не могло спасти от моего несчастья, от этого проклятия, наложенного судьбою на жизнь мою, от огня, сжигавшего меня медленно и страшно, — ничто, кроме *побега*? Бежать, задушить себя работою, трудом, уединением... Разумеется, что от этого лекарства умереть можно (да, кажется, этим дело и кончится, и — слава Богу!), но, по крайней мере, я умру в бою с жизнью, не теряя достоинства человека, стараясь ещё быть, сколько могу, полезным моему семейству, моему отечеству, людям, может быть... Воздух Москвы был тлетворен для меня, губил меня, жёг меня... Итак... *бежать!*»

Примечание Ксенофонта Полевого: «Это место его письма, тёмное для читателя, не может быть пояснено мною. Скажу только, что он говорит о тайне сердца, унесённой им в могилу».

А я-то позволил себе в одном из предыдущих параграфов упомянуть о ней так легкомысленно и нетактично. Вот вам и шуры-муры. Да, с *femme fatale*. Трагические, да.

Убыл из Москвы 12 октября 1837 года. Провожали Ксенофонт, Мочалов и один фанат из молодых — Белинский.

«Проехав с версту по шоссе, — говорит Ксенофонт Полевой, — мы остановились; Николай Алексеевич вышел из своего экипажа, и когда мы крепко обнялись на прощанье — слёзы невольно полились из наших глаз... Он спешил броситься в дилижанс... Долго и безмолвно стоял я на дороге, покуда экипаж не скрылся из глаз. Когда, наконец, опомнился я от моих ощущений, я увидел стоявшего вблизи меня Белинского — в слезах!..»

§ 19. НЕЧТО О ТАИРОВОМ ПЕРЕУЛКЕ. О ЦЕНЕ ИМЕНИ. О ДЕДУШКЕ КРЫЛОВЕ

Девятнадцатый параграф напролёт — как пьяная землеройка, карабкайся — с типографским свинцом в груди и жаждой мести — по перевёрнутому дереву причин снизу вверх, от отдалённейших к ближайшим, пока они не сольются, не разбухнут комлем (ну, ещё рывок!) — да, комлем, но, увы, — пня. Где же развесистое дерево последствий? А тут прошлась зубом таинственной бензопилы — безноса; в пройденном ею времени все глаголы, а также существительное *правда* и ему подобные имеют сослагательный уклон.

Через три недели после того, как Николай Полевой переселился навсегда в Петербург, 6 ноября 37-го года там состоялось писательское собрание. Посвящённое, как нетрудно догадаться, знаменательной дате: ровно без двенадцати дней 80 лет до штурма Зимнего дворца. Стопроцентная гарантия, что никого из присутствующих не поставят к стенке (ни детей, — разве что который-нибудь, зазевавшись, заживётся на свете), — это ли не повод выпить?

На халяву, за счёт миллионера Жукова, короля махорки. Которого Владиславлев и Воейков уговорили инвестировать сколько надо тысяч в совместное предприятие — новую типографию. Пай Владиславлева — помимо наличных — административный ресурс, пай Воейкова — деньгами вряд ли более тысяч пяти (от Краевского, за аренду «Лит. прибавлений к Русскому инвалиду»), но такое имя — дороже денег, все знаменитости — в друзьях.

Лит. стаж — сорок лет. Создатель «Инвалида». Сочлен «Арзамаса» (ритуальное имя — Дымная Печурка). Был графоман от нечего делать, пока не набрёл на специальность по

душе: завистливый хулитель; но бедность — такой дрессировщик, который даже скунса делает ручным. Покровителю — слюни, всё остальное — всем остальным. Насмешника оклеветает, на конкурента и наступит (см. много выше: Булгарин и Греч — буревестники Декабря), а случайного прохожего отправит в химчистку меткой струёй из-за угла — просто так, от избытка.

И, например, покойного Пушкина эти извержения потешали. (Тем более что Воейков не жалел для него слюней.) Как и все, немножко презирая старика, Пушкин, как и все, бывал у него (на Невском, 64, над советской «Лавкой писателей») по пятницам ближе к вечеру. Как и все, после чая спрашивал почитать новое из «Дома сумасшедших» — или хоть не новое, — не надоело ничуть и никогда не надоест. Поэма, не поэма — экскурсия по жёлтому дому словесности, у каждого пациента — отдельный номер с койкой и железная цепь. Каждому — шарж (по-моему — убогий) и эпиграмма (по-моему — тупая, но). После каждой полагалось хохотать, — и хохотали. Воейков рассказывал её творческую историю. Как нелегко дался перу тот же Полевой. Несколько лет — не поверите: лет! — ничего не получалось, хоть брось.

— И вот однажды иду из церкви после заутрени, вдыхаю полной грудью колкий воздух весны, внимаю благовесту — вдруг ниоткуда слышу строчку, за ней вторую, третью, ещё... Я как пушусь бегом — только бы до дома не забыть.

— Беспорточный и бесчинный, — с явным (возможно, притворным) удовольствием припоминает слушатель. — Сталось что с его башкой?..

Этот текст вам ещё процитирует вы удивитесь кто, а покамест А. Ф. Воейков покорнейше просит почтеннейшего Н. А. и всех-всех-всех товарищей по цеху (кроме своих кровных врагов — гг. Греча, Булгарина и Сенковского) пожаловать на банкет. Ввод в строй нового гиганта отечественной полиграфии, — такой отрадный факт нельзя же не обмыть. В торжественной обстановке, в производственном помещении: первый этаж бывшего публичного дома, а прежде — больницы, той самой, из окон которой в 31 году

трудящиеся выбрасывали на мостовую распространителей холерного вибриона — врачей-убийц. В Телячьем переулке, он же Сенной, он же Таиров. (Не в честь ли местного руссоиста, подпольного человека из ещё не написанной оды: Таирова поймали! Отечество, ликуй! Конец твоей печали — Ему отрежут нос!) В котором переулке, если уж всё говорить, девица Дуклида познакомится с Раскольниковым: — Подарите мне, приятный кавалер, шесть копеек на выпивку!

Все-все-все, от Крылова до Панаева, явились. Конечно, и секция цензуры в полном составе. И профессор Никитенко, спасибо ему, не забыл включить свой бесценный диктофон. И сохранил запись:

«...человек семьдесят. Тут были все наши “знаменитости”, начиная с Бурнашева и до генерала Данилевского. И до сих пор ещё гремят в ушах моих дикие хоры жуковских певчих, неистовые крики грубого веселья; пестреют в глазах несчётные огни от ламп, бутылки с шампанским и лица, чересчур оживлённые вином. Я предложил соседям тост в память Гутенберга. “Не надо, не надо, — заревели они, — а в память Ивана Федорова!”

На обеде присутствовал квартальный, но не в качестве гостя, а в качестве блюстителя порядка. Он ходил вокруг стола и всё замечал. Кукольник был не в своём виде и непомерно дурачился; барон Розен каждому доказывал, что его драма “Иоанн III” лучшая из всех его произведений. Полевой и Воейков сидели смирно.

— Беседа сбивается на оргию, — заметил я Полевому.

— Что же, — не совсем твёрдо отвечал он, — ничего, прекрасно, восхитительно!

...У меня пропали галоши, и мне обменяли шубу».

Тоже, значит, был хорош. Однако ушёл одновременно с благоразумными или ненамного позже. А отчаянные и восторженные остались, как всегда бывает, допивать.

До этого вечера никто и никогда не видел Николая Полевого пьяным. И даже похоже на то, что до этого вечера он вообще почти не пил. Иногда заказывал в английском магазине ящик настоящего портера (любил Англию, корабли, повесть Марлинского «Фрегат “Надежда”»), — ящика хватало надолго.

А тут, очевидно, его развезло. И он не заметил, как ушли лит. генералы Крылов и Вяземский, а за ними лит. штаб-офицеры. Погрузился в какие-то мысли — наверное, мрачные: эти три недели были тяжелы. Умерла Немочка, слегла Mutter; проклятая петербургская погода, проклятая холодная квартира; не хотелось ему, наверное, домой.

И он сидел и дремал — вдруг встрепенулся — и (вот оно, коварство алкоголя!) ни с того ни с сего вообразил, что находится среди замечательных, выдающихся и очень расположенных к нему (глупец!) людей и что ему с ними очень весело.

А что с него не сводят глаз — не понимал. И что если Никитенко, допустим, ушёл, то, например, Панаев, отвечающий в партии Краевского за связи с общественностью, — остался.

«— Ну и хорошо сделали! — произнес Кукольник, махнув рукой на удалявшихся. — Мы обойдёмся и без этих аристократов. А вас их! Правда, Полевой?

— А вас!.. — отвечал, ухмыляясь (*а не улыбаясь, вы поняли?*), Полевой, сладко (*а не как-нибудь*) глядя в глаза Кукольнику, и вскрикнул: — Ура, Кукольник!

— Ура, Кукольник! Ура, Полевой! — закричали кругом их.

...Между тем совсем смерклось, и залу осветили двумя или тремя плохо горевшими лампами (*Ну вот; а Никитенко, см. выше, говорит — несчётные огни; вообще-то — первый этаж, Таиров переулок, ноябрь месяц — нечему там смеркаться, темно уже с утра; Никитенко писал через 24 часа, Панаев — через 24 года; зато художественней.*). Пропитанная спиртным запахом и табачным чадом, она представляла неприятное зрелище. Столы были уже сдвинуты. Пьяные тени шатались и бродили в этом чаду, освещённые тусклым и красноватым светом ламп, крича, болтая всякий вздор и натываясь друг на друга. Полевого и Кукольника начали качать...»

Панаев терпеливо ждал: не случится ли чего-нибудь совсем безобразного. И ему повезло.

«Литературная оргия кончилась пляской.

Полевой, Кукольник и Яненко пустились вприсядку. Около них составилась кружок, рукоплескавший им и кричавший: Bravo, bis!..»

Вприсядку! Понимаете ли — вприсядку! Сгибая одну ногу, а другую выбрасывая. Попеременно. В подражание заячьему брачному бою. Непристойная пляска смердов. Исполняет — во фраке и узких брюках — романтический сочинитель Николай Полевой! Руки в боки, глаза — в пол. Лицо бледное, притоп слабый, выдох громкий.

Несчастный болван. На сорок втором году жизни настолько забыться. От каждого литератора, который чего-нибудь стоит, все остальные литераторы и публика хотят одного: чтобы дал повод взглянуть на себя свысока; разочаровал; скомпрометировал свои тексты. Всё равно каким способом, логика ни при чём. Человек, написавший «Блаженство безумия», не имеет права плясать холопский, на короточках, канкан. (Да и вообще двигаться под музыку, если на то пошло.) А раз пляшет — он недостойн быть автором этой вещи, а вещь не стоит волнения, с которым её читали. Вот и вся логика.

«...Я не дождался конца пляски. Мне было больно и оскорбительно за Полевого».

Ишь впечатлительный. А что, собственно, стряслось? Невиннейший ведь эпизод. Ну выпил человек и легонько нарушил регламент. (Как Ноздрёв на балу. Казнитесь, казнитесь, Н. А.!) Ну позволил себе несколько минут выглядеть глупо. Назавтра всё забудется.

Не забудется никогда. Превратится в символическую сцену. Первая репутационная потеря. Поскользнулся на парадной лестнице.

На самом-то деле он уже падал вниз головой по лестнице чёрной.

Он оставил в Москве единственного друга и её.

В Петербург привёз имя, семью, голову и правую руку, долги.

Долгов набиралось уже на пятьдесят тысяч с лишним.

Примерно столько же стоило его литературное имя. Он посчитал: если бы кто-то выкупил сразу все его обязательства и сказал — теперь вы должны одному мне, и я согласен

ждать уплаты два года, — этих двух лет точно хватило бы, чтобы довести до конца все три истории (ИРН, и Петра, и маленькую: «для первоначального чтения»), а также биографию Колумба. И напечатать их (взяв дополнительный кредит). В случае успеха у публики продажа этих сочинений, безусловно, дала бы сказанную сумму и проценты. Успех — вы же не станете спорить — обеспечен, и понятно — чем. Вот она и цена имени.

Голова и правая рука давали от пяти до десяти тысяч в год. Половина этого заработка уходила на обслуживание долга.

Семье нужно было хотя бы двенадцать.

Смирдин покупал голову и правую руку — но с большой надбавкой за имя. Искренне веря, что если объявить: Николай Полевой возвращается в журналистику! с 1 января 38 года он становится ответственным редактором «Сына отечества» и «Северной пчелы»! — подписка на оба органа взлетит до небес. (Пока что у «Пчелы» оставалось 2500 подписчиков, у «С. О» — 279, даже смешно. Как же ценил Смирдин имя Полевого, если собирался вложить в реорганизацию — ни много ни мало — двести тысяч р.! Видя, стало быть, в этом экономический смысл.)

Кто же знал, что цензура ждёт не дожждётся такого объявления: просто чтобы взглянуть, полюбоваться. А потом вынуть из-под сукна и предъявить: ознакомьтесь! — министерский циркуляр: купец, или кто он там, Николай Полевой не может значиться издателем или редактором на первой, на последней ли странице какого-либо из повременных изданий, а также подписывать хотя бы инициалами помещаемые им в оных изданиях статьи свои.

(Кто, кто. Мы-то с вами знали. Эту новеллу Уваров задумал ещё в 34 году. Как раз на такой случай: если у Полевого достанет наглости попробовать приподняться. Помните: среди прав русского гражданина нет права обращаться к публике? Тут юридический нюанс во вкусе Николая: статус *гражданина* действительно ничего такого не предполагал.)

Бенкендорф был в отъезде. Полевой написал ему — Бенкендорф ответил, то есть поручил Дубельту передать его слова: Н. А. сам не знает, о чём просит.

А и правда: о чём? Смягчить сердце идиота? Отменить приказ по чужому ведомству? Или, может быть, броситься к государю: чрезвычайная ситуация, ваше императорское величество, беспримерное событие — у литератора конфисковано имя! разве у нас уже реальный социализм? или мы живём в какой-нибудь сказке Андерсена?

Смирдин выразил готовность — раз так — приобрести голову и руку отдельно от имени. Будете редактором, но — теневым. (Официальным — по-прежнему Греч.) Обещанное вознаграждение придётся, конечно, сократить; вернёмся к этому вопросу через год-другой, когда отобьём производственные затраты; которые, впрочем, тоже думаю урезать: при теперешнем раскладе немедленная отдача, боюсь, невозможна.

Вот и всё. Стоило для этого переменять жизнь. Чтобы заняться отработкой аванса, потраченного на переезд. Над горизонтом всё так же висел, распухая, чернея, долг. И что будет с именем?

Сообщение: «Северная пчела» и «Сын отечества» перешли к Николаю Полевому — подразумевает, что они резко изменились (и, скорее всего, к лучшему, скажет большинство).

А сообщение: Николай Полевой перешёл в «Сын отечества» и «Пчелу», — что, скорее всего, изменился (резко и к худшему) — он сам.

Положим, если журнал станет занимательным, а газета приличной, понимающие люди это заметят.

Но много ли понимающих? И с какой такой радости понимающий человек вздумает расширять свой кругозор при помощи одиозных изданий?

Ребрендинг-то не проведён.

Автор(ша) истории литературы обязательно напутает; вместо: Полевой печатал Греча и Булгарина — напишет: Полевой стал печататься у Булгарина и Греча. Кончится тем, чего доброго, что отделять Полевого от Греча будет — как Булгарина от Греча — лишь запятая. Для имени это куда вредней, чем предписанный идиотом пробел.

И что? какие предложения? возвращаться в Москву?

Между прочим: все участники комбинации шли на реальный риск. Дразнить Уварова: Карабас-Барабас, не боимся

очень вас? От заведомо отрицательных персонажей следовало бы ожидать, что они уклонятся.

«Нет! все могут быть людьми: Булгарин расплакался, Греч обнял меня, Смирдин сказал, что меня с ним ничто не разлучит. Все мы подали друг другу руки и, благословясь, подписали наши условия».

В какой-то момент возникла иллюзия, что ещё не вечер.

Разумеется, Греч будет навязывать официозные сюжеты и донимать нотациями, Булгарин — портить едва ли не каждый номер «Пчелы» самодельным, самодовольным вздором, Смирдин — задерживать выдачу денег, — это неизбежно.

Но если работать, не вставая из-за стола, с полседьмого утра до трёх пополудни и с полседьмого вечера до полуночи, — шанс выплыть есть. Днём писать для газеты и журнала, вечером — для себя. Как если бы сам у себя занял эти пятьдесят тысяч (лучше — пятьдесят пять) на два (пусть будет — три) года. А реальных кредиторов умолять и, унижаясь, опять умолять о новых и новых отсрочках, улаживать частичными, мелкими выплатами. (Тратя на эти выплаты побочный доход: от ночной починки и переделки графоманских текстов.) Жить — исключительно на зарплату от Смирдина. Плюс — курочка по зёрнышку клюёт — между делом собрать и тиснуть двух-, а то и четырёхтомник статей, переиздать «Гамлета», и повести, и роман, и другой роман.

Три года такого режима — и свобода нас встретит радостно у выхода. Лишь бы дописать историю Петра, — уж её-то раскупят, и выручки хватит, чтобы сразу и навсегда рассчитаться со всеми, кому должен; пустив следом историю «маленькую», обеспечим себе верный кусок хлеба на старость лет. И т. д., см. выше и ещё выше.

Так он грезил. Потому что был — давно уже следовало произнести это слово (кстати, не моё: перебирая письма покойного брата, пересматривая все эти бесконечные бизнес- и творческие планы, слово употребил Полевой Ксенофонт), — *простофиля*.

Эта мечтательная бухгалтерия базировалась на грубой переоценке имени и правой руки. Да и головы, между нами

говоря. Вообще — организма. Не может человек непрерывно гнать порядочный текст четырнадцать часов подряд каждый день. Безнаказанно — не сможет и десять. (Кстати: из Гусева переулка до писательской поликлиники — десять минут прогулочным шагом. Набрался бы мужества — надо сделать колоноскопию; а не вздыхать: опять измучил меня очередной приступ обычного моего геморроя.) Сам-то он не замечал (хотя смотрелся же в зеркало, когда брился, т. е. всякий раз, как предстояло выйти из дома), — а другие очень замечали, как он быстро терял вес, желтел, старел. Тот же Никитенко — года через два: «он так ветх, что, кажется, готов упасть от первого дуновения ветра». Ветх! — напишет человек, умеющий выбирать слова, о человеке сорока четырёх лет от роду.

И распорядок дня такой неосуществим, никто не даст журналисту его соблюдать: в типографию надо навестись? а в цензуру? неизвестный явился — рукопись принёс или даже просто так, для лестного знакомства, — всё равно не пошлешь; или, наоборот, известный — какой-нибудь Панав — поделиться сплетней с пылу с жару, заодно запастись материальцем для будущих мемуаров, — о, да, от безжалостного хронофага не спрячешься нигде, но зачем его привечать и так охотно поддерживать разговор? — и всегда-то у вас, Н. А., найдётся что рассказать, а зачем? лучше бы записали; сказанное всё равно переврут, а работа стоит. Это к вопросу о вашей голове: вам её не жалко, — ну и она ведёт себя с вами не по-дружески.

А могла бы иногда что-то подсказать. Хотя бы — предупредить об опасности.

Ну например: приходит некто Лукьянович, при нём огромная рукопись. Предположим, он морской офицер и трудится над историей флота. Отлично: просматриваете текст, выбираете для журнала любопытный кусок, переписываете человеческим слогом, отправляете в набор, и — точка. Но нет: Лукьянович приходит снова: он вам так благодарен, все товарищи офицеры прочитали и очень хвалят, и начальство довольно, — короче говоря, а не взяли бы вы, Н. А., и весь мой опус переписать человеческим слогом? какие условия вы сочли бы приемлемыми?

Покамест всё нормально. Как раз для таких занятий вы и учредили ночную смену. Лукьянович оказывается честнягой и немедленно платит за каждую порцию переписанного текста (что очень удобно). Наконец работа готова. Для изданий такого рода требуется виза военного цензора, генерал-лейтенанта Михайловского-Данилевского, а он что-то мнётся; не могли бы вы, Н. А., с ним переговорить? Почему бы и нет.

А генерал-то-лейтенант как рад: он, представьте, ваш давнишний поклонник; с Лукьяновичем, считайте, всё улажено, сегодня же цензура будет извещена, что препятствий нет; задержка произошла только оттого, что генерал-лейтенант, признаться, буквально ни о чём не способен думать, кроме собственного сочинения (голова! эй, голова! боевая тревога!). Это история Отечественной войны 12 года; государь император желает, чтобы она вышла в свет как можно скорей, но такая поспешность дурно сказывается на слоге (голова! на помощь!), как был бы признателен вам генерал-лейтенант за малейшую поправку, за любой дружеский (SOS!!!) совет.

И голова, вместо того чтобы повернуться раз-другой на вертикальной оси, — кивает! кивает! Ну разумеется! она сочтёт за честь предоставить такому заслуженному графману в безвозмездное пользование на тридцать — на сорок — на пятьдесят ночей находящийся в ней мозг и органы зрения в придачу!

Но зато у неё никак не найдется нескольких минут, чтобы всмотреться в обстоятельства жизни.

Хотя — зачем?

Легче, что ли, стало бы Полевому, если бы он сам сообразил, что медиахолдинг, сооружаемый Смирдиным, — что-то вроде кредитного пузыря: приобретая очередной актив, поддерживаешь падающее давление — и, не имея средств платить по старым векселям, расплачиваешься новыми?

Афера эта до сих пор не расследована. Может быть, Смирдин действительно надеялся, что вместе «Библиотека для чтения», «Сын отечества» и «Пчела» могут принести такой значительный доход, который даст ему хотя бы передышку. Тогда, значит, он тоже был простофиля: потому что

долги его заходили за миллион р., — а Смирдину ли было не знать, сколько в России платёжеспособных охотников до чтения журналов.

Также не исключено, что он и не считал своих долгов, а безоглядно шёл на гибель: этот миллион был когда-то заработан на русской литературе — на неё же был и потрачен (а заодно — и прилипший к нему чужой миллион) до последнего рубля; операция «Сын отечества» имела целью передать ещё один журнал под контроль даровитого писателя, — а теперь вяжите мне спереди, как полагается, руки и ведите в долговую тюрьму.

Кто его знает. Загадочный был человек. Ещё совсем недавно он платил Пушкину золотом — по червонцу за строку; усматриваете ли вы тут симптом умственного расстройства?

Ну и не всё ли равно, раньше понял бы Полевой или позже, что Смирдин — такой же, как и он сам, необъявленный (пока) банкрот. Что только очень наивного человека — очень инфантильного и притом начитавшегося иностранных романов — может тешить призрачная идея, будто в ноосфере есть у него могущественный союзник, который внимательно наблюдает за ходом боя и самому-то худшему случиться не даст; такой читатель, для которого 50 тысяч — тьфу, и даже 100 тысяч — тьфу, — неужели же он в крайнем случае чего пожалеет их ради спасения любимого автора?

Что пользы, если бы Полевой раньше уяснил: это бред, бред? Задача не имеет решения.

То есть имеет — но лишь в пределах арифметики. Обе эти теоремы вывел Пушкин (в письме к Бенкендорфу) ещё в 35-м.

Теорема А. «Чтобы уплатить мои долги и иметь возможность жить, устроить дела моей семьи и наконец без помех и хлопот предаться своим историческим работам и своим занятиям, мне было бы достаточно получить взаймы 100 000 р. Но в России это невозможно».

Теорема В. «Если бы вместо жалованья Его Величество соблаговолил дать мне этот капитал в виде займа на 10 лет и без процентов, — я был бы совершенно счастлив и спокоен».

Пушкина выручил известно кто. Не император.

Если бы дело происходило в Европе, Полевой тоже мог быть убит. Полковником Карлгофом. В 38 году, 3 февраля. Впрочем, если в Европе, то 15-го.

Как было бы славно. Вот уж автор(ша) истории литературы порыдал(а) бы всласть. (Пускай: ей ничего не значит.) А я сейчас же, прямо на этой странице вывел бы: «Конец» — и раскупорил бутылочку Магсаппау.

Но придётся потерпеть (вам — не обязательно: только ей и мне. И Полевому). Случилось другое. И на месте Полевого многие тогда предпочли бы тому, что случилось, пулю в живот. По крайней мере, считали, что обязаны предпочесть, и даже — что выбора, собственно, нет.

Например, Н. И. Греч являлся таким невольником чести — и сам сознался в этом Л. В. Дубельту:

— Когда встали из-за стола, подвыпивший действительный статский советник Карлгоф подошел к сотруднику нашему, Полевому, и сказал ему: «Явился, подлец, когда приказали». Полевой, бесчиновный литератор, проглотил обиду, не сказав ни слова. А если бы Карлгоф сказал это мне, я ответил бы его превосходительству как следовало, и сегодня, конечно, одного из нас не было бы уже в живых.

(Вот и Греч мог погибнуть 3 февраля 38 года. Хотя, если подумать, — тоже не мог.)

Не сомневаюсь: Булгарин, который участвовал в этой беседе, да и сам Дубельт выразили Гречу классовую поддержку.

Однако событие рассказано с чужих слов. Греч и Булгарин за то и были вызваны на ковёр, что позволили себе манкировать юбилеем дедушки Крылова и не явились накануне сказанного числа в залу дома Энгельгардта. Ни тот, ни другой (насчет Дубельта — не знаю) не были очевидцами инцидента.

До нас дошла другая фраза Карлгофа:

— Ты зачем сюда, враг России, враг всех дарований? Вон!

И что будто бы Карлгоф выкрикнул её, как только Полевой появился у входа в зал и предъявил билет распорядителям.

Судя по содержанию фразы и учитывая, что одним из распорядителей как раз и был Карлгоф, — правдоподобно.

Попробуем расставить факты в правильном порядке. Невнятность подробностей затмевает отвратительную суть эпизода. Я и сам допустил две невынужденные ошибки. Во-первых, назвал Карлгофа полковником, а он уже два дня как был переведён в Минпрос, причём с повышением — с переименованием (тут прав Греч) в действительные статские. И его супруга (точней — вдова, ещё точней — бывшая его вдова) через полстолетия вспоминала: утром 2 февраля она впервые увидела, как сидит на Вильгельме Ивановиче фрак. Фрак сидел превосходно.

Во-вторых, я написал: «дедушка Крылов» — но этого словосочетания до середины дня 2 февраля не существовало.

И не совсем понятно — какой такой юбилей. 70 со дня рождения? Но как будто более вероятно (и справочники, в общем, настаивают), что г. р. И. А. — 1769. Полвека лит. деятельности? Опять же, в биографиях написано: первая комедия, как и первые опубликованные стихотворения, — 1786.

А в том-то и дело. В том, что этот юбилей изобрёл лично Карлгоф. Не нарочно, разумеется. Недостача точных сведений.

Он вообще был довольно милый, говорят, человек. Больше всего на свете любил писать литературу и разговаривать с литераторами. Для чего имел много досуга (служил всё больше при штабах), а в последние три года (женившись на богатой) — и денег. Богатая была к тому же симпатичной (литераторы полагали — хорошенькой) и бойкой (литераторы полагали — умна), и моментально образовался салон М-те Карлгоф, где регулярно и с удовольствием питались и сплетничали активисты всех литературных партий (разных партий — в разные дни), от Вяземского до Кукольника, — а также Пушкин, Крылов и Жуковский — сами по себе. Бывал и Полевой, и часто, и даже писывал в альбом Елизаветы Алексеевны мадригалы.

И вот в прошлом, если не ошибаюсь, ноябре после одного такого обеда (точно! 7 ноября: гости ещё не отошли от вчерашних возлияний в Таировом) Карлгоф подсел к слегка

осовевшему, как обычно, Крылову: имею до вас просьбу, И. А. Обещайте, что исполните её. Что за просьба, и т. д. Нет, вы сначала дайте слово, и т. д. Наконец: дорогой И. А! Пообещайте, что 2 февраля будущего года вы обедаете у нас! Вот и Елизавета Алексеевна вас умоляет, — не правда ли, душа моя? Да, у нас, непременно у нас, и т. д.

Крылов наконец припомнил, что 2 февраля — день его рождения, был тронут и приглашение принял. Ни про какой юбилей никто ни звука.

А Карлгоф кому-то проболтался — верней, похвастался — уж очень был доволен: не правда ли, как это горько, что мы совсем не помним знаменательных дат, и т. д. Если бы не попал мне в руки один старинный месяцеслов, — и т. д.

Это было у Кукольника — значит, зимним вечером в среду: у него выпивали по средам. Все были взволнованы: надо же, действительно — какая круглая дата, — а давайте отметим её широко.

Собственно говоря, в тот вечер и зародилось в России гражданское общество. Выбрали оргкомитет, составили программу торжественного обеда. Владиславлев взялся передать её Бенкендорфу для испрошения высочайшего соизволения.

В оргкомитет вошли: Кукольник и Брюллов (хозяйка квартиры), Карлгоф (как инициатор), Греч (как составитель программы), а из начальства выбрали заочно Оленина — президента АХ и графа Виельгорского (как бы от союза композиторов).

Владиславлев передал, Бенкендорф доложил, царь одобрил (и выписал Крылову орден Станислава 2-й степени), а куратором мероприятия назначил, само собой, Уварова. Который (обозлившись, уверяет Греч, из-за того, что не баллотирован в почётный президиум) немедленно вычеркнул из списка учредителей Брюллова, Кукольника и Греча. (А вписал Жуковского, Вяземского, Одоевского.)

Греч обиделся — и когда ему прислали билет, отказался от него. Булгарин объявил, что тоже не пойдёт. Надо проучить Уварова. Есть же на свете такая вещь, как журналистская солидарность, как вы думаете, Н. А.?

И Полевой тоже не взял билета.

1 февраля Уваров на селекторном совещании стукнул царю: назревает политическая демонстрация! — Царь взглянул на экран Бенкендорфа: литераторы должны явиться все до одного! — Бенкендорф вызвал Дубельта: примите меры, дабы обеспечить явку, Дубельт отправил Владиславлева к Булгарину, Булгарин бросился к Гречу, не застал его дома, побежал к Полевому, был уже вечер, Полевой рванул на извозчике к Одоевскому за билетами, но выпросил только один — для себя. Все билеты были раскуплены (по 30, между прочим, р. асс.). О чём Н. А. и сообщил Ф. В. (заехав к нему на обратном пути), а Ф. В. — Н. И. (отыскав его в ряду кресел французского театра).

Наутро Греч почувствовал недомогание и вызвал участкового врача, что придумал Булгарин — не знаю, а Полевой поплёлся на праздник. Вошёл в вестибюль Малого зала Филармонии, сдал в гардеробе пальто, поднялся по лестнице и протянул свой пригласительный длинному, как бы штопорообразному господину — безусому(!), в очках(!) и в шикарном фраке.

Не узнал. А это был Карлгоф.

Пребывавший, по-видимому, в истерической такой эйфории: ведь это благодаря ему лит. событие впервые в русской истории приобрело гос. масштаб; а как радостно за Ивана Андреевича! И — что скрывать — за себя: министр высоко оценил его работу в оргкомитете и включил в свою команду; д. с. с. в тридцать восемь лет — совсем не плохо, но то ли ещё будет впереди! (Бедняга через три года умрёт от горловой чахотки.)

Демарш редакции «Сына отечества» Карлгоф переживал как личное оскорбление. (Антипатриотичный поступок. Плевок в лицо литературной общественности.) И Уваров, конечно, сумел внушить ему свою уверенность, что зачинщик бойкота — несомненно, Полевой. И с таким-то человеком вы водили знакомство. Пора наконец раз навсегда указать ему его место, и проч.

Вообще-то, это было задание. (Через сколько-то месяцев, в Москве, пишет Ксенофонт Полевой, «Карлгоф пришёл ко мне, но меня не было дома, и он, явившись к жене моей, сказал, смиренно сложив руки: “Поверьте, я не виноват в том, что случилось! Я не мог поступить иначе!”»)

Что и объясняет сцену первую: враг России, и т. д.

Ну а приняв за обедом на грудь, Карлгоф уже совершенно не владел собой. И плюнул Полевому в лицо этим словом. Словом «подлец».

Как всё просто, как по-человечески понятно. Как простительно, не правда ли?

Это слышали человек десять.

Все они знали: смертельных оскорблений не бывает, поскольку любое оскорбление можно как бы смыть, пройдя определенную процедуру, опасную тоже смертельно. И даже — хотя бы потребовав её. Это неотъемлемая привилегия человека порядочного.

В 40-х это прилагательное уже обозначало не одну лишь принадлежность к высшему сословию. А что-то вроде качества, описываемого однокоренным существительным. Возникшим, я уже говорил, через десятилетия; через столетие потерявшим смысл.

Краешком этого туманного смысла прилагательное защищало и Полевого.

Но права на дуэль — это тоже все понимали — он не имел. Не светило ему быть убитым. Ни за Крылова, ни за кого. (Возможность убить — судя по всему, его не интересовала.) Как *русскому гражданину* — не полагалось. Другое дело — что умри он сейчас же или вскоре — от инфаркта, от инсульта (разумеется, никто ничего подобного ему не желал), — моральную победу присудили бы ему.

Он молча ушёл. Это было умно. И правильно. И ровно ничего другого ему не оставалось.

Неотчётливо представляю, что сделал бы солдат Бестужев — писатель Марлинский, если бы его обругал офицер. Но хочу думать: то, что сделал бы он, было бы абсолютно глупо и даже безумно — а всё-таки ещё более правильно.

Вряд ли кто-нибудь из присутствовавших вспомнил про покойного Марлинского. (Да и что они про него знали?) Конечно, Полевому сочувствовали. Его поведение хвалили. Он не унизил себя нисколько.

Но цена его литературного имени резко упала. За какие-то несколько секунд. Трудно, знаете, благоговеть перед человеком, с которым позволительно обращаться как захочешь.

А каждый третий там был литератор, какой-никакой. Каждый второй, разумеется, читал его тексты. Кто помоложе небось все до единого фразами из них объяснялись барышням в любви.

Скверней всего — что ведь, если вникнуть, Карлгоф сказал чистую правду.

Насколько я понимаю, с этого дня Н. А. перестал посещать сборища пишущих.

А юбилей, кстати, удался на славу. Крылов без конца всхлипывал от умиления. Его почему-то водили под руки. Читали (по бумажкам) речи. Уваров надел на шею народному баснописцу орденскую звезду. Что-то делали с лавровым венком — то ли поднимали над головой Крылова, то ли надевали ему на голову, мне отсюда не видно. Столы были накрыты, говорят, на триста кувертов. Подавали Демьянову (стерляжью) уху, и все названия блюд были такие же удачные: Карлгоф и Жуковский не подкачали. Дамы (М-ме Уварова, княгиня Вяземская, М-ме Карлгоф и др.), сидя на хорах, махали платками; потом тоже бросили лавровый венок. Ещё там был — стоял посредине стены — длинный стол, задрапированный, естественно, красной тканью, на нём — мраморный бюст юбиляра, обложенный разными изданиями басен; на скульптуре опять же лавровый венок; и на стопке книг.

Бурю рукоплесканий вызвало стихотворное приветствие. Сперва Петров (оперный тенор) спел его (на музыку Виельгорского), а потом вызван был (овацией) автор текста. Лучший номер программы. Думаю, за всю свою жизнь князь Вяземский ничего не написал бездарней. Да и сама пошлость не каждый день доходит до такого градуса. Публика впала в неистовый восторг. Полюбившиеся ей куплеты были исполнены несколько раз подряд.

Нам, я думаю, довольно будет первой строфы с рефреном.

На радость полувековую
Скликает нас весёлый зов:
Здесь с музой свадьбу золотую
Сегодня празднует Крылов.
На этой свадьбе — все мы сватья!

И не к чему таить вину:
Все заодно, все без изъятия,
Мы влюблены в его жену.

Длись счастливою судьбою,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с милою женою,
Здравствуй, дедушка Крылов!

Толпа (что характерно — поголовно половозрелых) подхватывала рефрен и кричала «ура».

Вот что бывает. А двенадцать лет назад, когда Пушкин в одной статье назвал Крылова «представителем духа народа» — и прислал эту статью Полевому, а Полевой напечатал её в «Телеграфе», — князь Вяземский не на шутку рассердился. «И ж..а, — вразумлял он Пушкина, — есть некоторое представительство человеческой природы, но смешно же было бы живописцу её представить, как типическую принадлежность человека».

Бог с ним, забудьте, Н. А. Не обсудить ли нам рыночную цену пресловутой правой руки, которая, видите ли, — только она — никогда вам не изменит, будучи неумомима. (Несколько двусмысленная формулировка; боюсь, на зоне нас не поймут. А кстати, как вы думаете: отчего Провидение всегда действует одной рукой? И — левой или тоже правой? Не сердитесь, я просто пытаюсь вас отвлечь; и отчасти загладить мою неуместную выходку: не стоило упоминать Марлинского, я не прав, не прав.) Так и вижу объявление на хлипком боку водосточной трубы: продаётся рука мастера, в рабочем состоянии, звонить вечером.

Всё, всё, давайте серьёзно. Пишете вы красиво, кто же спорит, хотя лично для меня ваш слог высококоват. Немножко — как бы это сказать — карамзинист, — даром что вы антикарамзинист. Немножко старомоден, а притом — и отчасти потому — узнаваем с первого взгляда. В книге это плюс, а в журнале — скучно. Беллетристика, и критика, и библиография, и смесь, и т. д., вплоть до рубрики мод, оформлены, так сказать, одним почерком. Понятно, что это не от хорошей жизни, а оттого что гонорарный фонд пуст.

Но когда на каждой странице раздаётся один и тот же голос... Причем усталый. (Ещё бы: это же — как сочинять каждый месяц по большому роману.) Причём, извините, немолодой. Нет, не равно-, а добродушный, что гораздо хуже... Сплошной здравый смысл да набитая сведениями память — кого они способны увлечь? Ну да, тысячи две подписчиков наберётся, но дальше-то — провал.

Короче, хотите полезный совет? Пока не поздно, заведите вторую правую руку. Верного легионера. Молодого. Тоже пишущего хорошо, быстро и много, — как вы, — но с фантазией, с ожесточением. Отдайте ему критику и библиографию, и пусть воюет с «Библиотекой» и с «Лит. прибавлениями».

Такой человек есть, и вы его знаете. Даже обещали, когда уезжали из Москвы, найти ему здесь работу. Он талантливый и надёжный. Вы для него вечный — он так и говорил, помните? — вечный образец журналиста. Если вы с ним будете работать вместе — «Сын отечества» превратится в лучший русский журнал, много ярче даже «Телеграфа». И вам обоим поставят когда-нибудь памятники (из гипса, но раскрашенные под бронзу) в каждом школьном сквере. Как Герцену и Огарёву. Как Сакко и Ванцетти. Потолкуйте со Смирдиным — ну что для него, даже теперь, лишний доп. расход, какие-нибудь три тысячи в год? Эй, что вы делаете? Остановитесь! Это очень сильная невынужденная ошибка.

«...Важное обстоятельство — поговори с Белинским, к которому, если успею, напишу теперь письмо. Я получил его письма. Но, ей-Богу, ничего не могу теперь сделать! Первое, моё положение теперь и самого меня ещё самое сомнительное. Надобно дать время всему укласться, и затягивать человека сюда, когда он притом такой неукладчивый (и довольно дорого себя ценит), было бы неосторожно всячески, и даже по политическим отношениям. Второе — что он *может делать*, и уживёмся ли мы с ним, при большой разнице во многих мнениях, и когда *начисто* ему поручить работы нельзя, при его плохом знании языка и языков и недостатке знаний и образованности? Всё это нельзя ли искусно *объяснить*, уверив при том (что, клянусь Богом,

правда), что как человека я люблю его и рад делать для него что́ только мне возможно. Но, при объяснениях, щади чувствительность и самолюбие Белинского. Он достоин любви и уважения, и беда его одна — нелепость...»

Пальцем в небо! Вот уж нелепого не было в Белинском ничего. В отличие от некоторых, он умел отказываться от комических ролей. И не требовал трагической.

Умел заставить других людей уважать его и любить. Достоин, недостоин. Любил их презирать. Умел ненавидеть. Не бывал ни счастлив, ни несчастлив.

Никого не жалел; и на собственное нездоровье и безденежье сетовал равнодушно и высокомерно, как на плохую погоду.

Не думал о себе, что он необыкновенный человек. Ему было всё равно, какой он человек. Не дорожил собой. К жизни его привязывали три наслаждения: читать занимательные книги; играть в преферанс; снова и снова удостоверяться, что его ум непобедим.

Главное: у Белинского не было слабостей¹, и он не делал глупостей². (Говорить — говорил, хотя и не всегда.)

А Полевой?

«Есть в нашей бедной жизни, в жизни страдальцев, отрада, мой милый друг и брат Ксенофонт, если мы страданиями платим за то, что выдвигаемся немного из толпы, что отдаём здешние блага, удовлетворяющие стольких, за что-то, Бог знает, такое, чего и изъяснить сами не можем! (*Высокопарная банальщина. Боюсь, он стал попивать.*) Есть такая отрада, и есть часы такой отрады, когда толпа отдаёт нам справедливость за наше самопожертвование, когда она делается нашею рабою, чувствует свое ничтожество и невольно сознаётся, что в ней хранятся ещё и всегда будут храниться искры божественного, которые выбиваются из нея, как искры из кремня огнивом. В эти мгновения забывает она все расчёты, все отношения, плачет, хохочет и награждает художника-страдальца. (*Кошмар какой. Просто*

¹ Кроме как к устрицам, свежим, прямо из бочки, только что выгруженной из корабельного трюма.

² В супружество — да, вступил.

не верится, что всё это не лит. пародия.) Такие минуты редки, такие награды драгоценны, и я испытал теперь такую минуту, получил такую награду. Ты понимаешь, что я хочу говорить тебе о представлении «Уголино». (Трагедия. В стихах. На сюжет из Данте. Александринский театр. 1838 год.) Для чего тебя не было здесь? Для чего не было здесь... ты знаешь кого...»

Очень ты ей нужен, дешёвый трагический резонёр, — хотел приписать я в сердцах. Но, припомнив её, он мгновенно приходит в себя*. Рука опять начинает прислушиваться к голове, слог — дышать.

«Каратыгин был утомлён ещё прежнюю игрою за два дня; но он ожил — началось. Никогда — не я говорю это — не был он так хорош. Хлопанье было сначала умеренное; но не могу изобразить, что сделалось потом! Каждый стих был оценён, узнан, принят — и это в холодном Петербурге, от beau-monde!

Рукоплескания сыпались, но это ничего; Каратыгина вызывали после каждого акта, но и это ещё ничего. Третий акт — всюду слёзы: плакали дамы, мужчины, гвардейцы; иные вскакивали с мест с трепетом, и в конце третьего акта как страшный вулкан лопнул: «Автора!» загремело с рёвом, с криком, с дрожанием стен. Я принуждён был выйти при оглушительном вопле. В четвёртом акте, в пятом акте — то мёртвое молчание, то бешеный гром хлопанья, то «браво», то слёзы, и все как будто забыли, что на сцене перед ними пустая выдумка. Говорили громко, что «Уголино» выше всего, и Бог знает что; меня обнимали, целовали, бежали за мной по коридорам; Каратыгину били, били; меня ещё раз опять вызвали; молодёжь пила за моё здоровье (А, вот оно что!) — и «Уголино» опять дают, кажется, в понедельник**. Вот тебе описание этого любопытного вечера, а я в заключение признаюсь тебе, вовсе не понимаю причин этого неслыханного успеха!.. (Я, кстати, тоже. А Достоевский, должно быть понимал: летом того же года обещал брату: «об «Уголино» напишу тебе кой-что-нибудь после», — жаль, не написал.) Вижу, чувствую все недостатки пьесы, — и когда и как она писана! Боже мой! если бы знали!»

§ 20. НЕЧТО О МИЛОСЕРДИИ. О СПРАВЕДЛИВОСТИ. ОПЯТЬ О МИЛОСЕРДИИ

Императрица Александра Феодоровна не раз и не два просила императора Николая Павловича выдать заграничный паспорт надворному советнику Герцену: пусть этот господин — болтун, пусть даже злостный (хотя старуха Жеребцова говорила графине Тизенгаузен, что он исправился), — но ведь жена его не виновата; а если они не уедут, она погибнет; у них четверо детей умерли, едва родившись, из выживших троих один — глухонемой; четверых малюток похоронить — более несчастной женщины нет, наверное, на свете; доктора говорят: в следующий раз умрёт и она; или потеряет рассудок; как ещё не потеряла; медицина бессильна; но климат южной Италии, но тёплые морские ванны иногда помогают в таких случаях.

Император отказал наотрез и раз, и другой, — однако мотив ходатайства был слишком прозрачен и для А. Ф. серьёзен: она родила ему тоже семерых и тоже потеряла недавно — правда, уже взрослую — дочь, — сострадание, суеверие, — не снизить было нельзя, и наконец, не без обиды на человеческое короткомыслие, он уступил; раздражённо дрыгнув плечами à la Пилат Понтийский:

— Хорошо. Но за последствия не отвечаю.

Действительно: Наталью Александровну Герцен мало что могло спасти (разве что через три года, в 50-м, 3 января н. с. её муж столкнул бы, как ему и хотелось нестерпимо, её любовника со скалы в море и, главное, прыгнул следом; но тогда кто написал бы гимн Всеобщего германского рабочего союза? А — «Былое и думы»? Миллион обезьян за миллиард лет, — а чем их всё это время кормить? Вот никто ни на кого на той

скале и не напал, просто поговорили о литературе: «Я спросил его, читал ли он "Ораса" Ж. Санд. Он не помнил, я советовал ему перечитать». Или если бы — но это уже самый последний шанс — если бы 9 июля 51 года, когда Герцен слонялся по вечернему Турину, ожидая прибытия дилижанса из Ниццы, вдруг накатила бы на него волна великодушия, и зашёл бы он в сигарную лавку и приобрёл упаковку *саротес д'англизе*, — Н. А., вероятно, не погибла бы через девять месяцев; ещё бы пожила; но и тут вы были начеку, сударыня: как же, ведь «Былое и думы» лишились бы ценнейших глав!), — и ничто не спасло. Лженаука евгеника — не консистория владимирская, взятки не берёт и метрикам не верит.

Вместо этих бесполезных для вас поступков Герцен написал и в том же 51 году напечатал (под псевдонимом А. Iscander) брошюру «*Du développement des idées révolutionnaires en Russie*». В которой не мог же не уделить нескольких сильных страниц Николаю Полевому. Героическому руководителю оппозиционного журнала «Телеграф».

«Уже появился публицист, мужественно возвысивший свой голос, чтобы объединить боязливых...

...Полевой начал демократизировать русскую литературу; он заставил её спуститься с аристократических высот и сделал её более народной или, по крайней мере, более буржуазной...»

Уваров наслаждался. Не он один: все, кто имели допуск; но, скажем, графу Орлову, преемнику покойного уже Бенкендорфа, было совершенно по барабану, талантлива ли эта брошюра, не талантлива ли; главное — она позволяла пополнить базу данных («Многих она выдала лучше всякого шпиона». — «Да кого же она могла выдать? — возразил Киселёв. — Ведь она говорит только о мёртвых». — «Э! — отвечал шеф жандармов. — Если бы мы захотели, то именно по мёртвым-то до живых и добрались»), — тогда как Уваров, читая, смаковал формулы: насыщенные, терпкие; букет несколько резок, но послекусие стойкое — и бодрит!

Какой подарок! Какая находка! Словно лунный свет озарил поле ночного сражения: а мы, оказывается, почти победили — не пустую, значит, рубили темноту; мировая гидра, лишившись нескольких голов, отползает (как Мышиный король —

от Щелкунчика); не отняли бы меч (о, малодушное недоверие, равное измене!) — забыла бы дорогу к нам навсегда.

Собственную интуицию хотелось погладить, как любимую собаку после удачной охоты. Текст Искандера был, несомненно, текст из будущего, и он гласил: кто-кто, а уж ты, идиот, умирая, с полным правом можешь сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире. А что твой император оказался тебя недостоин — опустил одной фразой, — он ещё пожалеет, — забудь её, забудь.

Он был, наконец-то, граф, но министр (два года как) — бывший; паралич помял его и отпустил; и он старался не чувствовать в голове, как занозу, выточенную из льда, эту ужасную фразу, которую он столько раз говорил другим, и они молча кланялись, и он тоже молча поклонился, когда её, эту фразу, сказали ему, но теперь знал: в какую-то долю секунды заноза растает, вскипит, испарится, вспыхнет — и это будет всё.

Признаюсь, я прежде немного злорадствовал, а теперь всего только нахожу печальную справедливость в том, что Николай именно так порешил карьеру Уварова — прошипев ему в лицо: «Должно повиноваться, а рассуждения свои держать при себе!»

Что касается смерти — человек, своею собственной рукой вымаравший из пушкинского «Анджело», как недостаточно православные¹, вот эти строчки:

Нет, нет: земная жизнь в болезни, в нищете,

В печалях, в старости, в неволе... будет раем

В сравненьи с тем, чего за гробом ожидаем, —

по-видимому, представлял себе тот свет как систему санаториев закрытого типа; если даже для простых верующих созданы все условия, — о чём же беспокоиться имеющим особые заслуги? All inclusive!

А ведь и старость — старости рознь: в просторном сафьяновом кресле с удобной приступочкой; завернувшись в шотландский плед; в компании античных статуй личного музеума; в уютном дворце на краю необозримого парка; в процветающем имении Поречье Можайского у. Московской губ., —

¹ А вы ещё сомневались, что он идиот!

пока всё вокруг не превратилось в дом отдыха комсостава НКВД, — сколько-то выдержать, наверное, можно. Тем более — когда совесть настолько чиста.

— Как я угадал! О, как я всё угадал!

Положим, реплика — краденая. Положим, и угадано не всё. Гоголь, например, прочитан невнимательно: г-н Искандер ставит «Мёртвые души» рядом с антисоветским пасквилем предателя Котошихина — что-то в этом есть, что-то есть; а мы — стипендии Гоголю, субсидии, зелёный свет; СМИ хором: живой классик, живой классик.

И Достоевского, получается, цензура прошляпила; к счастью, он уже водворён в Мёртвый дом, но вот же говорит квалифицированный эксперт: опознать славянофила и социалиста можно было ещё по «Бедным людям».

Хотя у Искандера этого — свой интерес: чтобы забугорные революционеры не смотрели на него как на летающий кошелёк; типа он не просто рабовладелец, преданный делу социализма, а бывший узник совести и представляет в Европе большой, хотя и разгромленный комитет.

Рылеев, Пушкин, Грибоедов, Лермонтов.

А ещё Веневитинов: «убит обществом, двадцати двух лет». Общество, будь оно проклято, не повязало ему на шею шерстяной шарф, когда окончился бал у княгини NN: так и поехал домой, разгорячённый танцами, накинув поверх фрака только бекешу, — и в карете продуло; март, Петербург, ветер, — безошибочный был у общества расчёт.

И Кольцов: «убит своей семьёй, тридцати трёх лет». Тоже верно; если трактовать институт семьи в духе Анфантена; мало ли что юридически эта особа, от которой Кольцов заразился, — М-ме Лебедева, урождённая Огаркова, — была постороннее физицо.

Белинский, опять же: «убит, тридцати пяти лет, голодом и нищетой». (Верь после этого русской реалистической живописи: неужели Некрасов с Панаевым хоть напоследок не приволокли учителю и другу какой-нибудь еды? Сами-то — видно же! — наладились к Палкину, пропивать первые от «Современника» барыши. Но где же кулёк с продуктовым набором для голодающего? Ни намёка на кулёк. Художник сосредоточил своё мастерство на панаевских штиблетах:

лаковые! — на панталонах: светлые, со штрипками! — на пиджаке: бархатный! а под ним кремовый жилет.)

Несчастный Полежаев... Несчастный Баратынский... Несчастный Бестужев... Над предпоследней фамилией СНОГ, не выдержав, ставит (в академическом издании) звездочку, отсылающую к отчаянному комментарию: автор, при всём уважении к нему, допускает ряд фактических неточностей, как сивый мерин.

Но не в них же дело. Глубина анализа всё искупает. Анализ подтверждает: реально опасней всех был Николай Полевой. А как чётко обрисована сама опасность:

«...Наибольшими его врагами были литературные авторитеты, на которые он нападал с безжалостной иронией. Он был совершенно прав, думая, что всякое уничтожение авторитета есть революционный акт и что человек, сумевший освободиться от гнёта великих имён и схоластических авторитетов, уже не может быть полностью ни рабом в религии, ни рабом в обществе!»

Вот оно, слово найдено: враг авторитетов. Пушкин брал слишком узко: враг аристократов. Если бы в 34-м под рукой был такой Искандер, а не болван Брунов, — не отделался бы Полевой потерей журнала. Красная шапка как минимум. И Бенкендорф бы не спас. Но уж больно хлипкий — что уж теперь темнить — подобрали предлог; некому было внятно обозначить *corpus delicti*; Бенкендорф противоречил, царь сомневался: не много ли шума из ничего? — Уваров сумел настоять: сама слабость улики и является решающей уликой, — такова уж специфика идеологической борьбы; умысел, наличие которого нельзя доказать, — особо токсичен. И вот, через семнадцать лет, голос с той стороны подтверждает: под маской популярного купчишки орудовал матёрый радикал; читайте, в. и. в., читайте:

«...Он пользовался всяким случаем, чтобы затронуть самые щекотливые вопросы политики, и делал это с изумительной ловкостью. Он говорил почти всё, но так, что никогда не давал повода к себе придраться...»

До сих пор так тонко понимали Полевого лишь трое: Пушкин, Уваров и начальник I Отделения V (Казанского) округа корпуса жандармов подполковник Новокщенов.

(Приоритет приходится отдать подполковнику. Он ещё в 29 году в рапорте на имя Бенкендорфа требовал «...обличить буйство издателя *Московского Телеграфа* и его сподвижников».

«Что это значит? — писал Новокшенин. — Адский язык, беснующееся вольнодумство, иступление философизма, из северной Германии к нам отражающегося, повсеместные исчадия революции, пропаганда нечестия и изуверства!.. Не вчера ли почти видели мы ужасные плоды подобного просвещения в нашем отечестве, видели: Кюфельбекеров¹, Рылеевых, Пестелей и проч. Пора зажать богохульный рот сим зловецим проповедникам!»

Бенкендорф зажал рот ему самому. Буквально как Николай — Уварову, только чуть вежливей:

«Вследствие донесения вашего высокоблагородия от 28 февраля, под № 8, нахожусь принуждённым объявить Вам, что мне весьма жаль, что Вы теряете время на рассуждения, которые вовсе до Вас не касаются...»)

Теперь сторонников этой концепции стало четверо: гений, идиот, жандарм и человек, который потом напишет блестящую книгу про то, как он отказался от вызова на дуэль.

А покамест кончает репутацию Николая Полевого. На память самым начитанным из советских. Жалкая, мол, фигура, печальная история. Сдача и гибель.

«Потеряв журнал, Полевой оказался выбитым из колеи. Его литературные опыты успеха более не имели...

(Как не имели? А «Гамлет»? Хит целого столетия; «одна из самых блестящих заслуг г. Полевого русской литературе», как выразился ваш корифей; вы же рыдали на спектакле, помните? А для первоначального чтения История — не про неё ли написал опять же Белинский: это уже не просто чтение для детей, это уже книга для всех, — честь и слава таланту, умевшему представить в истинном свете, и проч.? А «Живописное обозрение»? — никогда не поверю, что вы не подписались.)

...Раздражённый и разочарованный, он покинул Москву и переселился в Петербург. Первые номера его нового журнала («Сын отечества») были встречены с горестным удивлением.

¹ Ошибочка у подполковника!

(Разве? Но Белинский, прочитав первый номер, писал Бакунину: славный будет журнал! А вы сами уже в августе — 27.08.1838 — не сообщали, случайно, некоему Астракову: «Я, с своей стороны, очень доволен “Сыном отечества”»? И, кстати, подписка за тот год увеличилась в три с половиной раза.)

Он стал покорен, льстив. *(Врать-то. Кому он льстил? В печатных текстах ничего такого нет. Лично вы с ним после 34 года не общались. Выходит, пересказываете клевету, — и я знаю чью.)* Печально было видеть, как этот смелый боец, этот неутомимый работник, умевший в самые трудные времена оставаться на своём посту, лишь только прикрыли его журнал *(Вообще-то — через три с половиной года)*, пошёл на мировую со своими врагами. Печально было слышать имя Полевого рядом с именами Греча и Булгарина...

(Как будто у него был выбор! какой вы, однако, чувствительный и щепетильный; что значит — 226 незаложенных душ и 200 тысяч капитала. Пушкину иметь дело с Гречем было не запаadlo; прослужив полжизни в советском журнале, я имел начальниками людей, не годившихся Булгарину в подмётки; кстати: а вам-то лично не печально было печататься у Краевского?)

...Печально было присутствовать *(Кто же принуждал?)* на представлениях его драматических пьес, вызывавших рукоплескания тайных агентов и чиновных лакеев.

Полевой чувствовал, что терпит крушение, это заставляло его страдать, он пал духом. Ему даже хотелось оправдаться, выйти из своего ложного положения, но у него не было на это сил *(Фраза, что бы она ни значила, ветвиста и пышна.)*, и он лишь вредил себе в глазах правительства, ничего не выигрывая в глазах общества. Более благородный по своей натуре, нежели по поступкам *(Ещё шикарней: сказать о человеке гадость, сказав лишь трюизм; но с каким великодушием! с какой недосыгаемой высоты!)*, он не мог долго выносить эту борьбу. Вскоре *(через 12 лет после закрытия «Телеграфа», через 8 с лишним — после переезда в СПб)* он умер, оставив свои дела в совершенном расстройстве. Все его уступки ни к чему не привели».

Казалось бы — всё, последний гвоздь вколочен, — зарыли, позабыли. Пойдёмте, помянем.

— Минуточку! — говорит Александр Иванович и отбегает к соседней могиле. Возвращается с длинным, выше его роста, осиновым колом — очевидно, припрятанным заранее. Погружает его в свеженасыпанный бугор с таким расчётом, чтобы остриё пришлось мертвецу против сердца. — Подайте мне вон тот обломок плиты! — И замахивается. И бьёт:

«Звезда Полевого померкла в тот день, когда он заключил союз с правительством. В России ренегату не прощают».

Какой тот день? Какой союз? О чём вы? Уваров не допустил бы, — не правда ли, Сергей Семёнович? — да и кто такой был Полевой, чтобы правительство вступало с ним в какие-то союзы? Страницей раньше вы говорили: уступки; мировая с Гречем и Булгариным; пусть так — хотя не совсем так. Но не Греч с Булгариным управляли империей; и от уступки до измены надо ещё дойти; а за базар полагается отвечать. Будьте любезны, поясните: какой текст Николая Полевого дал вам право на это слово — на очень тяжёлое слово: ренегат? Назовите произведение, процитируйте хоть строчку: где он отступился от прежних своих убеждений? Скажем, воспел Застой? одобрил крепостное право? проклял прогресс, демократию, Запад? встал на сторону авторитетов и аристократов, наконец?

Ничего не отвечая, Александр Иванович растворяется в воздухе.

Но через некоторое время появляется снова — уже в другой книге, в главной (про то, как он не принял вызова на дуэль). И рассказывает: однажды, году так в 33-м он был у Николая Полевого в гостях и заспорил с ним о сенсимонизме.

«Для нас сен-симонизм был откровением, для него — безумием, пустой утопией, мешающей гражданскому развитию».

То есть студентик трендел (каждому по способностям, даёшь религиозно-трудовую коммуну, долой иго старой семьи, конвертируем третий источник марксизма в четвёртый сон Веры Павловны, тыр-пыр-нашатыр), а литератор отшучивался.

Потом студентик разозлился и нахамил:

«...Оскорблённый нелепостью его возражений, я ему заметил, что он такой же отсталый консерватор, как те, против которых он всю жизнь сражался».

А литератор огорчился и обиделся и сказал, качая головой:

— Придёт время, и вам, в награду за целую жизнь усилий и трудов, какой-нибудь молодой человек, улыбаясь, скажет: «Ступайте прочь, вы — отсталый человек».

И тут Герцена посетило прозрение.

«Мне было жаль его, мне было стыдно, что я его огорчил, но вместе с тем я понял, что в его грустных словах звучал его приговор. В них слышался уже не сильный боец, а отживший, устарелый гладиатор. Я понял тогда, что вперёд он не двинется, а на месте устоять не сумеет с таким деятельным умом и с таким непрочным грунтом.

Вы знаете, что с ним было потом, — он принялся за «Парашу Сибирячку»...»

Вот, стало быть, за что осиновый-то кол. За драматургию. За сорок пьес. За их почти неизменный успех на императорском, между прочим, театре. За то, что ни одна из них не клеймила существующий строй — а значит, обслуживала. Исторические драмы, шуточные водевили ещё можно простить, чёрт с ними, — но две или даже три вещи реально угодили руководству — настолько, значит, велико оказалось совпадение с генеральной линией. И настолько глубоко — падение писателя.

Так теперь и считается. Но я сейчас эти три вещи (собственно — вещицы) перескажу на скорую руку, — судите сами.

«Дедушка русского флота». Поставлен 12 ноября 1838 года, в бенефис актрисы Асенковой. Жанр — детский утренник. Продолжительность — около получаса. Тема: российский ВПК создан на западных технологиях и силами зарубежных специалистов, — потому что Пётр I Романов был не дурак, чего и вам желаем.

Действие происходит в 1691 году в подмосковном посёлке гастарбайтеров — в Немецкой слободе. На самом же деле ничего не происходит, а просто эти самые гастарбайтеры

разговаривают. Старый столяр Карстен Брандт (г-н Сосницкий) вспоминает, как много лет назад в качестве корабельного мастера прибыл в Россию из Голландии по приглашению царя Алексея Михайловича; как построил со своей бригадой корабль «Орёл», сожжённый потом на Волге бандой Стеньки Разина; а для боярина Никиты Романова построил ботик настоящего английского фасона; и как плавал с боярином в этом ботике по Яузе, попивая мальвазию; Алексей Михайлович умер, боярин Романов потерял влияние, кораблями никто не интересуется, жизнь прошла, возвращаться на родину незачем. Успеть бы пристроить замуж Корнелию, внучку (г-жу Асенкову) — и всё.

Г-жа Асенкова, в свою очередь, не сидит сложа руки, а активно кокетничает с молодым кузнецом, тоже голландцем — Питером Гродекером (г-ном Максимовым 2-м).

Который сообщает ей, что как раз сегодня с утрачка отнёс в Оружейный приказ сработанное им отличное ружьё; и там же оставил заявление: что если царскому величеству ружьё понравится, то он таких наделает сколько угодно.

И помаленьку пристаёт к г-же Асенковой.

На которую, однако, положил глаз старый, толстый, жадный, подлый ростовщик Гроомдум (г-н Каратыгин 2-й). Он тоже на сцене, и между претендентами вспыхивает ссора.

В самый её разгар является стрелецкий голова — неграмотный ксенофоб — с нарядом ОМОНа и уводит молодого Питера, предварительно связав. Корнелия горюет, Гроомдум торжествует, старый Брандт в недоумении чуть было не отдаёт руку г-жи Асенковой противному г-ну Каратыгину 2-му, — но всё это полная ерунда, потому что, как вы догадываетесь, Питер минут через десять вернётся, задыхаясь от радости и быстрого бега: он виделся с царем Петром! царю понравилось его ружьё! царь назначил его своим оружейником!

И, конечно же, царь сказал: теперь недостаёт мне только корабельного мастера. Вот если бы жив был тот, который делал этот ботик дедушке Никите Ивановичу...

Дальше всё понятно. Брандта в карете везут к царю, потом привозят обратно — уже опять корабельным мастером,

много милостей, радостей, поцелуев (а противный Фома по-срамлён); является Лефорт (г-н Каратыгин 1-й), втаскивают на полозьях на сцену знаменитый ботик, с минуты на минуту прибудет — для личного участия в ремонтных работах — Пётр; все падают на колени, оркестр играет: Боже! Царя храни! Занавес.

«На третье представление, вовсе неожиданно, пожаловала Государыня Императрица, со всем семейством. “Дедушка” так им понравился, что маленький генерал-адмирал (*т. е. великий князь Константин, одиннадцати лет. — С. Л.*) хлопал беспрестанно. Публика громко звала автора, меня не было в театре. Ноября 18-го “Дедушку” назначили в четвёртый раз. Театр был полнѐхонек. Знали, что Государь в тот день прибыл поутру из Москвы; но только часа за два до представления сказано было директору, что он будет в театре. Мне едва успели сказать. Я приехал, когда первая пьеса была уже кончена; её играли наскоро. Государь только что явился в ложе. С ним были государыня, В. К. Мария Николаевна и жених ея. Начался “Дедушка” — всё загремело, и когда пошла вторая половина пьесы, — это были просто гром, крик, “ура”! Видно было, что Государь наслаждался этим неподдельным голосом народа; он был весел, хлопал, смеялся. — “Полевой дал мне семейный праздник!” — сказал Государь потом. Он сошёл на сцену, когда кончилась пьеса, при страшных громах рукоплесканий, поздравил Сосницкого, благодарил его. — “У автора необыкновенные дарования, — говорил он, — ему надобно писать, писать, писать! Вот что ему писать надобно (он улыбнулся), а не издавать журналы”. Кто-то заметил, что Полевой издаёт журналы поневоле. — “Дирекция должна платить ему, дорого платить!” — сказал он, и потом шутил, смеялся, потребовал Каратыгина. — “Ты совершенный Пётр Великий!” — сказал он, любуясь им. — “Нет, Государь, он был выше меня: 2 аршина 14 вершков”. — “А в тебе?” — “Двенадцать”. Государь померился с ним. — “Всё ты выше меня: во мне 10 с половиной”. (Я был в пяти шагах от него, но не смел выйдти, не зная дворских приличий и ладно ли это будет*.) Он просмотрел ещё “*Ложу 1-го яруса*” и уехал весьма весёлый. Говорят, что дома много говорил он

обо мне, о пьесе; что дети его представляют ему Гроомдума, Гродекера, играют между собою “Дедушку”, и это веселит и забавляет его. Сосницкому, Асенковой, Максимову выданы подарки, — они в восторге! Наконец, вчера граф Александр Христофорович позвал меня к себе. — “Государь благодарит вас; он велел сказать вам, что он никогда не сомневался в необыкновенных дарованиях ваших, но не предполагал в вас такого сценического искусства. Он просит вас, приказывает вам писать для театра. Давайте мне всё, что вы напишете, Государь сам будет всё читать”... Так, и множество другого лестного говорил мне граф А. Х., обнял, расцеловал меня и потом вручил мне богатый бриллиантовый перстень (его ценят около 2500 рублей). Можешь судить, какое впечатление произвело всё это! Весь Петербург заговорил: все мне сделались теперь друзьями; многие причли меня просто в гении».

Ошибаетесь, Николай Алексеевич: не все сделались друзьями. А заговорили — это да. Никитенко, например, записал в дневнике:

«Владиславлев мне рассказывал про Полевого. Дубельт позвал его к себе для передачи высочайше пожалованного перстня за пьесу “Ботик Петра I”.

— Вот вы теперь стоите на хорошей дороге: это гораздо лучше, чем попусту либеральничать, — заметил Дубельт.

— Ваше превосходительство, — отвечал, низко кланяясь, Полевой, — я написал ещё одну пьесу, в которой ещё больше верноподданнических чувств. Надеюсь, вы ею тоже будете довольны.

Стыдно! Выйдем из этого мрака на свет божий. Но где искать этого выхода?»

Вот как это делалось. Лично вы чьей версии поверили — Н. А. или мерзкого габэшника? Как видим, хождение получила лишь одна из них. Партия Краевского тиражировала её самозабвенно.

«Иголкин, купец Новгородский». Поставлен в декабре 38 года. Тема: с юридической точки зрения, в абсолютных монархиях т. н. честью обладают — почему и обязаны её правила соблюдать — не только дворяне, но и все, от кого государство требует присяги на верность.

Действие происходит в Стокгольмской крепости в 1717 году. Здесь содержится интернированный (поскольку идёт Северная война) пожилой предприниматель из Новгорода. Абсолютно положительный герой, ни дать ни взять римский стоик, чтобы не сказать: святой; величавый, кроткий мудрец (г-н Каратыгин 1-й), снискавший симпатии всего тюремного персонала.

Но вот двое караульных затевают при нём безобразно глупый разговор о том, что все русские — дикари и трусы и под Полтавой победили шведы, всё такое.

Иголкин терпит, пока разговор не переходит на царя Петра: якобы он трус, из-под Нарвы бежал, и прочее. Тут Иголкин просит солдат замолчать. Они над ним смеются. Иголкин жалуется на них проходящему мимо офицеру — безрезультатно. Офицер не понимает, какое дело купцу до царя. Сам он, конечно, обрубил бы нос и уши любому, кто при нём оскорбил бы Карла XII, — но я дворянин и офицер, а ты, борода, седая крыса, молчать! Он уходит, а солдаты — теперь уже нарочно громко — продолжают свои инсинуации: царь Пётр якобы становился на колени перед турецким визирем...

Г-н Каратыгин 1-й выхватывает у одного из них ружьё и закалывает штыком обоих.

И объясняет прибежавшему коменданту: присяга и совесть, не гнев и не безумная ярость заставили меня умертвить их. Комендант, разобравшись, высылает всех со сцены и говорит Иголкину наедине: Иголкин! Я враг твой, но я понимаю высокие побуждения и все обстоятельства твоего поступка. Ты убийца моих земляков, ты преступник, но ты великий человек, ты герой. Дай мне свою руку!

Иголкин отвечает: не знаю, что находите вы геройского в моём поступке. В присяге моему государю я клялся защищать его святую главу и его священное имя от всякого зла — и исполнил свою присягу.

Само собой, в паузах между всеми этими ужасами г-жа Асенкова (дочь тюремного смотрителя) кокетничает с г-ном Максимовым 2-м (молодым шведским бизнесменом).

Иголкина приговаривают к расстрелу, ведут на казнь, но в последний момент на сцену является Карл XII

(г-н Каратыгин 2-й), кем-то своевременно извещенный о ЧП, и говорит Иголкину: ты поступил славно! Он приказывает освободить Иголкина и отправить на родину — как бы в подарок брату Петру. Похоже на то, что он вообще готов к мирным переговорам: с братом Петром мы покажем, что русские и шведы стоят друг друга; и кое-что успеем сделать вместе.

Эпилог: на Троицкой площади в Петербурге народное гулянье по случаю возвращения Иголкина. Он выходит из лодки, ему подносят хлеб-соль, извещают, что царь жалует его золотым кафтаном и зовёт во дворец на пир. Счастливый Иголкин берёт дрожащей рукой микрофон.

Иголкин. Господи! Услыши молитву мою: да будут внуки наши так любить Отечество и Царя православного, как мы их любим, и да будут цари русские подобны царю Петру Алексеевичу!

Конечно, логичней было бы пожелание, чтобы все монархи были как Карл XII.

Но площадь отвечает кликом: ура! ура! — и эта пьеса тоже понравилась Николаю.

Вообще, у Полевого был удивительный, только ему доставшийся дар трогательной декламации без фальши. Актёрам было страшно удобно играть этот детский лепет. Публика охотно плакала. Люди в России живут недолго, а взрослеют поздно и редко. Сам Полевой, например, так и не успел.

«Параша Сибирячка» написана для идеально чистого голоса. Героиня — пятнадцатилетняя девочка, дочь ссыльнопоселенца, ещё при Екатерине отправленного в Сибирь за неумышленное убийство: был страстный картёжник и, должно быть, съездил какого-то шулера медным шандалом по голове.

От случайного прохожего Параша узнаёт, что в России новый царь, Александр I (значит, действие начинается после 12 марта 1801 года), и что летом (на самом деле — 12 сентября) в Москве состоится его коронация.

На следующий же день она бежит из дома и пешком, питаясь подаяннием, добирается за эти полгода через всю страну до Кремля. (Пропускаю несколько эффектных эпи-

зодов.) Царь сходит с Красного крыльца, она падает ему в ноги, весь народ становится на колени и просит за неё. Александр, естественно, объявляет помиловку отцу, а дочери, как очнётся, велит передать его благодарность: за то, что дала ему случай на доброе дело. Полная победа беззаветного милосердия. Параша летит в Сибирь, к отцу, в эпилоге все счастливы.

Цензура запретила пьесу моментально и, надеюсь, вам понятно — почему. Хотя в пьесе и сказано раз сто, что отец Парашы находится в Сибири 16! — 16! — 16 лет, но на дворе — 1840-й: со дня того несанкционированного пикета на Сенатской — 15! 15! 15!

Полевой конкретно и буквально рисковал головой (я так и чувствовал: рано или поздно этой рифмы не избежать). Николаю было отчего прийти в ярость и помимо аллюзии на политзаключённых: на его собственной коронации произошёл точно такой же случай: сёстры Пассек встали на колени и подали просьбу о своём отце (амнистировать или реабилитировать, не помню, см. «Былое и думы»); естественно, их повязали, закрыли на целый день в обезьяннике ближайшего ОВД, отпустили только на ночь глядя, отцу же вместо реабилитации — шиш. Главное — Полевой был в курсе (Вадим Пассек был его хороший знакомый), — то есть совершенно сознательно помещал упомянутую свою голову непосредственно в пасть.

Объяснить это можно, кроме необыкновенного простодушия (карась! типичный *Carassius carassius!*), разве только ещё тем, что и Асенкова была такая же, и они были друг другом действительно, как некоторые утверждают, несколько увлечены.

Пьеса написана в начале декабря 39-го, запрещена в середине; бенефис Варвары Николаевны назначен был на январь. Она не стала разучивать другую пьесу. Она подошла в театре (за кулисами, конечно) к императору и пожаловалась, что ей срывают бенефис: если бы вы только знали, ваше величество, какая это глупость — запрещать такое прекрасное, такое патриотическое произведение! Николай сказал: дайте; прочту. И держал паузу две или три недели. До сих пор Асенкова вела себя неправильно. Как

если бы опасалась домогательств*, — тогда как он, наоборот, практиковал тактику снисхождения, типа: в известных ситуациях настоящий рыцарь не может отказать изнывающей даме. Асенкова не умела играть дам.

3 января в Большом театре, в антракте балетного спектакля (танцевала Тальони) Николай вышел из своей ложи на сцену, огляделся и, завидев Каратыгина 2-го, поманил его пальцем.

«— Когда назначен бенефис Асенковой?»

Я ему отвечал, что через две недели; тут государь с обычной своей любезностью сказал мне:

— Я почти кончил представленную мне драму Полевого и не нахожу в ней ничего такого, за что бы следовало её запретить, завтра я надеюсь возвратить пьесу; повидай Асенкову и скажи ей об этом. Пусть она на меня не сердится, что я задержал пьесу. Что ж делать? у меня в это время были дела несколько поважнее театральных пьес.

...Успех действительно был самый блестящий. Государь осчастливил бенефициантку своим посещением и наградил её прекрасным подарком».

Н. А. в письме к брату подтверждает: успех был неслыханный! «Каратыгин, Асенкова, Сосницкий, Каратыгин 2-й играли так превосходно, что все заливалось слезами, и меня вызвали три раза! Сам государь был, и добрая, милая, обожаемая всеми великая княгиня Мария Николаевна так была растрогана, что ей сделалось дурно после 2-го акта, когда Параша выпрашивает прощение отцу своему».

Читатель! ау, читатель, если вы есть! Вдумайтесь, пожалуйста: мы с вами только что раскрыли преступление века. Позапрошлого и прошлого. Эта пьеса Полевого — один из самых благородных поступков русской литературы. Автор — как Пушкин в «Анжело» и «Капитанской дочке» — восславил милосердие. Сделал всё, что мог, чтобы власть и публика вспомнили о декабристах и пожалели их.

Ну да, используя старый, как мир, приём сопромантизма: ах, Иосиф Виссарионович, как бы вас любили — даже сильнее, чем сейчас! — если бы вы были таким же человеком, как Владимир Ильич!

И за это «Параша» объявлена образцом конъюнктурной халтуры, а Николай Полевой — ренегатом.

Хотя про, допустим, «Пир Петра Первого» полагается думать и писать так:

«Стихотворение, посвящённое анекдоту о примирении Петра с подданным (Меншиковым или Долгоруким), является одним из звеньев в общей цепи ходатайств Пушкина за декабристов. В данном случае исторический пример из жизни Петра является призывом к царю “мириться с подданными”, т. е. вернуть из Сибири декабристов...»

Что же это такое, я вас спрашиваю, граждане? Это же полный, окончательный, всеобъемлющий караул!

О, хитрая СНОП, лживая СНОБ, трусливая СНОГ!¹

И мать их, СНОЛИ (купно, значит, смотрящая), бессменная зав. кадрами, разбалованная ист- и диаматом донельзя: бывало, шагу не ступит, пока не оплодотворят. Покинутая ими (оставленными, в свою очередь, эрекцией, — держись, творительный, держись!) — валяется теперь в позе Данаи, золотого дождика ждёт.

Они все, наверное, думали: никто уже не станет разбираться. А тут я приплёлся. Спорить с глупцами о покойниках.

Эта толпа в ограде Никольского собора насчитывала не меньше тысячи человек. Литераторы пришли почти все — да хоть бы и все — ну, сотня, от силы. Александринская труппа в полном, предположим, составе — пятьдесят душ. А кто же остальные? Полагаю, Полевого хоронил зрительный зал. Т. е., по Герцену, — сотрудники Третьего отделения и чиновные лакеи. (А по Белинскому — свиные рыла). Они же и гроб несли на руках по слякотным улицам километра как бы не три.

Возможно, не такая уж была и глупость — написать эти сорок пьес.

¹ Этот мой синдром аббревиатур — тоже чисто советского происхождения, не спорю.

§ 21. НЕЧТО О ЛИТ. НЕНАВИСТИ. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Я попаду в конце посылки, не беспокойтесь. Не далее как в следующем параграфе доскажу мой бедный анекдот. Самое большее, через час вы непременно узнаете, отчего некий — давно не читаемый, вообще ни на фиг никому не нужный — литератор первой половины какого-то там позапрошлого века, кончаясь, повторял (голосом тонким, с заусеницами, как бы грубо обструганным за последнюю ночь) своей без пяти минут вдове и старшим сыновьям:

— В халате и с небритой бородой. В халате... И с небритой...

И, кончившись, был положен в гроб именно в таком, скандально неопрятном, виде.

(Дотошные подробности предусмотрел — предписал, — и семья не подвела: исполнила буквально. Гроб простой, некрашеный; никакого катафалка — обыкновенные дроги без всяких украшений, запряжённые только парюю лошадей; не нанимать факельщиков, не сыпать можжевельников по дороге... Да — и чтобы Н. Ф не шила ни себе, ни дочерям траурные платья, и сыновьям не тратиться на чёрные тряпки: траур не облегчает и не выражает душевной потери; а считанные, последние копейки слишком понадобятся на неизбежные чёрные дни.)

Ничто не мешает вам — в отличие, увы, от меня — даже и немедля заглянуть в последний абзац (мне-то до него ещё вон ещё сколько страниц киселя хлебать; чёрного киселя; главное, непонятно — зачем: неужто нельзя написать заключительный абзац сразу, вот на этой же странице? а вот — никак; всё ещё не слышу его, а только

предвижу, как он разочарует вас; и сам заранее почти согласен, что не стоило вам ради него читать, а мне — сочинять ни текущий параграф, ни, тем более, все предыдущие; но что же делать? таков мой ум, другого у меня нет: он ходит кругами; упаковать в пару фраз простую загадку простой загадки, — ему слабó). А там гора, очень надеюсь, наконец сойдётся с Магометом (не хватайся за АК, правоверный, см. лучше опыт сэра Фрэнсиса Бэкона «О бойкости») и родит давно обещанную мышь. Летучую, какую же ещё.

Там встретимся. Я вас догоню. Как только доиграю. Мы тут с Автором истории литературы сражаемся в цитаты. (С Auctorig; теперь я почти уверен; сужу не только по приёмам сюжетосложения: подсветку фигур тоже проще всего объяснить — даже оправдать — воздействием анатомического суффикса.) В цитаты — её (!) любимая игра. И единственный источник средств к существованию. Начинаем последний роббер. Партия первая. Ваш ход, Madame. С чего там у вас начинается чин почитания?

Это смотря по какому канону, отвечает она. Есть отрадный, а есть — умилительный. Какой предпочитаете? — А в чём разница? — Один открывается премудростью из основоположника, другой — закрывается ею же. — Катайте отрадный. Приступайте скорей. Как говорится — вонем!

«Итак, и ещё не стало одного из замечательнейших действователей на поприще русской литературы! Говорим: из «замечательнейших», потому что наши с ним несогласия во взгляде на многие предметы нисколько не мешали нам отдать ему должную справедливость. Перед гробом умершего должны умолкать даже личные вражды, но никогда никакие личные отношения не руководили нас в наших отзовах о литературных трудах и мнениях Полевого. Каков бы ни был характер его литературной деятельности за последние десять лет, в нём многое объясняется стеснёнными обстоятельствами...»

Белинский сочинял этот текст в самый день похорон. На которые, по-видимому, не пошёл — и правильно сделал.

Мог попасть под скверный анекдот, вскорости придуманный Каратыгиным-младшим: что будто бы когда гроб

выносили из собора, Булгарин сунулся помогать, а Каратыгин-старший пошутил: не надо, Ф. В.! вы покойника и при его жизни *поносили* довольноно!

Реально сказать такой каламбур Булгарину — при всей литературе, да ещё в присутствии министра Уварова и генерала Дубельта — не осмелился бы никто, а уж в этот день никто, пожалуй, и не захотел бы. Все, кому следует, знали, что император облагодетельствовал вдову Полевою и её детей ежегодной пенсией (1000 р. сер.); что сделано это по докладу графа Орлова — составленному Дубельтом, — которому идею подал Булгарин. Знали также, что его величество не соизволил, чтобы об этом говорили вслух, — но растроганный шёпот, но навернувшуюся невзначай слезу умиления не запретишь: все, кому следует, чувствовали себя прикосновенными к акту, который ещё более украсит историю нынешнего царствования; настроение массовки было приподнятое; как на разрешённом митинге под лозунгом «Наш царь — ангел!»; именины народного сердца. Однако от гроба тянуло смрадом беды, нищеты, обиды. Для равновесия чувств каждому хотелось бросить на кого-нибудь укоризненно-торжествующий взгляд, — нет, сегодня не на Булгарина; а вот Белинский, пожалуй, годился.

В Никольском соборе его не видели. Туда отправились Краевский с Панаевым (и Владиславлев, само собой), а Белинский остался дома — составлять вышеприведённые фразы.

Из которых, к сожалению, только первая и последняя содержали т. н. правду, причём только первая — чистую.

Это я так думаю, а с точки зрения редакции — некролог Полевому в «Отечественных записках» вообще не полагался. Слишком жирно для него. Но нельзя же не выразить нац. лидеру горячую благодарность за новый знак внимания к отечественной литературе. Краевский распорядился так: вы ведь планировали, В. Г., рецензию на «Столетие России»? Так опустите ногу, приподнятую для очередного пинка; отставьте пинок; сведите каблуки и щёлкните — негромко. Без такой, знаете, фельдфебельской прямоты, типа: за Богом молитва, за царём служба не пропадёт. Нет: необходима величайшая деликатность. Выразить общественный

смысл события намёком тончайшим, как лепесток. Пусть русские литераторы умирают с лёгким сердцем. Им, чтобы не трепетать за оставляемых близких, ни лит-, ни пенсионный фонды не нужны; добрый царь надёжней профсоюза! Как-нибудь так. В таком примерно духе. А впрочем, учёного учить — только портить.

Замечу, что царь в этом случае маленько смухлевал. Присвоил себе чужую доброту; и блеснул ею за чужой счёт. В конце позапрошлого, 44-го года умер в Крыму князь Александр Николаевич Голицын. Специально назначенная комиссия кинулась разбирать его личный архив: там могли находиться документы величайшей важности; князь А. Н. был близким другом Александра I и носителем всевозможных гостайн. Но первое, что комиссия обнаружила, был проект (трёхлетней давности) ходатайства на высочайшее имя: старый вельможа (Голицыны, вообще-то, познатней Романовых), бывший министр просвещения, бывший обер-прокурор Синода и прочая, сообщал императору, что в последнее своё пребывание в Петербурге познакомился с удивительным писателем, автором очень значительного исследования, превосходного и по слогу, — «Истории Петра Великого»; что писатель (а впрочем, он известен вашему и. в. — как сочинитель отличных театральных пьес, возбуждающих горячее патриотическое чувство: это Николай Полевой) медлит окончанием своего труда — подобного которому не было в России ничего после «Истории государства Российского», — поскольку обременён многочисленным семейством и вынужден, чтобы содержать его, отвлекаться на подённую журнальную работу. А сколько пользы принёс бы этот человек, если бы, к примеру, получил звание историографа и соответствующий оклад жалованья, и прочее тому подобное... Проект остался в черновике, и Николай знал — почему: старик тогда же, в 41-м, однажды завёл с ним разговор на эту самую тему и был аккуратно прерван. Однако комиссия представила и другую бумагу, из которой явствовало, что князь хотел — но не успел — назначить литератору Н. А. Полевому пенсию от себя, из собственных средств: 1000 р. сер. в год. Не осуществить предсмертное намерение выдающегося гос. деятеля и друга семьи было бы

не по понятиям. (Буквально: не понял бы даже граф Орлов, доложивший о документе, как не понял бы и его предместник — недавно скончавшийся Бенкендорф.) И весной 45-го Полевому эта тысяча серебром (с условием: при хорошем поведении — ежегодная) была пожалована высочайше. Он получил её только один раз. Теперь, когда он лежал в гробу и никаких сомнений насчёт его дальнейшего поведения не осталось, — не закрепить за его семьей эту (жалкую, по правде говоря: равную двум с половиной зарплатам А. А. Башмачкина) пенсию? Чрезмерное было бы жлобство. Нечеловеческая принципиальность. Гасить коллективный филантропический кураж III Отделения из-за тысячи серебром? Чтобы какой-нибудь Никитенко записал в дневнике, который издадут при социализме: Николай I, человек-пароход, был гнусный скаред? А тут ещё этот Булгарин. Так и вижу его в образе кота (из пьесы Шварца и — почему-то — из романа Булгакова): как он одним прыжком вылетает в окно и шипит: — Всем, всем всё, всё расскажу, старый ящер!

Белинский ничего этого не знал и знать не хотел. Заказывали намёк, тончайший, как лепесток? — извольте, готово — преимуществом русского литератора перед всеми другими является твёрдая уверенность в завтрашнем и даже в посмертном дне.

«Полевой оставил после себя большое семейство, и как он всегда помогал трудом и достоинием своим всякому нуждавшемуся в его помощи, то сам мог оставить детям своим честное, почтенное имя и благодарность соотечественников к его неоспоримым заслугам, — прекрасное наследие, которое не может остаться бесплодным и для его семейства!»

Первая положительная рецензия. На последнюю книгу. «Столетие России, с 1745 до 1845 года, или Историческая карта достопамятных событий в России за сто лет». Вот какие вещи Полевой делал под конец, до чего дошёл: хоть и на подкладке из исторических фактов, но голимый агитпроп. Сам понимая, каких ожидать откликов; что мог Белинский, кроме как опять вздохнуть утомлённо: когда же, господа, старый графоман уймётся? — И вот унялся, и в эту минуту (текст готов, отослан в типографию, пора обедать) шуршит над ним, оползая, смешанная со снегом земля.

А девять без малого лет назад Полевой написал первую рецензию на первую книгу Белинского — «Грамматику». Положим, это был его долг: книга произвела переворот в науке (и могла бы обеспечить автора на всю жизнь, если бы не косность педагогов, не коррупция в Минпросе, не интриги Греча!) — но другие-то почти все предпочли промолчать. И деньгами ссужал; а если отказывал — значит, у самого не было, точно. Так что и эта фраза: трудом и достоинством помогал — не неправда. Тем лучше для текста.

Да, был добр, был щедр, бывал и храбр — но как-то не по-настоящему. Не совсем по-своему. Как бы воображая себя кем-то другим и тщательно этому другому — скажем, герою собственной автобиографии — подражая. Или как бы играя самого себя на сцене. Словно по памяти декламируя свой благородный текст. Слегка нараспев и чуть повышая голос.

Близорукое прекраснодушие. Диагноз, поставленный в 38-м, весной. Когда Полевой уже не стоил любви, но ещё не заслуживал ненависти.

А перед любовью было ещё сколько-то лет благоговения, смешно вспомнить. А после — в три месяца разочароваться, года три люто ненавидеть — пока не образовалась привычка безболезненно презирать... Какие прыжки! Но всё это были разные модусы одного и того же высшего чувства — справедливости. Которая сохраняет твёрдость лишь при низких температурах. Оттого практически безвредна для мертвецов. А с живыми обходиться по справедливости, но хладнокровно — что ж, попытайтесь, убедитесь: много ли — риторический вопрос Гамлета, — много ли останется на свете таких, кому не стоило бы дать порядочной оплеухи?

(Так в переводе Полевого; мотив телесного наказания был нецензурен; и у Кронеберга: кто же избавится от пощёчины? а вот зато у Пастернака и Цветкова: кто избежал бы порки? у Лозинского — кнута; в оригинале *whipping*, что можно перевести и просто как побои; Гоголь в «Письме к близорукому приятелю» применяет вариант Полевого: «О, как нам бывает нужна и т. д. оплеуха!»)

Отношения остыли (а потом раскалились) из-за статьи Белинского о «Гамлете». Полевому не надо было заранее,

не прочитав, обещать: напечатаю. Не следовало печатать присланный отрывок, не дожидаясь окончания. И уж ни в коем случае нельзя было печатать возражение на неё.

А Полевой всё сделал наоборот. Одна из роковых глупостей. Из капитальных.

Но поставим себя на его место (теперь-то, задним числом, это легко).

Если автор пишет редактору: посылаю начало, окончание будет у вас через несколько дней, — и присланный отрывок составляет, предположим, 8 страниц, — как предугадать, что всего их будет 90? Вы спокойно засылаете эти 8 страниц в набор, пишете под последней строкой: *продолжение впереди*, — текст появляется в газете, — и тут с почты приносят остальные 82 страницы. Что теперь? Занять десять-двенадцать номеров статьёй об одной театральной постановке? Немыслимо. Для газеты — самоубийство. Однако в вашем распоряжении находится и журнал, — не перебростить ли статью туда?

Оно бы можно. Хотя и для журнала она велика — растянется месяца на три. Но это ладно, это бог с ней, это бывает, это куда ни шло. Проблема в другом: восхваляемая в статье театральная премьера — постановка пьесы, переведённой вами; фактически, значит, статья — про вас, лично; переполнена комплиментами вашему тексту и выписками из него!

Вы удивитесь, но даже и через сто лет на такие акции кое-кто порой смотрел косо. В 1936-м начинающий Михалков принес Фадееву — главному редактору журнала «Красная новь» и по совместительству смотрящему за писательской общественностью — лирические стихи про него, про Фадеева, — и получил в редакционном коридоре отлуп с нотацией: большевизм и подхалимаж — вещи несовместные! (На следующий год Михалков пробрался, куда хотел, коридором другим.)

Что уж говорить о 1838-м! То есть, конечно, похвалы себе журналисты публиковали регулярно и охотно (сотрудники почившей «Литгазеты» вообще только этим и занимались), но понимали, что это некрасиво, и других журналистов (а другие журналисты — их) за это втаптывали тщательно

в грязь как за тяжкое нарушение приличий. В результате, как правило, престиж падал, а за ним — тираж. Дать статью о «Гамлете» в первых же (нескольких!) номерах журнала, чью репутацию Полевой собирался поднять, подставив под неё свою, — это был бы автогол! Вот Краевский был бы счастлив: типичный случай сугубо назойливой саморекламы; ай да «Сын отечества!» с обновлением вас!

Но и откладывать нельзя: информационный повод займет; позавчерашняя премьера — не премьера; к тому же Белинский так нетерпелив, так обидчив, так мнителен, так нуждается в деньгах; ему обещана постоянная выгодная работа, — и вот, первый же блин комом; жалко терять перспективного автора; неудобно — подводить хорошего человека.

А тут ещё, как нарочно, — первый читательский отклик. (Пропусту — письмо из Москвы, от Селивановского; долго рассказывать, кто таков; прозвище — Шарик; владелец типографии; хлебосольный полулитератор; у него в гостях Белинский и Полевой познакомились — давно, в 35-м ещё году! И у него же в предпоследний раз виделись: «славный был вечер, хотя и у Селивановского!» Н. А. читал сцены из «Уголино», Белинскому понравилось: «Некоторые характеры обрисованы художнически, есть места истинно поэтические; остальное — фразы, но какие фразы! Успех будет полный».) Т. н. письмо в редакцию: в № 4 вашей газеты помещена статья о драме Шекспира «Гамлет»; приятно, что в «Северной пчеле» стали раздаваться голоса москвичей; надеюсь, милостивый государь, вы позволите и ещё одному из них высказать свои соображения — как раз о вышеупомянутом тексте. И — несколько довольно резких (но довольно убедительных) возражений на некоторые тезисы Белинского (довольно, в самом деле, размашистые).

Отказывать Селивановскому — не хотелось тоже. Упускать такой удачный почин интерактивного контакта. И пример объективности: взгляните, мы даём слово даже противникам наших сторонников.

Вот что Полевому надо было сделать — написать к обоим.

Селивановскому — так и так, любезнейший Николай Семёнович: с удовольствием напечатаю ваше письмо, но не прежде чем статья Белинского будет опубликована полностью.

Белинскому — так и так, любезнейший Виссарион Григорьевич: ваша статья невозможно велика, не будете ли так добры сократить её хотя бы вдвое; это, кстати, легко сделать за счёт слишком обильных цитат; в противном случае вынужден отказаться от публикации.

Ну поссорился бы с обоими, ничего страшного; всё было бы лучше, чем то, что вышло.

А вышло то, что заметка Селивановского (подпись: А. М.) пошла в февральский номер «Сына отечества».

Белинский же свою статью истребовал (через Кольцова) назад и предложил её (опять через Кольцова) Краевскому для «Лит. прибавлений».

Чрезвычайно, кстати, нетривиальный ход: всего две недели назад (21 февраля) тот же Кольцов ему докладывал: «Краевский о вас говорил, что Белинский большой негодяй, пишет чёрт знает что. “Он мне прислал две статьи, просил поместить в журнал, и чтоб участвовать сотрудником. Но его статьи никуда не годны. Человек начал писать о том, повёл речь вовсе о постороннем; потом завлёкся, что и не поймёшь. Сделал мне предложение, чтобы в журнале быть вроде панибрата. Я ему пишу, что в этом журнале хозяин я, — а другого нипочему не надобно, и я, брат, в тебе не нуждаюсь”».

После таких слов — если бы кто-нибудь сказал их про вас — вы предложили бы этому человеку новый свой текст: дескать, вдруг он понравится больше? Я — точно нет. Белинский, все говорят, был так самолюбив. С Полевым после того, как вышел февральский 38 года «Сын отечества», не обменялся ни словом и больше не виделся ни разу в жизни. А трамвайной бранью мистера Краевского умылся, как божьей росой. И не прогадал — наоборот, угадал. На этот раз (11 марта) Краевского было не узнать. Очередное разведсообщение от Кольцова:

«... вот его ответ: “Пожалуйста, напишите вы Виссариону Григорьевичу, чтоб он её пристроил к следующей игре московских актёров, например, вот как будут играть на Святой неделе, и чтоб тотчас ко мне он её прислал; тогда она будет нова, по времени, и напечатается в пору”».

Удивлены? А мы с Белинским — нисколько. И Кольцов под конец разговора тоже отчасти сообразил:

«Он что-то к вам вдруг получил: то сперва бранил, а теперь другое дело. Я полагаю (может быть, впрочем, и ошибочно), что сперва он думал, наверное, что вы будете участвовать у Полевого, тогда казались ему страшны».

Не исключено, что именно в тот день Краевский окончательно решил снять у Свинына пребывавшие в анабиозе «Отечественные записки». Таким образом — присоединив к своей газете толстый журнал — он становился третьей по значению фигурой лит. рынка. Первая — пока что был Полевой, вторая — Сенковский. За обоими стоял загадочный миллионер Смирдин, но партия Краевского твёрдо обещала собрать вкладчину 120 тысяч — на первый год хватит, а дальше журнал сам пойдёт. Отбирая подписчиков и у «Библиотеки», и у «Сына отечества». Конкуренция обещала быть жестокой, но вот же — как ласточка с весною, в наши сени прилетает лирик из Воронежа с такой превосходной новостью: один из молодых друзей Полевого стал — а не стал, так скоро станет (если мы хоть немного разбираемся в людях) — его врагом! Добрая примета! И очень, очень может быть полезен сей отчисленный студент.

«Я ему сказал, что Виссарион Григорьевич желает, чтобы его статьи были напечатаны с его именем. “На это я согласен с охотою. Ещё напишите, буде у него есть своего сочинения повести, статьи учёные или чисто журнальные, то пусть ко мне присылает; я буду печатать их с его фамилией, и с большим, большим удовольствием; я не буду печатать от него только одного, разборы книг, а если бы и напечатал, то, во-первых, без имени, а во-вторых, и с переменю, что в них будет противу моих связей”».

Как сказал бы (если верить Самуилу Маршаку) Роберт Бернс: вот это сватовство!

Но кое-кому такая поспешность пришлась не по душе. Краевский воображал, что в его просторном кабинете с видом на разводной Аничков мост никого, кроме Кольцова, нет, — дудки: Авторша истории литературы слышала каждое слово!

И, разглядывая литографированный портрет Пушкина на стене и прислонённую к стене камышовую жёлтую палку (тоже Пушкина; вытребованную Краевским у душеприказчиков:

«пусть дадут мне палку за тот долг, который Пушкин всегда считал на себе относительно меня за “Современник”: во весь год, как вам известно, я не получил от него ни копейки»), она думала: ишь как у вас всё просто, голубчики. Однообразно. Товар — деньги — товар, и дело в шляпе. Нет чтобы сперва проверить обоюдное чувство и взаимную совместимость. Рассчитали без хозяйки. А вот назначу-ка я вам испытательный срок! Союз истинных сыновей гармонии, гг. Краевский и Белинский, временная разлука только укрепит.

И в тот же день, но ближе к вечеру, и не в Петербурге, а в Москве, состоялся другой разговор. Человек по фамилии Степанов — хозяин типографии, в которой печатался «Московский наблюдатель», объявил Белинскому, что откупил у Андросова этот журнал. Заплатил Андросову за то, чтобы он больше ни во что не вмешивался, сосредоточившись на другом своем издании — «Журнале для овцеводов». Потому что Степанову невыносимо больно стало смотреть, как погибает отличный бренд. Никто не читает заумные статьи Шевырёва и прочей профессуры. Подписчиков осталось десятка три. Всё надо переменить — направление, состав авторов, манеру. Возьмётся, Виссарион Григорьевич? Журнал остановился в феврале. Две книжки за март должны выйти в этом месяце. Вот аванс.

Через неделю верный Кольцов известил Краевского и весь литературный Петербург: не ждите от Белинского рукописей; напротив того, шлите ему свои; он теперь сам большой. Что ж, отлично, сказал Краевский: союзник нам нужней, чем сотрудник. Лишь бы он не прислонился опять к «Сыну отечества». Надо его приручить. Займитесь этим, Панаев. Напишите ему, повод есть.

Панаев написал:

«От доброго и умного А. В. Кольцова узнал я о переходе “Московского Наблюдателя” в ваши руки. Радуюсь за Москву, в которой будет журнал; ещё более радуюсь, что ваш всегда *правдивый и резкий* голос, давно замолкший, снова раздастся, — а в эту минуту Русской Литературе он необходимее, чем когда-либо. — Прошу вас принять в круг ваших знакомых и всегда считать человеком, совершенно преданным вам,

Ивана Панаева».

Первая мартовская книжка «Московского наблюдателя» вышла 4 мая, вторая — 28-го, обе апрельские — в конце июня, первая майская — в конце июля, вторая майская — в конце августа... Дальше я сбился, и тогдашние читатели — тоже. Вторая книжка за август — вообще только летом следующего года то ли вышла, то ли нет.

Обёртки цвета весенней травы — *в надежде*, как шутил Бакунин, на будущие блага. Программная статья — его предисловие к «Гимназическим речам» Гегеля. Недаром последние месяца три Бакунин жил у Белинского; говорили о Гегеле с утра до вечера: Мишель переводил его Виссариону à livre ouvert, Виссарион ловил идеи на лету и приделывал им новые крылья. Вдвоём они сделали потрясающее открытие: последний результат, конечный продукт европейской философии представляет собою не что иное, как уваровскую трёхчленку! Бакунин вывел её облагороженную формулу:

«Примирение с действительностью, во всех отношениях и во всех сферах жизни, есть великая задача нашего времени, и Гегель и Гёте — главы этого примирения, этого возвращения из смерти в жизнь. <...> Будем надеяться, что новое поколение сроднится, наконец, с нашею прекрасною Русскою Действительностью, и что, оставив все пустые претензии на гениальность, оно ощутит, наконец, в себе законную потребность быть действительно русскими людьми».

На этом абзаце, как на сухом пайке, Белинский просидел ещё несколько лет. На нём же — как на белом коне — въехал в славу. (А Бакунин очень скоро отставил эту мысль: не умел подолгу жить с одной и той же, — и Белинского покинул, и журнал.)

Сам по себе лозунг «Крепостному праву — наше дружное троекратное да!» мог бы показаться немного сомнительным, немного — как бы это помягче определить — сервильным, если бы прямо под ним на новом знамени не был воспроизведен готический росчерк: Георг Вильгельм Фридрих Г — и закорючка. Против достижений науки логики, против феноменологии духа не попрёшь. Теория примирения, как в курином яйце, содержалась в афоризме германского

мыслителя: «Всё действительное разумно». Оставалось выбить её на сковородку с кипящей комсомольской диалектикой. Крепостное право прекрасно, потому что разумно. Оно разумно, потому что действительно, а ведь сам Георг Вильгельм Фридрих Г — и т. д. Соглашаясь тютелька в тютельку с практикой русских интелов, теория эта была такой же освободительной для их совести, как через два поколения — теория классовой борьбы. Разве что сам термин — примирение — звучал несколько виновато. С прекрасным не мирятся, потому что не ссорятся. Им наслаждаются и припеваючи живут.

Всё же один уголок действительности не был прекрасен: в русской литературе накопилась пыль; требовалась влажная уборка; беспристрастная и независимая мокрая швабра — смахнуть паутину авторитетов, оттереть следы предрассудков. Этого никто не делал со времён «Московского телеграфа»; по иронии судьбы, с его бывшего издателя приходилось начать.

О, не сразу — конечно же, не сразу. Кто был Белинский и кто — Полевой? Кто из приличных людей, тем более в Москве, в 38 году, стал бы читать журнал, в котором не только подпевают Уварову (это уже не раздражало: привыкли), но и преследуют его жертву? Такая грубая тактика, чего доброго, привела бы публике на ум стихи (впрочем, никому ещё не известные):

Как с древа сорвался предатель-ученик,

Дьявол прилетел, к лицу его приник...

Ей ли, публике, не помнить, в каких сильных выражениях Белинский Полевого — «благонамеренного и неутомимого деятеля на поприще русского просвещения» — хвалил? Разве не причислял он «Аббадонну» — наравне с «Миргородом» и «Арабесками» Гоголя «к самым приятным явлениям в нашей литературе»? Разве не писал о повестях Полевого: «каждая из них ознаменована печатью истинного таланта, а некоторые останутся навсегда украшением русской литературы»? Разве в рецензии на «Русскую историю для первоначального чтения» не сказал: «превзошла все наши ожидания» и: «Это уже не просто чтение для детей, это уже книга для всех»? А в финале рецензии запустил

каскад восклицаний: «Какие люди! какая судьба!.. Честь и слава таланту, умевшему представить в истинном свете таких людей и такую судьбу!..»¹

И теперь с бухты-барахты взять и объявить: уценено! — сославшись на усушку и утруску?

Совсем наоборот. В первую книжку «Московского наблюдателя» пошла (и растянулась ещё на две) пресловутая статья «“Гамлет”, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета». К ней подверсталась заметка (тоже Белинского) «Г-н Каратыгин в роли Гамлета». Compliments переводчику Шекспировой трагедии не было ни там, ни там, а что из заметки о Каратыгине (и в двух других местах журнала) торчала шпилька, подпущенная автору трагедии «Уголино», — ничего не значило, кроме того что соблюдено беспристрастие. Оно же оведало и декларацию о нейтралитете, названную «Литературная тяжба о *сих* и *этих*». Один петербургский журналист (читай: Краевский) высмеивает другого журналиста, тоже петербургского, за употребление устаревших местоимений «оный» и «сей». «Полагаясь на догадливость наших читателей, мы не почитаем за нужное давать им знать, что мы говорим о человеке, которого важные услуги отечественной литературе всем известны; но... у какого Ахиллеса нет своей пятки, и *сей* журналист точно имеет *оную*...» А впрочем, нам, московским наблюдателям, на их разборки плевать с Ивана Великого: «Бедная наша журналистика! У нас ещё играют в неё, как в мячик...»

Но во второй-то книжке нельзя же было не дать по мозгам мерзавцу Селивановскому. А поскольку он у нас тоже балуется переводами, тоже из Шекспира и тоже для сцены, — высвечивается прелестная возможность пристукнуть его похвалой Полевому, — и «Сыну отечества» нечем крыть!

«...Переводы переводам — рознь, а вот и факт, самый новый и самый свежий. Н. А. Полевой перевёл “Гамлета” с оригинала и перевёл не буквально, а поэтически, творчески,

¹ Точно такая же интонация: «Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах...» — в отзыве о «Бедных людях», написанном в 46 году и напечатанном в том же номере ОЗ, что и «некролог» Полевому.

и успех этого перевода был блистателен; вот другой кто-то из безымянных или безгласных, вероятно, подстрекнутый этим успехом, перевёл Шекспировых “*Merry Wives of Windsor*” — вот тех, что недавно так тихо упали на Петровском театре, несмотря на превосходную игру Щепкина, но перевёл их с французского, с гизотовского перевода: видите ли, вот и розница. Потом, Н. А. Полевой, зная, что театр есть место для всех возрастов и полов, выключил или изгладил, в своём переводе, все грубые плоскости, свойственные веку Шекспира; а неизвестный перелажатель “*Виндзорских кумушек*” и т. д.

Правда, в пятой книжке пришлось эту похвалу слегка дезавуировать.

«Перевод г. Полевого — прекрасный, поэтический перевод, а это уже большая похвала для него и большое право с его стороны на благодарность публики. Но есть ещё не только *поэтические*, но и *художественные* переводы, и перевод г. Полевого не принадлежит к числу таких. Повторяем: его перевод *поэтический*, но не *художественный*, с большими достоинствами, но и с большими недостатками...»

По пятибалльной шкале это была уже четвёрка, и то не твёрдая. И поставленная главным образом для равновесия: рядом стояла рецензия на «Уголино», в которой Белинский вывел было Полевому кол («Уголино» есть лучшее доказательство той непреложной истины, что нельзя писать драм, не будучи поэтом»), но потом, смягчившись, переправил на двойку: «Если хотите, у Гюго и Дюма много найдётся драм хуже “Уголино” и мало столь хороших: но это не похвала, а приговор...»

Он не шутил. Друзья врагов наших друзей — наши враги. Решив полюбить окружавшую его действительность, Белинский почувствовал глубочайшее отвращение ко всем друзьям свободы (начиная почему-то с Шиллера). Когда заходила речь об *идеальной* и *неистовой* французской школе или о *юной Германии*, у него в уголках губ выступала пена. Через несколько лет это прошло. Да, и ещё одна художественная особенность: когда он бывал кем- или чем-либо недоволен, то обычно выражал своё неодобрение, неудержимо матерясь; но в случаях, подобных

рассматриваемому, пользовался словосочетанием, которое считал наиболее оскорбительным: *прекрасная душа*.

Насчёт «Уголино» Белинский был, по-видимому, прав. И эта первая прямая атака была успешной. Хотелось получить подтверждение или даже поддержку. «Напишите, как вам понравилась моя статья об “Уголино”, — писал он Панаеву. — Жаль Полевого, но вольно ж ему на старости лет из ума выжить. Что там за гадость такую он издаёт. “Библиотека для чтения” во сто раз лучше: для большинства это превосходный журнал».

Но партия Краевского считала, что «Московский наблюдатель» слишком церемонится с Полевым; заигрался в объективность и художественность. Панаев сурово отчитал Белинского. Намекнув, что пора выдвигаться в направлении главного удара.

«...Я никак не могу согласиться с вашим разбором Гамлета, переведён[ного] Полевым. Расточили вы *сему* переводу много похвал, а он, по-моему, право, не стоит этого. Уж одно то, что Н. А. искажил очаровательную Офелию — и сделал из неё русскую девку в сарафане, нельзя простить ему, воля ваша! У Полевого шекспировская Офелия поёт на балалайке:

Радость-душечка пропала,
Как мила друга не стало...

Только не достаёт: *Ай-люли! Ай люли etc...* — О переводе этом когда-нибудь поподробнее. — Я был на днях у Полевого, который говорит, что любит вас по-прежнему, несмотря на то, что вы невзлюбили его *Уголино*; я обиняком дал ему знать, что разбор этот кажется мне весьма дельным. <...> Тот ли уж это Полевой, который издавал Телеграф? Что-то сомнительно. “С[ын] О[тчества]” плох до-нельзя!.. С каждым № “Наблюдателя” привязываюсь к вам более и более, — это не комплименты, ей-богу, а люблю вас от души.

...Слышали вы, я чаю, от Межевича об “Отечественных Записках”, возобновлённых Краевским. Что-то будет? — Конечно, Краевский журналист не знатный, но вы ведь не ведаете, какими обстоятельствами окружены Пбр. журналисты? — Он человек благородный, прекрасный и честный — за это я отвечаю вам».

Всех цитат не перецитировать. Вот что значит: с кем поведёшься, от того и наберёшься. Сам уподобисься словоохотливым старухам СНОП и СНОБ.

Но должен признаться: скрипучую технику доктора Вересаева я предпочитаю всем другим. Если железной рукой навязать цитатам хронологический порядок, они ведут себя почти как факты.

Вся эта скучная распря шла ни шатко ни валко до середины февраля 39 года. Когда Белинский вдруг понял, что не может больше оставаться в Москве. Устал от истеричных дружб с Бакуниным, Боткиным, Катковым, устал влюбляться в равнодушных женщин, устал (и перестал ещё в конце января) трудиться для «Московского наблюдателя», которого никто не читает (даже цензоры — отчего и не подписывают вовремя в печать) и за который ничего не платят.

Написал Панаеву: похлопочите за меня у г-на Краевского, у него теперь два журнала на руках, — не нужен ли ему сотрудник, способный ежемесячно поставлять около десяти печатных листов оригинального текста? или хоть корректор?

«Коротко и ясно: почём с листа? Но главное вот в чём: без 2000 мне нельзя даже и пешком пройти заставу; около этой суммы на мне самого важного долга, а сверх того, я хожу, как нищий, в рубище. Кроме г. Краевского, поговорите и с другими, сами от себя или через кого-нибудь; я продаю себя всем и каждому, от Сенковского до (тьфу ты, гадость какая!) Б<улгари>на, — кто больше даст, не стесняя притом моего образа мыслей, выражения, словом, моей *литературной совести*, которая для меня так дорога» и т. д.

Через три дня, ещё не получив ответа (раньше чем через неделю получить его было и нельзя), написал ещё раз, как если бы ему пришёл в голову дополнительный аргумент:

«Если я буду *крепко* участвовать в «Отечественных записках», то — уговор лучше денег — Полевой — да не прикоснётся к нему никто, кроме меня! Это моя собственность, собственность по праву. Я, и никто другой, должен спихнуть его с синтеза и анализа и со всего этого хламу пошлых, устарелых мненьиц и чувствований, на которых он

думает выезжать и которыми думает запугать новое поколение. Особенно, если выйдет окончание его «Аббадонны» — это мой пир — как ворон на падалище, спущусь я на на это нещечко литературного прекраснотушия и исклюю и истерзаю его. У меня уже готова в голове статья. Люблю и уважаю Полевого, высоко ценю заслуги его, почитаю его лицом историческим; но тем не менее постараюсь сказать и доказать, что он отстал от века, не понимает современности и сделался тем Каченовским, которого он застал при своём выступлении на литературное попреще. Ужасное несчастие пережить самого себя — это всё равно, что сойти с ума».

Панаев успел ответить только на первое письмо — и ответил внятно. «Будь я редактором журнала, я бы Вам безусловно вверился, но увы!» Постоянный сотрудник Краевскому не нужен, но какая-нибудь работа найдётся, рублей на 100 в месяц, а то и на 250. Обращаться к кому-то ещё не имеет смысла (о Булгарине грешно и упоминать), кроме «Отечественных записок», нигде вас не оценят и нигде не будут пристойно платить, так что приезжайте, а там посмотрим: вдруг и Краевский к вам потеплеет. Что до двух тысяч, то некоторые мои приятели, уважающие вас как литератора, охотно дадут вам займы 1500, а я в апреле буду в Москве и привезу ещё 500.

Не очень-то обнадеживал такой ответ, но к тому времени, как почта его доставила, Белинский и сам передумал. Степанов и Андросов уговорили его продолжать журнал. Степанов выдал тысячу рублей. Был у Белинского и собственный секретный резон. В прошлом году он сочинил пьесу «Пятидесятилетний дядюшка». Она прошла на сцене Московского театра только два раза — в конце января — и ей почти не аплодировали. Возможно, оттого что неталантливая. Но Белинский был убеждён: оттого что театральная публика глупа. Надо дать тексту ещё один шанс.

И «Московский наблюдатель» просуществовал ещё четыре месяца. Вышли ещё три номера. В февральском напечатан разбор «Дядюшки» — неизвестно чей, но очень доброжелательный. В мартовском — сама пьеса, сделавшаяся гораздо короче и поэтому лучше.

А последний, апрельский, явившийся в свет 17 июня, выглядел так, словно весь посвящён Николаю Полевому. Хотя о нём шла речь только (!) в трёх материалах: в двух рецензиях и в обзоре журналов.

В первой рецензии — на графоманскую, поистине кошмарную повесть Александрова (Дуровой) — Белинский уверял публику, что слог у девицы-кавалериста — не хуже пушкинского, повесть — «прекрасная», а Полевой, позволивший себе отозваться о повести чуть насмешливо, — халтурщик и невежда. Это высказано тоном презрительного бешенства. «Да читали ли вы Гегеля? — Зачем читать — мы и так знаем. — Изучали ли вы современную немецкую литературу? — Когда нам! мы пишем водевили...»

Другая рецензия — на альманах Кукольника «Новогодник», где помещено первое действие исторической драмы Полевого «Елена Глинская».

«Что сказать об этом *первом* действии? — хорошо, очень хорошо, словом — “мастерски, с ударением, с чувством”, как сказал покойник Полоний; только ужасно скучно, ужасно утомительно... Говорят, что Николай Алексеевич написал ещё *четыре* новые драматические пьесы, вместо того, чтобы дописать *двенадцать томов* своей “Истории русского народа”, том “Русской истории для первоначального чтения”, добавить публике свои многочисленные недоимки...»

Конструкция обзорной статьи «Русские журналы» совсем простая. В прошлый раз, в мартовской книжке, мы одной фразой потрепали по напудренной щёчке «Галатею», на двух страницах изъявили почтение «Современнику», на пяти — удовольствие, доставленное нам худ. и научной прозой «Библиотеки для чтения» (причём особенно сладко похвалили одну вещицу Кукольника). Отметим попутно, что когда оценкой одобряемых нами текстов занимается «Сын отечества», — он, как правило, проявляет некомпетентность, близкую к недобросовестности.

Ну а теперь нам осталось во весь голос воспеть омолодившиеся «Отечественные записки».

А впадшему в маразм «Сыну отечества» — прочитайте отходную. Не дожидаясь остановки сердца.

Проза «ОЗ» — это: повесть Лермонтова («прекрасная»), повесть Панаева (тоже «прекрасная»), повесть Даля («чудесная»), повесть графа Соллогуба («прекрасная мысль светится» в ней).

Поэзия «ОЗ»: «Кроме двух прекрасных стихотворений г. Лермонтова, в V номере “Отечественных записок” есть четыре прекрасных стихотворения г-жи Павловой...»

Короче, «ОЗ» по качеству не уступают даже РИ-действительности, разве что отдел критики немного того... Там не стало бы лишним и перо поострей.

Что же касается «Сына отечества», то:

Во-первых, он опаздывает; последний номер за прошлый год вышел только в нынешнем; и — «на серенькой бумажке, слепо и некрасиво напечатанный».

Во-вторых, если душа всякого журнала — отдел критики и библиографии, то у «СО», считайте, нет души: этот отдел в нём наполнен невежественной бестолковщиной; а хуже всего — статьи самого редактора, — он невежда и ретроград; стар и неумён; и страдает манией величия.

«Теперь, чего вы хотите от “Сына отечества”? Все недостатки его происходят от глубокой причины: он не понимает современности и потому не может угождать и нравиться ей. А так как, сверх того, он развлечён составлением драм, опер, комедий и водевилей, то и не имеет достаточного времени для улучшения самого себя...»

Дав этот последний залп — всеми бортовыми орудиями, прямой наводкой, — «Московский наблюдатель» погрузился в пучину небытия.

Лучший из специалистов, работавших на старуху СНОБ, — Ю. Г. Оксман, реально великий человек, знавший о русской литературе абсолютно всё, — отметил, разумеется, эту гневную вспышку, но не сумел установить — что вызвало её. Верней, не успел, у него было слишком мало времени: тюрьма, ссылка, опять тюрьма.

Краем глаза, однако, он углядел в старинной театральной хронике любопытную новость от 19 апреля 38 года: сего числа, в бенефис г. Каратыгина 1-го, после драмы г. Полевого «Смерть или честь» на Александринском театре разыгран был водевиль «Семейный суд, или Свои собаки

грызутся, чужая не приставай». Главную роль — студента Виссариона Григорьевича Глупинского — очень натурально исполнил г. Мартынов.

Оксман отметил и записал: тотчас после премьеры водевиль был снят с репертуара, он не напечатан нигде и никогда, кто его автор — осталось загадкой.

Поискать рукопись? Некогда и незачем.

А я поискал — и мне повезло (причём в самый последний момент: посредине вот этого, текущего параграфа, несколько страниц тому назад): нашёл¹.

Вот уж пасквиль так пасквиль. С несомненным портретным сходством. Не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится (да только не выяснится уже), что Мартынов надел синие очки и прицепил к сюртуку — с изнанки — какой-нибудь свёрток, чтобы одно плечо было выше другого, как бы небольшой горб.

Сюжет совершенно бессмысленный; если и был какой-то подтекст, то полностью выветрился; с биографией Белинского, во всяком случае, никак не связан. Какие-то муж и жена решают по взаимному согласию разъехаться, их родственники пытаются вмешаться; собираются на семейный совет; всё очень похоже на советский разбор персонального дела по аморалке. Кончается — ничем: переругались вдрызг — и всё, занавес.

Но один из этих, значит, родственников — да, всего пятью буквами отличается от Белинского. И у него такой же словарь и синтаксис, как у Белинского в статьях (и в письмах; и, по-видимому, в разговоре). И — тоже как Белинский — он окружён восхищёнными поклонниками; по крайней мере, один (фамилия: Писаревский) налицо.

Подлог (которого публика Александринки, конечно, не заметила) состоит в том, что этот почти Белинский — нарочито не умён. Просто болван, возомнивший о себе, что он гений. Произносит вздор, только вздор и ничего, кроме вздора. Склеенного из терминов доморощенного гегельянства. Вот — смотрите и слушайте: он выходит на сцену!

¹ Приношу сердечную благодарность Н. П. Будановой (Санкт-Петербургская государственная Театральная библиотека).

Глупинский: Здравствуйте, Пантелей Иванович! Ваш слуга, сударыни! Нынче день конкретно жаркий. Необычайно субъективная удушливость атмосферы не предвещает нам ничего доброго; я опасаюсь грозы...

...Облака облакаются беспрестанною какою-то призрачностью и мешают конечному просветлению небесного светила. Если же, однако, оно облечётся в свою лучезарную индивидуальность и конкретность прежде полудня и будет доступно для нашего субъективно-абсолютного созерцания, то день будет достолюбезный.

Параграф затянулся уже нестерпимо. Но все-таки — для полноты картины — вот ещё монолог. Такой же бездарный. С бездарной же перебивкой.

Глупинский: До сих пор отвлечённость, призрачность и отсутствие всякой действительности были тождественны; прекраснодушный человек необходимо протиснулся с действительностью и бродит в этом болезненном отчуждении от всякой естественной и духовной действительности в каких-то фантастических, произвольных, небывалых мирах и мнит, что своими призрачными силами он может разрушить его могущее существование, мнит, что в осуществлении конечных положений его конечного произвола и конечных целей его конечного рассудка... (Кашляет.)

Крапивина: Что это за конечный рассудок? Не тот ли, что комар вынес на кончике своего носа?

Писаревский: Дайте ему кончить!

Глупинский: ...заключается всё благо, и не знает, что самые страдания в действительной жизни необходимы как очищение духа, как переход от тьмы к свету, к конечному просветлению...

В рукописи тут почему-то находится осколок кавычки; неужто выписано из реального текста?

Кстати: почерк, по-моему, точно не Полевого; но это ничего не значит: на что же и существуют переписчики? Я не верю, что автор этого водевиля — Полевой, но и это не имеет значения: Белинский-то, по-видимому, верил. В конце марта и в начале апреля 38 года — даже не сомневался.

— Одну минуту, молодой человек, — раздаётся высокомерный, прокуренный «Беломором» баритон старухи СНОБ. —

Вы это заключаете единственно из того, что в последнем номере «Московского наблюдателя» Виссарион Григорьевич, осуждая Полевого за переход в лагерь реакции, раз другой мимоходом упомянул о его безыдейных водевилях? Но ваше предположение противоречит хронологии — той самой, которой вы так трогательно присягнули на верность. Спектакль, вы говорите, состоялся 19 апреля. А цензурное разрешение последнего «Наблюдателя» подписано хотя и в апреле же, но 8-го! Стало быть, пламенные инвективы великого критика вылились из-под его пера никак не позднее этого числа. Каким же образом, по-вашему, Белинский мог узнать содержание нигде не опубликованной пьесы прежде, чем она была поставлена на сцене? Тем более — живя в другом городе. Даже устная информация — в Александринском театре был дан такой-то водевиль — попала бы в Москву лишь через несколько дней. Любопытно: как вы выпутаетесь из этого противоречия?

По правде говоря — никак. Но на рукописи водевиля тоже стоит виза цензора. С датой: 29 сентября 1838 года. Стало быть, текст находился в обращении более полугода. В дирекции; у Каратыгина; у Мартынова. Допустим, кто-нибудь из петербургских актёров посетовал в письме кому-нибудь из московских: знал бы ты, братец, какую ерунду мы репетируем к бенефису нашего великого трагика. Но это, пожалуй, лишь перед самой премьерой. А если недели за три до — например, так: говорят, великий трагик после московских гастролей затаил злобу на одного вашего рецензента и решил в свой бенефис ему отплатить; купил чей-то фарс, в котором есть очень похожий на него Глупинский. Новость не могли не рассказать Щепкину; или Мочалову; и тот и другой, узнав, что против Белинского затевается такая проделка, непременно предупредили бы его. Кстати: оба дружили и с Полевым. Причём, как говорится, — до самой смерти. И оба много лет допытывались у Белинского: за что он так невзлюбил Полевого? Значит, не допускали мысли, что причиной вражды мог быть этот треклятый водевиль. Значит, не думали, что его сочинил Полевой. А если бы думали, не говоря — знали, — тогда же, весной 38-го, сделали бы всё, чтобы Полевой не допустил этой по-

становки — отговорил Каратыгина, изъял рукопись. Нет, автора Белинский вычислил сам — и неверно.

— А по-вашему, кто это был?

Кто это сделал, лорды? Мотив (у каждого свой) и возможность имелись у троих: у Каратыгина-младшего, у некоего Ленского (помните — «Лев Гурыч Синичкин»?) и, наконец, у Селивановского (помните: прозвище — Шарик?). Я выбрал бы Селивановского; но, в конце концов, не всё ли равно? Меня занимает — насколько прикосновенен Полевой. Хотелось бы верить, что он не принимал никакого участия, — но это вряд ли. В Александринке он был свой человек; Каратыгин был его приятель; водевиль сыграли в один вечер с его драмой.

Положим, он не присутствовал на спектакле; даже скорей всего — не присутствовал: скарлатина у детей. 10-го заболела Лиза, от неё заразились Сергей и Катя, числа 26-го заболел — и 29 апреля умер — Алексей. Не такой выдался месяц, чтобы посещать театры, чей бы ни был бенефис. Возможно, что и к Н. А., боясь инфекции, никто не приезжал. Но не может же быть, что он просто понятия не имел об этом «Семейном суде» ни до бенефиса, ни после. Обязан был сорвать провокацию. А если опоздал — печатно осудить. В крайнем случае — резко и гласно отмежеваться. Написать, не знаю, — не Белинскому, так хоть Мочалову: я только теперь узнал и глубоко возмущён.

Ну да, смерть сына что-то в нём доломала. Т. н. волю к жизни. Каждую субботу он ездил на Волковское — плакал над Алексеем. Иногда — всю ночь. Хотел (или думал, что хочет) только одного: чтобы зарыли рядом; чем раньше, тем лучше. *«...Слёзы мои льются, и — ужасно, ужасно, брат и друг! Особливо когда с горестью оглянешься назад и ничего не видишь впереди. Сорок третий год тернистого пути, сорок третий год страданий — тебе ли описывать, напоминать жизнь мою? Ты знаешь её! Говорить ли о том: стою ли я таких бедствий? Терзай, мучь меня всем другим, но зачем во глубину сердца моего впивается жало скорби, ибо только в детях, в семье я ещё видел отраду! и из них... не за то ли Алексею надобно было умереть, что я любил его — стыжусь, страшусь сказать! — более всех... Разве это грех?*

Если так, да будет! Не думай, чтобы я роптал на судьбу Божию — нет, нет! Но повторю слова самого Богочеловека: "Прискорбна душа моя, прискорбна даже до смерти!"»

Всё это крайне печально. Но всё-таки перед Белинским Полевой был виноват. Хотя бы даже только тем (допустим, что было так), что не помешал актерской братии — бестолковой, легкомысленной, тщеславной — превратить в посмешище столицы человека, которого он любил и уважал. О котором не далее как в марте 37-го, меньше года назад, писал брату: «Клянусь, что моя рука против него никогда не двинется. Белинский — чудак, болен добром, но любить его никогда я не перестану, потому что мало находил столь невинно-добрых душ и такого смелого ума при всяческом недостатке ученья. Вот почему хотел было я перезвать его в Петербург — боюсь, что он пропадёт в Москве» и т. д.

В апреле в Москву прибыл, как и обещал, — и пробыл до середины июля — Панаев. С молодой женой. Дочьерью актера Брянского, между прочим. Уж эти-то знали всю театральную подноготную. Должны были открыть Белинскому тайну злополучного водевиля.

Но тут я теряюсь. Линия И. И. Панаева в этом сюжете — странная необъяснимо. С одной стороны — если он полагал или хотя бы предполагал, что автор — Полевой, то никак не преминул бы сказать об этом в своих мемуарах. В них Н. А. (чтобы оттенить положительного Белинского? или чтобы — простите неустрашимый каламбур — обелить?) с головы до ног старательно осыпан, как мусором, разной презрительной ерундой.

Вприсядку в компании с Кукольниковом плясал? Плясал. С Воейковым, своим врагом, обнимался? Обнимался. Романы графомана Штевена, боясь его: Штевен был частный пристав, — хвалил? Хвалил. (На самом деле — нет.) Детей своих на ночь — всех по очереди — крестил? Крестил: Панаев сам был при этом. Полевой повернулся к нему и проговорил с низким поклоном: уж простите, И. И., такая у меня привычка-с! Нужны ли вам, читатель, ещё доказательства, что Полевой был трус, конформист, жалкое ничтожество?

Ну что вы, зачем? Вот разве что, И. И., вы прольёте свет на эту историю с пасквильным водевилем. Некрасивую по-

любому, но если Полевой сильно в ней замешан, а уж тем более если он был застрельщик, — созданный вами отрицательный образ сделался бы убедительным неотразимо. Скажите хоть слово. Но молчит Панаев, «человек со вздохом», молчит*.

С другой стороны — тогда, в 38-м, в Москве, он если и не подтвердил, что водевиль сочинён Полевым, то уж во всяком случае не указал ни на кого другого. Не разубедил Белинского. Зато рассказал, как подобострастно Полевой ведёт себя с Дубельтом: кланяется неприлично низко, и вообще. Один наш постоянный автор — вы его знаете, прелестный писатель — видел собственными глазами. И даёт понять — да-да, сомнений нет.

Панаевы отправились в Казанскую губернию; было условлено, что на обратном пути они заберут Белинского с собой в столицу. Поскольку всё решилось как нельзя удачней: в июне Панаев опять — теперь письменно — сообщил Краевскому, что Белинский ищет работу, и на этот раз патрон отозвался на удивление благосклонным письмом. Работы сколько угодно — писать и в «Отечественных записках», и в «Лит. прибавлениях», ставка — 3500 р. С осени, так с осени, милости прошу. А покамест не будет ли Биссарион Григорьевич против, если я выберу из последнего номера «Наблюдателя» те страницы, на которых говорится о Полевом, и составлю из них едкую такую статейку? Разумеется, без вашей подписи: я и от себя кое-что добавлю. Мы ведём с «Сыном отечества» позиционную войну, — но пора переходить в наступление, не так ли?

Белинский был в восторге. («Ещё в первый раз меня будет читать большая публика».) Написал Краевскому сам — так сказать, обратился напрямую: а хотите — напишу про Полевого ещё? Большую рецензию на большое собрание критических статей, когда-то печатавшихся в «Московском телеграфе»? Это будет окончательный расчёт.

Теперь пришел в восторг Краевский, — а уж на что степенный был господин.

5 июля Белинский ему:

«...Оканчиваю довольно обширное “похвальное слово” другу моему Николаю Алексеичу Полевому».

17-го Краевский в ответ:

«Я и Межевич ждём от вас письма о “друге вашем”:
заранее вижу, что оно преубийственное. Так и надо этого
каналья, который не перестает писать доносы на всех чест-
ных людей, обнимаясь с Булгаринными и Кукольниковыми!»

Да приезжайте (т. е. переезжайте), Бога ради, поскорее
в Петербург. Уверяю вас, не раскаетесь».

Гениальный стратег. Какая комбинация: уничтожить По-
левого пером Белинского! а сам только подстрекай да похва-
ливай; похваливай да подстрекай. Никто ведь не спросит —
какие доносы? на кого? с чего вы взяли? (И Белинский не
спросит; потому что в курсе; а четыре месяца назад был не
в курсе — помните? так и писал: люблю, уважаю, высоко
ценю, почитаю Полевого лицом историческим.) А спросят
— не ответим; значительно так улыбнёмся и сразу же на-
хмуримся; ну уж если пристанут с ножом к горлу — со-
шлёмся на Владиславлева: ему ли не знать; а то и Пушкина
приплетём; будучи близким другом покойного и продолжа-
телем славных традиций. Главное — ничего личного. Хо-
чешь жить в собственном доме на Литейной — люби и знай
и соблюдай волчьи законы капитализма. У «Отечественных
записок» — 1250 подписчиков, у «Сына отечества» — 2000,
наперекор всякой справедливости; а знаете — почему? Наш
корреспондент провёл опрос; передаёт из Воронежа: «ради
Полевого, которого по старой дружбе — стариков и теперь
еще много — любят!» Но так не пойдёт. Наш маркетинго-
вый план недостаточно агрессивен. 1840-й должен стать го-
дом великого перелома.

И, в общем, стал.

§ 22. НЕЧТО О Т. Н. ЛИТ. СОВЕСТИ. ОВСА И ВИНА! СЮЖЕТ КАК НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Белинский переехал в Петербург. Работа закипела. В середине февраля он писал Боткину:

«Что ж ты не сказал мне ни слова о моей статейке об “Очерках” Полевого? Ею я больше всех доволен; право, знатная штука. Поверишь ли, Боткин, что Полевой сделался гнуснее Булгарина. Это человек, готовый на всё гнусное и мерзкое, ядовитая гадина, для раздавления которой я обрекаю себя, как на служение истине. Стрелы мои доходят до него, и он бесится. Во 2 № “Отечественных записок” я его опять отделал. В “Литературной газете” тоже не даю ему покоя...»

Действительно. Статьейкой об «Очерках русской литературы» Полевого «Отечественные записки» и «Литгазета» (Краевский провёл ребрендинг «Лит. прибавлений») начали новый год — и небольшую победоносную войну. Сразу же применив старинное, но грозное оружие, которое — хотя конвенцию никто не подписывал — уже довольно давно считалось выведенным из обихода. Как пережиток эпохи варварства.

Чем, собственно, и запомнился читающей публике 1-й № «Отечественных записок» 1840 года. Впоследствии Белинский писал про Полевого ещё резче, и некоторые читатели по-прежнему бывали недовольны, но никого уже не удивлял сам факт: что с грубой насмешкой говорится не о собирательном каком-нибудь псевдониме (типа: наши любомудры — или что такое друзья народа), а о лице — о самом что ни на есть живом (пусть отчасти, пусть временно) человеке.

Не «Сыну отечества», не «Северной пчеле», а лично литератору такому-то — да ещё известному и даже уважаемому (отнюдь несмотря на то, что в недавнее время он был — не очень-то законно — репрессирован), — оказывается, можно бросить как бы прямо в глаза: знай своё место, наглый невежда, бездарный халтурщик!

Притом — что тоже на первых порах ощущалось как приём неблагоприятный — не тратя дорогого времени на обсуждение текстов.

Вот вроде бы речь идёт о сборнике статей. Двухтомном, между прочим. Упомянуты из них — четыре. Одна названа «лучшей» (хотя рецензент считает нужным указать, что понимает её предмет несравненно глубже, чем автор), вторая — «ещё менее удовлетворительной», о третьей: «решительно не знаем, что сказать», «это какой-то хаос крутящихся понятий». Ну а четвёртая — раз уж в ней Полевой когда-то осмелел одну из комедий Шаховского (помните: *Здесь вывел колкий Шаховской Своих комедий шумный рой?*) — даёт нам отличный повод сообщить (с полным сочувствием): кстати, вот как оценивает авторитетный эксперт, г. Булгарин, собственную лит. деятельность г. Полевого — в частности, его драматургию.

Оценка г. Булгарина («беспристрастная и верная оценка, с которою мы вполне согласны, как будто бы она была произнесена нами самими») — пренебрежительна и сводится к плоской остроте, в своё время пущенной князем Вяземским (или Вяземский украл её у Булгарина, не важно): Полевой — человек не без способностей, но главная из них не так уж много общего имеет с умом и талантом: это — *сметливость* (т. е. чувство рыночной конъюнктуры; свойство похвальное; представителям низших сословий замещающее образованием).

Ну а что сказал в ответ г. Булгарину г. Полевой? Он ведь, кажется, пытался возражать; так рассмотрим его возражения — впрочем, не все, а «обратим внимание только на два, в которых самым резким образом выразились понятия г. Полевого о науке и искусстве».

Обсуждаемая книга забыта. Чёрта ли в ней. Давайте про понятия. Которых у г. Полевого, как читатель уже догады-

вается, нет и быть не может, но лучше мы (рецензия, конечно, не подписана) покажем это наглядно. Как два пальца. Например, про философию г. Полевой думает, что она должна быть краеугольным камнем любого образования — «как зерно всех идей человеческих»! Представляете, каким непроходимым нужно быть невеждой, чтобы молотить такую чушь? Образованный-то человек знает: философии должно посвятить всю жизнь или совсем за неё не браться: «ибо философия есть не только зерно, как говорит г. Полевой, но и развитие идей, как разумно необходимой *возможности* всего сущего, ставшего явлением в природе и в истории, сознание той сферы сверхчувственного и сверхопытного, где бытие равно небытию, возможность равна явлению...»

И хватит о грустном, теперь повеселимся: ведь этот человек — которого мы с вами настолько умней, — подвизается в роли драматурга (начав с «дюсисовской переделки Шекспирова “Гамлета”») и печатно рассуждает о театре. Это само по себе забавно, но если брать фразу за фразой и живьём опускать в кипящий юмор — вот потеха-то. А впрочем, простим ему простодушное неведение, да и бедность эстетического вкуса: недаром же он в устной речи (но пусть это останется между нами) употребляет словоерсы, так и говорит: очень-с хорошо; будем делать практику-с... Конечно, трудно удержаться от смеха, когда г. Полевой с такой серьёзностью рассказывает о самом себе: при каких обстоятельствах сочинил то, сочинил это; и даже — как в юности, служа приказником у какого-то курского купца, изучал иностранные языки: по ночам, при свете сального огарка. Как будто кому-то интересно. Но публика тоже тут не без вины: излишне горячо приняв искажённый и облизанный перевод «Гамлета», она спровоцировала у г. Полевого воспаление самомнения. Похоже, он, приплюсовав этот не заслуженный им успех к заслуженному успеху «Телеграфа», вообразил себя чуть ли не гением; проникся сознанием своего величия-с...

А я увлекся. Статья Белинского кончается такими словами:

«Пусть по тому, что сказали мы, судят о том, что хотели мы сказать; а кому этого мало, то — до следующих двух томов “Очерков”: ещё будет о чём поговорить и что сказать. А сказанное пусть примется только за предисловие...»

Это, конечно, угроза, и конечно, Белинский исполнил её. Правда, следующие два тома «Очерков русской литературы» так никогда и не вышли в свет. Но Полевой работал теперь с пяти утра до четырнадцати часов, а потом с восьми вечера до полуночи. Поставляя предлог за предлогом проучить его вновь и вновь: не публикацию, так премьеру.

О нет, не подумайте, Белинский вовсе не был убийцей Полевого; всего лишь весёлым таким, неутомимым палачом. Бывает, складываются такие отношения — в школе, в казарме, в тюрьме. Или в процессе дрессировки животных. Причинить сильную боль надо раз — ну два. А потом достаточно пинка. Или замахнуться, просто для порядка. Но как можно чаще. Чтобы вздрагивал.

Атаковать регулярно и постоянно. Я насчитал за семь лет сто атак — и сбился со счёта.

Они довольно однообразны. Даже как-то неприятно. Неудобно за Белинского. Ну да, Полевой был живой труп, ретроград, интриган, завистник; у него была мания величия; он не понимал философии, не знал английского; «Гамлета» перевёл с французского, полностью исказив; его пьесы отвратительны; язык всех его сочинений так плох, что невозможно читать. Он стар, стар, стар; практически мёртв, мёртв, мёртв; воображает, что он гений, а он не гений, не гений.

В голословном виде все эти предикаты выглядят хоть куда. Вспотеешь опровергать. Но впечатлению вредит низкое качество иллюстраций. Например: почему ретроград? Потому что «отстаивает старое против нового, начиная от гениальности Расина до русской орфографии». А если с этого места поподробней? Извольте, говорит Белинский: во-первых, «Сын отечества» напечатал чью-то статью, в которой давно разбитые (не без участия г. Полевого) куклы — Корнель, Расин и Мольер — названы, не поверите, великими писателями! А во-вторых, г. Полевой не только не поддерживает, а ещё и нападает на грамматическую инновацию, предлагаемую г-ном Краевским, — писать наречия слитно с предлогами: *кнесчастью*, *ксожалению*, *взаключение*; вообразите только: г. Полевой с пылом защищает заведомо устаревшую норму! Как же не ретроград?

А значит — и ренегат! Quod erat demonstrandum! В переводе на русский: что и требовалось старухе СНОБ. Она-то всю эту травлю трактует без затей: великий критик преследовал Полевого за измену прежним убеждениям. Чисто идейное разногласие. Правильные, передовые взгляды против неправильных, отсталых. Высокопринципиальная несовместимость.

Но тут стоит коварный логический капкан. И старуха СНОБ угодила в него и по сей день всё ещё не смеет вырваться, боясь причинить своему организму непоправимый ущерб.

Взгляды Белинского в описываемый момент были известны какие. Как у всех советских: нет и не может быть общественного строя лучшего, чем наш. Нет другой страны, где дышится так же легко. Лицо любимого вождя озаряет нашу действительность ярче тысячи солнц, и т. д. Но ежели Белинский находился на этой точке зрения, — вкрадчиво вопрошает логика, — что должен был сделать или сказать другой литератор, чтобы стать в его глазах заклятым идеологическим противником, а?

Может быть, Полевой изменил делу царизма? Потому что если не изменил, то про какие идейные разногласия вы блекочете? Разногласия из-за чего? Кто лучше — Шеллинг или Гегель? адекватно ли излагает их системы Кузен? правилен ли слог у Гоголя? есть ли дарование у Некрасова? Или же — кто из нас любит Николая Павловича от всей души, а кто не от всей?

Согласен, согласен: ирония неуместна; нельзя путать Божий дар с Яичницей (из «Женитьбы»); в последнем вопросе звенел актуальный, даже опасный вызов — и хрипотцой проступал болезненный надрыв.

Но вы же сами говорите: Полевой примкнул к лагерю реакции. Насколько я понимаю — к тому самому, на дежурство по которому Белинский через несколько месяцев заступил. Одно из двух: либо обострённая бдительность молодого контрактника позволила ему опознать (хотя разоблачить не удалось!) в пожилом призывнике — отщепенца, выражаясь поэтически, народной семьи, — либо никаких непримиримых политических расхождений между ними не было.

Факты — то есть тексты — говорят, что как раз по основному вопросу оба выступали как единомышленники. Как идейные соратники. Как все вокруг.

Только один был — серая оципанная кукушка самодержавия, а другой — пылкий соловей.

«Миродержавным судьбам вечного Промысла было угодно, чтобы благодетельное воздействию, данному России её великим преобразователем, было совершено его достойным внуком, благоговейно удивляющимся великому подвигу своего великого пращура, из-за пределов гроба, из царства вечной жизни и славы с умилением взирающего на его великий подвиг и благословляющего его...»

Полевой так нащёлкивать не умел. Что-то его сковывало — нет, разумеется, не приличия: падежи; и взаимоотношения сказуемого с подлежащим.

Но, в общем, эту музыкальную тему он разрабатывал в таком же ключе. И раньше, и теперь, и всегда.

Тогда почему же — ренегат?

Почему, почему. Во-первых — по кочану. Во-вторых — по диалектике: держась за свои убеждения, вцепившись в них, любой человек обречен идти по кругу (всю эту страницу СНОБ просидела на капкане, набравши в рот воды, но теперь многозначительно поднимает указательный палец); в-третьих, сказано же вам: ставит Мольера выше Гоголя! упрямо пишет «*кнесчастию*», «*ксожалению*» — отдельно! был поборником всего нового, стал защитником старины, практически — охранителем.

А в-четвёртых, ренегат — это всего лишь эвфемизм. Перечитайте повнимательней фразу, при помощи которой Белинский объясняет внезапно возникшую у него неприязнь к Полевому: с некоторых пор г. Полевой стал действовать «*часто новым и особенным* против прежнего образом». Курсив — Белинского. Глагол «действовать» — тоже. И разве вся эта конструкция намекает на перемену образа мыслей?

Нет, нет. Не ренегат. Гораздо хуже. То самое. Сами знаете что.

С чего вы взяли? А с того.

Тут уже не диалектика, а неудержимая логика. Как в заметке Пушкина: «Завистник, который мог освищать Дон

Жуана, мог отравить его творца». (Белинский, впрочем, заметку эту не читал; а в «Моцарте и Сальери» всё по-другому: отравить мог, а освистать — нет.) Отчего бы человеку, написавшему на вас пасквильный водевиль, не написать и донос?

В частных разговорах, когда кто-нибудь спрашивал (поначалу спрашивали): как же можно унижать и оскорблять человека, которого вы сами ещё недавно хвалили? — Белинский отвечал (якобы даже «с пеною у рта») без обиняков: «Я порицаю его, как предателя, как перебежчика, доносчика, — при этом исчезают все достоинства писателя!»

А если любопытствовали насчёт доказательств (поначалу любопытствовали) — отмалчивался. Переводил разговор на другое.

Самый верный способ. Уже через полгода рейтинг «Сына отечества» и личный рейтинг Полевого опустились до нижней точки. Что и зафиксировано в анонимной эпиграмме:

Отродие купечества,
Изломанный аршин,
Какой ты «Сын отечества»?
Ты просто — сукин сын!*

Собственно говоря, это была эпитафия. Так сказать: Николаю Полевому — благодарная Россия, предварительный итог. Даже странно, что литература не отвернулась от него тогда же, в 40-м, вся. И через шесть лет всё-таки явилась на похороны.

Отчасти тут просчёт самого Белинского. Он слишком торопился сровнять репутацию Полевого с землёй, не оставить камня на камне. И слишком полагался на магнетизм своего уверенного голоса и на ловкость своих рук.

Ну обронил бы лишний раз, что «Гамлет» в переводе Полевого — не шекспировский «Гамлет», — ограничился бы язвительной сентенцией:

«...Ведь не всё то шекспировское, на чём выставляется его имя: и Шекспир во многом, что выдаётся за принадлежащее ему, не узнал бы своего!»

Звучит разумно; читатель примет к сведению: подумав как следует, вместо прежней, вроде бы окончательной, тройки критик поставил за это сочинение неуд. Наверное, критику видней.

Но Белинский продолжает: «Гамлет» в переводе Полевого — не что иное как водевиль:

«Теперь настало время романтических водевилей, с куплетами и даже без куплетов, и часто с чувствительными мелодраматическими пантомимами под эффектно сантиментальную музыку, — почему же, следуя духу времени, не делать водевилей из драм Шекспира?..»

Парадокс, думает читатель. Люблю парадоксы. Однако шутка немного затягивается.

«Но известно, что наши доморощенные водевили даже и не *делаются*, а *переделываются* из французских, чрез переложение французских нравов на русские; и потому, если вы хотите делать водевили из драм Шекспира, поступайте и с ними точно так же: сделайте, например, из поэтической датчанки Офелии русскую деву в сарафане и, на голос известной простонародной русской песни:

Здравствуй, милая, хорошая моя,
Чернобровая, похожа на меня!

заставьте её пропеть водевильный куплет с прищёлкиванием пальцами, хоть вроде следующего:

Радость-душечка пропала,
Как мила друга не стало!

Уверяем вас, что это будет очень хорошо...»

Гм, думает читатель. Не этот ли критик не эту ли же самую сцену — с этим самым водевильным куплетом — называл «раздирающею душу»? Что ж, ничего, бывает; люди растут.

Самое время остановиться. А Белинский входит в раж — кураж — вираж:

«Всего важнее — старайтесь переводить Шекспира как можно *водевильнее*, т. е. навыворот. Например: Шекспир заставляет Гамлета сказать Полонию: “Вы ничего не можете взять; я вам всё уступаю охотно, *кроме* жизни моей, *кроме* жизни моей”. (You cannot, sir, take from me any thing that I will more willingly part withal, *except* my life, *except* my life, *except* my life)...»

Тут старуха СНОБ не выдерживает. Молча (щёки все так же оттопырены, губы плотно сжаты) поднимает над головой табличку, на которой мелким-премелким почерком

написано: «Перевод, приводимый Белинским, неточен». Не посмела написать: «неверен», — но спасибо и на том. Какой-никакой акт гражданского мужества. Какого-никакого.

Белинский ничего не замечает, летя на гребне волны сарказма.

«...А вы... да что вам до Шекспира! Он писал по-английски, а вам не учиться же нарочно для него — слишком много для него чести, тем более, что — сами вы знаете — *целиком* он нынче уж не годится!.. Итак, возьмите лучше летурнеровский перевод “Гамлета”, исправленный Гизо <...> да и переведите это так: “Из всего, что вы можете взять у меня, ничего не уступлю вам так охотно, как жизнь мою, жизнь мою, жизнь мою”; оно будет и близко к оригиналу, с которого вы переведёте, и не так хлопотно: ведь французский язык, верно, вам знакомее, чем английский? А чтоб больше придать блеску вашему переводу, смело поставьте в заглавии “с английского”; ведь справляться не будут, а если и вздумает кто-нибудь, отмолчитесь — и дело с концом!»

Ну и ну! — думает читатель, не знающий английского (таких ведь большинство), надо же, какая шельма этот Полевой; просто-напросто передрал французский перевод; а там такие грубые ошибки; фразам придаётся прямо противоположный смысл; вот тебе и Шекспир.

Но у читателя есть дочь, и он сам нанял ей английскую гувернантку; есть сын-студент, и среди его товарищей кое-кто умеет по-английски читать.

Наконец, находится и образованный журналист — и пишет в газету: не совестно вам, Белинский? мало того что вы отказываетесь от прежних мнений, как будто они никогда не были вашими; но ещё и блефуете; ведь это вы не знаете английского; а Полевой, должно быть, знает, раз перевёл близко к подлиннику.

И Белинский вынужден отбиваться: откуда это вам известно, что статью написал я? она без подписи; но хоть бы и я: люди растут, меняются, идут вперёд; а насчёт перевода ещё бабушка надвое сказала — кто прав; пусть рассудит потомство*.

Защита не совсем удачная. Кроме того, большая часть рабочего времени уходила у него на примирение с действительностью. Активное чересчур. И какой-нибудь Грановский с тревогой пишет какому-нибудь Станкевичу: люблю Белинского, но статьи у него гадкие; дошло до того, что их похваливают разные Фамусовы в здешнем Английском клубе; а «студенты наши, и лучшие, стали считать его подлецом вроде Булгарина, особенно после последней статьи его. Дело всё в поклонении действительности».

Вот это и спасло репутацию Полевого от окончательной гибели: для многих сделалось очевидным, что человеку, который так старательно её уничтожает, верить нельзя.

Но у «Отечественных записок» прибавилось 700 подписчиков (пусть в Воронеже Кольцов удивляется: с чего бы это местная полиция рекомендует гражданам подписываться на лучший российский журнал, на самый передовой?) — а «Сын отечества» был обречён.

Впрочем, Полевого это почти не трогало. Он плохо себя чувствовал; подолгу болел; работал так же много, но значительно медленней. Перешёл на ставку зав. отделом (а главным редактором стал Никитенко). Всё забываю сказать: «Северной пчелой» Полевой руководил только несколько месяцев (потом рассорился с Булгариным, и тот опять забрал газету себе). Ну а «Сыном отечества», стало быть, — полтора года. Вот вам и лагерь реакции, вот вам и примкнул. Смирдин платил ему теперь только 7500; жить семье на эти деньги... впрочем, не будем повторяться. Был прожект: застраховать свою жизнь (на 40 000), — но все же понимали, сколько она стоит на самом деле. Был и другой прожект, более практичный: прочесть курс платных публичных лекций; это могло дать тысяч пять-шесть скоро. Но за разрешением обращаться надо было к Уварову. Пустой номер, но как же не попытаться. Хоть рекогносцировку провести.

1840. *Сентября 13.* Бенкендорф — Уварову:

«Литератор Николай Полевой, изъявив мне желание читать публично лекции о российской словесности, просил исходатайствовать ему на сие дозволение. Предоставив г. Полевому обратиться по сему предмету по принадлежности

к Вашему Высокопревосходительству, покорнейше прошу вас, милостивый государь, прежде чем изволите дать г. Полевому по просьбе его какое-либо разрешение, почтить меня на счёт оной словесным объяснением».

В переводе с канцелярского на бытовой: может, оставишь наконец человека в покое? он доходит уже.

Уваров ответил только через два месяца. Забавно, что за это время Белинский успел рассориться с Действительностью. Так и написал (Боткину, 4 октября):

«Проклинаю моё гнусное стремление к примирению с гнусною действительностью!»*

Ноября 15. Уваров — Бенкендорфу:

«Вследствие отношения Вашего Сиятельства от 13 прошлого сентября № 4620, по просьбе литератора Николая Полевого, о дозволении ему читать публичные лекции о российской словесности, я считаю долгом предварительно уведомить вас, милостивый государь, что г. Полевой известен по изданию в прошедшем десятилетии журнала *Телеграф*, на неблагонамеренное направление коего обращено было особое внимание и дальнейшее издание которого, вследствие Высочайшего соизволения, было прекращено.

Из сего, Ваше Сиятельство, изволите усмотреть, что едва ли удобно дозволить ныне г. Полевому чтение публичных лекций о русской словесности, долженствующих привлечь значительное число слушателей, без полного убеждения в совершенной благонадёжности его образа мыслей. Впрочем, если Ваше Сиятельство имеете положительные сведения, что г. Полевой переменял прежнее свое направление и в хорошем образе мыслей его нельзя более сомневаться, то, на основании вашего мнения, можно бы было дозволить ему беспрепятственно просимое чтение лекций».

В переводе на бытовой: или это ваш человек, и тогда в случае чего — вся ответственность на вас; или это человек не ваш — и тогда не суйтесь; оставьте его мне.

Бенкендорф сдался. И Полевого — сдал. Эта профессия рано или поздно превращается в характер. Будь ты хоть с Кассиопей.

Ноября 20. Бенкендорф — Уварову:

«На отношение Вашего Высокопревосходительства от 15 сего ноября, № 1286, имею честь ответить Вам, милостивый государь, что, по изложенным в оном причинам, и я согласно с Вашим мнением полагаю, что литератору Полевому неудобно позволять читать публичные лекции о российской словесности».

Он сдал Полевого, но не мог себе позволить уступить Уварову.

1841. Января 22. Бенкендорф — Полевому:

«Милостивый государь Николай Алексеевич!

Государь Император, узнав о болезненном положении Вашем и о некоторой степени нужды, в которой Вы находитесь, Всемилостивейше повелеть соизволил немедленно выдать Вам *две тысячи* рублей ассигнациями в единовременное вспомоществование. С особенным удовольствием извещая Вас о столь милостивом к Вам внимании Его императорского Величества и прилагая упомянутые 2 т. рублей, я искренне желаю, чтобы здоровье Ваше восстановилось для продолжения Ваших полезных трудов. С совершенным почтением имею честь быть, Милостивый государь, Ваш покорный слуга

Бенкендорф».

Полевой почему-то необыкновенно обрадовался этим несчастным двум тысячам, хотя они ну уж никак не могли его спасти. Он принял эту подачку за счастливое предзнаменование. Первым делом велел принести дров и развести камин. И сжёг все письма от людей, которые изъявляли ему свою дружбу, а после предали. Прошлое забыто. Жизнь пойдёт опять вверх. Бросить халтуру и подёнщину, написать наконец «Историю Петра Великого» — поймут! оценят! заплатят! Ничем не заниматься, кроме этого труда, только в самых необходимых размерах подёнщиной и халтурой — ради уплаты процентов по долгам, и чтобы оставалось на еду и одежду, и на дачу под Ораниенбаумом для младших, и чтобы платить за старших в Петершulle; продержаться, короче, ещё пару лет, — потом станет легче.

Узнав, что Белинский переменял отношение к действительности, Боткин написал ему: давно бы так; и, кстати: если ты сам сознаёшь, что многие высказанные тобою мнения были несправедливы, — как насчет Н. А.? он, кажется, не сделал тебе ничего особенно худого; защищал какие-то ложные идеи — а разве ты не защищал? Кое в чём ты против него — как в случае с «Гамлетом» — чисто конкретно не прав; короче — не пора ли переменить гнев на милость?

Ответ Белинского ужасен.

У самого Шекспира вы не найдёте монолога, в котором ненависть была бы выражена сильней. Ни у Марата. Никто никогда никого не ненавидел так.

— Если бы я мог раздавить моею ногою Полевого, как гадину, — я не сделал бы этого только потому, что не захотел бы запачкать подошвы моего сапога. Это мерзавец, подлец первой степени: он друг Булгарина, protégé Греча (слышишь ли, не покровитель, а protégé Греча!), приятель Кукольника; бессовестный плут, завистник, низкопоклонник, дюжинный писака, покровитель посредственности, враг всего живого, талантливое. Знаю, что когда-то он имел значение, уважаю его за прежнее, но теперь — что он делает теперь? — пишет наыворот по-телеграфски, проповедует ту расейскую действительность, которую так энергически некогда преследовал, которой нанёс первые сильные удары. Я могу простить ему отсутствие эстетического чувства (которое не всем же даётся), могу простить искажение «Гамлета», «ведь-с Ромео-то и Юлия из слабых произведений Шекспира», грубое непонимание Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Марлинского (идола петербургских чиновников и образованных лакеев), глупое благоговение к риторической музе Державина и пр. и пр.; но для меня уже смешно, жалко и позорно видеть его фарисейско-патриотические, предательские драмы народные («Иголкина» и т. п.), его пошлые комедии и прочую сценическую дрянь, цену, которую он даёт вниманию и вызову ерыжной публики Александр-ы-нского театра, составленной из офицеров и чиновников; но положим, что и это можно извинить отсталостию, старостию, слабостию

преклонных лет и пр.; но его дружба с подлецами, доносчиками, фискалами, площадными писаками, от которых гибнет наша литература, страдают истинные таланты и лишено силы всё благородное и честное, — нет, брат, если я встречу с Полевым на том свете — и там отворюсь от него, если только не наплюю ему в рожу. Личных врагов прощу, с Булгариным скорее обнимусь, чем подам ему руку от души. Ты знаешь, имеет ли для меня какое-нибудь значение звание человека, — и только скот попрекнёт тебя купечеством, Кудрявцева и Красова — семинарством, Кирюшу — лакейством, но это потому, что ни в тебе, ни в них нет ни тени того, что составляет гнусную и подлую сущность русского купца, семинариста и лакейского сына; но почему же не клеймить человека его происхождением, когда в нём выразилась вся родовая гадость его происхождения? Нет, я с восторгом, с диким наслаждением читаю стихи:

Вот в порожней бочке винной
Целовальник Полевой,
Беспорточный и бесчинный.
Сталось что с его башкой?
Спесь с корыстью в ней столкнулись,
И от натиска сего
Вверх ногами повернулись
Ум и сердце у него.
Самохвал, завистник жалкий,
Надувало ремеслом,
Битый рюриковской палкой
И санскритским батожьём;
Подл, как раб, раздут, как барин,
Он, чтоб разом кончить речь,
Благороден, как Булгарин,
Бескорыстен так, как Греч.

Да, он подлец, по природе, и только ждал случая, чтобы снять с себя маску; переезд в Петербург был для него этим случаем. Не говори мне больше о нём — не кипяти и без того кипящей крови моей. Говорят, он недавно был болен водяною в голове (от подлых драм) — пусть заведутся черви в его мозгу, и издохнет он в муках — я рад буду... <...> И ты заступаешься за этого человека, ты (о верх наивности!)

думаешь, что я скоро расскажусь в своих нападках на него! Нет, я одного страстно желаю в отношении к нему: чтоб он валялся у меня в ногах, а я каблуком сапога размозжил бы его иссохшую, фарисейскую, жёлтую физиономию. Будь у меня 10 000 рублей денег — я имел бы полную возможность выполнить эту процессию.

Да. Это правда. За десять, не за десять — а за восемьдесят тысяч Полевой, пожалуй, согласился бы подставить своё иссохшее, жёлтое лицо ревдемократу под каблук — чтобы размозжил.

Не хочется досказывать биографию. Передвинем только два флажка. Весной 43 года Полевой известил Бенкендорфа, что дописал и отпечатал в четырёх томах историю Петра. (Ничего особенного, компиляция с тенденцией.) Вот и случай заглянуть в его ежедневник. (Все имена собственные касаются подёнщины и халтуры. Упоминаемые лошади — самые обыкновенные, арендованные; стоят в сарае, во дворе. Семья — на даче. Слово «вино» обозначает, по-видимому, водку.)

Мая 22-го. День прелесть*. Рукопись Суворова. <...> Бенкендорф прислал 5 рублей сер. за экз. «Петра Великого» — я расхотелся! Торжественно прислан был ко мне чиновник взять этот экземпляр, а я уж думал — Бог знает что будет! О!! О!! Но всё это в порядке вещей.

Июня 4-го. Пятница. Письмо к брату. — Сестра с предисловием. — Денег у меня только 5 рублей! Ходил к Лукьяновичу. Он и не догадывается, и — кто догадается? Одно спасение — роман Булгарина! Принялся за него. — Вечером Жернаков о рукописи. — Досмотрел Суворова переписанную XV главу — чертил её без жалости, с досады.

Июня 5-го. Суббота. Писал роман. Едва окончил лист и поскакал к Ольхину — 100 рублей! Есть хлеб — купил овса, вина, чаю, сахару...

Июня 6-го. Воскресенье. Дурная голова, встал поздно. — Лукьянович и Ефимович. — Доделал Суворова. — Вечером Дюмон-Дюрвиль. Соображаю и трепещу!

Июня 7-го. Понедельник. Трём билетам срок уже был 21 марта! Надобно 70 рублей. <...> Данилевский просит

писать о Барклае — нечего делать! Писал до обеда <...> Мыслей ни капли!! Господи! Помилуй!!

Июля 3-го. Суббота. Как безумный, писал роман Булгарина и написал целый лист. <...> После обеда отвёз лист, взял денег, купил овса и вина — без того есть нечего было бы...

И т. д. «Лошади без сена — в доме ни копейки». «Я делаю только глупости». Записи эти — самый настоящий вой.

Как если бы он был собака — какая-нибудь хромая дворняга, — и ему смеха ради обвязали бока кусками сырой волчьей шкуры и пустили по его следу безмозглых борзых и беспощадных гончих.

Но весной 45 года Полевому вдруг выдали эту, памяти Голицына, пенсию, — и авторша истории литературы испугалась: как бы он опять не успокоился; не возымел необоснованных надежд. И решила усилить вариант Зоценко — вариантом Ахматовой.

22 июня Никтополеон, второй сын, двадцатилетний, не вернулся домой из университета. На следующий день нашлась записка: не могу больше жить в этой стране. Не заявить о его исчезновении было нельзя.

Император повелел принять меры к отысканию и вообще страшно оживился. В детстве так часто и больно секли (за тупость и трусость), что теперь, стоило только представить, как розга (или — лучше — шпицрутен) рассекает кожу на чужой обнажённой (лучше не загорелой) спине, — пробирал лёгкий, сладкий озноб. Даже пробуждалось чувство юмора. Как в 27 году, когда какие-то два еврея — наверное, турецкоподданные (в этом анекдоте так много советского, что его можно петь: в эту ночь решили два еврея...) переплыли Прут, и от графа Палена поступил запрос: не расстрелять ли их, чтобы другим неповадно было; Николай начертал на его рапорте: «Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало, и не мне её вводить». Так уютно, когда граница на замке.

Осенью Никтополеон был схвачен в одной из западных губерний, доставлен в Петербург, водворён в каземат Петропавловской крепости.

Когда больше нет силы дыхания, чтобы выть, и если нет силы мышц, чтобы сжать челюсти, вы скулите; не дай, конечно, Бог; очень унижительный глагол. За пять недель до смерти Полевой отправил письмо генерал-лейтенанту Дубельту. В собственные руки.

«Ваше Превосходительство, Милостивый Государы!

Позвольте мне поздравить ваше Превосходительство с новым годом и пожелать Вам всех благ и счастья, коего Вы достойны за всё доброе, чем знаменуется Ваша жизнь, которую да продлит Бог ещё многие годы!

Печально встретил я новый год, растерзанный душевно, больной телесно. Прошедший год был мне страшно тяжёлым годом. Кроме тяжкой скорби, нанесённой мне моим несчастным сыном, на меня, как град, сыпались горести и скорби. Расстройство дел моего брата, где и я сделался снова жертвой, и бесчестный обман человека, за которого я поручился и должен платить, окончательно усилили недостатки мои, и ещё надобно прибавить к тому, что меня обокрали; едва только получил я в прошлом году Высочайшее пособие и думал сберечь его, как из него похищено было у меня до тысячи рублей ассигнациями, и никаких следов похищения не отыскано. Я старался вознаградить всё трудом. Мой обыкновенный урок работы был ежедневно с 4-х часов утра до 3-х пополудни и опять вечером с 8 часов до 11. И хотя, по стеснению моему, должен был я всё отдавать за бесценок, и всё, что выручалось, поглощали мои немоллимые кредиторы, не однажды угрожавшие мне в прошедшем году тюрьмою, но всё ещё мог бы я биться, если бы, наконец, безмерный труд не подавил совершенно расстроенного моего здоровья. От утомления я почти лишился употребления правой руки. Врач мой помог мне; я усилил труд, и теперь припадок возобновился сильнее, так что я едва с трудом двигаю рукою и едва могу, при непрерывном отдыхе, написать сии строки. Все мои занятия тем разрушаются, хотя и мог бы я ещё собрать сил души на труд честный и полезный. В прошедшем году, кроме книги: “Русские полководцы”, за которую издатель её удостоился щедрой награды Государя Императора, деятельно участвовал я в труде Ал. Ив. Данилевского. Составленная

мною, кроме многих других, биография незабвенного героя, генерала Дохтурова, имела счастье заслужить внимание Ваше. Чувства души моей изложил я в трагедии “Ермак Тимофеевич” и на днях буду иметь честь доставить Вам моё сочинение: “Столетие России, с 1745 до 1845 года”, которое, смею надеяться, заслужит одобрение Ваше. Но все благие начинания мои гибнут теперь среди тяжкой болезни и угнетающей скорби...

Только чувство христианина может еще поддерживать меня. “Молись и трудись!” таков девиз, выбранный мною, но крайность, в какой нахожусь я, заставляет меня беспокоить Ваше Превосходительство. Вручая мне в прошедшем году, *марта 7-го*, Высочайше пожалованное денежное пособие, состоявшее из *тысячи* рублей серебром, Вы позволили мне надеяться, что в уважение памяти благодетеля моего, князя Александра Николаевича, при безграничном великодушии Монаршем, я могу удостоиться его и в нынешнем году. И хотя до годового срока остаётся ещё несколько недель, я осмеливаюсь покорнейше просить Ваше Превосходительство удостоить меня Вашим ходатайством у Его Сиятельства, графа Алексея Григорьевича *<исправлено карандашом: Фёдоровича>* о возобновлении мне ныне Высочайшего пособия на сей год. Если есть на то воля милосердного Монарха, Ему ли считать время срока милостям! Щедроте Царской нет пределов, а я лишён теперь всякой возможности работать, страдая жестокою болью правой руки моей, и тем более, что, по словам почтенного врача моего, если я не дам ей некоторого отдыха, то могу вовсе лишиться употребления ея...

Да будет воля Божия! Может быть, и всего вероятнее, что мне остаётся жить недолго. Остаток жизни моей посвящён Царю и Отечеству, пока дышу. Умирая, буду молиться за них!

С глубочайшим почтением и совершенною преданностью честь имею пребыть Вашего Превосходительства, Милостивого Государя, покорнейший слуга

Николай Полевой».

Эту несчастную тысячу он так и не получил. Формально всё правильно: не дожидаясь дня выплаты — пеняй на себя. Фактически — царь её зажал. Но зато выпустил Никтополеона из крепости. Как только Николай Алексеевич перестал дышать, в самый тот день.

Надеюсь, Полевой рассчитывал на это. На то, что его смерть заметят и сына по такому случаю пожалеют, простят*.

И сделал всё, чтобы её заметили. Сочинил и поставил свою последнюю пьесу. Сыграл в ней эту унижительную и жуткую роль.

Чтобы, значит, Дубельт смахнул слезу и полетел с трогательным докладом, — а Белинскому стало наконец стыдно. За всё — и особенно за ту статейку про «Очерки русской литературы», где он написал самое обидное: «что не всякий — великий человек, кто только показывается публике с небритою бородою и в халате нараспашку и говорит с нею запросто, как свой со своим, и что гением сознавал себя не один Гёте, но и Александр Петрович Сумароков...»

И я попал в конце посылки! — собирался я воскликнуть сразу после этой цитаты. Но я ещё не попал.

Много лет я думал — как, должно быть, и сам Н. А.: Белинский приплёл этот халат и бороду, чтобы сказать: нашёл чем хвастать — что принадлежишь к сословию неопрятному и необразованному, — это и так видно; какой ты литератор? самоучка с непомерным самомнением; ступай в лакейскую, хамлет, удивляй своих.

А это не совсем так. Скорее наоборот. Всё это сказано — чтобы приплести бороду и халат. Как раскавыченную цитату. Из текста, Полевому очень и очень известного, думал Белинский.

Но Полевой явно не узнал её. Эту цитату. Представить себе, что узнал — и всё-таки сделал с нею то, что он сделал, — просто невозможно. Не хотелось же ему выглядеть в гробу — смешным. Слишком серьёзно к себе относился. Хотелось — как Лир. Как Тимон Афинский. А не как шут. (Всё равно это немножко смешно — вообще: что хотелось выглядеть.)

А значит, Полевой действительно (а я и не сомневался) не только не сочинял, но и не читал, и не видел на сцене тот водевиль, «Семейный суд». Про Глупинского, который — Белинский.

Там есть такой разговор: приятель Глупинского втолковывает каким-то двум дамам, что Глупинский — человек выдающегося ума. Одна из дам выражает сомнение: а мне он показался при знакомстве личностью вполне заурядной.

Писаревский. Вы были у него по делам?

Крапивина. Для чего же другого?

Писаревский. Это было поутру?

Крапивина. Да.

Писаревский. Бьюсь об заклад, что он был в халате.

Крапивина. Не все ли равно?

Писаревский. Большая разница, когда он одет, в очках; больше уверенности, смелости, красноречия... ну прелесть да и только (Обе женщины смеются). Я не знаю, чему вы смеётесь. Да я сам, ваш покорнейший слуга, когда я в халате, с небритой бородой, ей-богу, дурак дураком. А! да вот и сам Виссарион Григорьевич. Помяни солнце, и лучи видны.

Смотрите: какая выходит ерунда. Белинский вставил в свою статью полфразы из водевиля. Ошибочно предполагая, что автор водевиля — Полевой. И желая, во-первых, дать ему понять: я всё знаю! знаю теперь, какова ваша дружба, старый лицемер! понимаю всю вашу игру; не удивляйтесь же, если с вами обходятся, как вы заслуживаете. А во-вторых — обругать. Типа: вы же помните, как там дальше, — чем кончается эта фраза; кому и помнить, если не вам; так вот, примите на свой счёт; приятного аппетита!

А Полевой не понял, что ему опять, как на крыловском юбилее, громко сказали подлеца. И дурака в придачу*. Почувствовал только, что задета, причём умышленно, его гордость. Сословная. И литературная.

И развёл на собственных похоронах весь этот романтический театр.

Дескать — да; угадали; я действительно имел эти мысли — вот которыми вы так зло дразнили меня; страдал этим сомнением: что будто бы я был не совсем обыкновенный человек; что будто бы и писатель был не из тех, которых сразу забывают. Вы травили меня — и затравили. Довольны?

(Всё ещё не попал.)

И — да, я пока единственный в России большой писатель, принадлежащий к якобы необразованному, якобы неопрятному третьему сословию, к среднему классу. И не протираюсь в дворяне; фамилию в анкете не подчищаю, как вы. В глазах публики шутовской средневековый наряд не унижит меня. Да, страна знает меня и любит, потому что я кое-что сделал для неё прежде чем был растоптан. Теперь довольны?*

Вот теперь попал**.

Но только это не сюжет, а сплошное недоразумение. С романтиками так всегда. Шли за Гофманом, попали к Гоголю. Чьи сюжеты якобы, по мнению некоторых (и среди них Н. А. Полевого), слишком просты.

О, эта копоть самолюбий!

Куда уж проще. Как, действительно, бывает скучно на этом свете. А значит, и на том.

В литературе же всё зависит от того, где поставить точку. Лишняя строфа — и Онегин убит. На следующее утро. Князем Н. На дуэли. (Без вариантов: арест, заключение в крепости и т. д. требуют совсем другого темпа. Рецепты романа «Что делать?» и драмы «Живой труп» — генералу Н. не предлагать; а заслуживает ли Онегин смертной казни — спрашивайте у Дантеса.) Но этой строфы нет — и мало ли чем там у них всё кончилось.

Пушкин, например, тоже вроде бы непременно должен был погибнуть в 26 году, в сентябре. Числа 9-го или 10-го. Поскольку 8-го, после высочайшей аудиенции, прямо из Чудова дворца поехал к Соболевскому — просить его передать вызов графу Фёдору Толстому. Граф стрелял не хуже Сильвио. Но если бы и промахнулся — предположим, с похмела, —

а Пушкин, благодаря ежедневным тренировкам в Михайловском, попал, — всё равно, осеннего солнца над Болдино не увидел бы он никогда. Дуэль на следующий день после амнистии. Лучше даже не думать, что сделал бы с ним Николай.

А не драться было нельзя. Толстой написал на Пушкина одну из тех эпиграмм, после которых не живут. Из десяти тысяч русских эпиграмм — самую невыносимую. Буквально кровь закипает в жилах.

Сатиры нравственной язвительное жало
С пасквильной клеветой не сходствует нимало.
В восторге подлых чувств ты, Чушкин, то забыл.
Презренным чту тебя, ничтожным сколько чтил.
Примером ты рази, а не стихом пороки
И вспомни, милый друг, что у тебя есть щёки.

Это за то, что Пушкин в 24 году печатно, в «Сыне отечества» (и в рукописной эпиграмме, но та не в счёт) — обозвал его картёжным вором:

...в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, загладил свой позор:
Отвыкнул от вина и стал картёжный вор...

Он обозвал Американца картёжным вором не за то, что он был картёжный вор (хотя и был); кто-то из общих петербургских знакомых написал в Кишинев: будто бы Толстой рассказывает, что Пушкина перед высылкой высекли; в канцелярии генерал-губернатора или где.

Короче: при первой возможности — к барьеру!

И что же? Всё уладилось: в тот день оказалось, что Толстого нет в городе, уехал куда-то. Потом стало не до него, жизнь Пушкина так круто и счастливо переменялась, столько новых впечатлений, планов, надежд. А месяца через два встретились у того же Соболевского; большая компания, все вполпьяна. Выпили ещё, сели играть — под утро расстались, как прежде, лучшими друзьями.

А иначе как бы сватовство Пушкина удалось? Кто из других знакомых взялся бы поговорить о нём с мамашей Гончаровой? Кого другого и она выслушала бы с благосклонным интересом? Безумные доверяют безумным.

Я же говорю — только о том и толкую: авторша истории литературы работает не хуже вязальной машины. Рифмуя петлю с петлёй.

Стихотворение «Чаадаеву» — вот в котором Толстой-Американец отделан так яростно — «отвыкнул от вина и стал картёжный вор», — в печати датировано 20 апреля 21 года. А в рукописи стоит — 6 апреля!

Вы поняли? Как экономно расходуются нитки. Энергия смертельной ссоры будет использована в мирных целях. Пригодится и дата — через девять лет. Во что бы то ни стало Пушкин должен дописать ПСС. Остальные свободны.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр.7. «Я в Болдине завёл горшок из-под каши и сам его полоскал с мылом, не посылать же в Нижний за этрусской вазой».

Стр. 30. * Судя по всему, советская наука о Пушкине и советская наука о Лермонтове заключили тайное соглашение: не принимать формулу «наперсники разврата» всерьёз, не понимать буквально, никогда не комментировать; считать замысловатым ругательством — типа «акулы бизнеса» или «разбойники пера». Её настоящий смысл, некоторым современникам (например, Николаю I) очевидный, лет через сто оказался полностью утрачен, к большой выгоде для СНОП.

** Николай Полевой тоже женился на семнадцатилетней. И Салтыков.

Стр. 53. * М. Н. мне написал:

«Судороги старухи СНОП. Возможно, ты не видел — а если и видел, так не читал — первый номер “Литературы”-2010.

Полосная статья: “Для развлечения, для мечты, для сердца...”
Подзаголовок: “1 (14) января 1830 года в Петербурге вышел в свет первый номер «Литературной газеты»”.

Автор: Наталья Михайлова, академик Российской академии образования, заместитель директора Государственного музея А. С. Пушкина по научной работе.

Привожу отрывок:

“Послание “К К. Н. Б. Ю***” запечатлело образ с детства знакомого Пушкину просвещённого вельможи екатерининского времени князя Николая Борисовича Юсупова, гостеприимного хозяина подмосковного имения Архангельское... Откликом на это послание, напечатанное в “Литературной газете”, явился безобразный фельетон Н. А. Полевого — “Утро в кабинете знатного барина”, опубликованный в сатирическом приложении к журналу “Московский телеграф” “Новый живописец”: Пушкин был представлен стихотворцем Подлецовым, пресмыкающимся перед вельможей Беззубовым...”

И стихотворца Подлецова введут в научный оборот...»

** М. С. написала мне:

«К сожалению (так как это сильно осложняет Вам задачу), если придерживаться словарного значения

слова “пасквиль”, — то это пасквиль. На Пушкина точно, — на Юсупова, возможно, и сатира. В сатиру некое лицо может быть подставлено, так сказать, по принципу художественного обобщения. Но Вы сами же сами разъяснили читателю, что личность Пушкина задевается совершенно конкретно, так как послание передано близко к тексту. А значит, налицо и оскорбление, и клевета: “не даром у меня обедал”; “скажи, что по четвергам я приглашаю его всегда обедать. Только не слишком вежливо обходись с ним; ведь эти люди забывчивы”.

Он, значит, получил несправедливо, но заслуженно, и от этого бывает самая страшная, несмыслимая обида».

- Стр. 68. Дописав трактат, я перечитал роман Губера: ничего общего. Действие происходит в Париже. И совершенно непонятно, зачем было автора убивать. Насчёт переплёта я тоже ошибся — переплёт обыкновенный, ледериновый, чёрно-бурый.
- Стр. 69. «Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Редакция, вступительная статья и комментарий Вл. Орлова». На с. 500 есть такая фраза: «Журнальные отношения Полевого и О. И. Сенковского выясняются нами в другой работе — “Конец Николая Полевого” (гот. к печ.)...»
- Стр. 75. Должно быть, в ту самую палату, где незадолго перед тем умер Антиох — герой повести Н. Полевого «Блаженство безумия». Сюда же доставят и Голядкина — но ещё не скоро.
- Стр. 83. В последние годы т. н советской власти предпринята попытка втихомолку перетащить этот текст в собрание сочинений Дельвига — с примечанием таким: «Предполагается участие Пушкина; ...вопрос о его авторстве, однако, дискуссионен».
- Стр. 85. И зря: Полевой сам нарывался, — и вообще: А. С., как и предсказал Н. В., был и остаётся типичным представителем недалёкого уже, прекрасного 2032 года.

Стр. 117. Во Франции кодовое название этой штуки было — *carot d'anglaise*.

Стр. 122. Это из предисловия к роману «Клятва при Гробе Господнем». Разговор с воображаемым предубеждённым читателем. Которому про сочинителя насказали ужасов (как, если помните, Уваров — профессору Никитенко: Н. А. П. систематически распространяет разрушительные правила, Н. А. П. не любит России). Вот он, воображаемый, и наседает, будучи, значит, предубеждён:

— Не только слышал, но и читал я неоднократно, что вы не знаете Руси, что вы не любите Руси, что вы терпеть не можете ничего русского, что вы не понимаете, или не хотите понимать — даже любви к Отечеству и называете её — квасным патриотизмом!

Ну и получает симметричный ответ. За который так легко поднять сочинителя на смех. Если не знать (или нарочно как бы забыть), что Полевой не о литературной славе говорит (какая слава? это же его первый роман), а о своей роли журналиста, о проводимых им идеях. Тут же изложенных. Это предисловие — вообще очень серьёзный программный документ, написанный с большой отвагой.

Но литература запомнила и подхватила только дерзкую фразу об интимных (и, выходит, чуть ли не равноправных) отношениях писателя со страной.

У Пушкина её повторяет глупец:

Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,

И назовёт меня всяк сущий в ней язык...

Гоголь, наоборот, накручивает пафос, не обращая внимания на сопутствующий эффект:

«Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем всё, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи...»

Фома Опискин (в лице которого Достоевский разбирается, по-видимому, не с одним Гоголем, а со всей русской литературой, какая она была, когда ему пришлось её надолго покинуть), Фома Опискин, говорю, произнося в «Селе Степанчикове» саркастический монолог о положительном герое в сочинениях про народ, предназначенных для народа же, — умудряется вышутить подряд и пару статей Белинского, и новеллу Полевого («Мешок с золотом»;

на сюжет, недавно — в 1855 г. — опрокинутый стихотворением Некрасова «Извозчик»), — и как бы мимоходом роняет:

— Я знаю Русь, и Русь меня знает: потому и говорю это.
Выше всех взял эту ноту Александр Блок:

О Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен и т. д.

А последним, кто сказал, что это смешно, был Зоценко.

Стр. 124. Очень даже понятно: обо всем договорился (да и за всё, думаю, заплатил) адмирал Рикорд. Был у Н. А. П. такой фанат и почти что друг. Двадцатью годами старше. Когда-то, командуя эскадрой, прославился блокадой Дарданелл, а теперь начальствовал флотскими дивизиями в Кронштадте.

Любил литературу.

О Полевом говорил (и, кажется, кому-то написал): нашей братья — генералов, адмиралов — государь может надевать хоть дюжину одним росчерком пера; а такие люди, как Николай Алексеевич, рождаются раз в сто лет!

И установил на могиле Полевого колонну из того самого порфира, которым отделано надгробие Наполеона Бонапарта.

Стр. 126. М. С. пишет:

«Про “Гамлета” тут допущена одна ошибка. Но прежде всего — кажется странным, что сказано, как в 3-х русских переводах, но не сказано, что стоит в оригинале (англ. *silence* — и “тишина”, и “молчание”, да еще и “забвение” в придачу). А ошибка в том, что Полевой ничего не “присочинял”, как Вы пишете, он просто перетасовал монолог: взял то, что Гамлет говорит чуть раньше, и поставил в конец. “Шекспир” ведь это что, — это драма, часто сшитая наспех, так что иногда концы не сходятся с концами, плюс интермедии с сальными остроумиями (возможно, внесённые какой-то другой рукой), плюс накинутый на драму, и не всегда даже по делу, фантастический стих, — словом, “пьяный дикарь”. Здесь как раз одно из таких мест. Гамлет говорит: дыши в этом мире, хоть и поневоле (перевод по смыслу; идиоматически же: “дыши с трудом” — *breathe with pain*; а если буквально — “*rain*” это боль), чтобы узнали обо мне правду. Собственно, вывернутый наизнанку 66-й сонет.

Полевой не собирался становиться мучеником английского полисемантизма, его интересовала драма. Последнюю фразу — “Silence is the rest” — он, тут Вы правы, просто выбросил, считая её, вполне возможно, обычной декламацией.

Стр. 127. Хотя в своё-то время он был журналист № 1, историк — после Карамзина № 2, прозаик — по счёту тогдашнего Белинского, тоже чуть не № 2 (после Гоголя), а по рейтингу известности — после Булгарина, Марлинского, Загоскина — едва ли, значит, не № 4.

Но, конечно, в первом ряду шли только трое: Пушкин, Крылов, Жуковский.

В хрестоматии Галахова у Н. А. П. — чистое седьмое место.

Стр. 132. Как если бы там, в созвездии Гончих Псов (кстати, давно расформированном) он уже читал похожую статью — «Интеллигенция и революция», автор — Александр Блок.

Стр. 168. Так и называется — «Живописец». Неплохая, в самом деле, повесть. Гоголь, несомненно, кое-что оттуда припоминал, сочиняя свой «Портрет». Кстати, вот странность: в этой вещи Полевой — непонятно, как ему удалось — почти точно предугадал судьбу Александра Иванова и сюжет его знаменитой последней картины.

Стр. 172. См. прим. к стр. 30.

Стр. 185. «Аббадонну» Полевой так никогда и не окончил. Это был первый русский роман из жизни западной буржуазии. А также первый русский театральный роман (и страницы о театре до сих пор живы). Действие происходит в тогдашней Германии. Главная сюжетная коллизия и характер одной из героинь (тем и другим — коллизией и характером — воспользовался через 30 лет автор «Идиота») — воспроизводят (в зашифрованном виде, как у Брюсова в «Огненном ангеле») условия мучительной задачи, которую Полевой решал много лет: что будет с *ней* без него? как будет без *неё* он?

Вот два отрывка. Первый:

«— Элеонора! Ты моя Элеонора!..

— Нет! ты не мой, ты не можешь быть моим, ты презираешь меня, ты забываешься на минуту; ты ищешь обмана чувств, двумя словами я разрушу твоё очарование...

— Ну что же?

Она вскочила и в исступлении воскликнула:

— Поди ко мне, обними, прижми к своему сердцу развратную актрису, любовницу старика, поди, забудь с ней свою Генриэтту! — Она протянула к нему руки и засмеялась дико и безумно».

Второй отрывок:

«— Если любовью называть то тёплое, тихое, иногда возвышающее от земли, но всего более дающее счастья на земле чувство, которое знавал я прежде, — я не люблю более никого. Чувство к тебе, Элеонора, — прости меня — не такая любовь, и эта любовь для меня недостижима, неизъяснима. Предпиши мне какие хочешь жертвы — я исполню их, Элеонора; потребуй от меня жизни моей — я отдам её тебе!

— И будешь несчастлив со мною и с моею любовью?

Он помолчал несколько мгновений.

— Счастья нет на земле! — промолвил он тихо.

— Возвратись же к твоей прежней, тихой любви, но будь только счастлив, милый Вильгельм!

— Прошедшее невозвратно, и я не хотел бы возвращать его, если бы и умел, если бы был всемогущ вернуть его. Не знаю, не в этой ли вечной борьбе между недостижимым и стремящимся к достижению его заключена вся жизнь человека, который осмеливается отказаться от прошлой будничной жизни...»

Хорошего решения не было; попытка благополучного эпилога оказалась неудачной. (Белинский высмеял её — и опять был прав.)

Стр. 209. В том же 26-м Булгарин был завербован — и по высочайшему повелению переименован из французских капитанов в коллежские ассессоры (т. е. сделался наконец заправским русским дворянином). Первое время он работал под прикрытием: Бенкендорф предложил министру просвещения оформить его чиновником по особым поручениям; когда Блудова назначили зам. министра, он, очевидно, заглянул в выплатную ведомость и осведомился у министра насчёт булгаринских функций и рабочего графика; Булгарин засветился; и был окончательно спалён текстами Пушкина о Видоке. После 30 года в нём уже никто из литераторов не сомневался; но Полевой, по близорукому своему (Белинский прав)

прекраснодушию, склонен был считать, что и сексоту ничто человеческое не чуждо.

Стр. 211. «Блаженство безумия» — культовое лит. произведение 1830-х годов. Опять же, первое в России про *настоящую любовь*. Осмеянную в пародийных стихах Владимира Ленского. Не по Бедной же Лизе прикажете влюбляться, не по Барышне же крестьянке — подрастающим детям его бывшей невесты, а также их двоюродным — юным княжнам и князьям Н. (будем исходить из предположения, что Онегин не застрелил их наиболее вероятного отца). «Капитанская дочка» — вообще из жизни прабабушек и прадедушек. А инструкции современного (критического) реализма по технике секса («...И разгораешься потом всё боле, боле — И делишь наконец мой пламень поневоле») совершенно не разъясняли: о чем говорить (и, главное, что про себя думать) — до. Да и после.

А это такая повесть, что сам Гофман не написал ничего более гофманического. Подражали-то Гофману все: Гоголь — в «Невском проспекте», в «Носе», в «Старосветских помещиках», Пушкин — в «Пиковой даме», — понемножку скармливая здешней Действительности гротеск и мистику, — но Николай Полевой попытался навязать ей идеал. Схема простая, неотразимо логичная: настоящая любовь — это встреча родственных, предназначенных друг дружке душ, составлявших когда-то и где-то (на небесной родине, в вечности) — одну, ведь так? Все согласны?

Да, такая встреча может никогда не состояться: вероятность близка к нулю; слишком много людей, слишком много соблазнов и нелепых препятствий (одни сословные предрассудки чего стоят!), — слишком долго ждать.

Но если такие две половинки одной души всё-таки встретились, нашли друг дружку здесь, на земле (*его* зовут, допустим, Антиох, он служит в одном из петербургских департаментов; а *она* — самодеятельная артистка, дочь иностранного шарлатана, Адельгейда), — что им делать, как вы думаете? Неужели проблема только в том, чтобы одна половинка нашла в себе силы перепрыгнуть социальную пропасть, после чего увлекла бы другую, например, в шалаш (где она будет постепенно разгораться всё боле, боле)?

Какая пошлость, говорит (точнее, восклицает) Николай Полевой. Всё главное с ними обоими уже случилось:

они не только повстречались, но и сумели опознать друг дружку. С этой минуты окружающая (мнимая, вообще-то) реальность теряет для них всякий смысл (соответственно люди этой окружающей реальности воспринимают их как психбольных); всё, что им теперь нужно, — это никогда не расставаться; разлучить их — и то, конечно, на время — может только смерть. А поскольку организм не предназначен для таких нагрузок, как испытываемое ими счастье, то смерть неизбежно и наступает: один (одна) умирает оттого, что сердце не выдерживает *его* присутствия, другой — следом — оттого, что *её* не стало. Абсолютно неизбежный, единственно возможный, единственный не пошлый финал.

Смейтесь, смейтесь. А по этой модели строили свою судьбу (и подвергались последствиям) живые люди. Загляните в переписку Герцена с Н. А. Захарьиной; в историю этой любви, расцветшей на бумаге.

Он — ей в сентябре 36-го из Вятки:

«...Я знаю твою душу: она выше земной любви, а любовь небесная, святая не требует никаких условий внешних. Знаешь ли ты, что я доселе не могу думать, не отвернувшись от мысли о браке. Ты моя жена! Что за унижение: моя святая, мой идеал, моя небесная, существо, слитое со мною симпатией неба, этот ангел — моя жена; да в этих словах насмешка. Ты будто для меня женщина, будто моя любовь, твоя любовь имеет какую-нибудь земную цель. О боже, я преступником считал бы себя, я был бы недостойн твоей любви, ежели б думал иначе. Теснее мы друг другу принадлежать не можем, ибо наши души слились, ты живёшь во мне, ты — я. Но ты будешь моей, и я этого отнюдь не принимаю за особое счастье, это жертва гражданскому обществу, это официальное признание, что ты моя, — более ничего. Упиваться твоим взглядом, перелить всю душу, <не> говоря ни слова, одним пожатием руки, поцелуй, которым я передам тебе душу и выпью твою, — чего же более?..

<...> Ничего более теперь не напишу, прощай, моё другое я; нет, не другое я, а то же самое. Мы врозь не составляем я, а только вместе. Прощай, свет моей жизни...

Ежели ты не читала “Мечты и жизнь” Полевого, то попроси, чтобы Егор Ив<анович> достал их тебе; там три повести: “Блаженство безумия”, “Эмма” и “Живописец”, и все три хороши, очень хороши...»

Она — ему из Москвы в марте 37-го:

«Читая “Живописца” Полевого, мне вдруг представился ты, с твоей необъятной душою, недосыгаемой любовью, ты поэт, художник в душе, более, чем Аркадий, выше, непостижимее его, и я — Веринька!.. Да, Аркадий увлёкся мечтою, он думал, что душа её родная его, и любил, и как любил!

...Когда он сказал это убийственное “она не понимает!” — зануло, сжалось моё сердце, так страшно стало за тебя, так страшно, — я задрожала, оставила книгу и так рада, рада была, что полились слёзы. О, если б я несчастьем моим, моим вечным страданьем, непрерывною смертью могла бы принести тебе благо, тогда б я знала, что я что-нибудь есть для тебя, *сделала* для тебя, а то ни одной жертвы, ни одной раны за любовь к тебе!»

Он — ей в ответ:

«Зачем же тебе пришла в голову такая нелепая мысль, когда ты читала “Живописец”? Ты Веренька. Ха-ха-ха, это из рук вон. Ты, перед душою которой я повергался во прах, молился, — ты сравниваешь себя с обыкновенной девочкой. Нет, тот, кто избрал так друга *<друг — естественно, Огарёв>*, не ошибся и в выборе Её... Как будто я вас сам избрал. Не Господь ли привёл вас ко мне и меня к вам? Прощай. Светло на душе!»

Он же — ей же:

«...А ты сравнивала себя с Веренькой Полевого — и через несколько дней сердилась на меня, что я сказал, что ты прибавила мне чистоты твоей небесной фантазии. Будто ты не знаешь, как сходны, созвучны наши думы. Я знаю, что ты меня любишь со всеми недостатками, словом, так, как я есть, — так любит Огарев меня, и, признаюсь, я не могу полной дружбой платить тем, которые любят мои таланты, а не меня самого; чтоб любить достоинство, на это еще нет нужды быть другом, на это надобно одно только уменье оценить. Но при всём том, ты не можешь знать многих недостатков и пороков во мне и, сверх того, как естественно тому, что мы любим, придать ещё и еще достоинство. Я себя, напр*<имер>*, никогда не сравнивал с Phœbus de Chateaupers (в “Notre Dame de Paris”), а ты не боялась унижить себя до Вереньки. Кто прав, mademoiselle?? Верь же, верь, мой ангел, что мой выбор, т. е. выбор провидения, был не ошибочен; ты — всё, что требовала моя душа, всё и ещё более, нежели я требовал...»

Он же — ей же в январе 38-го из Владимира:

«...Наташа, милая Наташа! Как полна и как изящна наша жизнь! Кому нам позавидовать? — Да, мы много страдали, *много* будем страдать, а как награждены. Нельзя в иную минуту не изнемочь, иногда невольно ропот сорвётся с уст; но когда я начну повторять (не памятью, а душою) свою жизнь... нет, подобной я не знаю. Я создал Наталию, да, я принимаю долю создания, я велик. Но и ты, Наталия, создала долю Александра — ты велика. Часто приходит мне в голову твоё замечание, как всё, что пишут о любви, далеко от нашей любви, *не платонической*, а христианской, исполненной молитвы и религии. Иногда касаются *нашей* любви, помнишь Антиоха у Полевого, есть и у Шиллера — но уж всегда под гнётом громовой тучи — а может, и над нами туча. И казнь из Твоих рук приму, целуя её...»

Она — ему в январе 38-го:

«Всё охотно читаю я, всё хорошее, как скоро о любви — мимо, мимо. Редко мелькнёт черта нашей любви, вот Антиох, живописец, блаженство безумия...»

Вот и у Блока с Менделеевой...

Стр. 235. Куда все подевались? В истории прописан из всех один: Сергей, сын дочери Н. А. — Екатерины, в замужестве — Дегаевой. Сергей Дегаев (1857–1921) — тот самый, член исполкома «Народной воли», агент жандармского полковника Судейкина, его сообщник (запутавшись, кто из них чей агент, они оба, кажется, сошли с ума: собирались ликвидировать и рев. подполье, и авг. фамилию, чтобы править империей вдвоём), его убийца. В 1884 году смылся в Южную Америку, в 1900-х перебрался в САСШ. Окончил (приняв имя: Александер Пэлл) университет штата Южная Дакота, стал профессором и деканом математического факультета. Там его небось помнят. Небось и портрет в актовом зале висит.

Стр. 240. На латыни-то поле — саприс, а сапро — по-итальянски. Но дело в том, что один редактор газеты (из старых большевиков) — якобы сказал одному юному рабкору из школьников (году так в 1925-м, в городе Твери):
«— Ну что ж, писать можешь. Получается. Чаще пиши. Но это самое гм... гм... Это брось. “Рыночная площадь утопает в весенней грязи. Б. Овод”... Чушь... А как фа-

милия? Кампов? Это что же за фамилия? Латинская какая-то. Не попович, случайно?

— Отец был юрист, дед учитель, а прадед действительно поп.

— Гм... гм... Ясно. Это раньше по окончании семинарий кандидатам на поповские должности семинарское начальство всякие заковыристые фамилии придумывало. Была даже фамилия Поморюякопосухуходящинский... В питерских газетах писали. Я сам фельетон на эту тему набирал. Гм... гм... Кампо, кажется, по-латински поле. Вот что, подписывайся-ка ты, друг мой милый, — Полевой. А? Как? Полевой! Чем плохо!

Я смотрел на этого первого в моей жизни редактора, у которого была голова английского лорда из какой-то кинокартины и большие, тяжёлые руки рабочего, смотрел, млея от страха и что-то невнятно мямлил.

— Договорились? Ступай в отдел информации, там подкажут тему».

(Советские писатели. Автобиографии. В двух томах.)

Стр. 243. Всего-то навсего! А если бы сдуру — в смятении и слезах — припал? Страшно и подумать.

А ведь это бывает, у некоторых: непреодолимая потребность припасть к поверхности сочинителя полюбившихся произведений.

Не покидая пределов школьной программы, припомним два случая.

1815 год, 8 января, часов десять утра, вестибюль (сени) Царскосельского Лицея, юный (шестнадцатилетний) Дельвиг, старик (семьдесят один стукнуло) Державин, «поцеловать руку, написавшую “Водопад”»: — А где, братец, здесь нужник?

Эта история настолько хороша, что трудно поверить, что Пушкин не выдумал её.

Зато другая выглядит удивительной, как сама правда.

1880 год, 7 июня, вечер, самый центр Москвы, Большая Дмитровка, угол Охотного ряда. В Доме Союзов (в Благородном, по-старому, собрании) окончен т. н. литературный обед (на 200 персон, между прочим), и Достоевскому пора в гостиницу.

«Когда же в ½ 10-го я поднялся домой (еще 2 трети гостей оставалось), то прокричали мне ура, в котором должны были участвовать поневоле и несочувствующие. Затем

вся эта толпа бросилась со мной по лестнице и без платьев, без шляп вышли за мной на улицу и усадили меня на извозчика. И вдруг бросились целовать мне руки — и не один, а десятки людей, и не молодёжь лишь, а седые старики. Нет, у Тургенева лишь клакеры, а у моих истинный энтузиазм».

Ещё бы не истинный. Хотя и не без алкоголя. Девиз обеда был: Подыдем стаканы, содвинем их разом и т. д. (см. отпечатанное меню). И накануне съели такой же, перед тем потолпившись вокруг новообретённой статуи Пушкина. Любовь к литературе бурлила в культурных сердцах и рвалась наружу. Утром, действительно, показалось было, что вся она достанется Тургеневу: так долго ему хлопали, кричали «браво!» и «спасибо!» и преподносили венки.

— Ещё бы, Тургенев! Сам! Кто не читал и не перечитывал его романы, кто не страдал вместе с Лизой, Еленой, кто не плакал над умирающим Базаровым... А когда Лиза увидела в монастыре Лаврецкого и прошла мимо него «торопливо-робкой монашеской поступью», кому не хотелось тоже пойти в монастырь!

Но, как видим, ближе к ночи (ну и в отсутствие дам) дали себя знать и братья Карамазовы.

Впрочем, окончательно всё решилось на следующий день, 8-го, в том же здании: настала очередь Достоевского читать о Пушкине речь.

«Зала была как в истерике, когда я закончил, — я не скажу тебе про рёв, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и *клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить*. Порядок заседания нарушился: всё ринулось ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты — всё это обнимало, целовало меня. Все члены нашего общества, бывшие на эстраде, обнимали меня и целовали, все, буквально все плакали от восторга. Вызовы продолжались полчаса, махали платками, вдруг, например, останавливают меня два незнакомые старика: “Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили, вы наш святой, вы наш пророк!”. “Пророк, пророк!” — кричали в толпе. Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. “Вы гений,

вы более чем гений!" — говорили они мне оба. Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя — *есть не просто речь, а историческое событие!* Туча облегла горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, всё рассеяло, всё осветило. С этой поры наступает братство и не будет недоумений. "Да, да!" — закричали все и вновь обнимались, вновь слёзы. Заседание закрылось. Я бросился спастись за кулисы, но туда вломились из зала все, а главное женщины. Целовали мне руки, мучили меня. Прибежали студенты. Один из них, в слезах, упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств. Полная, полнейшая победа!»

Да-с, не ваша, не ваша взяла, господа! Померкло парижское-то светило! Вот что бывает: сознания лишается молодежь от счастья увидеть кое-кого вблизи. (В анналах, представьте, сохранилась фамилия слабонервного: Паприц, а также инициалы: К. Э. Кстати — не студент. Чуть ли тоже не литератор.) В сущности, это даже круче целования рук, не говоря уже — в плечо. Хотя — как сказать: оттенки ощущений зависят от подробностей.

«Не курсистки только, а и все, обступив меня, схватили меня за руки и, крепко держа их, чтобы я не сопротивлялся, принялись целовать мне руки. Все плакали, даже немножко Тургенев».

До чего трогательная мизансцена. И ни слова про нужник? Ну нет, погодите. Дайте и Салтыкову сказать:

«По-видимому, умный Тургенев и безумный Достоевский сумели похитить у Пушкина праздник в свою пользу, и медная статуя, я полагаю, с удивлением зрит, как в соседстве с её пьедесталом возникли два суднышка, на которых сидят два человека из публики. Достоевский всех проходящих спрашивает: а видели вы, как они целовали у меня руки. И, по свидетельству Тургенева, будто бы прибавляет: а если б они знали, что я этими руками перед тем делал!»

Кода. Пушкин хохочет, брезгливо разглядывая бесчувственное тело Паприца К. Э.

Сам-то Пушкин посторонних (исключая слабый пол и крепостное крестьянство) к руке не подпускал. Любого отпихнул бы резко. Допускаю, что — ногой.

Кто-то однажды подглядел, как он и Дельвиг — взрослые, грустные, пьяные — целуют руки друг у друга. Наверяд ли Пушкин первый вздумал. А Дельвиг — слишком не посторонний.

Вообще же в первой трети девятнадцатого в этом тонком слое этой узкой среды (последние любители, они же первые профессионалы), желая выразить восхищение каким-либо текстом, обычно целовали автора в голову — т. е. в щёку или в лоб; подшофе попадали, конечно, и в губы. Впоследствии Гоголь эту манеру назовёт: влепить беззашку. Украсит ею Ноздрёва.

Какой-нибудь Погодин читает Пушкину сцены из какой-нибудь своей «Марфы Посадницы»:

«Прочитал ещё 2 действия. Пушкин заплакал: “Я не плакал с тех пор, как сам сочиняю; мои сцены народные ничто перед вашими. Как бы напечатать её”, и целовал, и жал мне руку...»

Стр. 256. Кашинцев была его фамилия; Кашинцев Николай Андреевич; племянник Дубельта, между прочим.

Стр. 293. А зачем Полевой в 32 году, когда вышла третья часть «Стихотворений Александра Пушкина», написал: «Это не прежний задумчивый и грозный, сильный и пламенный выразитель дум и мечтаний своих ровесников: это нарядный, блестящий и умный светский человек, обладающий необыкновенным даром стихотворения»? Прощают такое, — как по-вашему? Забывают?

Стр. 318. * В письмах Н. А. П. к брату есть и ещё одно, третье упоминание о ней:

«Вчера Р. сказывал мне, что А. здесь, но, кажется, я не увижу её, ибо брат ея немедленно увёз её к себе, куда-то на дачу близ Павловска, и придет с нею сюда только посадить её в дилижанс и отправить в Москву...» (Под строкой примечание: «Разумеется, мне легче было бы идти в пещеру льва, если бы лев утащил А., нежели ехать к брату ея».) «...Итак — одно из мечтаний на отрадную минуту исчезло. Грустно, но так и быть. По крайней мере, меня порадовали слова Р., что она весела и здорова, а я привык к лишениям радостей, так что радость кажется мне, или показалась бы мне, ошибкой судьбы...» Инициал и время пребывания в СПб — в принципе (и при некоторой удаче) этого достаточно, чтобы установить личность. Искать (предположительно) даму из артистического мира, вероятней всего — профессиональную актрису; внешность необычная, манеры оригинальные (предполо-

жительно — имеется сходство с Настасьей Филипповной Барашкиной, а также — несомненно — с Элеонорой из «Аббадонны»), проживала в таких-то числах на даче под Павловском, у брата. Но — не наше это дело.

** А вот и мнение В. Ф. Одоевского об «Уголино»: «На сцене эта драма в самом деле недурна... я не подозревал в Полевом такого таланта. Дурён и лишний 5 акт, но первые четыре, без сомнения, выше драм Дюма и всех антиitezических характеров Гюго...»

Стр. 329. Поразительное расположение, так сказать, фигур. Ещё поразительней, что за последующие семь лет оно повторилось десятки раз. Этот факт сам по себе объяснил бы нам судьбу Полевого — если бы тоже не был, в свою очередь, загадочным. Николай приходил за кулисы и в антрактах, и после спектаклей. Разговаривал с актёрами, с режиссёром, обсуждал игру и текст. Стоя, как сейчас, в пяти — а то и в трёх — шагах от Полевого. Но даже нахваливая, даже громко — его пьесу, — ни разу не взглянул в его сторону. Подозреваю, что это очень тревожило и даже мучило Н. А., и недоумеваю вместе с ним. Царь его ненавидел — это ясно. Но за что? У меня целых три гипотезы, но раз я не сумел их развить в основном тексте, — оставим всё как есть.

Стр. 334. Это ведь насчёт Асенковой — о бриллиантовых серьгах, ей подаренных после дебюта в Александринке, — поразительный пассаж в письме Пушкина к Н. Н. из Москвы (май 36-го): «И про тебя душа моя, идут кой-какие толки, которые не вполне доходят до меня, потому что мужья всегда последние в городе узнают про жён своих, однако ж видно, что ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завёл себе в утешение гарем из театральных воспитанниц. Нехорошо, мой ангел: скромность есть лучшее украшение вашего пола».

Стр. 361. Да-с, вот кого тоже не понимаю совсем: Ивана Ивановича Панаева. Был равнодушен к Полевому — и разочаровался, — это нормально. Потом обожал Белинского — и предал — вернее, изменил ему с Некрасовым, сердцу не прикажешь. Насколько можно судить, истинную страсть он питал — не к Авдотье Яковлевне же! — к одной литературе.

Но зачем он в мемуарах так упрямо гнёт факты так, чтобы они принижали Полевого, давно умершего, — хоть убейте, не подберу мотива. Это было как-то связано, по-видимому, с Белинским; скажем, так: покойный друг, которого я, давайте считать, не предавал, был весь дитя добра и света и никогда не стал бы никого травить зазря; раз он доставал Полевого — значит, Полевой заслужил. Причём похоже, что эти мемуары — именно с таким уклоном — И. И. замыслил давным-давно, в своей молодости, когда Полевой был ещё жив. Для них и поддерживал — единственный из партии «Отечественных записок» — это ненужное и вроде бы неприятное ему знакомство. Вот дождусь, когда умрёшь, переживу как смогу надолго — и так распишу, что ты в гробу извертишься. Похоже и на то, что Полевой разгадал этот план Панаева — и нарочно его дразнил; как бы играл с ним в поддавки. Вот какой случай навёл меня на эту мысль. «— Белинский — прекраснейший, благороднейший человек! — сказал мне однажды Полевой, когда я нарочно завёл с ним речь о Белинском: — горячая голова, энтузиаст, но теперь нам сходиться не для чего-с. Я здесь уже совсем не тот-с. Я вот должен хвалить романы какого-нибудь Штевена, а ведь эти романы галиматья-с.

— Да кто же вас заставляет хвалить их? — спросил я с удивлением.

— Нельзя-с, помилуйте, он ведь частный пристав.

— Что ж такое? Что вам за дело до этого?

— Как что за дело-с? Разбери я его как следует, — он, пожалуй, подкинет ко мне в сарай какую-нибудь вещь, да и обвинит меня в краже. Меня и поведут по улицам на веревке-с, а ведь я отец семейства!

У меня сжалось сердце при этом страшном признании. И это говорил тот человек, который некогда энергично преследовал всякую подлость, проповедывал о свободе духа, о человеческом достоинстве!»

Уверен, вы и без меня разберётесь, чего стоят эти «с удивлением» и «сжалось сердце». Но Панаев посчитал необходимым припомнить этого Штевена и в рассказе о дне похорон (см. в настоящей книге стр. 120): «Полевой, восхвалявший романы частного пристава Штевена...» Что ж, я разыскал эту рецензию. В ней 11 строк, из которых 3 — выходные данные. Штевен этот был основоположник русской научной фантастики. Один из. Наряду с Одоевским

и Вельтманом. По всей видимости, действительно сочинял галиматью (или то, что принимали за галиматью люди традиционного вкуса, в том числе и Полевой). Вероятно, был добродушен, т. е. мания величия не омрачалась в его уме манией преследования. Потому что я бы на его месте, не колеблясь, подкинул бы Полевому в сарай какую-нибудь вещь и после обыска повёл бы на верёвке. За такую рецензию. Вот она:

«*Магические очки. Сочинение И. Штевена. Четыре части. СПб. В типографии А. Иогансона. 1845, в 12 долю листа, стр. 214, 231, 298, 300.*

При появлении таких книг, как при проезде известного человека, журналисту только надобно снять колпак и поклониться. Кто не знает прежних романов автора: *Провидение, Цыган, или Ужасная месть, Солнечный луч?* В *Магических очках* он ещё выше, ещё изящнее, и удивляться ли? Принадлежность дарования «шестуя, приобретать силы». Ключ светлеет от употребления, а дарование тоже ключ: он откроет двери в храм славы.

Н. П.»

Так пишут лишь о самых безобидных дураках. Но спрашивается: кто же после этого Панаев?

Стр. 369. Эпиграмма — неизвестно чья. Но странно знакомый размер.

Стр. 371. Была, была у Белинского слабость и кроме устриц: не любил признаваться, что не владеет иностранными языками. Поэтому поневоле иногда блефовал. О первой публикации «Скупого рыцаря» отозвался так: «Скупой рыцарь», отрывок из Ченстоновой трагикомедии, переведён хорошо, хотя как отрывок и ничего не представляет для суждения о себе». Это, значит, 36 год.

Но в 38-м, обвиняя «близорукое прекраснодушие» (знаем, знаем) в недооценке пушкинского таланта, оспорил свою оценку как будто она совсем и не его. С укором и свысока. «Так, например, сцены из комедии «Скупой рыцарь» едва были замечены, а между тем, если правда, что, как говорят, это оригинальное произведение Пушкина, они принадлежат к лучшим его созданиям...»

Стр. 373. Должно быть, с этого дня — с 4 октября 1840 года — Белинскому и начисляется революционный стаж. С полным основанием: в письмах к Боткину великий критик выступает

бескопромиссным борцом за счастье человечества («...чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнём и мечом истребил бы остальную...»); в открытом (попавшем в самиздат) письме к Гоголю доходит прямо до иступления. Иное дело — в «Отечественных записках», журнале, конечно, передовом, но подцензурном. См., например, в Пятой статье о Пушкине (1844 год):

«Кто из образованных русских (если он только действительно — русский) не знает превосходной пьесы, носящей скромное и, повидимому, незначительное название “Стансов”? Эта пьеса драгоценна русскому сердцу в двух отношениях: в ней, словно изваянный, является колоссальный образ Петра; в связи с ним находим в ней поэтическое пророчество, так чудно и вполне сбывшееся, о блаженстве наших дней:

В надежде славы и добра...

Какое величие и какая простота выражения! Как глубоко знаменательны, как возвышенно благородны эти простые житейские слова — плотник и работник!.. Кому неизвестна также превосходная пьеса Пушкина — “Пир Петра Великого”? Это — высокое художественное произведение и в то же время — народная песня. Вот перед такую народностию в поэзии мы готовы преклоняться; вот это — патриотизм, перед которым мы благоговеем... А уж воля ваша, ни народности, ни патриотизма не видим мы ни искорки в новейших “драматических представлениях” и романах с хвастливыми фразами, с квашеною капустою, кулаками и подбитыми лицами...»

Стр. 376. А раз день — прелесть, и семья на даче, пошёл бы прогуляться; летом в Петербурге одинокому человеку хорошо. По пустынному Невскому к Александринке. Спектаклей нет, а зато на будущей площади Островского, на месте будущей бронзовой Екатерины стоит чучело кашалота. Огромное: от головы до хвоста 95 футов. Входная плата — рубль со взрослого, полтинник с ребёнка. В голове чудовища — гостиная, что-то вроде концертного зала. Играет оркестр: 24 музыканта.

При входе продаются две стихотворные брошюрки Некрасова. Размер — чудный:

Прилежно я окидывал
Заморского кита.
Немало в жизни видывал
Я разного скота.

Но страшного, по совести,
Такого не видал,
Однажды только в повести
Брамбеуса читал.

Хвост длинный удивительно,
Башка — что целый дом,
Возможно всё решительно
В нём делать и на нём:
Плясать без затруднения
На брюхе контраданс,
А в брюхе без стеснения
Сражаться в преферанс!

Столь грузное животное
К нам трудно было ввезть:
Зато весьма доходное,
Да и не просит есть.
Дерут за рассмотрение
Полтинник, четвертак,
А взглянешь — наслаждение
Почувствуешь в пятак!

Такой вот вздор ни о чем. Чечётка на цыпочках. Миллион куплетов на злобу дня. Невзирая на лица.

...Без вздоров сатирических
Идёт лишь Полевой
В пьесах драматических
Дорогою прямой.
В нас страсти благородные
Умеет возбуждать
И, лица взяв почётные,
Умеет уважать...

Смотрите-ка: тут про халат! и про бороду! Как бы намёк на какой-то реальный забавный факт:

...Большой портрет к изданию
Списать с себя велю
И в Великобританию
Гравировать пошлю.
Как скоро он воротится,
Явлюсь на суд людской,
Без галстука, как водится,
С небритой бородой...

Но это ложный след. А запоминающийся стихотворный размер, не правда ли?

Н. А. не читал этих стихов. И не видел кашалота. Ему было не до прогулок. Он жил уже под девизом: «Овса и вина!»

Стр. 381. Смешно: последним его текстом было открытое письмо Булгарину. В «Литгазете» (которую Полевой взялся редактировать: Краевский подкатился; уже и в «Отечественных записках» пол под ногами Белинского горел; Краевский искал только предлога, чтобы сказать ему: на выход, с вещами). Булгарин в очередной — в последний — раз предъявил Полевому (кажется, в «Северной пчеле») всё то же самое, что и Белинский, разве самую малость остроумней: вы берётесь за всё и ничего не доводите до блеска, у вас нет таланта, вы не настоящий писатель, а пишущая машина — «полево́тип». Возможно, вы правы, отвечал Полевой, но этот полево́тип, «положа руку на сердце, может сказать, что его дети не постыдятся ни гражданской, ни литературной жизни своего отца».

Стр. 382. Белинский тоже понял, что вышло недоразумение. И попытался его загладить. Амнистировал Полевого посмертно. Написал в апреле 46-го большую статью (издав её отдельной брошюрой: из «Отечественных записок» он тогда же ушёл): «Николай Алексеевич Полевой». Теперь любой разговор о Полевом полагается начинать и заканчивать цитатами из неё.

«Три человека, нисколько не бывшие поэтами, имели сильное влияние на русскую поэзию и вообще русскую изящную литературу в три различные эпохи её исторического существования. Эти люди были — Ломоносов, Карамзин и Полевой...»

«...Он сумел на своём пути стать выше всех соперничеств и даже восторжествовать в борьбе против всех враждебных соревнований...»

«Романтизм — вот слово, которое было написано на знамени этого смелого, неутомимого и даровитого бойца, — слово, которое отстаивал он даже и тогда, когда потеряло оно своё прежнее значение и когда уже не было против кого отстаивать его!..»

«...Всегда, в жару самой запальчивой полемики, он умел сохранять своё достоинство, уважать приличие и хороший

тон, и что в самых любезностях его противников было больше грубости и плоскости, нежели в его брани...»

«...Заслуги Полевого так велики, что, при мысли о них, нет ни охоты, ни силы распространяться о его ошибках...»

Несчастный характер. Мучительно нравилось мстить. Чувствовать себя мстителем. Воображать. Как горячо страдал Белинский шекспировскому Гамлету, который не умел насладиться местью. Герой его собственной драмы («Дмитрий Калинин», никто никогда уже не прочитает, это выше человеческих сил) — вот тот умел.

Самая первая публикация Белинского — стихотворение «Русская быль». Монолог удалого молодца, которого красна девица променяла на богатого боярина. Вот что мечтает молодец сделать за это с боярином:

...И он выйдет ко мне.
Как сокол на птиц,
На него напушу,
Буйну голову сорву,
Белу грудь распорю,
Ретивое выну вон,
Положу его на блюдечко
На серебряное,
К моей милой понесу...

Милой тоже мало не покажется:

...Таковы слова скажу:
«Ты любезная моя,
Ненаглядная моя!
Ты узнала ль меня?
Вот и я к тебе пришел:
Скажи, рада ль ты мне?
Вот гостинец тебе.
Ты спасибо скажи:
Мой гостинец хорош,
Мой гостинец пригож.
Ах! как кровь горяча!
Ах, как кровь-то сладка!
Ты отведай её,
Ею руки обмой,
Ей лицо окропи.
Как умильно глядит
Голова на тебя;
Посмотри на неё;
Поцелуй во уста
Во холодные!..»

Ничего себе — лит. дебют? Газета («Листок») с этими удивительными стихами вышла в самый день рождения автора: Белинскому исполнилось ровно двадцать. Однажды, десять лет назад пьяный отец затрепачной сбил его с ног. «Мальчик встал пересозданным; оскорбление и глубокая несправедливость запали ему в душу», — сообщает один его конфидент.

Стр. 383. * В «Аббадонне» есть похожая страница:

«Хотите ли зажать рот наглости, если она хочет поразить вас насмешкою? Не стыдитесь только сами за себя, станьте смело перед ней, смело, потому что вы не возвышаете требований своих далее того, что вы есть на самом деле, обопритесь на смешное, чем думали испугать вас, на то, что вы есть в самом деле, обопритесь надежно и отдайте око за око и зуб за зуб.

Смело придвинулся Вильгельм к молодому франту, который заклеил его ужасным словом: буржуа, взял за руку этого щёголя, крепко стиснул его руку и, усмехаясь и глядя на него, громко сказал:

— Вы не ошиблись, м. г. — je suis villain et très-vilain (я мещанин, я мещанин)!

Шум одобрения раздался в толпе.

** В. К. пишет мне: «...По-моему, это не гоголевский сюжет, а скорее шекспировский — Полевого назначил на роль Полония человек, который сам на роль Гамлета уж точно никакого права не имел, и П., по крайней мере, сделал всё, чтобы не быть заколотым тихо...»

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПИСЬМА ЮРИЯ МАЛЕЦКОГО
*к автору трактата «Изломанный
аршин», написанные в то время,
когда трактат существовал
только в виде отдельных глав,
публиковавшихся из месяца
в месяц в журнале «Звезда»*

Дорогой Самуил!

Живу я поживаю в серд.-сосуд. клинике где-то в горах Южной Вестфалии, вероятно, бузинной, где мною занимается реабилитационная медицина. Хотя это, конечно, звоночек, но всё же куда приятнее реабилитироваться живьём после инфаркта, нежели по-смертно после какой-нибудь колымы. Так что грех на Бога жаловаться и Его гневить, тем более что реабилитируют здесь со всеми удобствами.

Ну и вот, имея более чем достаточно свободного времени не только чтобы прочесть Ваши три главы подряд единым махом, но и для рассуждения о них, я решил предаться этому занятию письменно. Чтоб только вечность (ведь 3 недели бесплатного «комфорта» — это же целая вечность; но, увы, земная вечность скучновата) проводить (уж не знаю, хотела ли она меня в себя проводить, но это не моего ума дело).

Главное, что я по поводу прочитанного имею сказать: желаю долго здравствовать.

Вам бесприменно надо здравствовать долго, хотя бы по двум причинам; не знаю, какая из них тривиальней, но тривиальность — ещё не признак неверности суждения: общее место — часто вовсе не зря общее.

Первая причина: в России, как известно, человеку с умом и талантом надо жить долго, чтобы его признали по действительной, конвертируемой, а не деревянной его значимости. Добавлю: это развитие или поправка Вашей же мысли о вечной несвоевременности, в смысле непонятости, гения, — от себя я только добавляю «поправку Джексона-Вэника»: вообще — да, сначала помрёшь, а потом тебя поймут, не убьёшь кита — не вдохнёшь амбры; но буде таковой талант, который константно редок, а его константно же не берегут, — буде он, отговорив своё, как он полагает, главное, всё же ещё поживёт (ну, такое у него везение-невезение), занимаясь вполне бесполезным делом, например, «дописывая» (а ведь бывает, что человек вроде уже только «дописывает», в его-то годы, да уже написав один за десяток нобельпрайстрегеров, а глядишь — вышел «Хаджи-Мурат», и давай по справедливости опять Нобеля, хоть последовательно вредный старикан опять откажется), то он вроде как переживёт свою сегодняшнюю «смерть писателя» и таки живым дождётся биологически сегодня — «завтрашнего» признания-понимания. А мне бы очень хотелось, чтобы Вы *это* (действительное понимание и только в силу последнего — общезначимо высокий статус) получили прижизненно —

хотя бы просто из свойственного мне, как всем Водолеям, обострённого желания справедливости в смысле признания лопаты лопатой. Редко, но бывает: Пикассо, Матисса, Томаса Манна, даже Джойса, даже прозу Беккета, да мало ли (пусть их меньше, чем тех, кого *не*) — не просто признали, но толком поняли при жизни; вот и Вам только в этом, отнюдь не в свифтовском смысле окостеневшего, кащейского бессмертия, я желаю *при жизни пережить* биологически свою «смерть кашалота».

Вторая причина — это, если совсем кратко и не сказать всего, что хотелось бы, — это великое удовольствие от чтения Ваших текстов.

Хорошо без усилия. Это вот самое и есть — лёгкое дыхание слова, делающее лёгким само усилие по вытяжке из него смысла. Это как у Сэлинджера: напиши, говорит, братишка, такую вещь, которую тебе *самому захотелось бы прочитать*. Конечно, это совершенно не обязательно для появления великой литературы, и вряд ли Фолкнеру или Платонову самим захотелось бы прочитать такое, что они понаписали, если только они не записные мазохисты. Это не делает литературу великой, но если это лёгкое дыхание вдруг возникает, оно и великую, и невеликую литературу делает неотразимо прелестной, прельстительно-увлекательной.

Прав Пушкин, банально, а что делать — нет более увлекательного занятия, чем следовать за мыслью великого человека (или что-то такое, да? дословно не берусь). Но обнаглю и добавлю и к самому Пушкину: не сказал бы, что следовать за мыслью Шеллинга или Гегеля так уж увлекательно, хотя мысли эти вроде как донельзя велики. Похоже, речь у Пушкина идёт об увлекательности не просто *самой* мысли, но обязательно увлекательном её *высказывании*. То есть её математически-бильярдно-словесной красоте. Когда ты вдохнёшь — и выдохнешь: «Ах, класс! Вот это шар закатил! Вот это пас подал, как на ладони выложил!» Вот это парафраза — и по остроумию, и по существу вроде Вашего: «Старость — это осознанная неплатёжеспособность»!

Теперь о языке, сударь. Это прежде чем перейти к Вашему стилевому жесту, вне которого об Вас и разговора как о словеснике быть не может.

Вот у нас иные забирают того ли да оного Витюшку да раба Божия Пелевина за «стёртый язык». Понятно, что это естественная реакция на раздувание фигуры П. — Курицыным или Генисом, а также надо *настоящему соображале* (а по мне, так часто — воображале) *в настоящей литературе* — программно не любить

то, что популярно в читательской массе, но... Немзер или другой какой немзер Пелевина чуть ли не за писателя не считают. Да, он не Саша Соколов, но у него другие задачи; и пусть Саша Соколов (чья «Школа для дураков» — один из очень немногих предметов моей зависти в совр. рус. лит-ре, в смысле — вот её я бы хотел сам написать, от всей своей большой души поры юности) попробует отточить словцо навроде пелевинского «человеку, не отличающему Канта от Шопенгауэра, я бы не доверил командование дивизией» — или: «Да, конечно, все мы в сознании Будды, но само сознание Будды — в руках Аллаха». И такого там ещё сорок раз по разу, а у самого-то Немзера хоть бы фразу кто запомнил (не по злобе, а констатирую медицинский факт — ведь это у ведущего критика да чтобы не запомнить остроумного выпада; да такие выпады и у Виктора Топорова даже выпадают).

Но есть нечто высшее остроумия, высшее даже красоты неожиданности простого попадания в трудную цель; не знаю, как его определить, но только там есть всё это и что-то сверх того (так Майлс Дэвис говорил: играй как только умеешь и ещё поверх того — тогда будет уже не мастерство, а музыка), там смыслоинтонационный пульс бьётся как-то не выше и не ниже нормы, а разведясь с ней, там, что ли, два пульса аук-откликаются в одном сердце... Нет, не скажу. Но за этим всегда удивительно слышен сам человек, это сказавший.

А вот теперь: в Вашей короткой фразе: «Говорю же: поэзия есть речь, похожая на свой предмет», — я слышу и как сама фраза нисходит за труды (может, и легко, сама собой, по ходу, да ведь всё равно за ней стоит, помимо дара слышать, долгое «въезжание» в предмет), но тут я ещё и хоть немного само дело понимаю и могу оценить «неслыханную простоту» определения, совершенно неожиданного для меня — и совершенно верного (так вот почему всегда мне страшно читать «Стихи о неизвестном солдате»: эта речь очень похожа на свой предмет почти полной своей непонятностью и одновременно ощущением полной своей достоверности; и страшный этот, непонятный, но абсолютно реальный «предмет» всей своей громадой надвигается на тебя, и ты знаешь, что от него-то — кого? чего? — ты и все, с гуртом и с гурьбой — непременно потерпят вселенскую катастрофу; т. е. если бы надо было мне ответить: что для тебя, помимо авторитета Св. Писания, безусловно удостоверяет непереносимость конца света? я бы ответил: «Стихи о н. с.», само их существование»); да... и тут ещё, в этой коротенькой, простецки сказанной фразе бьются эти самые два пульса одного сердца, как-то отдалённо и не прямо —

но слышимо — перекликаясь, соотносясь фонетически и ритмически с «мысль изреченная есть ложь», одновременно подтверждая и противореча Т. Словом, тут (и не только тут) есть то, о чём Вы же сами говорите — «звук глубже человеческого голоса»... спорить могу, ставлю свою месячную социалхильфе против пары драных носков, что Вам самому эта фраза — дорога и отрадна. Потому что она — из разряда оперённых.

Оперённость и в стихах-то встречается не так уж часто, даже самых великих, опять же — она не обязательна, а то и вообще неуместна, к примеру, при самочувствии человека типа в «Воронежских тетрадах» куда точнее — могильно-земное притяжение «чернозёмных га»; но когда оперённость возникает — опять же возникает не величие-невеличие, а то, вкуснее чего нет: простая прелесть полёта... да, а в прозе создать что-то хоть в первом приближении вроде «редеет облаков летучая гряда» — это уж... дай, конечно, Бог нашему теляти волка съест. Это лёгкое дыхание, но, в отличие от Бунина, оно ещё и непременно высокое дыхание.

Но у Вас получается. Я почему и назвал в том эссе, ну, по Вашему поводу, Ваше словесное делание — поэзопрозой: из-за этой вот необычайной летучести строк, что все летят вперед, а тебя отсылают назад, и так и гонят одновременно вперед-назад к предыдущим и последующим смысловым рифмам.

Я ведь всё это к чему: зачем ещё Вам надо жить долго. Потому что читанное мной ранее — это было одно дело, что-то вроде многих спринтерских забегов, автономных кирпичиков, объединённых под крышей книги — такой тип постройки. А теперь это совершенно другой «поворот винта»: стайкерский забег, материал — куда больший монолит и всякая штука. Связное сюжетное повествование с единою далью сколь бы то ни было свободного романа, конечно, ведёт к иной манере, типа того прямые линейные ходы, переплетённые с околичностями, т. е. сквозные рифмы и не тесные ритмы.

Что мне ещё жутко нравится: как-то в русской «Еврейской газете» (Берлин) прочёл о паре Ваших эссе, опубликованных тогда Л. Щ., — мол, вот ещё один типический образец фамильярности нынешних литераторов в обращении с великими. Вот, отвечу, образец типической глупости полузнающего «мышления», самого облегчённого из всех типов мышления, какие только есть, облегчённого до имитирующего мысль безмыслия: по поверхностной аналогии. Этот, забыл фамилию, но, в общем, добрый человек полагает априори, что *всякое* пребывание с Пушкиным на дружеской ноге есть хлестаковство по определению, — и даже тени предположения

не допускает, что кто-то не просто досконально, по-пушкинистски, изучил до дня и часа все досье на главного фигуранта по делу российской словесности, но и — вместо использования его как «рабочего материала» для «науки» и манипулирования им в своих высокоучёных целях — просто по чуткости знающей любви проникся — и сам проник в, как Пятачок влез в Дзя-Писем-и-Газет, вошёл внутрь, как герой гриновского «Фанданго» вошёл в написанную картину, поместился в той жизни, обжился в ней и стал там поживать, в месте, где всего удобнее и вернее обозревать жизнь и мнения Александра Пушкина, джентльмена и своего соседа... ну подобно тому, что в некотором смысле проделывает сам А.С.П. в отношении своего знакомого Онегина. А.С.П. ведь тоже было не всё равно, что у него за приятель на самом деле, а не только во мнении дам и членкоров ПД АН. А.С.П. сначала «нравились его черты» (перечисляются), а позже выясняет А.С.П., что были у Онегина и другие черты, например, оглядка на общественное мнение паче дороженья жизнью друга, и вот такое дело А.С.П. вроде как не больно приветствует. Чем повторять на все лады, что П. — нашеВсёнашеВсёнашеВсё (что логически и практически ведёт к тому, что П. становится нашим главным Ничем: кто ж П-на-то не знает, и если он и так — *наше* Всё, так и читать его — зачем? как Нора Джойс принципиально не читала Джеймса Джойса, говоря, что и без того знает своего мужа) и без конца воевать за Пушкина под Перекопом, оправдывая всё, что бы покойный ни сделал и ни сказал, и обвиняя всех его неидолопоклонников (например, Дантес имел несчастье быть поклонником не Пушкина, а жены Пушкина) в прямой подлости (а я и в поведении того же Дантеса прямой подлости не нахожу, а нахожу, что он вёл себя на своём месте и в своё время ничем не подлее, чем и вся порядочная золотая тогдашняя молодежь, а в некоторых отношениях порядочнее, чем и сам Пушкин вёл себя с чужими мужьями в молодые годы, во всяком случае, Д. эпиграмм на П. не писал; и вовсе я не думаю, что «пустое сердце» билось «ровно», а думаю, что Д. очень даже переживал всю эту историю, как и куда она по-дурацки вырулила: ну все кругом «науку страсти нежной» проходят по-людски, у всех мужья как мужья, всегда узнают последними, и остальное тоже — чистый мёд, а тут такое закрутилось жгутом, что не пойми чего, муж — не комильфо, а настоящий варвар-бербер, на коего и ликом машет, ишь белками синеватыми сверкает, и хоть видна проплешина, а всё равно курчав в дым; а уж свиреп! один раз еле выпутался, причём со всякими отягощающими жизнь консеквенциями — типа ни к селу

ни к городу срочной женитьбы на сестре своей же пассии (в 24-то года! Рановато), но ладно, главное вроде как уже замирились, чего тебе ещё? — так, мерд, снова, блин, здорово, мерд! За какие такие мои лично грехи, спрашивается? а — таки теперь нефиг делать — пожалуйста к барьеру, где добром ни в одном из вариантов дело не кончится, потому в самом лучшем для тебя случае потеряешь ты военную карьеру в российской армии (а это ведь какая тогда была блестящая перспектива для искателя счастья и чинов, приехавшего в Р. Из Пруссии в чине всего-навсего унтер-офицера! мечтать только можно было! и уже ведь встал на крыло, уже на накатанной лыжне и лыжи смазаны — поручик-кавалергард и так далее! и вот — всё коту под хвост, как минимум лишат офицерского звания — и..! — это ведь на склоне только лет Д., сравнив свою сенаторскую карьеру дома, снисходительно отзывался о своей предполагаемой бывшей карьере в России в чине какого-нибудь полковника в захолустье, мол, слава Богу — когда бы не дуэль...), — но, чувствуя мозгом костей по накалу событий, по всему-всему, по смертельным, без шанса, условиям, главное, дуэли, что Пушкин доведён до самой крайности, до того, что *на самом деле*, без никаких, пришёл умереть или убить, решительно, и третьего не дано (ну разве не смертельно ранить П., но так, чтобы вырубить начисто, чтобы тот уже прицельно стрелять в ответ не мог, скажем, аккуратно в правое плечо, все косточки-связки раздробить, а вот не убить; но кто ж так стрелять на дуэли может наверняка, восьмигранной пулей из ненарезного оружия — точно, словно ты в спокойном тире и с оптическим прицелом? Разве что Сильвио; и потом — ясно же, что дело хочешь не хочешь надо покончить нынче же, иначе воспоследует наверняка следующий вызов) — Д. и выстрелил первым «превентивно»-прицельно, «на поражение» (уж о том, что не «на воздух», в такой ситуации говорить не приходится: всё равно что выйдя с рогатиной на затравленно-растравленного медведя, в самый последний момент отбросить её в сторону) — и потом стоял у барьера и, видя, что его противник таки и раненый вот сейчас выстрелит в ответ, и даже прицелясь, ждал, чин-чинарём глядя в лицо смерти (я когда-то сам из интереса отмерял не 10, оговорённых Пушкиным, а 12 больших шагов, в институтском спортзале — и пришёл к выводу: да, попасть прицельно в точку из непристрелянной тяжёлой дуры без нареза — это надо быть профи, но попасть человеку вообще в корпус, в грудь-живот-пах, чего при такой восьмигранной плухе достаточно, чтобы всю нутрь разворотить, — с такого расстояния, а то и меньше на шаг-другой, даже

с ходу совсем нетрудно, если только вообще умеешь и сейчас можешь держать в руке пистолет, даже если рука дрожит, только бы не слишком, и надо только «всегда брать ниже», как и учили стрелять, уже из револьвера, правда, молодого Фандорина; да и если отдаст-таки выше, тоже не беда: угодит в голову, — словом, если стоишь в 10–12 шагах и «не до первой крови», и наступила очередь стрелять не твоя, то на тебя глядит не дуло, а жерло вечности — ну этот момент впечатляет...), как и подобает дворянину и офицеру (в кольчугу я не верю, как хотите, а и даже если ты в бронежилете, а ну тебе сейчас вмажут свинец в лоб с такой-то близости, как хотите, а несколько боязно, знаете) — и склопотал-таки ответную пулю, но — повезло... буду рад, если Вы меня переубедите; но пока (хотя знаю, что Бунин, да и не он один, если бы только удостоил вниманием, записал бы меня в отпетые негодяи, да вот и Лариса как-то, услышав только начало таковых речей, страшно разгневалась и прекратила всякий разговор) — пока думаю как думаю, может, я сам подловат и потому не понимаю размеров подлости Дантеса, а может, я просто прозаик и пишу про заек, и нахожу П. не таким уж зайкой, а Д. не таким уж волком; во всяком случае, никоим образом не считаю себя пособником французско-фашистских захватчиков, не могущих от рождения ценить русской славы, не считаю себя ни коллаборационистом, ни апологетом Дантеса, я его не амнистирую вообще, а только — зачем вешать на него всех собак, будто уж он был совсем-пресовсем без чести и совести? Чтобы навесить ещё больший срок? Так и так для России — срок бессрочный, а для Франции — никакой, раз Д. кончил жизнь сенатором, будучи в Сульце до того избран мэром и учредив, например, банк для бедных и вообще сделав много дельного, ну там перестроив на манер Османа Сульц под маленький Париж — я там был, в этом эльзасском городке, и о Д. там говорят те, кто вообще помнит такую фамилию, а такие есть, и могила же его там, — уважительно, — словом, чем всё вот это вот, — не честнее ли, не вернее ли, не плодотворнее ли — просто присмотреться к любимому, без камланий вокруг колеблемого треножника, что выше Александрийского столпа и возвышающего, т. е., как ему и положено, врущего обмана, любя истинной любовью, то есть всё ясно зря и называя вещи своими именами — и продолжая любить и почитать (а для того — читать) так, как хотел Достоевский, чтобы мы и нас любили: со всеми нашими «почёсываниями»?.. Т. е. не пора ли *вправить* само вывихнутое и искривлённое понятие любви? И вообще и в частности в отношении А.С.П., вокруг которого любовного «спама» накопилось, наверно, больше всего.

Так вот. Лурье не фамильярничаёт, а наконец очищает пространство вокруг П. (и тех других, о ком писал) от «спама» — потому только (а не по ехидству, мизантропии или любви к литскандалу на манер Т.), что именно *действительной*, «вправленной» любовью и полюбил П. (и тех других, о которых писал: Блока, Фета, Тютчева), своего странного знакомого, с которым, заметим, и вправду ведь не соскучишься: то он и всамделе ничтожней всех ничтожных детей мира, а то вострепелось, бывало, прям как пробудившийся орёл, и воспарит выше некуда или оглянется на остальных детей ничтожных — и сразу как затоскует в забавах мира, и давай ото всех чесать в широколистные дубровы, потому что он стал теперь дикий и суровый, просто лейтенант Глан — задолго до всех гамсунов... причём он ещё и терпеть не может органически всякой пошлости типа попсы, от политической до эстрадной, плюя на неё с высокой колокольни, не клоня, значит, головы к ногам народного кумира, — да, таким амбивалентно-интересным человеком очень даже можно увлечься и даже более — полюбить его, а истинная любовь, как известно, обладает даром некоторого ясновидения — с результатами которого мы и знакомимся, будучи приглашены Самуилом Лурье на сеанс белой магии безо всякого разоблачения. Потому как, да вот! случается и небывалое, жизнь, как известно из литературы, бывает неправдоподобнее всякой литературы — да! этот человек, удивительное дело, но — и впрямь на дружеской ноге с П., человеком, жившим за 200 лет до него. Или на не дружеской, но и не вражеской, а — живёт в одной жизни с ним. На самом деле может читать его мысли и разъяснять его побуждения и вполне компетентно мотивировать его действия — не как историк из дальнего далека, а как очень наблюдательный сосед по коммунальной квартире (если, вздрогнув, предположить, что П. и его современники могли жить в коммунальных квартирах, чего не пожелаешь и Дантесу, не то что П., с которым в этом случае как пить дать произошло бы то, чего покойный боялся пуще всего: сошёл бы с ума). Ну, бывает у человека, как выражается Пьецух, волшебная голова. А в голове этой волшебный фонарь, латерна магика, ну, тоже бывает, хоть верится с трудом. Вот при помощи этого-то фонаря он и не такие штуки откальвает; что Пушкин? Возьми сам и прочти всё его и про него и вокруг него в его время, на своём родном, в любой приличной библиотеке — а потом сочлени, закрой глаза и вообрази; тут ничего ноуменального нет, не считая волшебного фонаря; а вот попробуй такой, например, фокус: Лурье, например, может поселиться в месте-времени Свифта, а это уж будет посложней:

С. Л. там, в Альбионе, не родился, атмосферу туманную ихнюю и современную-то — с рождения не прочувствовал, а более отдалённую в школе и высшей школе детально не изучал и генетическую память тоже в себе вроде не несёт, так? Дальше. Не будучи дипломированным спецом по английской литературе, тем более данного уж совсем особенного периода — XVIII в., когда англ. лит-ра и журналистика наплодила столько, что хватило бы на отдельный этаж Александрийской библиотеки. Л. навряд ли по-английски всего Свифта и современников его прочитал, так? а поди попробуй на неродном языке прочувствуй чужое как своё, а своё помести в чужое, во все эти отдалённые времена и нравы странной страны и ныне-то с чужим, островитянски-вывихнутым правосторонним вождением; это, органичная по праву рождения, трудная задача и для, скажем, Джона Фаулза; а тут читаешь русское эссе про Свифта или Дефо — и попадаешь вроде в чужой, а совсем родной городок в табакерке. Внутрьходишь, заходишь за угол, потом другой, и так гуляешь и на прохожих посматриваешь как приезжий, тоже англичанин-ирландец-шотландец-валлиец, и тоже этого времени, из соседнего городка.

И вот какая безнадежная, а мелькает мысль: может, некоторые, ну хоть мало, хоть четверо из этих дундуков — не полные дундуки, а обучаемые всё же — просто на пространстве 5–10-страничного эссе они не успевают обнаружить, что перед ними не амикошонство, а волшебный фонарь. А вот когда они прочтут целый роман, где длинными нитями судеб всё прошито и где сквозною рифмой про кашалотов оперённый текст — тут у них будет и время, и, кроме того, куда как много вещдоков, чтобы... ну чтобы дело предстало перед ними в истинном, фантастически реальном свете.

Вот для этого Вы и должны долго здравствовать, чтобы роман дописать плавно на том же высокогорном уровне, на котором находятся эти три главы; а там, глядишь, окажется, что это предпрятие — задумано хоть и «задолго», но будет вовсе не «напоследок» (как Вы пишете) в этом роде.

Теперь как раз об «этом роде». Не знаю, как Вы сами определяете его, в жанровом смысле. Я же склонен думать (если остальное будет того же плана, что эти три главы), что...

Собственно, речь ведь идёт об «историческом жанре», верно? И тут у нас (чтобы не напрягаться, беру только ближе к нам, только XX в.), наряду с горой халтуры-макулатуры, есть такие качественные вещи, как хотя бы романы Алданова (но он идёт по традиционному, проторенному историко-беллетристическому

пути, с обилием вымышленных диалогов и тэпэ, так что его мы сейчас выведем за скобки) — и два новаторских для своего времени (а то и по сей день) произведения, притом два бриллианта чистой воды: «Державин» и «Смерть Вазир-Мухтара» (разумеется, всё это субъективные предпочтения, но я и есть субъект, пусть и сомнительный, но никем, кроме субъекта чувства и мысли, по закону и правилу моего сотворения, быть не могу, как и всякий без исключения человек).

И вот моё такое мнение, что Вам на роду начертано сделать интереснейшую и важнейшую в литературе как таковой и в совр. лит. процессе в частности — вещь. К этому Тынянов шёл по-своему, а Ходасевич по-своему, но дошли только до того места, куда собирались пойти, а ничего иного от человека и не требуется; потому как им не могло же быть вдомёк, что на рубеже XX–XXI вв. появится новый — и популярнейший — жанр: «докуроман». И массовый читатель предпочитает сейчас зачастую это чтение всякому другому. Тынянов всё же несколько беллетризировал-вымышлял, хоть бы в вымышленном диалоге Гриб-ва с Чаадаевым, ну и т. п. — его право. Он так и говорил: «Там, где кончается документ, — я начинаю». И как начинал! А продолжал того не хуже. Ходасевич не вымышляет ничего, не уходя дальше документа, но складывая документы так, что смысл их сам являет себя — с восхитительной сухостью самого сухого вина и самого блестящего «канцелярита». У первого в итоге роман-фикшн (всё же); у второго — нон-фикшн, но не роман, а всё же историческая биография-исследование (из самых лучших «ЖЗЛ»).

Но между этими полюсами неминуемо должно было всё время течь высоковольтное напряжение, и сама эта ситуация рано или поздно должна была, просто обязана, кого-то, именно к ней приуроченного и предназначенного, инспирировать и просто вытолкнуть на то место, где бы он, соединя тыняновское с ходасевичским и подсыпав ещё своего порошка из корня мандрагоры и толчёной жабы и перегнав через куб, произвёл новый вид высококачественного литературного алкоголя или алкалоида, или как ещё.

А именно: непременно должен возникнуть первый, по крайней мере в России, *настоящий* докурман, в полном смысле слова, а не: «Я, Майя Плисецкая» или: «Ельцин — от заката до рассвета», — т. е. совершенно научно-документальное, без тени вымысла — и вместе совершенно художественное произведение, с развивающимися — фабулой, интригой, конфликтами, своевременными и уместными авторскими отступлениями — словом, со всеми предикатами развитой романной формы.

Т. е. обе большие разницы между нон-фикшн и фикшн (и соответственно тот разный интерес, с которым читают одно и другое) одновременно сохраняются — и пропадают, сливаясь непонятным образом воедино. В чём и весь кайф и новое слово; и читателю подфартило: кому надоели вымыслы, может насладиться документальностью повествования; кому неинтересны сухие факты — может с приятным удивлением почувствовать их живую, влажную жизнь, насладиться чудным их оживлением, вычитыванием-прониканием из первого плоского плана в объём второго и третьего.

Да, вот именно — хочу подчеркнуть и любому, кому можно втолковать, — втолковать: «Изломанный аршин» — это не растянутое эссе, не занимательная пушкинистика и тем более не трактат (хотя так и подзаголован, в силу присутщего в сильной степени автору чувства юмора), — а именно роман, где перед нами — не объекты рассмотрения, а живые персонажи, действующие сами по себе; а то, что персонажи эти не вымышлены (даже не потому, что их зовут Пушкин или Полевой, — у Т. тоже есть Кутузов и Наполеон, но они вымышлены не меньше, чем Пьер Безухов), а потому, что они достоверно на самом деле говорили закавыченно и делали то, что они здесь говорят и делают; что не мешает роману быть романом.

Да, если искусство — искусство, то что бы оно ни вытворяло, в нём всегда живо и действует какое-то метафизическое противоядие от не-искусства (жаль только, не все это «ловят», притом я имею в виду людей, понимающих толк во Флобере или «Докторе Фаустусе»; да, жаль: какого кайфа себя люди лишают!). Так и у Вас: если персонажи сами задокументированно наговорили и натворили дел достаточно на целое романное полотно, то они лишь избавили автора от обязанности *самому* выдумывать диалоги и развивать мотивированно характеры и положения; т. е. как Вермеер ещё когда-а пользовался камерой-обскурой, но при этом оставался не фотографом до фотографии, а чистой воды живописцем, так и автор в данном случае, пользуясь счастливой возможностью получить (дав себе труд изучить) готовые более чем правдоподобные (раз уж действительно произошли) разговоры и повороты сюжета, а не вымышлять их, отнюдь не облегчает себе главную работу — проникнуть в подоплёку слов и поступков, обнаружить её и задействовать для читателя, т. е. сплести живейшую интригу, перевести плоскость документа внутрь населённой жилплощади, где накаляются ощутимые страсти, где читатель может то идентифицировать себя с героем, ощутив и в себе ту же охоту или умение поподличать, слегка подлизаться, то негодовать на героя и пр. и пр.

Ведь тут же совершенно ощутимо переплетаются, склеиваются и отклеиваются два слоя — изображаемая пластически жизнь персонажей и комментирующее слово автора, где «кашалоты» (вот перл, серьёзно: как они вообще в голову пришли — вот что чудно и чуждо) — ну совершенно того же ряда отступления, что в «Тристраме Шенди»: без них роман — что сосиска без горчицы, а то и без самой сосиски — шкурка от неё. Т. е., помимо прочего, перед нами эксперимент, доказывающий, что, м. б., гармония алгеброй и не поверяется, но алгебра гармонией, в смысле документальная логика — художественной — поверяется вполне очень даже.

И я считаю, что такой докурман должен и обязан был появиться именно сейчас, при становлении жанра (ему ведь каких-нибудь лет 15–20 у нас, не больше, и до сих пор нет ни одного признанного мастерписа): чтобы поставить ему планку качества. Так Эко просто обязан был написать при начале «Имя розы», чтобы понятно стало: если делать такой постмодерн: соединить кислое с пресным, скажем, детектив с научной медиевистикой — то не ниже этого уровня, иначе — не искусство. А хочешь в этой области работать в отечественной словесности — должен знать материал в серьёзном приближении к С. Л., должен понимать тайну слов сквозь и внутри самих слов, чутя её «верхним» и «нижним» чутьём хоть сопоставимо с С. Л. — ну и так далее.

Кончаю — далеко позади того момента, когда страшно перечить. Уже и не страшно, тем более что всё равно перечитывать не буду — подобно многим другим, я написал текст, который самому читать вряд ли хочется. А Вы из тех, о ком говорит Сэлинджер. Поэтому и другим читать Вас — одно удовольствие.

Да, ещё одна вещь под конец.

Уж больно мне понравился Ваш «разбор» стихотворения «К вельможе». Я лично такого ещё не встречал — не в смысле подробности — это и Бродский донельзя подробнее разбирает Цветаевское «Новогоднее», а в смысле беззаветной честности и свободы восхищаться и не восхищаться, даже когда это Пушкин, — и так строчку за строчкой всю эту длинную телегу, и не устать различать гениальное от хорошего, хорошее от посредственного, а посредственное — от простой халтуры, а то и откровенного подмазыванья из небескорыстных целей — и опять же, у кого? у Самого! Между тем диагностика у меня лично сомнения в правильности — хотя бы в одном каком месте — не оставила. Более же

всего мне по душе: а вот этого я просто не понимаю, и всё. Хоть режьте, не понимаю, как это «сесть за пир на треножник». Пусть это Пушкин написал, а я непонятное понять отказываюсь и согласен на дурака, а пусть это умный Белинский, а также и компетентные органы научной пушкинистики понимают, но тогда пусть и объяснят (а вот до объяснения они никогда и не опускаются, отсиживаясь в Пушкинском Доме и не устаивая выйти к тебе из него). Очень мне такое простодушное «король-то голый» — при больше-некуда-отдавании себе отчета, что этот король при всём том действительно из королей Король, — очень мне такое себя-«позиционирование» импонирует. Вот.

Словом, я просто считаю невозможным, чтобы эта вещь не появилась целиком, что, наконец, означило бы настоящее возникновение нового... см. выше. Я лично просто не вижу больше никого, кто мог бы это сделать в нашем литературном сегодня: не вижу комбинации действительного, «специального» многознания — и дара художественности, а того и другого — с даром любви, которая одна только и может объединить в действительно целое всё-превсё, что иначе всегда будет только лоскутным одеялом.

Более того, желательно, чтобы это новое, как и всякое новое важное и хорошее, было застолблено. Чтоб это был не единственный «прецедент», а... словом, повторяю, чтобы Вы ещё какой докурман написали. Разве ж «обмазан грязью и в грязи забыт» один Полевой? Да будь я и негром преклонных годов, но, прожив в России несколько десятков лет, всем спинным мозгом чувствовал бы: в отношении оболганности и забытости и писателей, и всех остальных здесь — неленивому и любопытному всегда есть чем разжиться. Тут грязи всегда было, есть и будет — как грязи.

Будь по всему по этому, не говоря о том, почему и всякому человеку пожелаешь, — желаю долго-долго здравствовать.

Искренне Ваш, Ю.М.

P.S. И всё-таки — вот клещ! — ещё:

Объясните мне, пожалуйста, что Вы имеете в виду, говоря: «Подозреваю, между прочим, что наш Автор — дама». Почему дама? Какая дама? Ей-богу, не возьму в толк... тем более пол-литра, чтобы разобраться, мне сейчас категорически запрещена. Черкните хоть строчку, пока я голову не сломал.

Д. С.

Так получилось, что совпало: поездка экскурсионная в Брюгге (в тот момент, когда я получил Ваш текст) — Интернет-капут сразу по возвращении из поездки, так что я не смог «достать» отгудова Ваш текст, — вторичный залёт в больницу на следующий день.

Выписавшись из клиники и дождавшись починки Инт-а, приступил-таки к чтению; ну и обмозговать было надо — с той, не абсолютной, но и небезосновательной точки зрения, что проза требует мыслей и мыслей. Ваша проза — это хундерт процент Проза (дерзая не сказать «абсолютная», потому что в этом случае прозой можно назвать только Пруста или Уэльбека, а типа того, Бабеля или Юрия там Казакова «Во сне ты горько плакал» — до чего пронзительная вещь! — прозой назвать нельзя по причине отсутствия там концентрированных мыслей), а значит, требует ровно столько же мыслей и мыслей от читателя. Так получилось, что этот читатель я.

Не уверен, что я соответствую этим требованиям, по крайней мере, в текущий момент, потому что болезнь чем дольше тянется, тем, по-моему, больше оглушает, — меня, по крайней мере. Так что Вы примите, пожалуйста, моё первое впечатление снисходя и с поправкой на — т. е. именно как первое впечатление.

Ну вот. Теперь о тексте.

Я не писал о предыдущей главе, потому что — ежели писал первое письмо сразу о трёх главах, это уже что-то, в смысле — обобщающийся хоть отчасти массивный фрагмент, то какое имею право рассуждать опосля того об одной след. главе? В сущности, это значило бы — нарушить то правило игры, которое сам же себе назначил.

Ну теперь их по крайней мере две, а если сложить с предыд. тремя, то уже 5 — и притом это вся 1-я часть. Т. е. проглядывает уже — не сюжетно, но художественно — целое.

Значится, так.

Для начала я перечитал все главы подряд за несколько дней до того, как сейчас пишу. Потом постарался их забыть, чтобы абстрагироваться от конкретики и прочувствовать только общий вкус и послевкусие; думаю, мне это удалось, потому что 4 дня экскурсий подряд — Мюнхен и снова Брюгге — отвлекает, а потом по дороге опять «вставляет», но уже в общем. Почему я думаю, что это важнее на первый раз, — потому что всего важнее вообще «величие замысла» — и его воплощение, конечно, но — в связи с «общим планом».

Итоги.

Первое. Текст нигде не зависает. Я бы сказал, текст, напротив, ускоряет сам себя — и к 5-й главе несётся галопом, хоть и отсылая по ходу скачки, а там уже и отрыва и полёта — всё время к себе же назад (в этом прелестном контрапункте поступательно-возвратного лёта видится вообще характернейшая особенность Вашего стиля).

Второе: ощущение романа, т. е. живое погружение внутрь некоего живого пространства, трёхмерности (а не плоскости статьи, трактата и пр., которая, как, например, декоративные плоскости ковра, вышивки и пр., м. б. крайне интересной, красивой, блестяще-по-своему-художественной — например, великолепная книга Белинкова об Олеше, — но всё же остаётся плоскостью, как ей и положено, и в этом не её минус, но в этом плюс романной формы, формата, говоря, как нынче на Руси повелось: если та состоялась — мы в ней живём — или умираем, пока читаем.) Т. е. эффект романного — а не какого-нито ещё — «погружения» — всё время здесь, всё время ровно, всё время никуда не денешься.

И ещё.

Станным образом Ваш текст у меня воскрешает в памяти когда-то многолюбимого Фолкнера; странным — потому что ничего похожего на Вас, да? А тем не менее.

Я у него давным-давно подметил (особенно в «Шуме и ярости», а потом позже по-другому — в «Деревушке») особенную, не похожую ни на кого манеру повествования — и меня это к нему особенно привязало.

Имею в виду не вообще фолкнеровский способ письма, а конкретно — эффект вот какой. Там то сами герои, а то окружающие их второстепенные эти фермеры сидят, щепочки строгают и беседуют — и из их беседы-то мы все подробности жизни героев и узнаём; т. е. какие-то подробности — от героев, а какие-то — от хора фермеров. И притом как они все, и герои, и хор — разговаривают? Это сплошной междусобойчик; они не знают, что их для того ввели, чтобы они читателю что-то поведали, — они просто не догадываются, что их кто-то слышит, и ля-ля просто о своём — якобы. Т. о. читатель получает пунктирную информацию — что-то ему предстоит узнать ещё впереди, восполняющее пробелы — и тоже пунктирно; а что-то, т. о., самому восстановить недостающее, какие-то пропущенные звенья: исходя из не пропущенных, напрячься, связать воедино, восполнить усилием проникающего чтения. И вот — достигается эффект повышенной читательской вовлечённости; это такая требовательность к читателю, которая не элитарна (подобно

Джойсу), т. е. не требует повышенной эрудиции и выдающегося Ай-Кью, а только того, чего и можно требовать от другого — если уж вообще требовать: полюби ты меня чёрненьким-непонятненьким (понятненьким-то меня любой дурак полюбит); взялся меня читать — значит не просто же так, ты чего-то от меня хочешь, ну и я от тебя чего-то: если ты и впрямь мой читатель — полюби меня, сроднись со мной, в смысле напряги понимание, чутьё, слух в свою собственную, доступную, но полную меру, и тогда всё само собой, оставшись непонятным, делается понятным, потому что родным, как в твоей собственной жизни.

При этом Фолкнер действует и кнутом, и пряником — и тем, что стыдно в ответ аффтару не сделать усилие ума-чувства-воли, и тем, что это окупается, и с какого-то момента становится жутко интересно его делать: нас увлекают-вовлекают — и вот уже вовлекли, и мы уже сами не можем остановиться — в какую-то интригу, в какое-то совместное расследование.

В общем, это сильно четырёх-мер-мир-изирует, надувает живым ветром баллон романа.

Почему я об этом говорю — потому что вижу своим подслеповато-катаракто-астигматическим взглядом у Вас неожиданно сходный — хотя совсем другой, совсем свой эффект «кнута и пряника».

Т. е. одной из главных примочек ведения рассказа является то, что аффтар словно бы не опускается до объяснений: что за тайна в биографии матери Натальи Гончаровой? Что за — вот это упоминание? Вот эта историческая аббревиатура? Вот это якобы всем памятное число, дата — а читатель (я-грешный) и не упомнит такую дату? — вот эта отсылка — куды? — в начальные главы? или за кадр — в «гипертекст»? Аффтар упомянет то или иное по ходу текста, гона, лёта — и мчит себе далее.

Словом, на лету привет от аффтара: ну, ребята-демократы, читатели мои золотые-медовые, вы сами знаете, кто ж этого не знает, когда всем положено знать, — а нам некогда, поспешим дальше, держа в уме то, что я всем известное напомнил. А читатель...

Читатель поставлен в то положение, в какое поставлен д'Артаньян, впервые угодивший в приёмную де Тревиля и увидевший, как на лестнице какой-то мушкетёр шута отбивается от троих своих приятелей; более того, читатель попадает внутрь этой драки, и его самого заставляют отбиваться от двух-трех мелькающих спереди-сбоку-сзади шпаг: отбивайся, бросили в воду — плыви, захочешь — сумеешь, а нет — заколют, извини.

Тут, конечно, первый жест души: а меня не спросили! С какой стати должен я знать всё это, что-то такое помнить про каких-то карлов 10-х, полевых и пр. здешних персонажей, все эти фактики в мире Галактики, и отзываться на все эти тонкие намеки на толстые обстоятельства — не моего ума дело. И как аффтару не стыдно меня напрягать, когда, допустим, у меня и без Полевого (который к тому же совсем вовсе не Пушкин и не пол-Пушкин) проблем хватает. Нашёл бы своему таланту цель посерьезней.

Но тут же — если, конечно, читатель — человек мало-мальски интеллектуально честный и не совсем ещё обессовестнел, — тут же в мозг входит: не автору, а тебе должно быть стыдно! Ведь он тебя, любого тебя, кто читать станет, с открытой душой любя и уважая, считает не только равным себе, но и полноправным членом нашего садика, сада российской словесности; он-то считает тебя не залётным здесь фраером, а вором в нашем законе; а ты? ты здесь кто такой на самом деле? Так что давай вникай, давай работай, грузи себя по полной программе — тем более что, если честно себе признаться, есть во что вникать, есть для чего напрягаться, да и автор всё сделал, чтобы на самом деле ты уже, поднырнув, наживку заглотнул — и уже не остановиться.

Т. о., с одной стороны, пробуждая в живом объёмном (хоть и не объёмистом, а сжатом, в формате МПЗ, где на одном диске сконцентрировано 10–12 дисков) пространстве у читателя живое же, зрячее чувство стыда, а с другой — интригуя его и подхлестывая в нём живой интерес, Вы и «гоните» текст в обе стороны — а за ними гонит и читателя под парусами сразу с норд-веста и с норд-оста, и бедного читателя разрывает на все четыре ветра, но для его же удовольствия, это такой экстремальный спорт — одновременно в будущее и прошлое сразу (этот «фокус», кажется, называется «бустрофедон», правильно? или я уже всё на свете забыл? но как бы оно ни называлось, Вы этой штукой пользуетесь совершенно виртуозно), опрокидывая и то, и другое — в настоящее.

Так что в смысле качества текста — он упруг и летуч, и кручена-закручена-туга пружина.

Теперь.

Это самое «настоящее» является необходимой компонентой такого ведения рассказа — и чтобы его достичь (а читателя настичь), автор рассыпает целый ворох (или разворачивает целый веер) молниеносных атак сегодняшнего со стороны вчерашнего; так что читатель повернуться не успевает, а его уже бац-бац-бац — и наповал: как всегда, отточенными до афористичности формулировками,

классными парафразами, а главное — самой этой веерностью одновременного со-положения фактов, обычно в мозгу читателя (в моём, опять же) разнесённых по отдельности; тут особенный блеск — 1830 год: сразу, симультанно — Болдино, июльская Революция, Карл X, великолепный Полиньяк, внезапный (кто ж, вспоминая о пресловутом и славно-велико-триждывеличайшем эпизоде в Болдине, поминает тут же другого кого великого? помянуть тут, даже просто в пандан, Анри Бейля, да и не с чем-нибудь, а с «Красно-черным», это всё равно как, по Хемингуэю, в присутствии Гертруды Стайн помянуть Джойса — «как в присутствии одного генерала похвалить другого») Стендаль — и совсем уж внезапно, совсем уже вдруг до полной непредсказуемости — «испанский король Поприщин». Стыдно сказать, но мне в голову не приходило озаботиться вопросом: а почему, в самом деле, он заговорил в последней своей фразе об алжирском дее? кто сей дей? откуда именно он в бредовом-то сознании возьми да и возмись? С какой стати Поприщин *так именно*, а не по-другому сходит с ума? Ну и поскольку всяк по себе судит, смею предположить, что и не только для меня, но и для вообще т. н. «культурного читателя» эта и ей подобные эскапады-экспансии будут — прорывом, неотразимым натиском (огнём и мечом неожиданных — именно что — «эпиграмм») — на его, читателя, умы и сердца.

Что тут греха таить, не побоюсь этого слова, прямо скажу, со свойственной мне солдатской грубостью и простотой: умение видеть общую картину вещей и сопоставлять неожиданные в конкретике своей, «далековатые» в читательском сознании вещи — одно из авторских свойств, доводящих читателя, буде он вообще восприимчив и не расслаблен сознанием (а другие просто читать этого не будут — глянут и отложат), до обалденного кайфа.

Всё это совершенно замечательно и вдохновенно.

Хотя в одном пункте, по-моему, рискованно.

Хотя в данном случае — самоочевидно необходимо.

Т. е. тут две стороны луны; и если светлая — по определению светла, то тёмная — кто ж её знает, какая на самом деле — для этого сначала надо подлететь-залететь туда, под ту сторону. Надо, значит, опубликовать роман-трактат и дожидаться реакции всех людей (не)доброй воли. Парней, допустим, всей земли.

Я что имею в виду? Сейчас попробую сказать... вообще это не просто.

Попробую вот как... Стало быть. Ясен пень. Японский перец. Тьма египетская. Едритская сила...

Так вот — ясен пень: за счёт предельной актуализации прошлого, глядящего, как в зеркало, в воду настоящего, всеми посиль-

ными способами — а посылно Вам, при такой особой «сетчатке глаза», много-многое — Вы и достигаете предельного же эффекта оживления этого самого прошлого («Уже Лафайет слез с танка» — вот именно; умора; супер! И с конституцией — тож; и пр., и пр.). Т. е. вместо о-странения (которое предпочитает, например, кто бы... ну, как мне кажется, Герман хотя бы в «Хрусталёв, машину!»), для чего и снимает чёрно-белое кино — воссоздавая прошлое как предельно достоверное, но где-то чужое, такое чужое-своё, как потёмки — чужая душа, даже родная, давая прошлое как полупонятное уже безумие, глядя на которое мы с ума не сходим — трезво ужасаемся), Вы даёте окунание-погружение в прошлое как своё-совсем наше, как цветное кино.

Ваше не только полное право, но — абсолютно полноправный приём-стиль-способ (в конце концов, «стиль — это человек»). И если Вы его используете на все 250, то — честь и хвала. Герман снимает чёрно-белое кино про прошлое, а Тарковский — цветное «Зеркало» про то же прошлое — куда более настоящее и не менее художественно высказанное.

Однако тут у нас замешалась конкретная русская история более чем 150-летней давности и реальные исторические персонажи той же давности; и если нынче ломают страшные дреколья кто ни попадя в Интернете, от ветеранов до молодых — и не очень — интеллектуалов, а также молодых идиотов по поводу т. н. ВОВ у Михалкова в «УС-2», и вообще: что это была за война, «трупями завалили» или «великая победа народа» (и, скажем, умный ветеран Окуджава считал — первое, а умный ветеран В. Богомолов считал: всё же — второе, хорошее его выражение — «делали войну»; да, косточками русскими завалили и железную дорогу, а мы всё ж по ней ездим), а ведь это было всего 65–70 лет тому назад, у меня непосредственно дед погиб под Смоленском, отец всю войну прошёл, всего одно поколение позади, значит, а фига с два однозначно скажешь, и те правы, и другие, и эти не правы, и те, как поёт Гребенщиков, «я не могу занять сторону: я не знаю никого, кто не прав», — то как сегодня объяснить однозначно происходившее в 1830-е годы?

Снова: писатель вовсе не обязан быть сколь возможно субъекту объективным; скорее он, в отличие от академического историка-объективиста, обязан быть субъективным, субъективно-честно-пристрастным; в этом — вся его любовь, пусть враждебным словом отрицания, в этом весь его ясный огонь, горение, без которого и текст не «жжот» (самое лестное определение кино, музыки, стихов у нынешних интернетчиков — тоже ведь дело понимают). И писатель вовсе не обязан принимать во внимание все возможные

точки зрения на того же, допустим, Николая 1-го; ему, при условии некоторой компетентности (об чём в Вашем случае смешно и говорить, это условие обналичено на все 380), достаточно иметь свою.

Не говоря уж о том, что, повторяю за кем-не-помню, стиль — это человек, а этот «бустрофедонный», заточенный и летучий стиль, который меня лично восхищает, просто невымыслим без отточенного же о-сегодняшнего вчерашнего, а значит — изначально, структурно, парадигматически заданной однозначности понимания. Это такая однозначность в хорошем смысле, позволяющая скальпелю резать то, что ему положено резать; будь он неоднозначен — он бы отупел. Без этой предельной заостренности текст лишился бы всей своей органики и всей своей особенности.

Но и у читателя есть свои права; в том числе право и на неоднозначность понимания.

Я, например (как видно и из моего же текста о Вас в «Заруб. Зап-ках» № 20), отношусь к Николаю I более примирительно и вообще менее жгуче. Мне и он, и созданная им система власти представляется негативной (по её итогам), но, по сравнению не только с большевиками, но и с тем, что было бы (как мне представляется, конечно), если бы власть взял какой-нибудь полковник Пестель (вот кто собирался солдатскими поселениями всю Россию покрыть), — николаевская власть кажется мне... ну, скажем, менее людоедской. Скажем, хотя бы субъективно не-людоедской — ведь он таки пачками людей в распыл не пускал и удивился бы, что можно поставить себе такую цель — превратить войну с чужими в войну своих со своими; или — что можно и должно в своём же отечестве всех и каждого повязать круговой порукой и сделать заложниками всех и каждого — а для начала (довольно затянувшегося) — взять поболее первых встречных прилично одетых людей и отправить их в подвал, на расстрел или в узилище, просто чтоб другим неповадно было; или... — и так далее. Нет же. Т. е. главное: он совсем не всегда мыслил большими числами, а всё же — и каждым человеком. Он долго вел следствие и повесил всего 5 человек, — Вы скажете: ничего себе всего! Да ведь каждый из этих людей и вообще каждый человек — бесценен! Ещё бы мне с моим пресловутым христианством, принёсшим миру единственную истинную абсолютную скалу ценности — не народа, а личности, — ещё бы мне не согласиться с Вами. Но вот я позволю себе на минуточку в порядке бреда представить, что на площади перед Вестминстерским дворцом вместо присяге королеве Виктории — «сто прапорщиков» бунтуют народ сотнями, взбунтовали уже целых два полка, убивают в упор лондонского генерал-

губернатора, всюю палят в сторону самой королевы — значит, как показывает затем следствие, и впрямь не шутя собирались и едва ли не — угрожать меня, значит, королеву Викторию, да ещё и, похоже, со всей фамилией, «всю великую ектенью». И тут, кажется мне (не Виктории, а Ю. М.), не то что существующий закон о повешении таковых злоумышленников был бы применён безо всякого якова типа амнистий, а под него безо всякого двуличия и лицемерия, а в полном сознании, что дура лекс сед лекс, подвели бы десятка три-четыре из таковых смутьянов и головорезов — и главное, королева Виктория спала бы куда более спокойно, чем Николай из-за этих пятерых (да, Вы правы — не захотел бы он вернуть себе душевный покой ценой *неубиения* тех пятерых; но уже то, что он казнил совестью из-за них, тогда как другие на его месте не казнились — впрочем, кто знает, но всё же-всё же-всё же — и куда большими числами, говорит о том, что он мыслил не всегда «многими», но, бывало, и «каждым»); у Агаты Кристи мисс Марпл отправляет на виселицу очередного гада спокойно и с чувством удовлетворённой справедливости, и чувствует и читатель, что писатель некоторым образом согласен с героиней, а национальный британский читатель, в отличие от меня, испытывающего чувство некоторой подавленности, согласен с писателем и опять же героиней; а историки, видя, что викторианская Англия в целом процветала, как мало когда, отнеслись бы к инциденту при начале Викториных славных дел — снисходительно; да и за её пределами — многие историки, и не обеляя Наполеона в деле с расстрелом герцога Энгизмского, суммарно, так сказать, считают его — до поры до времени — всё же Героем.

Второе. Власть Николая была не самозванной, а — органичной, вытекающей из предыдущего правления не катастрофически, а всё же — эволюционно, не однозначно тормозящей и только давящей, а и — как-то по-своему готовящей российское сознание к будущей отмене креп. права («Указ об обязанных крестьянах» 1842 г., как многие пишут, «фундамент отмены крепостного права») — а запросто мог бы он, взяв как следует власть, вообще этому делу перекрыть кислород; систематизация государственных законов; железная дорога — его идея, им же претворенная в жизнь... в общем, можно и толковое, и уважительное о нём вспомнить.

Т. е. я не апологет Николая только потому, что я православный, а он — «православный Государь». Он был реакционер, солдафон и всё прочее (хотя то же, при желании, можно сказать и о Франце-Иосифе, да и кого ни возьми из современников Н. 1-го, — впрочем, и это ничего не доказывает). А итог — Крымская война, а ружья кирпичом чистят; никто не спорит.

Однако даже ненавидевший его Герцен говорил, что Николай всё же в определенном смысле был «европейцем на троне». Всю жизнь бывший в оппозиции к нему Хомяков на смертном одре говорил, что Николай-то во многом оказался прав, а он, Хомяков, не прав.

Это не значит, конечно, что Николай на самом деле был прав, и вообще не значит, что я ссылаюсь на авторитеты; нет, «это не наш метод»; но я только хочу привести живые свидетельства живых и честных, и неглупых людей — что-то же они значат.

Например, ещё такое: «Глубоко искренний в своих убеждениях, часто героический и великий в своей преданности тому делу, в котором он видел миссию, возложенную на него Провидением, можно сказать, что Николай I был донкихотом самодержавия, донкихотом страшным и зловредным, потому что обладал всемогуществом, позволившим ему подчинять всё своей фанатической и устарелой теории и попираť ногами самые законные стремления и права своего века. Вот почему этот человек, соединявший с душою великодушной и рыцарской характер редкого благородства и честности, сердце горячее и нежное и ум возвышенный и просвещённый, хотя и лишённый широты, вот почему этот человек мог быть для России в течение своего 30-летнего царствования тираном и деспотом, систематически душившим в управляемой им стране всякое проявление инициативы и жизни».

А. Ф. Тютчева. Придворный толковый человек.

Отчётливо «диалектическое» мнение Тютчевой, которая, во-первых, является серьёзным, осведомлённым свидетелем по делу, а во-вторых, свидетелем, ясно и трезво мыслящим (что доказывается хотя бы её словами о собственном отце — страшная картина похотливого рамоли без прикрас) — я лично принимаю всерьёз. Тютчева выносит-таки приговор, и вполне однозначный и суровый, но — приговор исторической роли Николая, его месту в российской истории, а не его человеческому облику, в котором находит немало опять же человечески хорошего и даже донкихотски-высоко-безумного, что именно, по её мнению, и портит его историческое «делание» — политика требует совсем другого подхода к жизни. Но он у неё не негодяй, который однозначно не заслуживает вообще никакого уважения.

Или вот: «Император внимательно следил за процессом над участниками декабрьского выступления и дал указание составить сводку их критических замечаний в адрес государственной администрации. Самые первые его шаги после коронации были весьма либеральными. Несмотря на то, что покушения на жизнь царя по существующим законам карались четвертованием, он заменил эту

казнь повешением. Из ссылки был возвращён поэт А. С. Пушкин, главным учителем («наставником») наследника был назначен В. А. Жуковский, либеральные взгляды которого не могли не быть известны императору. (Впрочем, Жуковский быстро продемонстрировал свои верноподданнические чувства. О событиях 14 декабря 1825 г. он писал: «Провидение сохранило Россию <...> По воле Промысла этот день был днём очищения <...> Провидение было со стороны нашего отечества и трона».)

Это я скопировал из «Википедии» — не как шедевр и снова здорово непререкаемый авторитет исторической мысли — понятно, что «Википедия» как продукт народного творчества — и спецов, и неспецов-любителей, и кого угодно — в чём угодно может врать; а — как предмет для разговора, как образчик *сегодняшнего коллективного народного творчества исторической мысли*. И я бы не сказал, что это «творчество» примитивизирует предмет — или особенно идеализирует его. Можно возмущаться тем, что в своде законов Российской империи — к 1826 г. — вообще было четвертование; но если бы оно на 1826 г. было в самой цивилизованной стране Англии, то в сходной ситуации просто так его бы ни на что «более мягкое» не заменили; очень даже могли бы применить его на полную катушку — инцидент есть инцидент, прецедент есть прецедент, закон есть закон.

(Очень бы не хотелось выглядеть в Ваших глазах садистом-живодёром; надеюсь, Вы понимаете, что я этим никого и ничего не оправдываю — а только пытаюсь понять логику времени и представителей этого самого времени.)

Я понимаю, что у Вас есть очень много чего добавить к мнению фрейлины Тютчевой, чего она документально не знала, а мы теперь имеем куда более полную картину вещей; да Вы и говорите — о двуличии Николая, одному говорящего по поводу республиканства одно, а другой — другое; я этого, например (как, возможно, и свидетель Тютчева), не знал. И на меня это произвело впечатление — теперь я подумаю, да и её бы пригласил подумать, так ли уж был покойный рыцарствен и такой ли уж редкой честности человек — м. б., как раз более редкой, чем ей казалось. Мастерское актёрство во время ведения им допроса декабристов говорит о том же. Но она бы ведь на это запросто могла, если бы удостоила, мне ответить: и самый честный человек, а уж подавно политик, не равен себе: бывает, надо ему — и он дипломатически и целесообразно врёт, не желая того и не любя это в себе. Говоря, что такой-то был честен и благороден, а такой-то двуличен и низок, мы имеем в виду скорее равнодействующую его жизни, нежели те или иные конкретные поступки. Будто бы Черчилль всегда

был благороден и человечен, будто бы он не выдал Дядюшке Джо много-много живых русских семей (всё Войско Донское с чадами и домочадцами), прекрасно понимая, что это значит, и будто бы не он, в первую очередь, забомбил в каменный век Дрезден, бомбил Падую, Равенну — эти-то в чём виноваты? итальянцы не бомбили Лондон и Ковентри; разнёс в щепы Зальцбург; будто бы не он... но, в отличие от некоторых современных ему государственных деятелей, — он таки подлинно велик...

Я бы снова и снова хотел «отмежеваться», чтобы быть правильно понятым: сам я в настоящее время не собираюсь заниматься никакой поэтизацией-идеализацией ни российских самодержцев, ни вообще «России, которую мы потеряли». Я вполне понимаю Вас: у российского мыслящего, даже и не очень знающего, а так, кое-что, человека вроде меня — есть немалый список того, что может быть предъявлено, в частности, Николаю Павловичу. А уж у знающего человека, как Вы, — эта предъява, наверное, более чем обширна...

Но я понимаю и тех, кто сегодня смотрит несколько иначе на вещи, судя по той же «Википедии», да и не только. Им мнится, что сейчас идёт другая драма, не другая-та-же-самая (в чём я больше согласен на сегодня с Вами: героические времена неофитства, когда казалось, что православие неотделимо от самодержавия и народности, 81-й год, когда акт крещения, помимо главного, был ещё, натюрлихь, и вызовом богоборческому совинтернационалу, — эти времена позади) — а совсем другая. И они видят Николая по-другому.

Я тут в раздвоении — и потому ясно вижу обе «правды».

Это я говорю, ещё раз, не в плане критики текста: он превосходен в превосходной степени (единственно, как тоже частное лицо со своими вкусами: жаль, что такие непредсказуемые пируэты, как неожиданнейший смешной-трагический-метафизический пассаж о кашалотах — такие офигительные — блям-с! — «выходы из-за печки» ещё другие не возникают; но в тексте и без того полно перлов, а всё время такие номера откалывать... достаточно и одного), — а просто чтобы превентивно, чувствуя спинным мозгом, что в воздухе носится сегодня, предупредить, что может быть такая критика, например: не надо осовременивать историю, каждый период и каждый деятель несравнимы, поймём прошлое как прошлое, а не как настоящее, и тэпэ.

Поэтому, я очень надеюсь, наши с Вами частные историко-политические разногласия не помешают нашему человеческому и литераторскому, осмелюсь сказать, приятельству, как не помешали ему и разногласия религиозного порядка; тем более что я

всегда открыт для пере-убеждения, я знаю, что многого не знаю, и если Вы меня «поставите перед фактом», факты эти меня за милую душу могут «перепахать».

А в общем, важно не это. У всякого точка зрения — своя (да и моя расходится с Вашей только в отдельных пунктах). Важно, как кто её воплощает — художественно или нет. В смысле же искусства, повторяю ещё раз, всё куда более чем. Текст — очень *Ваш*, а это главное. Как говорил какой-то цадик по имени Йезкель в «Хасидских сказаниях» Бубера: «Меня на том свете Господь не спросит, почему я не был Моисеем или Авраамом; а спросит, почему я не был в полную степень Йезкелем».

С повышенным интересом жду объявленного продолжения — и подумать не мог, что меня когда-нибудь так заинтригуют фигурой Николая Полевого — а в связи с ним и Пушкина (а не наоборот, в связи с Пушкиным — всех его современников, как обычно), и др.

Всегда Ваш, Ю.М.

3.

20.08.10

Извините великодушно, что не писал: был «на объекте» или, скорее, «на территории» (величиной с Бенилюкс — возил гружёными автобусами живых людей в Амстердам и Брюссель, а объект этот, эта территория, Бельгия с Голландией, что показано российскими географами, — примерно с 2 отдельно взятые Рязанские области, только живут в двух сев.-зап.европ. Ряз. обл-тях — 25 млн. чел.). Но вот у меня, кажется, 2-дневное окно; я сел-прочёл-перечёл к тому ж главу 6-ю — и вот.

По-моему, всё более чем. Если, разумеется, судить автора по законам, им самим назначенным. В противном случае — текст, конечно, какую-то часть даже и серьёзно читающего народа не то что заведёт, а доведёт до ручки. Во-первых, огнём, я бы сказал, неожиданных амальгам: соединением предельного серьёза с приколом на отрыв. Незапно вальс переходит в камаринского — и пошли плясать целые губернии не появившихся на свет мужиков в кондомиках заплатах, а тот камаринской — в галоп: совсем вдруг из-за угла скачет страшно навстречу пушкинское тело по потрясенной воздушной-мостовой (или Моховой? А тогда уж и Малой Бронной). «Вдруг стало видимо далеко во все концы света» — или что-ттто т-такое...

Да, на такие темы положено писать серьёзно, пусть не академически, пусть с тонким юмором и толстой сатирой, но душевно

и задушевно. А в нашем случае автор — более чем ершист, зубаст и колюч. Он — издеватель. Плохой он человек. Не иначе как у него болит печень.

Вот, собственно, что я чувствовал, читая это дело: те, кто не любит Достоевского при помощи априорной-генетической или ещё какой (вот Л. Щ. его сильно недолюбливает — я даже подозреваю, что она изначально гармоничный человек, и если бы не советская власть ды еврейский вопрос — была бы просто чистойшей прелести чистойший образец; но, кроме шуток, она его не так чтобы очень — при полном понимании масштаба фигуры) нелюбви к нему (интересно, что это никак не уменьшает её любовь к Вам), — те, мне кажется, поймут-прочувствуют эту вещь не до конца. Это чисто личное, впрочем; но всё же — есть мнение: на дне, в осадке прочтения — именно не в остатке, а в осадке всей взвеси — у меня ощущение, что «плохой человек с больной печенью», т. е. подпольный человек ФМД вдруг встаёт во весь свой истинный рост неподпольного человека — и всех, кого он закомлексованно позавчера ещё побаивался и обходил, передёргивая плечами, — сегодня вызывает на дуэль и укладывает одного за другим.

Это особенно вдруг выступает, просто вопиёт именно из главы 7 — и тогда видишь и предыдущие в новом свете, и тогда происходит именно то, что и надо, а именно... Ну, скажем... Вы пишете, что не можете никак сменить темп; а между тем Вы именно его меняете в 7-й главе. То есть получается вот такая вещь: в плане содержания рассказа, его сюжета всё оттягивается — и ретардация даёт возможность ввести по ходу авторского отступления ещё героев, Уварова там и Вигеля (и это высокотехнично работает на расширение объема грудной клетки повествовательного пространства); тогда как в плане манеры рассказывания всё страшно убыстряется, отчего напрягается, натягивается, полуживописные мазки окончательно переходят в гравёрные отточенно-резные линии. Идёт жуткое убыстрение — за мной, читатель! Подробности потом разжуёшь, коль сможешь, некогда, вспоминая на ходу, напрягай извилины по дороге, кто таков А. Петров, где ты слышал это фамилие, нету времени, как говаривал тот же Петров, да не композитор Андрей Петров, дурья твоя головушка, а тот самый, что «инда побредём, матушка», а мы полетим — не побредём! Форвэрд, сказал д'Артаньян капитану судна, и они понеслись через Ла-Манш; а другой зарулил сквозь Ла-Манчу; а третий взорлил кругами и сузил их, стервячьим прицельным глазом высматривая сверху 1831 год в России...

В смысле убыстрения до цветаевской концентрированной беглости — дальше остаётся только вычёркивать посредством бесчисленных тире подлежащие и сказуемые, сохраняя только

обстоятельства — и то не все — места, времени и образа действия, — в этом смысле автор блестяще решает задачу, им самим себе поставленную, заявленную в нач. 7-й главы: быть быстрым настолько, насколько живым. А раздвоение, вот это убыстрение = замедление — создаёт поле напряжения... не знаю, знаете ли Вы и любите ли рок-музыку, скорее вряд ли, а там есть такое явление, как любимый мною Джими Хендрикс, полоумный гений электрогитары, который ухитрялся одновременно вести как бы две темы — одну созидающую, а другую одновременно разрушающую то, что сам же в тот момент и созидал. Это создает совершенно особую энергетику, отличающую гения от простого великого виртуоза.

И вот в этот разгон и вихрь вносится туда-обратное, обращённое навыворот к себе-другому, задирающее, желчно-ехидное и тем-то болезно-живое словцо подпольного человека достоевского, человека, затравленного другими через самого себя: через то, как он сам понимал других в отношении себя. Словцо это, словоерс, множится на скорость — за каким хреном? Что кинул он или кто кинул его? За какую невообразимую цену автор с протагонистом отказались от филармонически-гармонически-напевно-широко-плясово-лиро-эпического темпа, соприродного пушкинистике? Паччиму диссонанс вместо ассонанса-консонанса? Что ищет он в этом желчном вихре сломя-головного даже для Тынянова скока? Ну куда, ну куда он гонится?

Может, вослед тени промелькнувшего в этом вихре, в мыле того же галопа скачущего трупа Пушкина?

А между тем автор призывает читателя в собеседники, периодически спрашивая: «Помните?» Тогда как ответить, помнит он или нет, читатель может только на ходу, попевая за автором или нет. Отчего у читателя рождается одышка и колотьё в боку. Он пыхтит, как Винни-Пух в роли Евгения Леонова. Может ли такой читатель не раздражиться, даже если он, допустим, что-то и помнит? Поэтому ждите — Вас будут вызывать на дуэль благородно непонимающие и ехидничать за глаза неблагородно понимающие. По техническим причинам, как ответил, помнится, Лотман на вопрос, почему в Библии евреи упоминаются всё время, а русские ни разу.

Но таким, как я, т. е. моего и моложе на поколение, людям, т. е. воспитанным «по духу времени и вкусу» на продвинутом прогрессив-роке (он же арт-рок, барокко-рок) и джаз-роке (а также фьюжи) — манера эта, стремительная сверхскоростная инструментальная игра с расслоением импровизаций, такое «догонялово» друг другу вослед и все ускоряющийся по ходу темп при чётком отстукивании ритма — представляется более чем съедобным —

вкусным. Провокативный же напруг, требующий усилия от читателя, вкупе с большой желчно-сладостной нотой, «вкусовой нотой», делают её чрезвычайно живой. Т. е. я, натюрлихь, говорю только «за себя», но думаю, что у меня найдутся единомышленники — из тех, что состарились умом, а не сердцем.

Опасаясь, словом, не того, что Вы никак не сможете сменить темп, — а — выдержите ли Вы дальше такое ускорение темпа («быстрее как только можно, и всё-таки в конце — ещё быстрее»)? Не полетит ли мачта от такого сверх-надувания паруса? Или Вы собирается, перевалив за половину, плавно замедлять ход? Или как?

И тут есть ещё момент, о котором замечательно выразилась Л. Щ.: «Этот текст заархивирован». Именно что. По концентрации и пропускному, дискретному лаконизму, я уже говорил, текст под статью цветаевским (разумеется, при полнейшей его оригинальности — в этом плане он похож только на себя-петуха). Опять контраст: герметичности всякого архива-зипа-сейфа — и живого сегодняшнего языка. Ещё одно высоковольтное поле.

В общем, всё клёво — «Вы, сударыня, имеете всё и даже более». Что ещё сказать?

Разве вот: мне кажется, то, что Вас ставят в такие тесные временные сроки, в данном случае (как и в случае с тем же ФМД) только благотворно. Вы же сами назначаете себе быстроту в качестве критерия живаго — вот Вас и вынуждают этому соответствовать. И результат на все двести. Хотя, конечно, мучительно, но, увы, служенье музам само порою так колотит — и всякое такое. Искусство, что ни говори, и в самом деле требует жертв. Тривиально, конечно, а что делать?

Как завязатого пешехода, а не, в отличие от моего сына, автомобилиста, меня интересует драйв только в музыке и словесности.

Посему остаюсь в повышенном ожидании следующего параграфа,

Всегда Ваш

Ю. М.

4.

22.10.10

Пишу, как уже сложилось в неясную, но ощутимую традицию, «внутреннюю рецензию» на две последние главы скопом. Стараясь держать в вымывающей памяти предыдущие.

Наверное, буду краток (для себя, своего чувства — точнее, нечувствия — формата): труба, так сказать, зовёт, в смысле сезон ещё не кончился. Написаны обе главы — 8-я и 9-я — по мне, так в равной степени классно и стильно.

И именно это интересно до самого зела (хотелось бы знать, где оно, это «зело» размещено): я бы, будь я преподавателем Литинститута (от чего на самом деле Боже меня упаси!), разобрал пристально оба эти текста компаративно: вот случай, когда один и тот же, ярко, фирменно окрашенный авторский аффтар, мастер русской словесности на рубеже таких-то судьбоносных веков такого, если не сякого, тысячелетия Анно Домини, один и тот же! в рядом стоящих, т. е. почти одновременно написанных двух главах одной и той же вещи. Пишет на одном и том же высоком уровне мастерства как ремесла, и даже на одном и том же глубоком уровне мысли, и всё такое.

Ага. А вот тут фенька, фишка, заморочка, примочка и торчок: качество-то текстов в смысле уровня мастерства как художества, как воплощения смыслов — одинаковое (я вообще-то не люблю понятий «форма» и «содержание» применительно к словесному художеству — бывают вещи вполне содержательные, как там «Не хлебом единым», — и малосмысленные; а бывают малосодержательные — ну, Добычин, — а притом имеют тёмно-глубокую смысловую перспективу; а Зоценко? содержания — на грош, чего не скажешь о смысле; поэтому, как Бергсон заменяет в живописи «форму и содержание» на «осязательную ценность», я предпочитаю «оформленному содержанию» Гегеля — свой доморощенный «воплощённый смысл»). Т. е. перепада формы, мысли, «уровня звука» — нет; а вот *само* звучание — разное. Во втором случае (9-я глава) — просто (если кому просто — пусть повторит) качественный текст. Более того, он здесь совсем не лишний, не пустой, не «ликвидирует прорыв» на порожном мастеровитом «приёме» и не ставит «башмак» на прохудившейся трубе бачка. Т. е. он сделан-то на приём, но приём артистическом. Он осмысленно расширяет пространство повествования, ведёт ещё и по этой боковой, но не третьестепенной дорожке. В нём, впрочем, есть некоторое чуемое (может, и напрасно, только приписываемое тексту отшибленным моим от текстов чутьём) головное напряжение, как будто автор по дороге раздумывает, какой главной мыслью оснастить эту главу, — но и это представляется, накладываясь на разно-напряжённые энергии предшествующих глав, ещё одной «разной» энергией, ещё одной новой краской тона. Тона несколько натянутого ехидного спора с подразумеваемыми, незримыми оппонентами, если так этих мерзавцев-великанов академически вообще можно назвать. Но ведь и Дон Кихота его борьба с ветряными мельницами только, в общем, красит: без этой краски — какой он рыцарь-бедный? Без глубинного неразумия, с одним плоским рассудком — какого такого он будет образа?

Без Печального он будет — чего? или кого — образом? А без образа образ будет безобразием — и вот умнейший роман Пелевина «Генерация П» так и остаётся умнейшей книгой, но не — Романом.

Тогда как предпоследняя глава — это навзрыд. Ядовитая песнь антипесней. Это то самое, чего хочется. Самая непосредственная, живая глава — и именно романа: здесь вовсю появляется живой, любимый автором герой — и тут же умирает. И как пластично умирает, что приятно. В смысле сладостности оплакивания.

Ведь чего, разобравшись с прозой (хотя бы для себя), ждёшь от русской? Чего в ней есть, чего нет в остальной? После Рабле, Сервантеса, Стерна, Свифта, Диккенса, Лакло, Сада, По, Стендаля, Бальзака, Киплинга, Флобера, Пруста-Джойса-Манна-Музиля-Беккета- итэпэ ВИП — чего ждать от русской (за вычетом персональных эпилептических ноу-хау вверх и вниз, по обе стороны философ-теологии ФМД, относящихся, по-моему, не к российской, а интернационально-патологической специфике всяких Ницше, Киркегоров и Достоевских)?

Да понятно чего, элементарно-ватсон: струны, звенящей в тумане. Чтобы: живёшь-живёшь, а всё холодно, сыро, темно, волком выть хочется, дальняя, словом, дорога — и тут вдруг, с чего бы? Огоньки. Тепло. Смотри-ка, штоф. Выпил вторую, согрелся, чего бы ещё, ну, уже со скукой предсказуемого с-цепи-загула третью... и тут перебор струн. И всё. И ты плачешь от пронзительно короткого счастья. Это оно самое, родное. Российщина-цыганщина-еврейщина. Приплыли.

И вот эта глава — она такая. Дальше ничего не надо (это здесь — а вообще дальше-то как раз надо). Это и есть русское вдохновение — любовь, жалость, грозящий обидчику бессильный-всесильный кулачок Илюши Снегирева. Слёзы на глазах. Плач горя и любви.

Эта глава (с фантастически простым и гениальным портретом Полевого в гробу, с этой жёлтой небритой шеей — и всё!), по-моему, в смысле художественности даже выше Вашей безумной эскапады о кашалотах. По самоочевидной для всякого чувствительного человека причине.

Но — отмотаем назад — и 9-я глава (теперь, после последних пары выписанных изнутри наружу абзацев, мне это стало ясно самому) именно необходима: нужна... ну, *передышка чувства*. И очень хорошо, что именно сейчас — «интермедия». Всё правильно (и это лишний раз говорит, что у художника «модуль» —

в спинном мозгу, он им меряет навскидку): две третьих текста к оставшейся трети, да, примерно? Т. е. то, что египтяне применяли не определяя, а греки сформулировали в архитектуре и вообще в иск-ве как золотое сечение. А у Вас оно на кончике пера (а ведь ещё Кафка говорил, что путь от головы к кончику пера гораздо длиннее, чем к кончику языка).

В общем... а что, собственно, в общем? В общем, я всё сказал, что хотел. Дальнейшее (очередные главы «впредь») — надеюсь, не «молчанье», и тем более не «тишина». Дальнейшее за Вами.

Но я серьёзно и теперь почти окончательно — и уж во всяком случае бесповоротно — уверен в Вашей победе над текстом. В его т. е. не просто удачном (это иначе и быть не может), но близком его завершении.

И жду завершающей трети. Чего соответственно и Вам желаю, как и себе. Потому как — как только Вы этого дождётесь — тотчас и мы тем самым дождёмся того же.

Искренне Ваш, Ю.М.

5.

21.11.10

Не совсем ясно, почему Вы называете эту главу интермедией. По-моему, она — как раз возврат к основному сюжету, о чём говорит и возвращение к главному герою (невзирая на то что герой *этой* главки — Уваров), и, что важнее, — передохнув от взятого темпа, повествование взяло темп ещё более бешеный. Имею в виду концентрацию слога-мысли. Скажем так, сверкание сабли, отбивающейся сразу от двух-трех мыслимых противников и потому посылающей ответные выпады (лучшая защита — нападение, а лучше нападения — только нападение превентивное — чем, по моему ощущению, автор иногда увлекается даже больше, чем стоило бы сегодня: СНОП и иже с ним сегодня, в эпоху Интернета, т. е. «сколько голов — столько умов» — и никаких оргвыводов, так же лишена реальной власти, как и всё высоколобое в эпоху безграмотных и не желающих знать; т. е. всё, что мы сегодня делаем, — это частные прогулки в садах словесности, не более... но ведь и не менее, и тогда Вы совершенно правы, воюя с тенями прошлого: а вдруг это не тени... ну, и нам «не дано предугадать» и всё такое; впрочем, я кажется, повторяюсь — но не бессмысленно: всё мне кажется, что в этой стране все устали, и даже студенты в аспирантуру идти, а аспиранты диссертации

писать, а значит, и снопы навешивать, и даже пайки делить с молниеносной скоростью).

Вероятно, я всё повторяюсь и повторяюсь о темпоритме прозы, но, значит, для меня это агхиважно. Эта скорость — читай удивительное чувство ритма — дорогого стоит; в частности, дорого лично мне. Меня вообще удивляет, что критики совсем позабыли при оценке художественной прозы столь важную составляющую любого искусства, как ритм. О словесном ряде они ещё иногда вспоминают. А вот в области ритма нет нового Тынянова, который напомнил бы о тесноте и единстве не только стихового, но ведь и прозаического ряда. Просто в прозе этот ритм менее слышен, менее сам себя отбивает, но он там безусловно есть, и ещё как властно распоряжается, даром что ямбов и хореев на прозу не нашлось. Ну нету их, амфибрахийев прозаических, а между тем я физически чувствую, когда раз в сто лет пишу (и этому разучиться нельзя — ну всему можно, а этому нельзя), что, сколь ты ни веди строчку, а она сама закругляется — или ломается — или ускоряется — и уходит из-под твоей власти именно ритмически. Ритмически начинается, продолжается и заканчивается — и ты можешь только подчиниться ей, как будто вы с ней вальсируете, и она — ведущий, а ты ведомый; и если ты не подчинишься, сам попробуешь вести — всё, сломано, ты никудышный танцор.

Точно так же я чувствую, что эта фраза должна быть короткой, а эта, рядом с ней, — длинной, и следующая — длинной, но... а там опять — там она сама себя скажет. И всё же не только она меня контролирует (и в этом я вижу недоработку Р. Барта и всех дальнейших по Дерриду и далее: «Смерть автора в тексте», «Текст пишет автора» — ну и тэпэ); так-то так, да не так: и я ведь сознательно её контролирую. Мы с ней сражаемся — и оба дуэлянты; и неизвестно ещё, за кем Господь Бог: за религией Верховного Текста-Интертекста или за старой религией Верховного Творца, подавшего за пот, кровь и слёзы на гривенник «Колодец и маятник» бедному божжу-автору-с-маленькой-буквы, вмерзшему в ледяную канаву.

У Вас это чувство ритма, по-видимому, развито в очень высокой степени, причём на бессознательном уровне, т. е. «оно» само знает, когда коленца выписывать, а когда ограничиться двумя словами. Это оно обеспечивает единство текста со всеми его разнородными выступлениями и отступлениями, т. е. текст какой угодно, но никогда не вялый, всегда сверкает, и если он вдруг замедляется и начинает идти со скоростью шага (как в предыдущей, первой, действительной интермедии), то передохнувшего читателя

следующая глава (о которой речь) снова уносит вскачь, в аллюр 3 креста. Когда бы не в 4. Это всё очень здорово. Снова «аффттар жжот».

До такой степени, что сверхконцентрированный лаконизм изложения неизбежно (в таком темпе объективистом быть нельзя, не выйдет) «полемически заостряет». Высказывание становится категоричным до такого зела, что так и тянет читателя в ответ на эту интеллектуальную провокацию, на этот вызов дяди Сэма взметнуть вверх свой волосатый кулак. Но пасаран!

Заметьте, я опять повторяюсь. Значит, не зря. Значит, заело.

Собственно, я сам не до конца готов продумать тезу, которая мне сто лет не даёт покоя, но чем её продумывать — до того тяжело даётся, — я сам предпочел себя перевезти по ту сторону бугра: вроде как теперь можно и не думать. Ан нет; и Вы всем этим текстом (и не в последнюю очередь этой главой) меня опять погружаете в... Ну, словом, так. Вы всё время предельно сближаете Рос.империю и сталинский Союз, а уж в этой главе и подавно: «— Эйзенштейн? — Кукольник!». И тэпэ. Т. е. получается, Сталин — это Николай сегодня (вчера, завтра). Правда, Эйзенштейн не Кукольник, тут во мне взывает эстет. Э. — гений-новатор. Кукольник — ни тот, ни другой. Если сравнить Эйзенштейна с царской обслугой, он... он Глинка, родоначальник по-настоящему, в отличие от местно великого Бортнянского, всемирно великой русской музыки — и, что ж, да, думаю, искренне сервильный автор (наряду с другим великим русским, всё же не Кукольником, а?) немалоизвестного гимна. Фамилия, конечно, польская (положь его в отдельную папку и поставь на ей особый значок), но не всякому поляку дорога в диссиденты, что Вы прекрасно являете в своём неоднозначном (я бы поставил три плюса, да кто меня спросит, того бы я попросил впредь меня не спрашивать) Булгарине.

Правда, остроумная коннотация ясна (не переставая от этого быть остроумной, что редко): потому Кукольник, что и Николай, и Сталин — кукловоды. Верно?

Но ведь отличие Николая от Сталина у них обоих на лбу прописано. Николай был природный царь, органический самодержец, и если бы даже ему пришла в голову идея-фикс, что золотой век (ну, коммунизмом назовём) — впереди, а не в прошлом (как все порядочные греки-римляне полагали), то и в этом невозможном случае (потому как без христианства, какого бы то ни было, без Церкви то есть — Царь не Царь, не помазанник, так? А христианство не мыслит золотыми веками, оно мыслит вечностью — и «сейчас») он вряд ли стал бы развёртывать массовый террор среди собственного населения, т. е. втаптывать очень большими числами

(по сравнению с которыми 1-я Кавказская война — карманная мелочь, которую и считать не приходится) своих же подданных в вечную мерзлоту, вбивать людей сваями в Норильск и Воркуту. Ему достаточно было «полного гордого доверия покоя» — и всё. И если ты не *клеветал* на Россию, и не писал *философических* писем, и пр. — если ты не нарушал обозначенных правил игры (а он в эти правила верил не как в игру, а всерьёз, как в святоеприродно-народное, в отличие от путинского полит-постмодерна), то — живи в соответствии с табелем о рангах. Бери на себя — сколько положено; и я сам живу и даю жить другим, если они помнят, на каком они свете, в какой они стране — и чего стоит душа наша грешная в зависимости от того, на каком мы пока ещё свете, в каком пока ещё лучшем из миров.

В силу этой своей «природности» Николай, за исключением событий 14 декабря (с этого момента укоренился и — будь спок), чувствовал себя всегда в своей тарелке — и не боялся заговоров приближённых, не развязывал широкомасштабных кампаний, снося каждый раз по целому слою толковых людей, своих тухачевских, орджоникидзе и прочей талантливой нечисти.

И тем не менее Вы совершенно правы: результат: хотели как лучше, а получили как всегда. Это при том, что Николай был не из худших: вспомним Ивана — мясника и изувера. Вспомним то-сё и вот это ещё — сорок раз по разу. Вспомним, что святой благоверный Александр Невский обращался со своими людипшками совершенно буквально по-ордынски: за провинности отрубал им носы и уши. На фоне положенных Петром людских костей в основание града святого Петра и вообще в основание «России как европейской державы» — положенные Николаем немногочисленны. Это уже цивилизация, уже какой-никакой, а европеец (по словам кого же? Да Герцена! А значит, это так и есть, а то бы не признал).

А результат опять-таки тот же! У кровавого Ивана, благородного Александра, никакого Медведева — всё едино: опричнина едет с мигалками — посторонись — или мордой в грязь! При этом Иван знает всю мировую библиотеку наизусть, Александр — воспитанник Жуковского, а Медведев — образованный юридически человек моложе меня, чисто говорящий по-русски и не только — и любящий те же рок-группы, что и я.

А результат тот же. Конечно, Вы имеете право на художественное заострение: Николай — Сталин. Точно то же, которое имел и Булгаков, заостряя: Людовик 14-й — Сталин. И вы оба блистательно это своё право заявляете...

А, повторяю, результат — от изувера Иоанна через гениального Петра до бездарного Путимеда — тот же: наплеватьство на всякого человека, полный нигилизм в отношении личности, мышление категориями человеческой «массы», «населения»; и отсюда «миллионы убитых задёшево» (или большие тысячи).

И так было искони — «мы всегда так живём», и отматывать назад можно до бесконечности. Впрочем, это уже сделал Толстой А. К. в «Истории государства российского». Это уже сказал Чаадаев. И Щедрин. И после них Волошин: «Великий Пётр был первый большевик». И всё такое — сорок раз по разу. От зоны Солженицына до зоны Довлатова. До Галича и Высоцкого.

Странная константа. И ведь и в самом деле, те народы Востока, о которых всегда говорили, что «с места они не сойдут», — ого-го как сошли со своих прежних мест: японцы, вьетнамцы, Сингапур, китайский Гонконг, да и большой Китай... Одни мы «ничему не научаемся» и ничто нам не урок.

Между тем я, как ни странно, люблю свою (даром что за бугром — бугры на круглом шарике не так уж велики, чтобы их не преодолеть) страну, то есть людей своей страны. То есть народ. Видимо, я сам обрусел, и мне сам склад его ума, сама интонация российского человека, его хмыканье в бороду, его речь без ажитации — милы и органичны. И я не могу не видеть, что русский человек смекалист не только в воровстве, что он талантлив на все руки, что он крут и ожесточён, но и отходчив и добродушен, что русский человек бывает и очень часто бескорыстен, как мало кто. Что в нём не только та простота, что хуже воровства, но и та, что лучше чего угодно. А это всё иди поищи сегодня днём с огнём...

И одновременно же я не могу не понимать, как мало-мальски разумное существо, что все беды и несчастья, валяющиеся на него всегда, в любое историческое время, он не просто долготерпит, являясь невинной жертвой. Нет, он сам виноват во всём, что с ним происходит. Он сам попускает властвовать над ним тем, кто над ним властвует. Он сам просит, чтобы его попорили — и как следует. Это он сам ворует — и позволяет воровать поэтому тем, кто над ним, — и ещё позволяет себе их ненавидеть за то, что они на своих местах могут больше него своровать. Это у него Грозные — сильные, настоящие цари в белом кителе с «Герцеговиной» зачем-то в трубке (папиросный табак в трубку не идёт, он там забивает весь дымоход), а кто не грозный — того долой, ещё и оплюём и освищем, да как ещё талантливо, «бойким русским словом». Сначала его выпори, а потом он за вилы, а потом опять пори его — он военную тайну не выдаст. Режь его на куски — он на смерть пойдёт за то, чтобы ничего не продать и ничего не купить.

Он инертен, дремуч, ксенофоб во веки веков — и беззаветный противник всяческой аналитической рефлексии.

И так далее. И всё равно я его люблю. Но не уважаю. Хотя таким презрительным плевком, как «немытая Россия», в него не плюнул бы. Хоть мне и непонятно, почему шотландцу Лермонтову это прощается, а еврею Жаботинскому нет.

А ведь хочется родителей не только любить, но и уважать. Хочется — перехочется.

И всё же с точки зрения религиозного сознания (иная представляется мне куда менее самоочевидной и рассудительной — «никогда так не было, чтоб никак не было», и никогда хозяйство, знающее меру, счёт, закон — и от этого закона не уклоняющееся ни на миг, не обходилось без хозяина и законоположника) — не может быть, чтобы Творец, как его ни назови, пусть даже творящая «Природа» (у Спинозы это, кажется, синонимы), т. е. разумная и целеполагающая сила, сотворил и ввёл в историю сотворенного Им рода человеческого целый большой народ вообще низачем — или только негативистски, затем, чтобы на него пальцем показывали: вот как не надо жить! В особенности когда народ этот выжал из себя Сергия Радонежского, Нила Сорского, Александра Свирского, Серафима Саровского, Антония Оптинского, Рублёва, Дионисия, Пушкина, Достоевского, Мусоргского, Тарковского, Германа и тэпэ. Да, этот народ не создал цивилизацию, но он создал самую загадочную на свете вещь: обналичил высочайшую культуру духа и чувство-мысли, особенную культуру — при отсутствии цивилизации! Тут всяк и не выпьет, а крикнет.

И я не могу представить, что у всеведущего Творца может быть лишним и забытым целый народ. Тем более явно не своим, а Божиим изволением и силою произведший — см. выше и ещё много-много всего и кого. И чтобы преодолеть это противоречие, остаётся признать, что Россия, не в смысле государства, а в смысле много-этнического национального сообщества людей, говорящих, поющих, мыслящих и страдающих на русском языке, выполняет не только негативную роль всеобщего учебника «от противного», всеобщей потехи и позора, но и несёт что-то важно-позитивное, что-то незаменимое в общем духовном опыте человечества. Что это? Кто его знает. Я не историсоф и не мессиянец; но это «что-то» есть — и мы его чувствуем, иначе не писали бы по-русски, а плюнули бы на русский слюной и как следует выучили бы, вослед Набокову, английский. Но уже то, что мы признаём для выражения наших мыслей и чувств во всех их оттенках русский язык — адекватно высоким, тонким и глубоким, говорит же о чём-то...

Вот на такие пафосные и тривиальные (но, уверяю Вас, искренние, как бы новые — для меня) «размышления» (если в них ночевала хотя бы одна мысль) подвигло меня Ваше сквозное сближение Николая и большевизии.

Но это вопросы не к Вам, а к самому себе. Вы их только катализировали, а в этом и состоит роль исторического — романа ли, исследования ль.

А вот вопрос к Вам. Почему автор всё время именуется Уварова идиотом, одновременно показывая его очень даже разумным тактиком-карьеристом и царедворцем, использующим счастливо найденную им триаду вполне инструментально-функционально?

Но это всё, как Вы понимаете, вопросы «по смыслу», и очень даже прекрасно, что они возникают: значит, обострение действует и заводит. Вероятно, так и было задумано.

Художественное же качество вещи — воплощение искомого смысла — безусловно на высшем уровне пилотажа. Как говорят пользователи: «афтар доставляет». В смысле — удовольствие и некоторое (говоря уже не их словами) семантическое удовлетворение.

Отсюда, если я правильно чувствую, начинается закругление-заострение к концу. Чего и ждём с неослабевающим интересом.

Ваш неизменно, Ю. М.

6.

6.12.10

Это замечательнейшая глава. Она показывает, как нужно выходить из «интермедий» — и в смысле темпа, и в смысле смысла. Читатель отдохнул и только думал и далее, расслабившись, получить удовольствие со всеми удобствами; вот тут Вы его и подстерегаете. Вы его раз — и возвращаете ко *всем сразу* до-того-бывшим-порознь-героям, чтобы, отдохнув, он с новыми силами впрягся бы в понимание того, что происходит в расее и российской словесности, с её героями и их обстоятельствами — в до-бес-конца (бес конца!) зарифмованной кольцевой рифмой русской истории. Странные их судьбы — странные более всего своей константностью. Что подтверждает существование Вашего «Автора рус. лит-ры». И этот афтар жжот. Не без первейшей помощи соавтора, т. е., в данном случае, Вашей.

Тут, по-моему, встаёт, не в последнюю очередь, проблема эвристическая.

Что отличает художественную литературу от научно-популярной — на «научном», т. е. историко-литературном, поле — это именно отсутствие популяризации и повышенная концентрация и смысла, и фактической стороны дела. За счёт того, что автор не даёт читателю ни малейшей поправки, концентрация эта становится, по сути, не прозаической, а поэтической; кроме того, ценной страшной сгущёнки получаем новый продукт, на само молоко непохожий, хотя состав — тот же (плюс сахар, но это синоним энергии). Кроме того ещё, рискуя возразить набоковскому «читатель для автора — только один: сам автор, только в будущем времени»: в Вашем случае читатель — это сам читатель и есть, только прошедший селекцию на вшивость предыдущим текстом: уж кто досюда дочитать смог — просто должен, нет, обязан знать, кто такие тот и этот; а если не знает, то по крайней мере должен сообразить, что его напрягают не просто так, а — с пользой для него же: вот сейчас он сам сделает последний шаг, воспользуется Интернетом или в библиотеку пойдёт, но в обоих случаях слегка напряжёт (что полезно для интеллектуального здоровья нации, хотя бы в лице отдельных её представителей) мозги — и прояснит себе тот или иной авторский «закидон», в сторону Надеждина или там Нессельродихи.

Такие эвристически-обучающие штуки, без малейшего пополнения к обучательству, т. е. при полной художественности текста, где герои — точно отмечено самим автором — «не фигуры, а идеи» (надеюсь, что не противоречу себе, когда говорил где-то ранее, что без образа роман — не роман; просто образом могут быть идеи, как у Борхеса, город Дублин или греческие острова, как у Фаулза в «Волхве»: главное — ощутимость боли в наличествующей болевой точке), может позволить себе только очень многознающий автор; при этом среди многознающих людей почему-то мало тех, кто способен увидеть прямую связь между изученными ими Надеждиным и Уваровым; прочие же подавно не могут установить между ними связи, за незнанием ни того, ни другого. Я, например, первого «Избранное» ещё листал на филфаке, разумеется, не помню почти ничего про него, кроме истории с Чаадаевым, а уж второго не читал никогда — зачем бы? вот до такой степени я ленив и нелюбопытен; так ведь я не один такой. Вот автор и вправляет нам мозги, притом совершенно не озабоченный этим, а только стремительной объёмностью изображения (а это и есть художественное — выпукло-объёмное), сдвигающей историю литературы с истории великих имён в историю повседневных со-

бытий из жизни людей-литераторов, о которых мы — как сегодня — не знаем заранее, кто из них велик, кто нет — перед нами живой литературный процесс.

Некоторые внезапности (в стиле автора), например, про крокус — непредсказуемо хороши и украшают текст (заставляя вспомнить кашалотов — вот не знаю, чем они так уж хороши, но так уж, до того хороши — «блаженное (не)бесмысленное слово!»), насквозь прошитый ими.

О языке «я не говорю — “половина должна войти в половицу”». Конечно, должна, да не обязана; но у читающей публики — мал золотник, да дорог, — во всяком случае. Одно «Хотя по жизни и педераст, как государственник России он чувствовал себя скорее педофилом, превыше всего дорожа её невинностью» — чего стоит. Вот бонмо так бонмо.

Словом, автор во всеоружии и, стянув все нити повествования, «предыдущих серий» в узду, — отправляется в «последний бросок на Юг». Ура. Отсюда будет очень удобно наблюдать развитие искусно замедленного, но неминуемого конца. Который, при отмеченной автором «вертикальности оси», вероятно, как-то сомкнётся с началом — но наверняка устремит и вперёд, на неясный огонь, к смысловой бездне-на-краю: таким уж жгучим бутрофедоном — вперёд-назад-в-будущее-прошедшее — написано это всё.

Жду продолжения.

Ваш Ю. М

7.

8.01.11

Вернулся в ночь под Рождество из январского мокрого и злого Амстердама. И чего только Пётр заболел этим водяным? Нет бы из Парижа к нам всё хорошее и плохое ввозить! Было бы хоть не на болотах, посуше, и вот Вы — если допустить — родились бы в городе, склонном к здоровому красному вину, а не к дурацким пиву и водке, были бы куда здоровее телом, внутри которого скрывается тогда всегда здоровый дух — в сторону, смеётся сам над собою, — курсив не мой, да и курсива что-то не видно никакова — а значит, и не Ю. М., а кто тогда? Знал бы прикуп, жил бы в Сочи (а вот ВВП там живёт вечно, знать, все прикупы ему открыты).

Пора отдавать долги, пока не вляпался в новые. Итак.

Прочёл. Увидел. (Хорошо ещё, что — не наследил.)

Глава эта замечательна тем, что в ней авангард, возвращающийся по кольцу от начала к концу и тем становящийся арьергардом, не хочет, чтоб это заметил враг, и, заметая следы, уходит пластично, тихой, бархатной сапой, а сам концентрирует, накапливает стекающиеся к нему, прежде выпущенные им во все стороны разные войска, из которых, да, некоторые попали в окружение, а других тоже почехвостили настырный неприятель-читатель, — и вот победоносные остатки стекаются назад, а то есть уплотняется масса объективистско-субъектоносного материала, который (цитаты большие всякие из свидетелей времени) сам по себе жутко интересен, даже и без язвительно-разящего автора, а-с-ним-итимболии.

Эти уплотнения, доброкачественные опухоли текста, очень хороши — и откуда только автор берёт эти документы, всяких брунновых и блудовых — честно, это уже частно моё, как Юры Малецкого, лентяя почти феноменального, — где Вы это всё откапываете? А документ от 21 марта, Уварова, — просто фантастичен: если б я читал его раньше, то сказал бы, что больше себя сечь уже некуда, что батюшка Родион Романович так показывает сам на себя, что уж какой тут Николка (хотя бы и 1-й), и просто нечего эпигонам графа Уварова, как то губернатор Щедрин или граф Толстой с его «проектом о введении единомыслия в России», тут и делать, не говоря о всяких маленьких «Кысях».

Словом, этот комок по мере уплотнения — плотен и на своём месте, как между удочкой и крючком есть ещё поплавок. Именно здесь он и должен маячить, для чего должен быть и плотно виден, и лёгок, поплавуч. И так оно и есть.

Отделка тоже прекрасная, особенно про Кукольника и пьесу его. Смешно, но невесело. А уж «Земля дрожит от тяжести его,/ А небеса Его главу вмещают!/Неизмерим сей русский полубог!» — это полный вперёд. Что по сравнению с Николаем весь оплётанный Лосевым «титанизм Возрождения», всё «человекобожество» всяких микеланджело. И это мы твердим после кукольников-то! Нет, это должен знать каждый. Это не должно повториться! Чтоб я так жил, но чтобы я так не умер; лучше сифилис, лучше жерла единорогов Кортеса. И оно таки не повторится, потому что повторяют, когда сначала прекращают — хотя бы на каких-то 50 лет.

Словом, пока мне лично видится рисунок Вашей вещи, может быть, как бессознательно-артистично начертанный одной тонкой линией с уместными и своевременными пространственно-временными уплотнениями (затёками-утяжелениями — и облегчениями). Мне эта вещь видится вообще скорее графической (впрочем,

временами очень корпусно-живописной). И это хорошо: в нашей словесности вообще не хватает пушкинской графики (и я, в частности, вздыхая по пушкинской «воздушной громаде», немало потруживаюсь — если вообще не валяю ваньку — над её барочным витиевато-содержательным накручиванием и формальным замедлением; но что я могу, когда только так и умею? Слава богу, что ещё кто-то умеет по-другому).

Остаюсь Ваш преданный читатель в ожидании продолжения и окончания продолжения и так далее, сколько бы того да этого ни было,

Ю. М.

8.

13.05.11

Извините, что так долго не писал. То меня посылали на трёхдневную экскурсию по Мюнхену и всей его южной горноальпийской баварско-швабской волости с названием кратким Альгой; то вдруг неожиданно сдёрнули в Амстердам; а то я сам пребывал в анемии (у меня оказался гемоглобин вдвое ниже минимальной нормы) и какой-то бледной немочи, в том числе душевной — и я ничего не писал и не читал. Я и сейчас в подавленном состоянии, но всё же...

Оба текста — и «Нечто обо всём», и параграф 14 — сильные — и.

Но главное их достоинство — то же, что и в прежних главах (да и в других Ваших произведениях); только здесь оно особенно выпукло, потому что определяет написанное (и, по моему частному мнению, ради того и написано было: это, как ни крути, «диалектика характеров в диалектических обстоятельствах»).

В том смысле, что никогда не знаешь, в какой момент Вы опять проделаете этот фокус, и неприязнь или антипатия к своему очередному персонажу перейдёт, как когда движешься по мёбиусовой петле (я бы вообще охарактеризовал вашу манеру изложения именно так: мёбиусова петля высказывания или самовыражения; а то и самоопределения через персонажа или идею), в симпатию, любовь или, по крайней мере, в ехидное, но любование им.

В этом смысле очень хорош Минин, патриот (как нынче пишут жидовствующие *луркморы* и русофобствующие *абсурдопеды* — *покреот*) — самопожертвователь-приобретатель, изобретатель выгодного варианта спасения отечества — но ведь и действительного же спасения, — если, конечно, стоять на той традиционной точке зрения, что для России лучше было (и есть, и будет) оставаться под

своими (каковы бы они ни были) властителями, чем под польскими (американскими, немецкими — я не Гитлера имею в виду — и т. д.), каковы бы ни были те.

И Булгарин оказывается вполне «диалектичен»: когда ранее нелюбопытный и ленивый читатель вроде меня (мне, как гуманитарю, вообще стыдно) вдруг узнаёт, что Булгарин оказался вовсе не так труслив и подл, если был на квартире Рылеева 14-го вечером, уже после событий и перед арестом, да ещё и взял у него рукописи (и потом пристроил, т. е. сохранил)... не представляю, кто из более поздних литераторов, даже и порядочнейших, позволил бы себе такое, если предположить фантастическое... ну скажем, мощный офицерский заговор и открытое выступление против большевиков в 18-м году; выступление расстреляно; один из глав этого восстания, скажем, Гумилёв, успевает беспрепятственно добраться почему-то к себе домой, по всем известному адресу, где его наверняка вот-вот возьмут — и тут его навещает всем известный, ну там, Тынянов, обвиняет его и ещё забирает у него, чтобы сохранить, целый портфель рукописей... Фантастика! А ведь благородный Тынянов и подловатый Булгарин — это как настоящий порт-вайн и портвейн № 13...

Этот драгоценный штрих побуждает поинтересоваться биографией Булгарина, оказывается, весьма интересной — да и прочитать, если бы был под рукой, «Ивана Выжигина». И всё это Вы делаете одним высверкивающим абзацем. Замечательно, хотя, повторяю, мне — и думаю, не мне одному — уж гуманитарно-читательской чести не делает.

Этот ваш «метод» срывания всех и всяческих вовсе не масок, а клише — одним абзацем, а то парюю слов, всегда неожиданных, — особенно в наше время дорогого стоит, побуждая не только к увлекательному труду осилить текст, но и уже самостоятельно выйти за пределы текста и покопаться. Я бы сказал, это такой энергетический посыл, активизирующий энергетику читателя-обломова... что и отличает настоящее искусство ото всяческой комфортабельной поппсы. Да, пожалуй, я именно это и хочу сказать: у ваших текстов по идее не может быть пассивного потребителя (он это быстро бросит читать), а может быть только электризуемый соучастник, всегда готовый на усилие, пусть малокомфортабельное. Между тем есть довольно высококачественная литература, именно рассчитанная на грамотное потребительство — допустим, Акунин... больше того, во мне испуганно шевелится мысль: не потому ли так любима всей интеллигенцией и «Мастер и Маргарита», что в ней этот консуматорский элемент сильно присутствует... Впрочем, может быть, высший сорт, «верхняя полка» — это ко-

гда читается — пальчики оближешь, а при этом — Художество... Но всё равно, вещь слишком вкусная — как вот этот «Мастер» — не защищена от пошлости, она там кое-где и есть (что-то не помню дословно, но «Маргарита своими белыми зубками» жевала там чёрную икру и т. п.), а уж сколько к ней прилипло по дороге бредущего по оной культмассового сознания!.. А Ваши вещи — вообще все вещи, которые отторгают, но наделены воплощённым смыслом (что их, с другой стороны, отделяет от «элитарной» продукции) — от пошлости защищены сами собою (т. е. врождённой особенностью дара их автора), как река типа того Волга наделена самоочищающей силой, и, стоило заводам встать, как в моей родной Самаре на рынке завелась опять стерлядь, живущая, как известно, только в чистой воде.

Собственно, на нечитаемость сегодня серьёзной литературы могут быть только два серьёзных ответа. 1) А я, не жертвуя серьёзом, сделаю его читаемым, потому что для меня это такая же интересная задача литературы, как и другие. Это Пелевин. 2) А я понятия не имею, читаем ли я, да и не собираюсь его иметь; я ничего специально не делаю, чтобы меня не читали, просто нахожу нужным выражать то, что мне важно, так, как мне всего натуральней. Это, кажется, Вы. Самое интересное, что во 2-м случае тоже очень интересно читать, но уже не всем. Т. е. «интересно» — в высшей степени предикат художественности, в отличие от скуки; но характер интереса — особь статья. Как заметил Умберто Эко, искусство всегда развлекательно, просто каждый развлекается, как ему развлекательней: один — читая Агату Кристи, другой — «Поминки по Финнегану».

Словом, это, как всегда, — пружинно заверчено.

Другой вопрос — который Вы сами ставите себе: куда уходит текст? Он безусловно начинает гулять сам по себе — и если раньше я думал, о чём Вам и писал: текст мчался в гору, а теперь начнется плавный спуск под гору, — и это было так логично, и ритмически, и смыслово, — то теперь я так скоро судить не могу — куда ты скачешь и где опустишь ты, допустим, копыта? А хрен его знает, где. Где захочет.

Это несколько разрушает моё раннее видение текста. Что обескураживает. С другой же стороны — что отличает настоящую свободу искусства от свободы вообще? Может быть, Гёте или Пушкин меня освистали бы, если бы опустились до столь бомжеватого человека, но я всё-таки скажу: да, самый план создания вещи уже обличает высоту вещи, но — ещё выше этого, как пьяная икота, согласно Веничке, выше всякого закона, — ещё выше великого плана — сверхплановая свобода, т. е. непредсказуемость.

Как непредсказуем Бог, пославший почему-то после ожидаемого урока-пожаров нашим раздолбаям совершенно неожиданный урок-землетрясение — зачем? — замечательным японцам, так непредсказуема и свободная жизнь слова, когда текст пишет сам себя, и нужно следовать за ним: ему виднее. А зачем — мы увидим. Т. е. Вы увидите, а мы за Вами.

Всё правильно.

Будем ждать урожая.

Ю. М.

9.

24.07.11

Последние по счёту поступившие для ознакомления обе главы, по мне, в первую очередь — образец вашего стиля — стиля вообще как такового, эз итселв. В том самом что ни на есть старинном плане, что «стиль — это человек». Вообще-то я не уверен, что это всегда так, даже в случае самых больших величин; например, трудно (мне, по крайней мере) представить, что Платонов и в чисто человеческом своем измерении был тем самым человеком (до косноязычия нежным, желающим невозможного проникновения в другого до изувечивания себя, а с собой и русского литературного языка, до о[А]бор[Т]матизма вылезавшим из собственной шкуры — а между тем именно это в нём мне настолько близко, что я его считаю равновеликим Достоевскому и Прусту, а в определённо-неопределённом отношении и выше; но можно ли представить себе, что так, как он пишет, он общался пусть с самыми близкими, всепонимающими людьми?), который это всё, так словесно жестикულიруя, и говорит?

Но в данном случае это именно так — в том смысле, что за текстом стоит настолько внятно не прячущаяся за текстом, а открывающаяся сквозь него, чрез него — личность, что в памяти тут встают разве лишь — вся проза Цветаевой и «Четвёртая проза» того ли ещё да этого самого. С последним сходство — уже не художественное, а человеческое — у автора текстов под литературным именем «Лурье» — ещё и в том, что «мало в нём было лилейного, нрава он был не елейного».

Да, именно. Наш, разбираемый нами автор Лурье, в лице своего лирического героя — автора-2, «Лурье», — ершит до язвительности и пишет поперёк всей литературы о русской литературе, нимало не озабоченный тем, что сабж его — где-то в отодвинутом времени, а потому предполагает обычное у сегодняшнего человека прохладное отношение, ведущее совр. пис-ля о пис-лях и лит-веда к рассказу прохладительному. Наш же автор = лир. герой автора Лурье

исполнен отношения к делам давно мин. дней (для других — почти что мин. вод) самого горячего, как если бы Николай I властвовал над ним и над нами сегодня; а потому и повествование — горячительно. Не знаю, как автору это удалось — для этого надо сегодня воспринимать позавчера как сегодня и писать для тех времён, когда, невзирая на сегодняшнее «да шли бы они все, нам бы из пожаров вылезти живыми — и америкосы с грузинами чтоб не лезли в нашу Южную Осетию (Голландию, Танзанию и Соломоновы острова)», — опять это неминуемо станет снова здорово (нездорово) и заболит новой свежей болью, но факт — удалось (по-моему); меня лично этот текст «завёл», как крепкий спиртной неочищенный напиток. Вроде дешёвого матросского рома в 54 колеса.

Причём, надо сказать, я бы настаивал (не в смысле настоя, а в плане настоятельности) на том именно, что это именно сивуха — не вино и не коньяк или там виски: этот текст воспаляет, обостряя и раздражая, вызывая то согласия, то несогласия и тут же их гася новыми согласиями-несогласиями. Как бывает за столом с каждой новой рюмкой — после первых трёх. Плохо ли, хорошо собеседнику-читателю, но пьянка как таковая, т. е. живое приключение духа в поисках и обретении больной головы, ему обеспечена.

Из особенностей впечатления: форсированная язвительность, от которой начинаешь почти уставать, то есть именно от сильнейшей энергетики негатива (в смысле того, что это не претензия, а, видимо, так и было задумано и адекватно исполнено — с полной до переполненности загрузкой читателя), — внезапно переходит в любовное проникновение, и тут кладбищенские косточки и «чёрный, тяжёлый, мокрый огонь» — это шедевр прозаической лирики. Это ваще, это как «вчерашнее солнце» и тэдэ. Это «верхняя полка» без никаких. До слёз, о которых там говорится и которые затягивают в плач и читателя.

Ещё: когда-то мы с другом моим Мишей Бутовым говорили о «мировых романах» типа «Моби Дик» или «Имя розы», и помню, он сказал типа того, что чем ещё они хороши: помимо прочего, много интересных познавательных моментов. Симпатична мне эта мысль. В этом отношении, о чём часто забывают (а сами-то напиткиваются и не в последнюю очередь черпают свою «окультуренность» отсюда), тут замечательные пассажи о костюмах женских и купеческих. Для меня последние были открытием: я как раз из тех среднестатистических, что да, представляли себе купцов эпохи Островского именно как купчин в плисовых штанах с кушаком и сапогах, брадатými окладисто и стриженными под горшок. Пожалуй, я испытал лёгкий шок; вот как расширяются горизонты. Откуда Вы все такие знаточеские штуки выковыриваете?

В целом позволю себе в оценке Вашего стиля лениво, тупо присоединиться к тому, что писал Аверинцев о Мандельштаме (а обе эти фигуры в обоих разрядах — «ведческом» и «собственно художественном» — для меня самые-самые): «...глубокая боязнь тавтологии в самом широком смысле слова, боязнь мёртвой точки, непродуктивной статики, когда “разряд равен заводу”», когда «на сколько заверчено, на столько и раскручивается».

Некоторые фразы (что вообще характерно для Ваших текстов) хороши до-не-могу, например: «А мнения — они же ничьи, потому что принадлежат кому хотят; как вообще слова; как Лаура; как деньги». Есть тьма больших писаний, в которых хорошо, если смыслов наберётся на один смысл; а тут в одной фразе их четыре, что само собой ведёт к пято-шестому метасмыслам.

С ожиданием того, что «впредь»,

Ваш Ю.М.

10.

12.08.11

Живу я уже 59 лет — ну точно по словам Льва Мышкина, который, что-то такое, много «единственных минуточек», хоть и знал, что это трагически необратимо, «зря провёл». Только пустые люди и могут так себя вести; и вот пока у меня работы не было, я дурью маялся; а теперь, когда можно и нужно писать своё и отвечать на Ваше — тут меня по уши заняли экскурсиями. Между тем последний Ваш параграф требует основательного раздумья после-послевкусия. Т. е. сокращать плоды раздумья — почти преступно. Но нечего делать = нету времени. Пишу в перерыве, ссылаясь на того же всё Архилоха, благо от него не убудет больше того, что уже убыло. В темпе, значит, привала.

Начну-ка с общего рассуждения. О пресловутом, потерпите уж, Христа ради, темпоритме. Видимо, это мой невроз — навязчивых состояний («ананкастический»).

Так вот, когда о таких джазовых гениях, как Паркер или Колтрейн, писали, что, помимо того, что они лучшие, они ещё и самые скоростные саксофонисты мира (соотв-но на альте и теноре или сопрано-саксе), и то же самое о Маклафлине в области электрогитары, я думал: а зачем, собственно, быть скоростным, да ещё самым? Что это вообще за критерий? Не лучше ли, когда с тобой говорят неспешно, душевно, запросто, так, чтобы не было тебе нужды, ни большой, ни маленькой, задрать некомфортно штаны, бежать за комсомолом?

А потом я, кажется, понял: скорость в музыке *сама по себе* имеет смысл. Она, собственно, и есть один из её главных смыслов: размолоть время на сколь возможно мельчайшие составные. Чем их будет больше (т. е., что то же, чем она скоростнее), тем больше мы это время прочувствуем, т. е. согласно Т. Манну, «заколдуем» как елико можно растянуто-натянутую длительность. И все «скоростники» именно этим, раздроблением и тем *увеличением нашего проживания времени*, и занимаются.

Можно ли играть ещё быстрее? Наверняка. Было бы странно профессионалу-виртуозу не превзойти Чарли Паркера, умершего в 1955 году. Чем этот нынешний вообще тогда занимается? Но тут и встаёт проблема. Гений очень впритык подходит к логическому концу, никогда его не преступая, чтобы друг гения — парадокс — не превратился в простейший большевицкий нон-сенс. То есть вздор. Т. е. если сыграть ещё быстрее, немного пережать — дробление времени станет нечленораздельным, непрочитываемым, как просто один пилящий до зубной боли электрический звук. И есть много виртуозов в области, например, металл-рока, которые виртуознейше этот зубодробительный звук на гитаре и воспроизводят.

В литературе, в прозе и поэзии как искусстве, подобно музыке, не пространственном, а временном, встаёт та же проблема. Думаю, её чувствовал один из самых универсальных гениев Эдгар По (потому, мнится, Пастернак с ним и пил, а вот почему он курил с лордом Байроном, становится ясно только из его волшебного перевода «Стансов к Августе»; переводы же других делают его перекур именно с этим джентльменом, а не, скажем, с Серафимовичем или тому подобным Малецким, совершенно непонятным — чего хорошего нашёл?).

Когда ХХ век в лице его действительных выразителей распечатал письмо в бутылке безумного пьющего Эдгара, в смысле понял, что содержательную часть в буквальном смысле литература, имея в своём запасе Шекспира, Достоевского и Пруста, уже вычерпала (кажется, только Мандельштам с Платоновым да с Томасам Манном заупрямились), он нашёл иные способы выразительной содержательности, прибегнув к рок-музыке задолго до неё самой, т. е. нажав на ритмическую скоростность. Понятно, что ближе всех к пределу того, что в этом смысле может слово, подошла Цветаева — и в стихах, и в прозе. Золотую середину нащупал вроде как Булгаков — между гоголевским энергетическим потоком и содержательной неспешной беседой. Т. е., по-моему, он породил идеальный гимназический язык — и если кто-то считает его гением или близко к тому (типа того я), то не без того, что эту линию никто

не продолжил за небытием дальнейшего гимназического обучения, не то наелись бы мы такой словесности до хрена = т. е. и отрыгнули б, что и высказал Бродский в оценке М.А.Б.

А позже — мелькнул Юрий Казаков. Баловнем-анфантериблем просверкал и на время (надеюсь, не на вечность) заглох Саша Соколов. На голубом глазу запоя и выхода из него прокатилась электричка от самой Москвы до самых Петушков.

Но и только. Люди, говорившие: мы учились слову у Саши Соколова — типа того ё-к-л-м-н и остальные — так и не поняли, чему учились. Дело не в самовитости слова, а в самовитой связи слов. Важнейший крепёж которой есть темпоритм. И завяли помидоры.

Т. е. проза совсем уж — не завяла. Но поскущела. Вспоминая за это время писателей, от Битова и Маканина до Дмитриева и Быкова, Пелевина, Петрушевской, а также... — всё лучшее их написано с бессознательной памятью инстинктивного волчьего броска или скулежа в темпе и ритме оного. Всё худшее — в затянувшемся занудстве аритмичного, тускло мерцающего, бесконечного говоренья. Быков бывает очень хорош, но гладок — поел и на бок. Сорокин только всегда в тонусе, но тут уже у меня личная словесная антипатия. Вот ещё Шишкина не читал. Говорят, идёт по стопам именно Соколова. Хорошо это вообще или плохо — не мне решать, не читал.

А вот в Довлатове, что ни говори, вот у Венички — была музыка. Они-то мне, кроме «Школы для дураков», и помнятся, да как: абзацы наизусть, а ведь это для прозы — большие строфы. Но, пани-панове, что было — то сплыло, того уж не вернёшь.

Вот тут появляется Лурье (в смысле — он-то сам и так всё время никуда не девался и присутствовал в лит. ситуации, а это я перехожу к теме).

Значит, так.

17-й параграф написан ещё более искусно, чем предыдущий 16-й, — и принадлежит к самым виртуозным параграфам этого трактата. Почему более? Потому что имеет осязаемый — в выразительнейшем изображении С.А.Л., — имхо, тесно-плотный объём спёртого воздуха, внутри которого располагаются герои, — т. е. мы имеем дело с «ещё более романом». А создаётся (задаётся) этот объём именно густотой и плотностью темпоритма, когда автор сжимает информацию во фразе, а фразу в минимуме членов предложения, ввинчивая пробку в горлышко шампанской бутылки при начале брожения внутри неё — так, что при окончании брожения в ней столько атмосфер, что её, бутылку (фразу) вот-вот

разорвёт; если читатель не раскупорит-прочитает и тем погасит неминуемый взрыв.

Как это ощущается? По-разному должно ощущаться. Если говорить только за себя — человек, не во всём с автором согласный (например, Николай, и тэдэ), отдать себе отчёт — в чём он не согласен, сформулировать это — может только глубоко спустя, эшелонированно. Потому что — будучи захваченным автором врасплох, смятым им и подавленным его пулемётным огнём. Т. е. взятым тёпленьким.

В самом деле, в сабельном походе-на-кронштадтском-лёде вслед благородным дурачкам 14 декабря 1825 Вы жертвуете (я Вас понимаю: благородство есть большее, чем художественность, свойство человека: «талант как прыщ», а благородство не как прыщ, оно чего-то долго нарабатывается и чего-то стоит его обладателю) самым главным (имхо) в Вашем даре: двойною рифмой оперённом стихе, дуалистическим взглядом на вещи — и клеймите Николая, проговаривая то самое, по Фрейду, что и есть (имхо) на самом деле: он не был плохиш, а был толковый тиран — железная дорога, вторая после Бельгии в Европе континентальной, вне зависимости от целей, о чём Вы же говорите, и создание комиссии по подготовке освобожденческой-от-крепостничества реформы; так что сыну его оставалось только поставить точку; и то Александр-асвабодиттель долго медлил, и не от зловредности, полагаю, а от реально-конкретной сложности — с такими барами *это* порешить. Т. е. Николай был и вправду «последний европеец», да только не в европейской стране, — и мог быть, в иной ситуации, ещё куда более лихой урядник в передовом отряде Давыдова, чем... а то и... ну и тэпэ. Как сказала года 3-4 назад в «Школе злословия» Юлия Латынина: правда же, Путин куда умнее и толковее Дж. Буша-Младшего? А толку что? Какая страна цивилизованней?! Рит.вопрос. Вот и Николай; о чём Вы и — по факту, но совсем иначе — по интонации. Как и о Бенкендорфе: просто золото — живой благородный человек, лишённый благородства действия, но сохранивший благородство помысла и высказывания, т. е. почти-действия... т. е. он не был первым учеником, согласно Вами же приведённому.

Итак, Вы жертвуете Вами же открытым двойственным (двуликий, но не двуличный Янус) взглядом на: Пушкина-Вяземского-Гоголя-Полевого-Некрасова-Фета-Тютчева-Блока и тэпэ — чтобы убийственно «одною рифмой оперённым стихом» сразить Николая-Бенкендорфа и прочих какашек «кровавой гэбни». А я, читатель (думаю даже с ложной скромностью, тот самый, кого б Вы хотели — знающий куда меньше, но, с лёта откликаясь на Вашу загрузку, умом кивая-поспевающий вдогон принять пас и отпасовать

дальше), сделав хороший глоток дешёвого, но не отравленного, согласно ГОСТу Евросоюза, бензина, хочу воспротивиться, но — прогибаюсь и, не уважая себя, как дама с собачкой, но захваченная желанием прогнуться, зомбированная художественным даром, отдаётся Гурову, — покоряюсь типа того настоящая слабая женщина мужскому напору ритмической русской словесности.

Обалдеть, как хорошо сюда, в этот бег степной колесницы, вогнаны даже не фразы, а целые абзацы (в чём Вы обогнали Грибоедова — если б «Горе» можно было разбить на абзацы, — а то не малая похвала), — как то и вроде:

«Ну да, колоритный пикейный жилет из народных низов; пропагандировал достижения европейской буржуазной культуры; незаконно (а впрочем, поделом) репрессирован за некий текст, представлявший собою плод случайной связи космополитизма (известно какого) с бедняжкой Nationalité.

Она, предположим, распостёрлась среди пасущихся овец на изумрудной, мягкой, как шёлк, мураве и забылась в мечтах, а он совершал очередной разведывательный полёт; внезапный порыв нескромного зефира обнажил некоторые наши преимущества; ну-ка, ну-ка, — в гордом за импортными очками зоре блеснула развратная любознательность: что это там такое сквозит? что тайно светит в этой смиренной нагоде? Безродный снизился, рассмотрел — а потом спикировал и безжалостно нанес свой точечный удар».

Как говорят безродные блоггеры из небезграмотных, «респект и уважуха!»

Итак, остаюсь несогласный в деталях, но покорённый «общим планом и замыслом», а следовательно, ожидающий одного да того же другого ихних завершения, в смысле дальше не менее завлекательной для будущих отцов невесть чего и матерей, кормящих неизвестно чем, и прочей зайтильщины,

искренне Ваш, Ю.М.

11.

14.09.11

Спасибо за прекрасный текст для чтения.

Это именно то, что сейчас нужно мне: поскольку около 48 романов моего любимого Чейза я уже перечитал по третьему разу (дело в том, что среди моей «библиотеки», случайно или нет захваченные из дома в Германию 80–100 книг, Чейз — особняком: зная, что папа только им и может отвлечься от пустышных бездн,

и не заснет, пока не дочтёт роман до конца, моё «отроча младо», будучи ещё дитё, дарил мне его по 2–3 тома на каждый день р., покупая в русской лавке «Тайга», — и так лет 7; теперь у меня более 20 томов Чейза, но ведь этот друг написал томов на 40, т. е. более 80 романов; так что не могу даже похвалиться, что прочёл всего Чейза), то мне позарез нужна была литература отличная (вкус, отменная манера, да? Что говорить, без вкуса портвейн не отличишь от хорошего портвейна, а тут литература... между прочим, у меня есть союзник в борьбе за литературную репутацию У. Х. Чейза — это некто Грэм Грин, убеждённо считавший его именно «большим писателем»), но не требующая мозговых штурмов, которые мне сейчас не показаны, мягко говоря.

И вот Вы мне это удовольствие и доставили. Не уверен, что Вы ставили целью доставить кому-то ещё и удовольствие; но так получилось — и, думаю, Вам незачем извиняться.

В самом деле, эта глава обнаруживает, как мало какая, одну замечательную вещь: насколько сам текст, в погоне за утраченным от усталости автором, сам из любви к своему создателю, в помощь ему, пишет себя на уровне автора, пишет автора (что ж, привет всем постмодернофилософам, от Деррида и Делёза с Бодрийаром и Лаканом до нашего немецко-русского Бориса Гройса). Т. е. текст сам угадывает авторские пожелания, послушно стелясь под интенцию (а вовсе не инерцию) автора, всё время изящно (бель-леттр-в-изначально-истинном смысле) простёгивать внахлест, захомотав, спутывать пред-пред-идущее и наше след-в-след презент-континуус. При этом — что создаёт новизну приёма — это не актуализация прошлого (что весьма артистически делал уже приснопомянутый — мир ему — Белинков, а уж новомировцевлакшинных и прочвысокоталантливых и не перечтёшь, замаешься; кто ж из эрудитов да не остроумцевольнодумец? разве что сегодняшний думец), а прямообратное: погружение сегодня во вчерашнее, а хуже того, в вечное, в незамутнённые чистые истоки — за вечным, за именно что мельничным (вот оно, колесо, до всякого красного, что хуже, совсем, то есть, херово) шумом.

«И только и света, что в звёздной колючей неправде...» А зря, да? Хотелось бы, чтобы в России был свет в чём-то ещё, кроме неправды. Хоть бы и в правде. Пусть и колючей. Россия инородцев, по крайней мере, Россия Феофана и Максима Греков, Фонвизина, Пушкина, Глинки, Лермонтова, Гоголя, Расстрелли-Кваренги-деТомона-Вален-Деламотта-Кленце-Росси-Тона-Бовэ-Жиллярди, Фета, Брюллова, Серова (теперь уже вроде обнаружилось, не полу-, а стокровка), Врубеля, Велюа, Бакста-Шагала-Малевича-

Гершензона-Франка-Тынянова и далее всего толкового российского литературоведения, Блока-Мандельштама-Пастернака-Бродского-Горенштейна-Германа-Довлатова-Петрушевской-Высоцкого-Галича-Окуджавы-Искандера-Шнитке-Губайдулиной-Лурье — заслуживает лучшего, чем заслужила заслуженно. Выбрав себе вместо Рублёва, вместо даже капитана Копейкина — Рублёвку с Путиным-Распутиным. Хотя тут уж их никто не спрашивал. Потому что ранее, когда их ещё спрашивают, они даже задним числом, не спросясь кого умного и не ведая стыда, от всей непочатой глубины истинно народного духа, пусть открываясь на исповеди институту Левады, — они голосуют за Грозного. Всегда этот православный народ за чистую нечистую силу. А вот первый Лжедмитрий был бы, каков ни был, может, и очень неплох для Руси-матушки (настоящий бывший блудный, а ныне сукин сын, каков и я сам, ну, значит, мне такого и надо же, только с политическим прицелом), и собирался вроде быть православным европейцем (не вижу противоречия), так им из пушки стреляли — что делать, польский ставленник. А в России главное — вкус, отменная манера, то есть — стиль. Московский такой стиль. Лжедмитрии оба — некоторое количество неуместно-несвоевременного b'ydla, пся крев, просто зарубят, огнём, так скть, и мечом, а вот чтоб это живём так это по полоске кожу сдирать и обнаружившимся салом мазать свои раны, как Емеля, или зимой боярина на кол сажать да при том соболью шубку ему на плечи накидывать, чтоб не замёрз, как Иоанн Васильевич, — это уже бель эпох алярюс. Грустно это всё. Впрочем, как Кургинян говорит о последнем примере, — «это был такой способ коммуникации». Молодец, одно слово.

Но это так, в сторону утраченного времени. В больнице за 18 дней вокруг света.

Вернись к Вашему тексту.

Сколько бы он ни писался сам, в помощь тому, кто его породил, такой марафон не выдерживает постоянной актуализации — текст хочет быть не только, но и — сам по себе ценным (чего он более чем заслуживает). И вот он брыкается, вырубывая в свою степь. Он отрывается и висит где-то под потолком, от счастья самому быть — не о «чем», а — просто: извлекать из глотки звуки счастья, что живёшь и голосишь (вернись к противоборству Верховного Текста и просто Верховного в авторе — «здесь икс с игреком борются», скажу я целомудренно).

И тут кончается даже наиартистичнейше, но сознательно во-площаемый смысл, и дышит не пойми чего. Искусство для искусства как вещь в себе и вне себя. Тот самый уход-приход, отрыв

и зависание под потолком, когда слова словно невесомы, нет, они весят легче воздуха, наполняясь словно не твоим, а собственным водородом... Словом, это то, ради чего пишешь или чьё-то читаешь... И это и у тебя, и в чтении бывает так редко, что с этим никакую ночь любви не сравнить.

Вот этот чистый кайф слышать и внутренне безо всякого усилия вторить, это он делает «Лунную сонату» попсой, когда от удовольствия холодеет позвоночник; а вот «редеет облаков» почему-то в массы не пошло, хоть это то же самое.

И ещё одно удовольствие: что ты не просто понапрасну кайф ловишь, пока относительное время всё равно идет к абсолюту смерти, а ты просиживаешь штаны в ожидании свершения сроков. Нет, ты точно чувствуешь, что не понапрасну ловишь кайф. А вот почему ты это чувствуешь — что не понапрасну?

Всегда я воспринимал такого рода знания как сугубо специальные, область «конька» (и это стерновское — ещё в лучшем случае... а, кстати, вспомнил: когда я читал Ваш «Такой способ понимать», мне казалось — тут точно не хватает одной главки, о Стерне, он-то автору должен быть ближе многих... но это уж из областей совсем досужих пожеланий) типа обременяющих немзеров-других-третьих, что выделяются над их подопечными, вовсе не навязывающимися таковыми быть.

И только читая Вас, я понял, что это — область настоящего знания; т. е. такого, что и человеку пригодится, не то что филологу.

Ваша эрудиция удивительна; это не тема для разговора, казалось бы, а просто Ваш предикат как частного субъекта мышления и видения. Но предикат единственный, sui generis. Откуда Вы всё это знаете? О российской журналистике Вы знаете больше, чем о современной журналистике иной участвующий в современном литпроцессе актуальный критик. Откуда — тоже понятно, вроде бы: посиди-почитай, все дела. Но вот эти «дела»... Господи Боже мой, я и кто такой Владиславлев не знал. Почти что — не слышал. Стыдно, да? Но я думаю, неосведомлённость не чернит человека; чернит его только нежелание признаться в собственной неосведомлённости...

И до чего интересно. Сухие цифры в сухом бюджете увлекательны для нынешнего литератора (для меня ещё как — а для живущего в России должно быть ещё более, куда более) — как перечисление выплывшего на берег в сундуке для Робинзона; как писал, кажется, Ильф в записных книжках, сидя дома в уютном кресле, приятно читать обо всём этом инвентаре, раскатывая губы.

Словом, этот параграф — умереть-не-встать у шестого кола.
Коммунисты, цурюк!

Чего ж ещё ждать после этого, как не следующего?

Ваш до гроба (боюсь, близкого; да, дурачки я прожил жизнь;
а казалось, ещё вчера, ей сносу не будет)

Ю. М.

12.

20.10.11

Впервые я понял, что такое — сумбур вместо музыки. Человек, сказавший это, понимал, зачем он это говорит, но не понимал самого смысла сказанного. А я вот впервые понял — в буквальном смысле. Что бывают такие миги, которые музыкально не выразишь (как не всё выразишь скульптурно или литературно). А вот чем-то обратным искусству, искусством наизуот — именно выразишь, т. е. сумбур-то и будет, и только и может быть музыкой. Так поздний страшенно-ужасный-и-безобразный «синтетический» кубизм Пикассо и стал самой что ни на есть академической классикой XX века.

И Вы тут от него не далеко, а даже очень близко. Причем у Вас фора: его-то чудища окаянные в страшных муромских лесах уже привычны и сделались безопасной музейной коллекцией, тогда как Ваши сумбурят и ерошатся и усами шевелят сегодня-в-сегодня. Не знаю, попадалась ли Вам фраза Брака при первом впечатлении от практического манифеста Пикассо «Авиньонские девушки»: «Это как когда ешь паклю и запиваешь горячим керосином».

Я это к чему: мне кажется, Вы слегка кокетничаете (в том прекрасном смысле, в котором Толстой через слово вставлял «что», «который» и «если», а мог бы навалить шутя «Дар» — ничего бы от него не отвалилось), говоря, что так долго тянули, не сводя концы с концами, — а это Вы просто их самих дожидались, когда же им самим-то надоест хуже горькой редьки быть в истории, не бывши в жизни, ни живыми ни мёртвыми, и вот они таки повылезли в самый неожиданный момент, к финалу (это о чём говорит? О том, что большой мастер почти никогда не обойдётся без оси там симметрии, без кульминации, ну и всё такое, «что единый план «Фауста уже говорит о»; но ведь может случиться и нескладуха, особенно в наше криволинейное пост-пост-время, да и раньше нескладуха случилась, скажем, у Лобачевского, а он в своём деле понимал, но что-то его в этот раз не устроило: больно гладко, по правилам)... Но вернёмся: отматывать срок, так

по полной. И то ли автор так нестандартно, достаточно безумно, чтобы быть гениальным, решил, то ли сами его фигуранты, не в силах долее терпеть — ведь эпилог уж близится, а их всё нет! а им, между прочим, не меньше нашего хочется написать «Киса и Ося здесь были!», а их всё не объявляют, а когда же смертельный номер? нет, так этого дела оставить нельзя! И вот мы их не ждали, мы вообще не ждали, будет там кто ещё или нет, дело-то совсем к концу... Так, да? Вы нас не ждали, ну а мы уже пришли! Просто из чистейшего российского удовольствия огорошить, повыстёбываться самым смертельно-несерьёзным образом про Ерошку Капитошкина, не то Капитошку Ерошкина, — и вот они ка-ак посыплются, на голову всего одной главы, как повылазят из-за печки — а я с детства усвоил слова моего папы, танцора народных танцев: «Главное, сынок, в искусстве — это выход танцора на публику «из-за печки». И вот что, не побоюсь этого слова, гениально произошло: трактат непредсказуемо вывернулся под конец из ящика Пандоры, как повысыпется оно оттуда, как «само собой», — не Вы ему хозяин, в самом-то деле, Вы только подсматриваете, на то Вы и художник, — вот как оно перепутается тут само в себе — не разоймёшь, как дядюмитясядейминяем.

Так они и были задуманы все — гениальные произведения со смещённым композиционным центром, от того, что египтяне просто применяли в расположении, типа того, трёх великих пирамид в Гизе (включая Хеопса-Хуфу), греки — уже называя это золотым сечением (приблизительно две трети к трети отрезка), Ренуар: ищи в лице ось симметрии — и тут же отступления от неё, один глаз больше другого, ноздри и уголки губ разные, вне симметрии нет Закона = языка искусства и науки, а без отступления от неё, «грамматической ошибки», есть смерть искусства и науки; и это надо сопрягать. И то, что это поняли баллистики, создав пулю со смещённым центром — полную смерть, запрещённую смерть выстрела, говорит о том, что они тоже поняли расцентрованный центр, расфокусированный фокус своего смертельного искусства, — и запретили его на уровне конвенции. Но в искусстве нет конвенции. И вот — на уровне запрещённой конвенции жизни, «ворованного воздуха искусства» и надо писать. Потому что красный террор — недопустим, а «Чёрный квадрат» необходим. И Вы это — что искусство есть другая реальность, в которой можно и нужно, чего нельзя в жизни, — и поняли, и сделали.

Они сыплются и сыплются на голову читателя: все эти названия журналов и подробности отношений между ними, все сразу имена ныне очень мало кому известных хотя бы по фамилиям

писателей (а ведь когда-то были и они рысаками); и если о Воейкове и там ещё о ком я хоть слышал, то фамилия Таиров мне говорит только о режиссере Таирове, а уж о Бурнашеве (а ведь из «генералов», типа, наверное, Юрий Бондарев) или Лукьяновиче — ни в жизнь.

Что интересно: Тынянов часто строил гениальные вещи на редкостном знании литераторов второго ряда; похоже, вы перенимаете эстафету, раскапывая со знанием дела домохозяйки интриги на коммунальной кухне литераторов третьего ряда.

И не из любви к сплетне — это-то уж и Куняеву в голову не придёт, а... как бы это поточнее: чтоб желающий уметь читать вычитал, что здесь и написано... Нет, всё-таки для меня это слишком главная тема, а Вы прямо к ней и ведёте.

И наверняка туда и приведёте — и тогда я самое-самое, что думаю о Вашей необычайной словесности, смогу как раз написать внятно и тем закончить дилетанский (зато равнодушный) «разбор полётов».

Ваш Ю. М.

13.

22.11.11

Обе последние главы вышли блестяще — что бы вышло из взятой на читателя кавалерийской атаки, абы мы остались, как в карточной игре в «Кинг», «без двух последних»?

Но эти последние нужно было ещё так написать. В предпоследней главе — вдруг — вытряхиваются, как из ящика Пандоры, на сцену куча разных, почти или вовсе не задействованных персонажей — и от тщательного выделывания одного-двух характеров (до того, поглавно) дело вдруг ведётся к полному бардаку. Причём этого не ждёшь, но когда получаешь, становится смешно, хоть и невесело. Это «расширение» по эпизодическим персонажам так же хорошо, как вставить уже под конец «Горя» ненужного по сюжету Репетилова.

Но у Вас оно как раз и по сюжету необходимо — ведь это начало падения Полевого, такое же катастрофическое, как оглашение Софьей Чацкого сумасшедшим. Притом же — это вывернутая наизнанку перчатка романтизма. Полевой — нимало не рядится в Гарольдов плащ, он вполне прозаическая фигура, а вот эпизодические персонажи — то один, то другой — «романтики» и странные тени всяких двойников (не буду говорить о тройниках — это уже что-то электрическое). Всё вывернуто наизнанку: Чацкий с Молча-

линым и Скалозубом начинают вместе плясать гопака. (Тут, кстати, очень кстати очень загадочная история со Смирдиным, тоже ни с того ни с сего затевающим в своём роде «романтическую авантюру» — для него, т. е. человека вполне практического... ну вроде как если бы такую неверную, но многоденежную авантюру затеял этот... как его... на языке вертится... словом, шурин Ганечки Иволгина, — и хорошо, что так и оставлена — и Вами, и самой историей — на уровне загадки.)

А далее: привычное (и страшно, что привычное): «Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть». Но и тут всё навыворот: Полевой и не есть грешен, и не слывет, а репутация — чуть-чуть, да подмочена (но всякое такое «чуть-чуть» тяготеет к экспансии — опять чуть ли не «Горе от ума» выходит — считая за Софью Панаву; ситуация описывается жирным восклиц. знаком: несолидно! Между прочим, я только что сам убедился несколько раз в серьёзной действенности этого «солидно-несолидно»). Серьёзный издатель журнала (МЕДИЙНАЯ ПЕРСОНА) пляшет в кураже, как какой-нибудь Апполон Григорьев, гопака. Прикидываю ситуацию на серьёзных господ, «статусных лиц», В. или Ч. — ох, такая «пляска с гиканьем и свистом» им не пошла бы! Они есть часть серьёзной гос. структуры даже сейчас, какой-никакой, а номенклатуры — и имеют, и должны иметь солидную манеру держаться, иначе как же; нынче всякая такая солидность — едва ли не главная часть того волоска, на котором висит само существование (господдержка — да само дорожущее место, кв.метры, предоставленные «солидным журналам» в центре г. Москвы). Не то поставь на себе крест — и кто ты? Простой литературный критик? Лучше сразу в грузчики.

А ещё — это Сухово-Кобылин, ну и, конечно, «Скверный анекдот». И тут мне припоминается мой вечнолюбимый Тынянов и его теория пародии. По Тынянову пародия (о, если б он увидел наши игры! от одного Галкина у Тынянова случилось бы расстройство желудка) — способ, опровергая, грести вперёд; гопака Полевого, пародирующий «Скверный анекдот», — это Ваш способ грести — не назад, а в вечном русском штиле, который, как и положено ему, чреват безумием моряков, но после которого не бывает 1492 года и никаких вообще открытий новых земель. Это гопака как он есть — пройтись по сцене нескончаемым колесом, кувырком в шароварах, чтоб смешнее было, да ещё не забыть во время бесцельно-задорного колеса люльку, ту, что выпасть изо рта при таких упражнениях запросто может, но ляху достаться — не должна нипочём.

Этот несолидный гопак, вообще недолжн(остн)ое поведение — кошмар героя «Скверного анекдота». И он же — есть действительное начало падения Полевого. Сюжеты оказываются вполне правдоподобны самой правде их подобия — жизни. («Прекрасное есть жизнь, — читаем мы в диссертации Чернышевского; пожив ещё некоторое время, он на сибирской каторге, думаю, за 19 лет удостоверился, что и безобразное есть жизнь — и как их, сведённых к этому общему знаменателю, в этой новой эстетике теперь различить?)

Да, солидное есть вещь; всё прочее есть гиль. Это приобретение времени Николая: при Грозном или Павле никакая солидность роли не играла ваще. Зато с Николая и по наши дни (даже капельшечку при Иосифе Объединителе) солидность — это САЛИДНОСТЬ.

А ведь ещё не так много раньше, во времена государыни Екатерины — именно несолидность, игровое начало поведения обеспечило Максим Петровичу и возвышение, и полную упакованность. Можно, конечно, сказать по-умному: распалась связь времён, ёкорный бабай! А я лично думаю, что просто разница между игривостью женского вкуса и сурьёзностию мужского.

Последняя глава — это сплошной шедевр. А по энергии стиля даже не знаю, с чем её сравнить. Временами она бьёт через край, так что даже искущённый читатель не успевает. И пусть себе не успевает (я об этом пару слов ниже).

Именно то, чего у Вас, по Вашим же словам, не было: ни времени, ни места — Вас подгоняло или гнало, — и вот эта партия выиграна именно в невозможном эндшпиле. В немыслимом по тесноте тексте.

Тут, конечно, главное, что бьёт в глаза, — «грустная злоба, святая злоба» на Герцена и Белинского. Как «типичный представитель» новозаветного мышления я должен бы сказать, что злобы ни на кого ни у кого не должно быть. Ну а как грешный человек — скажу: так им обоим и надо, по-ветхозаветному. «Око за око, зуб за зуб».

В конце посылки Вы прихлопываете Герцена — а там ещё своей участи ожидает Белинский — как мух. Герцену достаётся больше: всё-таки при расправе с ним достаётся и бедной супруге — Гервег, понятное дело, порядочный гад, и я бы на её месте, сколь оное могу вообразить, чувствовал постоянно некоторую гадливость по отношению к себе, что ведёт к тому, что раньше называли чёрной меланхолией. «Кондом» тут немного режет ухо... но, впрочем, мы имеем дело не с академической, а живой жизнью. Лейтмотив отказа от дуэли окончательно лишает нас симпатии к Искандеру.

И потом, Герцен сам столько выдал характеристик, мягко говоря, резких, что, как выражался Евгений Васильевич Базаров, — чуть ли не этой братвы братан, «взялся всё косить, так валяй и себя по ногам». Хорошо сваяно. И... и всё-таки без жалости (я ещё когда писал, что это двойное понимание персонажа — Ваша особенность; но тут я её не обнаружил... Как говаривала Аглая Епанчина: тут всё одна только правда, а нежности нет, а где нежности нет, там и правды нет; или что-то в этом роде).

Впрочем, учитывая стопудовую симпатию к Герцену в нашей СНОГ, наверное, и следовало прямо и грубо противопоставить ей некоторые вещи, достойные антипатии, тем более что покойный уж слишком любил себя и ставил бесконечно высоко даже в самых откровенных, даже в покаянных своих признаниях. Насчёт, однако, дуэли, раз уж это не единожды сказано, дуэлей боялся не один только Герцен, но и, например, охотник Тургенев (вроде Толстой вызывал, но уладили дело); вообще наши литераторы были не Лунины (и слава богу: у нас не нашлось — и не нашлось бы — Ришелье, чтобы лучшая часть русского дворянства не истребила себя до всяких революций). Мне трудно судить: я ведь под дулом на 12 шагах не стоял, чувствуя себя при этом последним дураком, доверившим серьёзную жизнь глупому жребию. Именно последнее, а не трусость, может, и отваживало людей вообще не трусливых, но литературски обострённо чутких и впечатлительных...

Белинский же выглядит просто отвратительно — и туда ему и дорога (он не пострадает — защитники найдутся, и захотите — Вы же первый: больно двуЯнусная фигура). Но я в первый раз восчувствовал, что такое есть — НЕИСТОВЫЙ Виссарион. А то всё не понимал (разве письмо к Гоголю) — чего это он неистовый да неистовый, когда «энциклопедия русской жизни» и тэпэ про Татьяны милый идеал — написаны вполне по-джентльменски. А где это, кстати, Вы нашли такую убийственную, брызжущую слюной и топочущую по скрипящим и без того половицам цитату? Вообще, где и как Вы всё это отыскиваете — эта комммерческая тайна ещё ждёт своего вдумчивого исследователя.

Словом, Вы прихлопываете око за око Герцена и Белинского как мух за то, что они как муху прихлопнули Полевого, один — движимый любовью к красному революционному словцу, к величественно-эпохальному своему «Былому» и проникновенным своим элегически-политическим «Думам»; другой — из личной ненависти. И сгинул умеренный прогрессист, разумный патриот и честный человек Полевой между молотом большевика Герцена и наковальней левого эсера Белинского — и выплунут и растоптан. Как какой-

нибудь Чацкий между Фамусовым и Скалозубом, нимало, в отличие от Чацкого, не рядясь и вроде как не годясь на эту роль.

Так сделали живым подпоручика Киже — и так делают мёртвым живого человека Полевого. Это дикарское презрение к личности каждого живого человека, этот счёт на палочки и нолики демонстрируют не только генералы в Чечне (чего с них взять?), но и генералы русской интеллигенции Герцен и Белинский. Собственно, это и есть главная беда России: чих на каждого отдельного человека, отсутствие хоть когда хоть какой-то школы «благородного индивидуализма», пройдя которую можно уже, если охота, говорить о «мире», «коллективе», «соборности», «христианском социализме» и социализме вообще. Все остальные беды: и дураки, и дороги, и «воруют», и тэпэ до бесконечности — следствие вот того, что Вы показываете: гибель человека и его репутации безо всякой сдачи с его стороны. Кто говорит? Да, друг мой, все! И — всё.

И весь этот трагический фарс и «скверный анекдот» увенчиваются эпилогом-кашалотом, гениально рифмуясь со вроде бы ненужными кашалотами в начале вещи. (Ну, и конечно, слегка отсылая к «Крокодилу» Достоевского.)

Короче говоря, именно цейтнотные обстоятельства побудили Вас сгустить к концу картину настолько, что она становится сразу и кульминацией, и развязкой, и эпилогом (тут опять вспоминается роскошный наворот концовки «Горя от ума», остаётся только поинтересоваться, будь на похоронах Полевого княгиня Марья Алексевна, что б стала она говорить о невоспитанности и несолидности покойника, не побрившего перед смертью бороды?).

Конец удивительно, роскошно густ, а главное — это именно конец скачек: в относительно неспешном темпе начать, затем довести до выигрышного ускорения, затем дать слегка отдохнуть — и на финише пустить в такой галоп, что читатель окончательно не поспекает.

Да, темп этой главы таков, что только догоняй. Никаких объяснений — сам должен знать, а то не поспеешь. Это не неуважение к читателю, а призыв именно быть Читателем, исполняя свою важную роль творчески, т. е. усиленно.

Ну и я грешен — не всегда поспеваю. Стараюсь по мере сил, но их не хватает.

Вот, например, что значит: «Миллион обезьян за миллиард лет, — а чем их всё это время кормить?» Каких обезьян и какой миллиард?

Или. О чём таком трактуется у сэра Фрэнсиса Бэкона в «О бойкости», что поясняет нам ситуацию Магомета, горы и рождения

ею мышцы? Всё-таки читатель не обязан искать ещё томы философского наследия и читать целыми философскими трактатами (у меня, в частности, Бэкона здесь нет — он в Москве, и найти его здесь затруднительно).

Кажется, в остальном я более-менее разобрался... А, вот ещё: о «Гамлете». Скорость, с которой Вы излагаете, переходит в новое качество некоего... «антиизложения», что ли. Чего-то программно обратного. Упомянул — и снова вперёд. Между тем это место — из наиважнейших. Именно здесь таится, по-Вашему, — корень ненависти Б. к П. Здесь крайне важно знать: а в чём, собственно, дело?

Я, например, до сего дня знал только 2 отзыва Белинского о переводе Полевым «Гамлета»: один сравнивает переводы Полевого и Кроненбурга (в пользу последнего), другой, более ранний, сравнивает Полевого и не помню кого на букву «В» (в пользу Полевого). Оба весьма уважительны, без «неистовства». Значит, Вы говорите о какой-то третьей истории с переводом «Гамлета» (точнее, его фрагмента) — и о сопутствующих обстоятельствах, что вместе взятое свергло Виссариона в неистовство до полного опупения. Я искал, но не нашёл. Мои, правда, возможности ограничены Интернетом. И ещё, допустим, я ленив по всему-то Интернету шерстить. Боюсь, что другие читатели тоже окажутся в положении, когда вот оно, самое интересненькое-то — только кто бы хоть совсем вкратце поведал, что там у них за дела из-за принца-то датского? Какой фрагмент? Что за статья? И о чём и чьё опровержение?

Это я говорю уже от мало-мальски искущённого читателя, обратить внимание на которого и в таком уникальном жанре, как Ваш, и принятом методе быть на 2 шага впереди читателя — не зазорно.

Я слышал, что собираетесь делать автокомментарий. В таком случае, надеюсь, Вы эту историю с «Гамлетом» тоже затронете.

А так — нет слов. И конец — делу венец, всё рифмуя, расставляя по местам, вырастая, главное, не как придуманная эффектная концовка, а как созревает плод — и выходит из чрева. Это и есть созревший и доношенный плод, потому что по прочтении читателя охватывает такое ощущение единства текста, как когда говорят: написано за ночь на одном дыхании.

В общем, остаётся снять шляпу. Мои поздравления. Примите и проч.

Всегда Ваш Ю. М.

P.S. Да, забыл едва ли не главное.

Как я и думал в самом начале — это именно Роман. Подтверждением тому — в финале это особое настроение, это ощущение трогательности и жалости, совершенно несвойственное критич. или историч., а только *худож.* словесности, ещё усиливается, а это и есть в некотором нисходящем смысле «столп и утверждение истины» (имея в виду типа того систему подобных треугольников: от большого: «кенозис» — добровольное умаление Бога до человека — до малого, доступного редко какому писателю: воссоздание по большой вселенной — малой, но населённой, объёмной вселенной, т. е. полноценно художественного текста).

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗЛОМАННЫЙ АРШИН

§ 1. Нечто о кашалотах.....	7
§ 2. Приданое. Нечто о дефолте. Посажённый отец.....	21
§ 3. Ода. Пасквиль. Нечто о пурге.....	35
§ 4. Принцип торможения. Чернильная война. Нечто о Прекрасной Даме.....	58
§ 5. Нечто о бесах. Поприцин и Полиньяк. Теория сигнала....	74
§ 6. Нечто о дундуке. Милый Фифи. Скачущее тело.....	88
§ 7. Идиот как сверхновая. Рецепт приготовления свободы. Нечто о мухах.....	104
§ 8. Нечто о жалости к мёртвым. О предрассудках. О созвездии Гончих Псов.....	121
§ 9. Интермедия I.....	135
§ 10. Интермедия II.....	146
§ 11. Ещё нечто о Застое. О «Литературной газете». О крокусах.....	160
§ 12. Нечто о прекрасном.....	174
§ 13. Нечто обо всём.....	187
§ 14. Нечто об искре и пламени. О призраках. О похождениях графа С***.....	198
§ 15. Нечто о платьях. Формула «3 Д».....	212
§ 16. Нечто о лице. Ось времени. Европейская альтернатива....	238
§ 17. Нечто о будущем. Скоростные характеристики птицы тройки. Попытка перехвата.....	255
§ 18. Нечто о тиражах. О ролевых играх. О роковых глупостях.....	268
§ 19. Нечто о Таировом переулке. О цене имени. О дедушке Крылове.....	298
§ 20. Нечто о милосердии. О справедливости. Опять о милосердии.....	319
§ 21. Нечто о лит. ненависти. Маркетинговый план.....	336
§ 22. Нечто о т. н. лит. совести. Овса и вина! Сюжет как недоразумение.....	363
ПРИМЕЧАНИЯ.....	387

ПРИЛОЖЕНИЕ

Письма Юрия Малецкого к автору трактата «Изломанный аршин», написанные в то время, когда трактат существовал только в виде отдельных глав, опубликованных из месяца в месяц в журнале «Звезда»..... 411

**«ПУШКИНСКИМ ФОНДОМ»
В СЕРИИ «ИМЯ СОБСТВЕННОЕ» ВЫПУЩЕНЫ:**

- К. Победин. Поэмы эпохи отмены рабства
- А. Генис. Темнота и тишина
- О. Шамборант. Признаки жизни
- А. Генис. Пейзажи
- С. Лурье. Успехи ясновидения
- О. Шамборант. Срок годности
- О. Исаева. Мой папа Штирлиц
- В. Соснора. 15
- С. Гандлевский. Странные сближения
- С. Лурье. Нечто и взгляд
- С. Лурье. Изломанный аршин

**В СЕРИИ КНИГ «ЗЕРКАЛО»
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ТОМА:**

- В. Яновский. Поля Елисейские
- Б. Ахмадулина. Однажды в декабре
- С. Гандлевский. Трепанация черепа
- В. Соснора. Дом дней
- Е. Шварц. Определение в дурную погоду
- А. Битов. Дерево
- С. Гандлевский. Поэтическая кухня
- В. Соснора. Книга пустот
- В. Соснора. Камни NEGEREP
- И. Бродский. Горбунов и Горчаков
- Л. Петрушевская. Карамзин деревенский дневник

ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ТАКЖЕ Внесерийные книги:

- **В. Кальпиди. Ресницы**
- **Б. Ахмадулина. Зимняя замкнутость**
- **Л. Лосев. Стихотворения из четырех книг**
- **А. Ерёмченко. Горизонтальная страна**
- **Гильгамеш. Аккадское сказание**
- **А. Цветков. Дивно молвить**
- **Е. Шварц. Сочинения в 4 томах**
- **С. Гандлевский. Найти охотника**
- **Б. Рыжий. Стихи**
- **В. Соснора. Всадники**
- **В. Павлова. По обе стороны поцелуя**
- **М. Дидусенко. Полоса отчуждения**
- **Н. Уперс. Апокрифы Феогнида**
- **А. Березин. Пики-козыри**
- **Т. Кибиров. Внеклассное чтение**
- **А. Березин. Самоорганизация материи**
- **Е. Мороз. Евреи и Рим**

В ПОЭТИЧЕСКОЙ СЕРИИ «АВТОГРАФ» ИЗДАНЫ:

- **Б. Ахмадулина. Ларец и ключ**
- **С. Кекова. Короткие письма**
- **В. Салимон. Невеселое солнце**
- **И. Лиснянская. После всего**
- **Ю. Кублановский. Памяти Петрограда**
- **И. Бродский. В окрестностях Атлантиды**
- **Н. Кононов. Лепет**
- **А. Пурин. Евразия и другие стихотворения**
- **Е. Шварц. Песня птицы на дне морском**
- **С. Гандлевский. Праздник**
- **В. Гандельсман. Там на Неве дом...**
- **В. Дроздов. Стихотворения**
- **Л. Лосев. Новые сведения о Карле и Кларе**
- **А. Цветков. Стихотворения**
- **Д. Новиков. Караоке**
- **И. Жданов. Фоторобот запретного мира**
- **Т. Кибилов. Парафразис**
- **Е. Шварц. Западно-восточный ветер**
- **Б. Ахмадулина. Созерцание стеклянного шарика**
- **В. Салимон. Красная Москва**
- **В. Зельченко. Войско**
- **Б. Кенжеев. Сочинитель звёзд**
- **А. Битов. В четверг после дождя**
- **Л. Лосев. Послесловие**
- **И. Лиснянская. Ветер покоя**
- **В. Гандельсман. Долгота дня**
- **Е. Шварц. Соло на раскалённой трубе**
- **Т. Кибилов. Интимная лирика**
- **В. Павлова. Второй язык**
- **В. Кривулин. Купание в иордани**
- **М. Ерёмин. Стихотворения**
- **Б. Ахмадулина. Возле ёлки**
- **Д. Новиков. Самопал**
- **Т. Кибилов. Нотации**
- **В. Соснора. Куда пошёл? И где окно?**
- **С. Гандлевский. Конспект**
- **Б. Рыжий. И всё такое...**
- **П. Барскова. Эвридей и Орфика**
- **И. Лиснянская. Музыка и берег**
- **Л. Лосев. Sisyphus redux**
- **В. Дроздов. Обратная перспектива**
- **Т. Кибилов. Amour, exil...**

- В. Соснора. Флейта и прозаизмы
- В. Гандельсман. Тихое пальто
- В. Павлова. Линия отрыва
- В. Коваль. Участок с Полифемом
- Е. Шварц. Дикопись последнего времени
- Б. Ахмадулина. Пуговица в китайской чашке
- А. Поляков. Орфографический минимум
- Б. Рыжий. На холодном ветру
- В. Соснора. Двери закрываются
- С. Кекова. На семи холмах
- П. Барскова. Арии
- М. Степанова. Тут — свет
- М. Ерёмин. Стихотворения. Кн. 2
- С. Стратановский. Рядом с Чечнёй
- А. Кушнер. Кустарник
- Е. Тиновская. Красавица и птица
- Т. Кибиров. Шалтай-болтай
- В. Гандельсман. Новые рифмы
- О. Чухонцев. Фифиа
- Л. Лосев. Как я сказал
- Е. Шварц. Трость скорописца
- Д. Шереметьев. Улика
- В. Гандельсман. Школьный вальс
- С. Стратановский. На реке непрозрачной
- М. Ерёмин. Стихотворения. Кн. 3
- А. Цветков. Шекспир отдыхает
- В. Волченко. Без охраны
- Д. Воденников. Черновик
- Е. Шварц. Вино седьмого года
- Л. Элтанг. о чём пировать
- С. Гандлевский. Некоторые стихотворения
- В. Гандельсман. Исчезновение
- М. Ерёмин. Стихотворения. Кн. 4
- О. Седакова. Всё, и сразу
- Л. Лосев. Говорящий попугай
- П. Барскова. Прямое управление
- С. Стратановский. Смоковница
- В. Гандельсман. Ладейный эндшпиль
- В. Салимон. За лицевую стороной пейзажа
- С. Стратановский. Граффити
- Е. Шварц. Перелётная птица
- М. Степанова. Киреевский
- В. Гандельсман. Читающий расписание
- В. Гандельсман. Видение

Л86

Лурье С. Изломанный аршин. Трактат с примечаниями.
СПб.: «Пушкинский фонд», 2012. — 480 с.

ISBN 978-5-89803-228-9

ББК 84. Р7

Лурье Самуил Аронович

Изломанный аршин.

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 2012

Редактор *Г. Ф. Комаров*

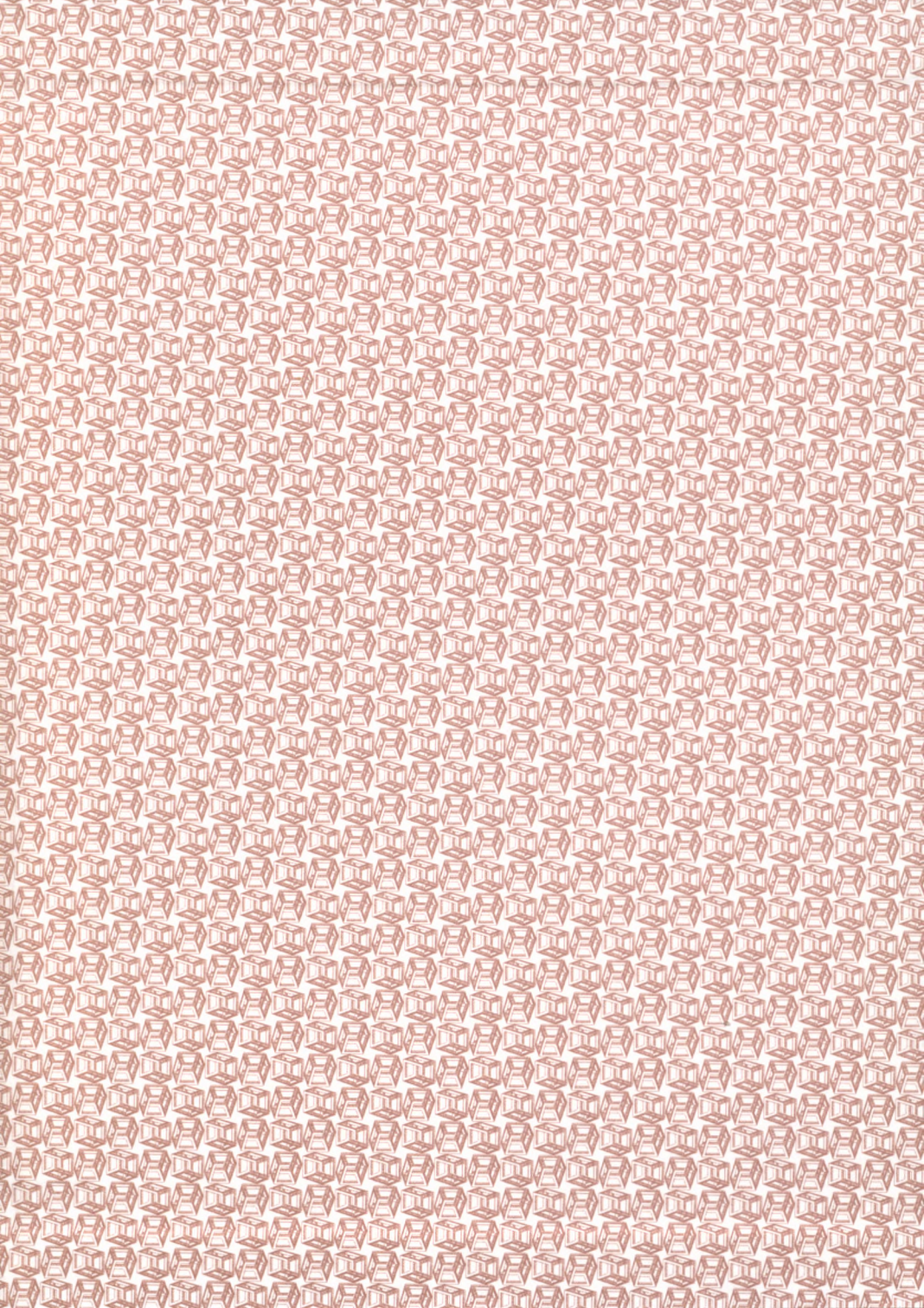
ЛР № 071541 от 21 ноября 1997 года

«Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, набережная р. Мойки, 12

Тираж 1000 экз. Заказ № 49.

Отпечатано в типографии ООО «ИПК “Бионт”»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр. ВО., д. 86,
тел. (812) 322-68-43



Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург. ММХII.